



Мир приключений

**Повести
и рассказы
о советской милиции**



Аннотация

В настоящий сборник вошли повести и рассказы о героических подвигах советской милиции.

Юрий Герман

Из цикла «Рассказы о Дзержинском»

ПОБЕГ

Бежать он решил в Александровском центре вскоре после майского восстания, но из этой затеи ничего не вышло, потому что он заболел и заболел тяжело: разом скалзась напряженная жизнь последних лет тюрьмы, селлецкая камера с умирающим Россолом, трагические мечты Антона о воле и главное вестъ о том, что Россол умер. Умер он у матери, высланной из Варшавы в Ковно, совсем недавно, на днях. Ничего неожиданного в этом известии не было: чахотка давно приговорила Антона, и ни он сам, ни Дзержинский никогда не обманывали себя, но все-таки известие о смерти самого близкого человека потрясло Дзержинского. В несколько дней он похудел до неузнаваемости, перестал есть, ни с кем не разговаривал, не смеялся, искал уединения, часами сидел совершенно неподвижно, глядел в одну точку и порою потирал ладонью лоб.

Болели глаза, знобило, не ладилось с сердцем.

Плохо держали ноги, он едва передвигался по камере и не выходил на прогулки. Из разговоров с ним ничего не выходило, это был не тот человек, которого можно было «разговорить». С ним заговаривали, он отмалчивался или отвечал: «да», «нет», «возможно». По глазам было видно, что он не слушает.

Администрация после восстания в пересыльной была с Дзержинским любезна, почти предупредительна, и как

только до Лятоскевича дошли слухи о том, что Дзержинский заболел, он тотчас же прислал к нему фельдшера.

Фельдшер был из породы увлекающихся дураков и, прописав Дзержинскому порошки, предложил гипноз, которым он занимался, по его словам, как любитель.

— Нет, благодарю вас, — сказал Дзержинский, — это занятие не для нашего брата, ссыльного. Кому в Якутку, тому не до гипноза.

— Очень жаль, — вздохнул фельдшер. — Я этим способом пользовал пана Лятоскевича и довольно-таки удачно.

Дзержинский молчал. Лысый, несмотря на молодость, фельдшер, с утиным носом и развязными манерами, был ему неприятен.

Несколько дней Дзержинский решительно ни с кем не общался, даже с Власычем, с которым сговорился вместе бежать. Лежал, закрывшись с головой тужуркой, думал, дремал. Температура у него поднялась высоко, взгляд стал острым, губы потрескались.

Болезнь оборвалась так же внезапно, как и началась. Однажды в сумерках он погулял по коридору, на другой день вышел на прогулку спокойный, осунувшийся, но бодрый и веселый, как раньше. Он уже шутил, посмеивался, рассказывал товарищам о том, как фельдшер собирается лечить его гипнозом, глаза смотрели спокойно и внимательно, как раньше.

Лятоскевич после восстания сделался необыкновенно добрым — позволил арестантам сидеть во дворе пересыльной сколько угодно. Дзержинский всю пользовался этим разрешением. Целыми днями сидел он на солнце, набирался сил, готовясь к побегу, глядел на прозрачное сибир-

ское небо, на ядовито-изумрудную, всегда влажную траву под ногами, на непросыхающие болота в котловине.

В первых числах июня этап пришел в село Качугу. Отсюда начинался сплав по Лене, и здесь жили многие из ссыльнопоселенцев. Власыч кое-кого знал и в первую же ночь позвал Дзержинского на совещание к некоему старику, поселенцу Руде. Руда провел тут много лет и всю свою округу исходил вдоль и поперек. Выслушав план Дзержинского, он сказал, что план вздорный, что отсюда бежать никак нельзя, потому что расшибет бревнами.

– Какими бревнами? – не понял Дзержинский.

– Да на сплаве, – сказал Руда сердито. – Стукнет бревном по челноку и поминай как звали. Шутки шутите, господа.

В комнате было человек десять местных старожилов, ссыльнопоселенцев. Многие из них провели здесь всю молодость, состарились, поседели, но вид у всех был здоровый – кряжи старики. Пили чай с шанежками, круто солили, мало сахарили.

– Насчет сахара у нас туго, – говорил Руда. – Вот рыбка – это имеется, а сахар, извините, сахар весь вышел. Да вы кушайте, господа, шанежки, не стесняйтесь, – аппетит, я чай, имеется в избытке. И рыбки не угодно ли своего собственного копчения, в Питере такой ни в каком дворе не получить.

– Мы из Варшавы, – сказал Дзержинский.

– Позвольте, не ваших ли рук дело в пересыльной? – прищурившись спросил Руда.

– Республика? – усмехнулся Дзержинский. – Немного и наших рук дело.

Косолапый, медведеобразный Руда поднялся со своей лавки, тяжело ступая, подошел к Дзержинскому и, взяв его за плечи, поставил перед собой.

– Поляк? – спросил он.

– Поляк, – улыбаясь ответил Дзержинский.

– Мне говорили, что восстание поднял поляк, а фамилию я забыл по старости. Значит, ты и есть тот поляк?

Дзержинский молчал. Щеки его слегка покраснели.

– Он, он, – сказал Власыч. – Дзержинский его фамилия. Он и красный флаг поднял, он и Токарева вязал.

Несколько мгновений Руда не отрываясь смотрел в лицо Дзержинскому, потом крепко обнял его и три раза поцеловал.

– Хороший человек! Молодец! Так и надо!

Всыпал в стакан Дзержинскому две ложки сахара и сказал:

– Пей внакладку. Гуляем сегодня!

Разговор, который до этого не очень вязался, стал горячим, оживленным, громким. Старики требовали рассказов, новостей, слушали внимательно, со старомодной вежливостью, поддакивали, умилялись. Выпили один самовар чаю, потом другой, потом еще. Руда колдовал у раскаленной печки, пек свои шанежки, и чем дальше, тем вкуснее они становились. Из погреба принесли еще горшок сметаны, лица у людей покрылись потом.

– Давно я так не едал, – сказал Власыч.

– И не скоро так поешь еще, – таинственно произнес Руда.

После полуночи, когда старики узнали все, что можно было узнать от новичков, разговор опять вернулся к теме

побега. Старики долго спорили между собою о том, как надо бежать, и даже поссорились, да так, что один старик, которого другие звали Витей, обиделся и ушел, но за ним побежали, и он вернулся, так что все кончилось благополучно. Еще выпили самовар и наконец вынесли решение: бежать из Верхоленска по направлению к селу Знаменке, — разумеется, по реке. Челнок даст в Верхоленске знакомый, верный человек; в путешествии — опасаться плавучего бревна. В случае нехорошей встречи сказаться купцами, едущими в Якутск по торговой надобности. Купеческие фамилии: для Дзержинского — Семушкин, для Власыча — Синих. Запомнили. Семушкин и Синих.

— Семушкин, — повторил Дзержинский.

— Синих, — сказал Власыч.

— А каким товаром торгуем? — спросил Дзержинский.

Старики опять принялись гудеть и ссориться, и опять обидчивый Витя рассердился и пошел к дверям.

Наконец решили: купцы Семушкин и Синих торгуют мамонтовой костью и едут в Якутск. Понятно?

У Дзержинского от буйных стариков, от их споров, табаку и могучих голосов уже рябило в глазах, но принесли еще самовар, и вновь началось чаепитие, за которым Руда размяк и стал предлагать другим присоединиться к Дзержинскому и Власычу, чтобы бежать вместе.

— А что, — говорил он, — мы еще себя покажем. Разве нет? Мы, старики, дай бог каждому, мы еще молодым фору можем дать, не правда ли? Поедем, друзья, честное слово, поедем. В Петербург — и к царю. Что, испугался? Не ждал? Вот, брат, царь-государь, какие мы старики! Ты нас на пожизненное упек, а мы — вот они, пожаловали...

Назад шли берегом Лены. Река шумела, было темно, тихо и грустно. Руда взял Дзержинского под руку и говорил ему негромким печальным басом:

– Вы там шевелитесь, господа! Эдак мы умрем, а революции и не увидим... Вот мы тут шумим – то да се, а ведь смерть не за горами. Жалко умирать: сидим тут столько лет, один год такой жизни по справедливости надо за десять считать, – разве неверно?

Шагал Руда тяжело, под его ногами что-то трещало и ломалось, как будто это шел не человек, а большой сильный зверь, и в то же время жаловался, как будто он совсем маленький, как будто его обидели. А по тому, как он дышал, было понятно, что он стар, и хоть крепок по виду, но нездоров, и что до революции ему не дожить.

– Ну, что ж, прощайте, – сказал он и протянул большую горячую руку.

– До свиданья! – ответил Дзержинский.

– Нет уж, чего там, какое, – прогудел старик и зашагал во тьме назад.

В этапной избе Власыч долго ворочался, не мог, видимо, уснуть, потом спросил:

– А мы-то доживем, Феликс? Или вы спите?

– Нет, не сплю, – погодя ответил Дзержинский. – Вы спрашиваете, доживем ли. Но разве это и есть самое главное? Я думаю, что доживем. Но если бы даже и нет, разве мы могли бы жить иначе?

Власыч ничего не ответил, только вздохнул громко.

Все произошло так, как предсказал старик Руда.

Верный человек в Верхоленске действительно дал лодку-душегубку, выдолбленную из древесного ствола.

Лодка могла поднять одного человека, на крайний случай в ней могли уместиться двое, но уже до того плотно, что самое ничтожное движение в челноке приводило к тому, что вода переливалась через борт.

— Шевелиться никак нельзя, — говорил верный человек, пихая ногой, обутой в новый юфтевый сапог, свою душегубку. — Как шевельнешься, так и воды наберешься. Понял? И бревна поберегись, бревно-плавун при ночной тьмище обязательно ваш пароход может перевернуть. Понял? Теперь запомни место, где я челнок захороню... Вон она, дорога, понял? Как с этапки выйдешь ночью, иди на церковь, после на лабаз, после на общественный колодезь. И все левой руки держись, направо не гляди. Понял?

День был теплый. Однако верный человек был в барнаулке, в кожаных штанах, в теплом шарфе.

— Погоды хорошей на ночь не жди, — продолжал он наставлять. — Возьми с собой на обогрев спирту или казенного вина. Погляди вон на избы: дым так и стелет до самой земли, — не то дождь будет, не то туман. День-то нынче какой?

— Четверг, — сказал Дзержинский.

— Тяжелый день, — вздохнул мужик. — Дело надо начинать либо во вторник, либо в субботу... А в пятницу — нехорошо.

Помолчали.

Моросил скучный длинный дождь. Лена катила у ног серые воды, пузырящиеся от дождя. Хрипло кричали в поселке петухи.

— Раньше как после полуночи дело не начинай, — сказал верный человек. — Слушай церковного сторожа, как он

двенадцать пробьет на колокольне, помолись и выходи... Али неверующие?

– Неверующие, – сознался Дзержинский.

– Ваше дело.

Вернулись в этапную избу промокшими и иззябшими, заплатили верному человеку деньги за душегубку и попрощались с ним.

В сенях этапки Дзержинский столкнулся с конвойным унтер-офицером.

– Больно много гуляете, – сказал унтер. – Не в Варшаве, господин Дзержинский. И что это за мужики к вам в гости ходят?

Дзержинский молча вынул из кармана свидетельство от врача и протянул его унтеру. Унтер прочитал, сложил и спрятал в свою сумку.

– Так сразу в один день два дружка и заболели, – кривя бледные губы, произнес он. – Удивительно, ей богу, как это у нас происходит. А про верхоленского костоправа я, дайте срок, доложу, кому полагается. Дадут ему припарку... Зачем остаетесь? Отдохнуть от этапа или бежать?

– Бежать, – глядя в лицо унтеру, произнес Дзержинский, – вы совершенно правы – бежать!

Ответ произвел желаемое действие. Унтер засмеялся, потрепал Дзержинского по плечу и сказал:

– Очень уж у вас характер раздражительный, господин Дзержинский, даже пошутить с вами нельзя. Гордость в вас большая. Думаете, найдете начальника лучше меня? Не найдете, дорогой. Я еще промеж нашим братом голубем чистоты считаюсь, кротким, так сказать, агнцем, а вы нос воротите. Лучше бы те деньги, что вы костоправу за лож-

ное свидетельство заплатили, нам бы на мясо. И солдату хорошо, и конвойному не плохо, да и вы бы в накладе не остались, ей-богу. Ну, останетесь тут следующего этапа ждать, – а какой толк?

Дзержинский молчал.

– То-то, что гордость заедает, – продолжал этапный. – Вы все, политики, гордые, потому уголовным жить на этапах куда просторнее. Платят и сами живут, и другим жить дают. Конечно, среди нас тоже есть звери. Я разве спорю? Есть очень характерные, но только не так уж много. Давать надо. Дадите – и каторга другая станет. Не узнаете! Так-то, господин Дзержинский...

На следующее утро Власыч и Дзержинский проводили этап, попрощались с товарищами, выслушали пожелания счастливой удачи, подождали, пока этап тронется, и вернулись в продымленную, вонючую избу. До вечера спали, набираясь сил для предстоящего пути, в сумерках поели простывшей картошки, скользкой и противной, похлебали супу с хлебом, покурили. Время тянулось томительно долго, говорить было решительно не о чем, обо всем уже переговорили, все было ясно, кроме самого главного: выйдет или не выйдет, поймают или не поймают, – но об этом что ж говорить!

Чтобы не обращать на себя внимания солдата-инвалида, спавшего в сенцах, вылезли в низкое окошко в колючие кусты, поцарапались и переждали не проснулся ли солдат. Потом задами, мимо сараев, проваливаясь в какие-то ямы, через заборы зашагали к церковной площади. На Дзержинского почему-то вдруг напал смех, и оттого, что Власыч шипел на него, делалось еще смешнее, а Вла-

суч сердился и говорил, что это безобразие – смеяться в такие минуты...

Дошли до церкви, ветхой и покосившейся, миновали лабаз, колодезь, начали спускаться к реке. Чем ближе была река, тем плотнее сгущался туман; теперь он стоял сплошной белой стеной...

– Ничего не понимаю, – сказал Власыч, – куда теперь идти.

Долго молчали, прислушивались, не залает ли хоть собака. Ничего не было слышно, гробовая тишина. Направо ли идти, налево ли. Тишина, тьма, туман. Пошли вниз, и тут начались настоящие мучения. Как найти этот проклятый пень, к которому давеча утром привязали лодку? Сейчас не было ни пня, ни лодки. Ходили по колени в воде, мокли, дрожали от холода, от сырости, от волнения. Ничего глупее нельзя было придумать, чем такая история: потерять лодку, даже не отъехав от Верхоленска.

Власыч совершенно расстроился и измучился: лодки не было, точно она провалилась. А Дзержинский все время хохотал – до того, что даже Власыч не выдержал, тоже засмеялся. И тотчас же лодка нашлась. Она была тут, под самым носом, против того места, откуда они начали свои поиски.

– Видите, – сказал Дзержинский, – стоило вам только засмеяться, и лодка нашлась...

Дзержинский сел на нос, Власыч взял в руки весло. Душегубка была одновесельная, но шла быстро и легко. Власыч греб довольно ловко – один взмах слева, другой справа...

– Вы понимаете, куда мы плывем? – спросил Дзержинский.

– Не понимаю. А вы?

– Я решительно ничего не вижу. Даже воду перед собой не вижу.

Так, во тьме и в тумане, плыли часа два-три. Один раз наскочили на мель, другой раз – на берег. Туман по-прежнему стоял стеной. Дзержинский сидел на носу, свесившись почти к самой воде, – всматривался до того, что стало больно глазам, все ждал, что вот-вот покажется в воде бревно-пловун. Наконец показалось. Дзержинский схватил его руками, оттолкнул и прислушался; было слышно, как бревно царапнуло лодку по борту и с легким плеском отошло в сторону.

– Есть? – спросил Власыч.

– Есть, – ответил Дзержинский.

Голос у него был веселый, счастливый.

– Чему вы радуетесь? – спросил Власыч.

– Не знаю, – сказал Дзержинский, – но вы правы – мне весело. Осторожнее! – крикнул он. – Опять бревно! Подождите, не гребите, тут их целая флотилия. Подождите, слышите!

Свесившись вниз, он осторожно разгонял перед собой бревна, одно за другим, освобождая путь душегубке. Власыч помогал веслом. Бревен было много, у Дзержинского совершенно застыли руки от холодной воды.

– Тут просто каша, – говорил он, – невозможно выбраться. Попробуйте назад, Власыч!

Наконец выбрались и отсюда. Некоторое время лодка шла спокойным, верным ходом, потом Власыч стал разгонять. Короткими быстрыми взмахами он перебрасывал весло справа налево и опять направо, все время с большею и большею силою загребал воду.

– Здорово идет.

– Здорово.

– Могу еще поддать пару.

– А надо ли?

– Надо.

– И так идем быстро.

– Зато сколько мы потеряли времени, пока искали эту душегубку...

– Но имейте в виду, что если мы на таком ходу влетим в бревно, я ни за что не отвечаю...

На всякий случай Дзержинский грудью оперся о нос душегубки и опустил руки в воду, на случай, если вдруг на пути появится бревно. Власыч греб и тихонько посвистывал себе под нос. Потом что-то треснуло, и Дзержинский очутился в воде. Все произошло мгновенно. Отплеываясь и задыхаясь, он схватился руками за борт душегубки, но она тут же с бульканьем пошла ко дну. Где-то наверху, над головой, кричал дурным голосом Власыч:

– Держитесь, не робейте, я здесь...

– Где – здесь?

– Тут, над вами... Сейчас я вас спасу, держитесь... Сейчас я найду палку...

Все было как во сне, – и река, и туман, и крики Власыча.

– Наберите в себя побольше воздуха! Откликнитесь, вы живы? Сейчас я найду палку. Плавайте, плавайте!

Пока он кричал, Дзержинский уже понял, в чем дело: лодка налетела не на бревно, как он предполагал, а на старое уродливое дерево, свесившееся с обрывистого берега к самой воде. Это дерево, в которое с такой силой врезалась душегубка, и перевернуло ее...

К тому времени, когда Власыч нашел ветку, Дзержинский совершенно заledenел. Вобразившись на мокрый ствол дерева, он по стволу дополз до берега и принялся бегать, чтобы согреться. Уже светало. Через несколько минут беглецы поняли, что выбрались они не на берег Лены, а на крошечный, посреди реки, остров, на котором росло несколько сосен да низких разлапистых елей.

Власыч почти не промок: в ту секунду, когда душегубка налетела на дерево, он греб стоя и, собственно говоря, налетела не столько душегубка, сколько Власыч; ему удалось сразу же уцепиться руками за ствол так ловко, что в воду он и не попал.

Развели костер и сели греться у огня. Сырой валежник горел плохо, дымил и трещал. Сидели в смолистом дыму, молчали. Дзержинский, чтобы не дрожать, плотно обхватил себя руками, сидел и покачивался из стороны в сторону, потом не выдержал, еще раз побежал вокруг острова — греться.

Когда совсем рассвело, Дзержинский разглядел за рекою далеко от берега крестьянский обоз,двигающийся по направлению к воде. Пока мужики поили лошадей, Дзержинский кричал, сложив ладони рупором, чтобы прислали лодку, что с людьми беда и что они за все заплатят. Кричать пришлось так долго, что Дзержинский сорвал себе голос, но мужики в конце концов поняли и прислали лодку, случившуюся поблизости. Когда лодка была совсем уже близко от острова, Власыч вдруг зашептал Дзержинскому, что все переговоры с мужиками будет вести он, Власыч, по той причине, что внешность его гораздо более подходит к внешности купца, нежели внешность

Дзержинского, что, кроме того, он когда-то участвовал в любительском драматическом кружке и что в нем есть некоторые, неизвестные Дзержинскому таланты артиста.

– Я их всех просто вокруг пальца обведу, – шептал он, подмигивая Дзержинскому одним глазом и сделав необыкновенно хитрое лицо. – Я им такого Силу Силыча изображу, что вы просто ахнете...

Дзержинский с опаской поглядел на Власыча, но ничего не сказал: лодка уже причалила к берегу, говорить на эти темы было поздно. Власыч же, как-то странно согнув ноги в коленях и подбоченясь, пошел навстречу перевозчику, восклицая по дороге ненатуральным голосом:

– Здорово, братушка-землячок! Поклон тебе да ин до самой матери сырой земли! Здравствуй, православный! И-эх, какая нас беда застигла неминуемая, беда горячая...

И он понес такой вздор, что Дзержинскому показалось: вот сейчас, сию секунду, перевозчик снимет с себя пояс и молча начнет вязать руки неудачливому артисту, но... перевозчик оказался, по счастью, глухонемым. Промэкав что-то, в общем довольно почтительное и приветливое, он снял драный треух, поклонился, подождал, пока беглецы сели в его лодку, взмахнул веслами. Пока плыли, Дзержинский уговаривал Власыча не переигрывать, но Власыч заупрямился и сказал в ответ, что Дзержинский не был любителем, а он был и что он лучше знает, как изображать купца, торгующего мамонтовой костью...

Лодка врезалась в отлогую прибрежную косу, поджидавшие купцов мужики подтянули ее покрепче к берегу и низко поклонились Власычу. Едва ступив на землю, Власыч торжественно перекрестился широким истовым

крестом, стал на колени, земно поклонился, поцеловал песок перед собой и рыдающим голосом провозгласил:

– Возблагодарим же господа бога нашего, избавителя сладчайшего, премилостивейшего, всеблагого...

И раз за разом макая лоб в сырой речной песок, он начал завывать таким режущим уши, противным и неестественным голосом, что Дзержинский едва не прыснул и спасся только тем, что сам сотворил земной поклон, надолго спрятав смеющееся лицо в сочной весенней траве...

Мужики, которых было человек семь, тоже опустились на колени, и скоро над рекою поплыли торжественные звуки церковных песнопений. Власыч служил, как заправский поп, а мужики почтительно ему внимали. Наконец Власыч последний раз осенил себя и мужиков крестным знаменем, вздохнул, повернулся к мужикам красным от натуги лицом и громко сказал:

– А теперь, братцы, я вас должен от всего моего благодарного сердца поблагодарить за наше счастливое спасение! Спасибо, братцы!

Обтерев рот рукавом, он обнял и поцеловал сивобородого мужика, стоявшего впереди остальных, за ним поцеловал второго, за этим хромого мужика, которого другие звали Милован. Так он перецеловал всех и каждому при этом говорил:

– Спаси тебя господь!

Потом Власыч дал всем мужикам на водку очень щедро.

Мужики громко загалдели и стали кланяться, а Власыч стоял посредине, как скала, разглаживая усы, отросшие на этапах, и рассказывал историю их бедствия.

Когда ехали на подводах к селу, Милован, с которым Дзержинский сидел рядом, сочувственно сказал:

– А твой-то большак с горя малость свернулся.

И покрутил пальцами возле лба.

– Да уж, что уж, – неопределенно ответил Дзержинский и отвернулся, чтобы скрыть улыбку.

В селе поели, обсушились, обогрелись.

Днем выглянуло солнце, беглецы наняли подводу и отправились дальше.

Не проехали и нескольких верст, как повстречали бричку, в которой мчался какой-то полицейский чин в форменной фуражке, с саблей. Спасла фуражка, – Дзержинский вовремя заметил яркий околыш, крикнул Власычу: «Ложись!» – и сам лег на дно телеги.

Гремя колокольцами, бричка земского, запряженная тройкой каравых, промчалась мимо.

И вновь подвода закрипела немазаными осями по бесконечной безлюдной тайге.

Вечером, подъезжая к деревне, попали в беду.

Возле околицы стояла толпа мужиков и баб. Здесь же были и ребятишки. Стояли неподвижно, мрачные, с печальными лицами.

– Чего они стоят? – спросил Дзержинский у возницы.

– А кто их знает, чего они стоят, – последовал ответ.

Придержали на минуту лошадей, пошептались, – может быть, свернуть? Но сворачивать не было смысла: если захотят, догонят, – возле околицы на выгоне паслись стреноженные сытые кони; решили ехать, положась на авось. Когда подъехали к толпе вплотную, старик, стоявший впереди всех, рухнул на колени и стал просить, чтобы

его не погубили, не оставили без родителя малых детушек, без хозяина бабу...

Власыч, совсем уже приготовившийся еще раз изобразить тронувшегося умом Силу Силыча, успел только вылезти из подводы и произнести что-то вроде «не робей, детинушка, мы купцы-миллионщики», как положение вдруг изменилось.

Старик поднялся с колен, прищурился и спросил:

– Каки таки миллионщики? Чего врать-то. Кажи бумагу, не то мигом в холодную сведем.

Толпа вокруг загудела, послышались голоса:

– Да беглые они, чего с ними вожжаться...

– Зови сюда старосту...

– Ездият, иродово племя!

Власыч бил себя в грудь, орал, но его уже не слушали, и Дзержинскому пришлось вмешаться. «Э, была не была, – подумал он, – пропадать, так с музыкой!» В секунду промчалось перед глазами детство, польские паны-шляхтичи, их манера кричать на прислугу, все то, что так страстно ненавидел, и он закричал и поднял над головой крепко сжатый кулак.

– Безобразие! – по-польски кричал он. – Я вам покажу задерживать панов, государственных чиновников, вы у меня узнаете, почем фунт лиха, хлопское отродье! Я к вам полк солдат приведу, вы меня век не забудете! А ну, подать мне перо и бумагу! Да живо, я промедлений не терплю. Кто здесь присутствует, какие фамилии? Сейчас всех перепишу на лист для пана генерал-губернатора, пан генерал-губернатор...

Слова «генерал-губернатор» Дзержинский произносил

по-русски, а все остальное по-польски. Ему не пришлось особенно долго кричать. Старик вновь рухнул на колени и завыл, чтобы господин чиновник, его превосходительство, пожалел неразумную голову старого старичка.

Напуганный до смерти, он просил отобедать у него и остановиться, но Дзержинский наотрез отказался и пошел ночевать к другому мужику – менее сытому по виду и менее хитрому. Такие всегда надежнее.

У этого мужика, по фамилии Русских, Дзержинский узнал, что общество ждет возвращения земского начальника и волнуется потому, что пропило земские деньги, Власыча же и Дзержинского приняли за земского начальника, ожидаемого с часу на час. Старик, на которого накричал Дзержинский, главный виновник пропоя денег: он первый подал мысль о том, что можно как следует гульнуть на эти деньги.

Посоветовались в сенях и решили в деревне не ночевать. Мало ли что...

В конце сентября старик Руда получил у себя в Качуге посылку из-за границы. В посылке был очень хороший чай, сахар-песок и сахар-рафинад, банка кофе и много кислого монпансье.

Вскрывать посылку собрались все старики.

На самом дне ящика обнаружили маленькую записочку. В записочке было написано: «На добрую память от купцов, торгующих мамонтовой костью».

– Удрали-таки! – закричал старик Руда. – Это надо себе представить, удрали! Вот молодцы!

Старикам было о чем поговорить в этот вечер.

ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН

Зима 1931 года была в Гаграх необычайно суровой.

Весь декабрь шел дождь; в январе повалил снег. Это был очень странный снег, хотя так, по-видимому, и должен был выглядеть субтропический снегопад. Огромные, величиной с черешню, снежинки, нарядные, как елочные украшения, медленно опускались в неподвижном воздухе, и это медленное, монотонное падение не прекращалось ни на минуту в течение шести недель. Листья пальм не выдерживали тяжести непривычного снежного груза и ломались. Розы, которым полагалось цвести в это время, распускали свои лепестки над снежной пеленой, как лишайники севера. Так, наверное, выглядели тропические леса Европы в начале ледникового периода.

Всю зиму по Черному морю гулял шторм. На узкую полосу гагринской земли обрушивались огромные, молчаливые волны. Они двигались медленно, длинными правильными шеренгами, на очень большом расстоянии друг от друга, неся на своих гребнях толстых морских птиц. Споткнувшись о берег, валы опрокидывались, а птицы, исчезнув на миг, появлялись на гребне следующей волны. Ровный гул моря не умолкал много недель и уже не воспринимался как шум; прибой казался беззвучным, как снегопад.

Однако Гагры лишились не только тепла, солнечного блеска и благоухания цветущих садов, но также и электрического освещения. Гагринская гидростанция, равная

по мощности мотоциклету, приводилась в действие водопадом, свергавшимся с отвесного склона Жозекарского ущелья. Это был небольшой водопад; он мог бы весь, до последней капли, уместиться в обыкновенной водосточной трубе. Но декабрьские ливни превратили тощую струю в мощный поток, и гидростанция захлебнулась в нем; январские морозы сковали поток, и гидростанция осталась совсем без воды.

На фоне этих странных и грозных явлений особенно зловеще выглядела гибель духана «Саламандра». В старой гагринской крепости друг против друга расположились два конкурирующих артельных духана: «Феникс» и «Саламандра». Темной январской ночью, когда шторм бушевал с особенной силой, «Саламандра», к великой радости «Феникса», сгорела. Духан сгорел со всеми скорпионами, жившими в трещинах крепостной стены. Они были гордостью духана; каждый посетитель, осветив щели спичкой, мог любоваться скорпионами, которые настолько привыкли к аромату шашлыков, запаху красного вина и веселью гостей, что превратились в совершенно безобидных насекомых, вроде сверчков или шелковичных червей. Мрак и пламя скрыли от глаз картину гибели скорпионов, но говорят, что все они, согласно обычаю, покончили самоубийством, ужалив себя в голову и проклиная обманчивое название духана, которому доверились. В Гаграх и сейчас охотно рассказывают об этом событии.

Но гибель «Саламандры» не была последним звеном в цепи несчастий. Большая гора обрушилась на автомобильную дорогу к северу от Гагр, а дорога на юг, размытая дождями, сползла в море. И ни один пароход из-за шторма

не останавливался на открытом гагринском рейде. Горо-
док, засыпанный снегом, скованный стужей и погружен-
ный в темноту, оказался отрезанным от всего мира. Мно-
жество людей, собиравшихся провести в Гаграх месяц
отдыха, остались здесь на невольную зимовку. Они бро-
дили по засыпанному снегом гагринскому парку в тюбе-
тейках и макинтошах, подобно доисторическим людям,
которые зябли в своих демисезонных шкурах среди
надвинувшихся отовсюду ледников.

Если бы не морозы, штормы и обвалы, литературный
клуб в бывшем замке принца Ольденбургского, вероятно,
никогда бы не возник. Всем, бывавшим в Гаграх, знаком
вид этого здания, эффектно прилепившегося к почти от-
весному склону горы, построенного из камня, но в том
прихотливом и затейливом стиле, который характерен для
архитектуры деревянной. Бывшее жилье принца не пора-
жало внутри ни роскошью, ни комфортом; в наши дни
никому не пришло бы в голову назвать подобное здание
«дворцом». Впрочем, во всех комнатах принц поставил
нарядные камины, украшенные разноцветными изразцами.
У одного из этих каминов и собирались члены литератур-
ного клуба, обязанного своим зарождением разбушевав-
шимся стихиям и прежде всего стихии скуки.

От скуки страдали все жители санатория, кроме, разу-
меется, шахматистов. Садясь за доски с утра, они наносили
друг другу последние удары уже в полной темноте. Придя
после многочасовых усилий, к ладейному эндшпилю, не
замечая темноты, а может быть, и пользуясь ею, они ощу-
пью старались загнать друг друга в матовую сеть. Не
унывали и фотолюбители, с редким упорством снимавшие

в течение всего срока пленения один и тот же цветущий розовый куст, полужасыпанный снегом. Тем же, кто был свободен от этих увлечений, было плохо. Все надоело, хотелось домой. Казенные пижамы скрипучего желто-зеленого цвета, «мертвый» час, вдохи и выдохи на утренней зарядке, добрые няни, снующие по коридорам с грелками и клизмами, кровати с сетками, чувствительными, как сейсмограф, и шумными, как камнедробилки, надпись на дверях поликлиники, извещающая о том, что «рентгеновские лучи работают по четным и нечетным числам», – все то, что вначале радовало, казалось приятным, удобным, забавным, сейчас оставляло сердца холодными, раздражало, выводило из себя. Дошло до того, что никто уже не хотел взвешиваться на зыбких медицинских весах в докторском кабинете.

Кое-кто из больных уже поговаривал о том, чтобы «тюкнуть» по маленькой. А нескольких диетиков главврач застиг внизу, в крепости, в духане «Феникс», где диетики пожирали чебуреки, запивая их «Букетом Абхазии».

Вот в какой обстановке зародился литературный клуб у зеленого камина в палате номер семь. Сначала здесь занимались только игрой в отгадывание знаменитостей и разложением слов. Потом стали рассказывать разные истории, преимущественно страшные. Однажды кто-то предложил не рассказывать их, а записывать.

Ничего нет легче, чем убедить человека заняться сочинительством. Как некогда в каждом кроманьонце жил художник, так в каждом современном человеке дремлет писатель. Когда человек начинает скучать, достаточно легкого толчка, чтобы писатель вырвался наружу.

Чтения происходили по вечерам. В зеленом камине сердито шипели и плевались сырые поленья. Красноватый свет керосиновой лампы освещал пространство перед камином, оставляя углы палаты темными. Члены клуба занимали свои постоянные места. Слева сидел почтенный хлебопек Пфайфер, обратив к огню свое доброе лицо старухи. Рядом с ним устраивался военный интендант Сдобнов, всегда докрасна выбритый, в пижаме и сапогах. Еще дальше располагалась на кургузом диванчике женщина-врач Нечестивцева. Председатель клуба Патрикеев устраивался на двух чурбанчиках, поставленных на торцы. Как литератор он был освобожден от писания рассказов, но зато ему было поручено топить камин и следить за угольками, падающими на паркет. В углу на кровати сидел закадычный друг Патрикеева – доктор Бойченко, человек тихий, серьезный, ленинградского воспитания. Рядом с ним, на другой койке, лежал, просунув вишневые ботинки меж прутьев кровати, юрисконсульт Котик, жгучий брюнет с коричневыми белками и волнистыми усами Мопассана.

Девиз клуба, сочиненный Патрикеевым, гласил: «В каждой жизни есть по крайней мере один интересный сюжет». Поэтому авторам разрешалось брать сюжеты только из собственной жизни. А так как жизни у всех были совершенно непохожие, то все написанное оказывалось неожиданным и интересным. Все предполагали, что старичок Пфайфер, знаменитый специалист-хлебопек, напишет о пекарнях. Но он написал рассказ «Как я заболел мокрым плевритом».

Надо сказать, что членам клуба льстило знакомство с известным писателем. Оно возвышало их над обитателями

других палат, рядовыми шахматистами, фотолюбителями и разлагателями слов. Сколь ни мелок этот мотив, мы не можем умолчать о нем. Возможно, что старик Пфайфер был более знаменит среди хлебопеков, чем Патрикеев среди писателей, но о Патрикееве знали очень многие, а о Пфайфере знали только хлебопеки. Иначе и быть не могло, ибо Пфайфер не ставил своего имени на хлебах, как Патрикеев на романах, хотя последние, быть может, и не были лучше выпечены, чем изделия доброго хлебопека.

Патрикеев и его скромный друг доктор были неразлучны: если один отправлялся любоваться прибоем или смотреть на розовый куст, засыпанный снегом, за ним сейчас же отправлялся и другой. Истоки их дружбы никому не были известны; чувство ревности подсказывало членам клуба единственное объяснение: великие люди нередко обременены всякими друзьями детства, бывшими соучениками, соседями по парте, ныне провинциальными бухгалтерами или лекпомами, не замечающими той пропасти, которая образовалась между ними и их знаменитыми сверстниками.

Было известно, что живут они в разных городах: Бойченко – в Ленинграде, Патрикеев – в Москве, но отпуск всегда проводят вместе. Это свидетельствовало о том, что дружба их отличалась пылкостью, свойственной юности, но редко наблюдаемой среди людей, которым перевалило за тридцать. Ни Патрикеев, ни Бойченко не были, однако, коренными жителями северных столиц. В их речи звучал тот неистребимый южный акцент, который позволяет безошибочно узнавать бывшего одессита в толпе ленинградцев и москвичей.

Дела клуба шли прекрасно, но однажды его ревностные члены были возмущены доктором Бойченко, который заявил, что ему не о чем писать. Особенно кипятились старичок Пфайфер и Нечестивцева, с большим успехом прочитавшая накануне новеллу, насыщенную интимной лирикой. Никакие уговоры не подействовали бы на застенчивого и упрямого доктора, если бы не вмешался его друг Патрикеев.

– Не верьте ему, – объявил председатель клуба, – у него больше сюжетов, чем у любого из нас. Володя, – обратился Патрикеев к приятелю, – почему бы тебе не написать о зеленом фургоне?

Через несколько дней Владимир Степанович Бойченко занял место по правую сторону камина и приступил к чтению своего рассказа.

1

Летом 1920 года население местечка Севериновки, Одесского уезда, с нетерпением ожидало нового начальника районного уголовного розыска. Севериновка в те годы была пыльным торговым местечком, с домами из желтого известняка и глины, с базарной площадью и рядами крытых рундуков на ней, с разрушенной экономией графа Потоцкого, церковью, киркой и синагогой. Процент самогонщиков и спекулянтов среди жителей местечка в те времена был настолько велик, что уголовный розыск являлся наиболее посещаемым и влиятельным учреждением в Севериновке. Естественно, что личность нового начальника интересовала всех.

К тому же откуда-то пошел слух, что уезд, обеспокоенный отчаянной репутацией местечка и бытовым разложением прежних начальников угрозыска, которых пришлось убирать из Севериновки одного за другим, решил наконец поставить на колени непокорных севериновцев и с этой целью посылает к ним из соседнего района работника особо подготовленного, человека твердого и даже беспощадного.

Еще никому из прежних начальников не удавалось надолго задержаться в Севериновке, а последний вынужден был исчезнуть, не успев даже справить себе желтых сапог на высоком каблуке и белой козловой подклейке, с носком «бульдог», подколенными ремешками и маленьким раструбом вверху голенища. Ни в Яновке, ни в Петровровке, ни в Кодыме, ни в самой Балте таких сапог шить не умели. Севериновцами было замечено, что этот фасон притягивает к себе начальников с такой же непреодолимой силой, с какой сказочного короля притягивала рубашка счастливого человека. И севериновцы умело использовали магическую силу желтых сапог. Как только в уезде узнавали, что очередной начальник не смог противостоять губительной страсти и принял в дар желтые сапоги, его вызывали в Одессу, выгоняли из розыска и отдавали под суд за взяточничество.

Новый начальник приехал в жаркий июльский день, когда Севериновка казалась почти безлюдной. Горячий ветер перекатывал по базарной площади вороха упавшей с возов соломы, улицы курились пылью, все было накалено и высушено до такой степени, что никого не удивило бы, если бы местечко, шипя и дымясь, начало тлеть. И если

этого не случилось, то только благодаря тому, что раскаленное местечко охлаждала зыбкая топь, никогда не просыхавшая в центре площади, вокруг водопоя.

Новый начальник слез с брички и, побрякивая амуницией, поднялся по ступенькам в помещение уголовного розыска, где его встретила делопроизводитель Анна Семеновна Мурашко, дама лет тридцати пяти, одетая в розовое, фисташковое и кремовое, похожая издали на сладкое блюдо.

Анна Семеновна предъявила новому начальнику – она делала это уже не раз – книгу ордеров на арест и обыск, а также круглую печать и доложила, что в распоряжении районного розыска находятся серая кобыла Коханочка с кавалерийским седлом и ременной плеткой и младший милиционер Грищенко, ныне отсутствующий.

Начальник вернул Анне Семеновне книги и ордера, себе же взял круглую печать и ремennую плетку с рукояткой из заячьей лапы. Затем он вывел из стойла кобылу Коханочку, собственноручно возложил на нее кавалерийское седло и умчался в неизвестном направлении, даже не умывшись с дороги.

Внешность нового начальника, насколько ее можно было рассмотреть под густым слоем степной пыли, подтверждала худшие опасения севериновцев. Ему было всего лет восемнадцать, но в те времена людей можно было удивить чем угодно, только не молодостью. Он был угрюм, неразговорчив и мрачен. Принимая дела у Анны Семеновны, он не произнес и десяти слов. Сложная система ремней, цепочек и пряжек поддерживала на его талии крупнокалиберный кольт, висевший обнаженным, и две

бомбы-лимонки, которые, ударяясь при ходьбе друг от друга, издавали звук, похожий на чоканье. На плече висел новенький японский карабин. Севериновцы решили, что этому человеку не знакомы ни страх, ни жалость.

В первые дни новый начальник ни с кем не знакомился и почти не слезал с Коханочки. Анна Семеновна, у которой накапливались неподписанные бумажки, выходила на крылечко и старалась перехватить начальника, когда он проносился через базарную площадь. Если ей это удавалось, начальник подъезжал к крылечку, не слезая с коня, прикладывая круглую печать к намазанной чернилами подушечке, которую подставляла ему Анна Семеновна, оттискивал печать на бумажке, подписывался и снова скрывался в клубах пыли.

Таинственные разъезды начальника еще более укрепляли севериновцев в их опасениях.

– Зверь! – говорили о нем.

Но с течением времени новый начальник стал меньше разъезжать и занялся распутыванием кое-каких уголовных дел.

Помимо кольта и бомб-лимонок, предназначавшихся для обороны и нападения, он привез с собой увеличительное стекло для разглядывания следов, оставляемых преступником на месте преступления, и карманное зеркальце, с помощью которого можно было, не оглядываясь, установить, не идет ли кто-нибудь сзади. К сожалению, перед отъездом из Одессы он не сумел раздобыть очков с дымчатыми стеклами, париков и грима, которые могли бы оказаться очень полезными в Севериновке.

Он был несколько разочарован, убедившись, что дере-

венские преступники не оставляют после себя тех улик и вещественных доказательств, которые, по всем правилам, должны были бы оставлять на месте преступления: волосков, прилипших к орудиям убийства, оттисков пальцев, окурков, папиросного пепла и отпечатков подметок, которые позволяли бы судить о размерах обуви, походке, характере, имущественном положении и даже внешности правонарушителя. Преступники в Севериновке не оставляли после себя никаких следов. Как бы внимательно ни вглядывался он в свою лупу, он видел всегда одно и то же: мусор и какие-то щепочки.

Исключение представляли следы прикомандированного к розыску младшего милиционера Грищенко. Грищенко обладал прекрасными английскими ботинками военного образца с круглыми шипами на подметке и каблуке. Такими ботинками три-четыре месяца назад торговали в Одессе белые и интервенты. Ботинки оставляли на дорожной пыли и грязи красивые отпечатки, позволявшие судить о передвижениях Грищенко по базарной площади. Отпечатки петляли по всей площади, пересекали ее во всех направлениях, но особенно густо было испещрено ими пространство вокруг рундуков, торговавших снедью. Учась понимать трудный язык следов, новый начальник часто бродил, опустив голову, по площади, вглядываясь в следы Грищенко и стараясь разгадать причины, которые побуждали младшего милиционера столь усердно колесить вокруг рундуков.

Грищенко очень понравился новому начальнику. Если бы природа захотела создать идеального младшего милиционера, она не смогла бы сделать его лучше. Грищенко

обладал необыкновенными способностями в своем деле. Вскоре после приезда в Севериновку новый начальник поехал с ним в соседнее село, изобиловавшее самогонными заводами. Была лунная ночь, спящее село лежало у их ног. Разглядывая с пригорка панораму села, начальник испытывал серьезное затруднение. Он не знал, как отличить хаты, внутри которых работают самогонные аппараты, от хат, где этих аппаратов нет. К его удивлению, Грищенко, втянув ноздрями воздух, уверенно направил бричку в один из дворов, где они и обнаружили самогонный аппарат. Покончив с этим делом, они выехали на улицу, и Грищенко, снова понюхав воздух, обнаружил второй аппарат. Замечательное обоняние было у Грищенко! Он безошибочно улавливал запах дыма, выходящего из труб тех хат, где гнали самогон, никогда не смешивая его с дымом, который клубился над хатами, где пекли, например, хлебы. Он так тонко различал самогонный запах, что, нюхнув печного дыма, мог уверенно сказать, какой самогон гонят в хате: кукурузный, сахарный, сливовый, пшеничный или из мелиса. К сожалению, необыкновенное обоняние Грищенко из-за каких-то атмосферных помех отказывалось действовать в Севериновке, чем только и можно было объяснить, что севериновские самогонщики до сих пор спасались от гибели.

Не менее замечательным было у Грищенко и осязание. На его правой руке сохранились только два пальца – указательный и мизинец, остальные были обрублены при неизвестных обстоятельствах. Всякий другой не смог бы показать и фигу столь изуродованной рукой, похожей на рогач, которым вытягивают из печки горшки. Грищенко же

своей двупалой рукой творил чудеса. Погрузив ее в спекулянтский воз, он никогда не вытаскивал ее пустой. Его коричневые цепкие пальцы обязательно выуживали оттуда то квадратные куски подошвенной кожи, то верхний товар — головки, халявки или заготовки, то пачки с табаком, то осьмушки чая, то коробочки с сахарином, то еще что-нибудь из дефицитных предметов, запрещенных в те времена к вывозу из города. Слух о подвигах Грищенко пошел так далеко, что спекулянты стали объезжать Севериновку стороной. Что касается других младших милиционеров, хотя и пятипалых, но менее способных, то они считали сверхъестественную чувствительность грищенковских пальцев результатом его уродства: при ранении якобы были задеты какие-то нервы и сухожилия его правой руки, и это сообщило им почти электрические свойства.

Со своей стороны, Грищенко должен был признать превосходство нового начальника, как человека со средним образованием, в тех случаях, когда надо было составлять протоколы и акты осмотра найденных у дорог трупов.

В то беспокойное время трупы у дорог находили часто.

Новый начальник прекрасно составлял эти акты. Вначале он указывал положение трупа относительно стран света. Затем следовало описание позы, в которой смерть застигла жертву, и ран, которые ей были нанесены. Наконец, перечислялись улики и вещественные доказательства, найденные на месте преступления.

Обычно достоверно было известно только положение трупа относительно стран света: лежит он, например, головой к юго-востоку, а ногами к северо-западу или как-нибудь иначе. Но талант нового начальника проявлял

себя с наибольшей силой именно там, где ничего не было известно. Несмотря на однообразие обстоятельств и мотивов преступлений – все это были крестьяне, убитые на дороге из-за пуда муки, кожуха и пары тощих коней, – догадки и предположения, вводимые им в акты, отличались бесконечным разнообразием. В одном и том же акте иногда содержалось несколько версий относительно виновников и мотивов убийства, и каждая из этих версий была разработана настолько блестяще, что следствие заходило в тупик, так как ни одной из них нельзя было отдать предпочтения. В глазах начальства эти акты создали ему репутацию агента необыкновенной проницательности. В уезде от него ожидали многого.

Успехи нового начальника в этой области были тем более поразительны, что до приезда в деревню он никогда не видел покойников. В семье его считали юношей чрезмерно впечатлительным и поэтому всегда старались отстранить от похорон. Но что были корректные, расфранченные городские покойники по сравнению с этими степными трупами!

Грищенко был первым человеком в Севериновке, который разгадал характер нового начальника. От зоркого глаза Грищенко не укрылось, что каждый раз, когда молодому начальнику приходилось вступать в объяснения с Анной Семеновной, на загорелом лице его проступает легкая краска. Вскоре после этого Грищенко установил, что таинственные разъезды начальника на кобыле Коханочке не имеют никакого другого повода, кроме болезненной застенчивости, заставляющей его искать уединения, мучительно стесняться и избегать людей малознако-

мых; Грищенко понял, что под грозной внешностью начальника скрывается натура робкая, доверчивая и деликатная.

Недели через две все в Севериновке – и Грищенко, и Анна Семеновна, и виднейшие самогонщики местечка, любившие посудачить в свободные часы на крылечке уголовного розыска, – называли нового начальника по имени, Володей. Севериновцы поняли, что на этот раз дело обойдется даже без желтых сапог, которые они уже собирались справлять ему всем местечком. Самогонные заводы, остановленные было на текущий ремонт до выяснения характера нового начальника, задымили в Севериновке так, как они никогда еще не дымили.

2

Однажды Володя возвращался с Поташенкова хутора, куда его вызывали по пустяковому делу о краже кур и гусей. Осмотр курятника не дал ничего существенного. Картина деревенского преступления, как всегда, оказалась скудной и невыразительной. В ней не было ни одной детали, которая могла бы дать пищу воображению. Опустошенный сарайчик со следами недавнего пребывания в нем кур и гусей, сломанная дверка да несколько перьев, выпавших из петушиного хвоста в тот момент, когда злоумышленники извлекали птицу из курятника, – вот и все, что увидел Володя на месте преступления. Он составил протокол, приобщил перья к вещественным доказательствам и покинул хутор.

В этот день в Севериновке был базар, и Грищенко

усердно подгонял лошадей. Грищенко очень любил базары. Лошади бежали проворной рысцой. Это была особая порода лошадей: мелкие, узкогрудые, животастые коники гнедой масти, они ничем не отличались бы от других лошадей, если бы не сургучные печати, привешенные к их жидким хвостам. Гнедые коники являлись вещественными доказательствами и в качестве таковых несли на себе номер дела и печати, подтверждающие их особое юридическое состояние.

Вещественные доказательства лишены свойств обыкновенных вещей. Их нельзя ни продавать, ни покупать, ни дарить, ни тем паче отчуждать в свою пользу. Однако в первые месяцы существования североинского уголовного розыска вещественные доказательства как бы меняли свою юридическую природу. Происходило это благодаря единственному свойству, которое еще связывало эти предметы с круговоротом жизни: вещественные доказательства разрешалось выдавать во временное пользование. Это был патриархальный обычай, свято соблюдавшийся всеми предшественниками Володи. Такой порядок казался совершенно естественным; Грищенко, например, даже был искренне убежден, что вся деятельность североинской милиции должна сводиться к добыванию вещественных доказательств, что они – конечная цель всей работы уголовного розыска и милиции. К тому же он считал, что все в жизни временно, и все, чем мы располагаем в этом мире, по существу находится у нас во временном пользовании. Володя был очень смущен, когда восемь младших милиционеров во главе с Грищенко подали ему заявление: «Просим

выдать во временное пользование по одному фунту постного масла из камеры вещественных доказательств».

Но еще больше был смущен сам Грищенко, когда узнал о реформе, намеченной Володей в отношении конфискованного самогона. Узнав от Володи о предстоящем уничтожении самогона, он неправильно истолковал намерения нового начальника и поэтому спросил, плотоядно хихикая:

– А закуска, товарищ начальник, е?..

Но ему пришлось увидеть небывалое: ароматная желтоватая струя лилась на землю; обертываясь в пыль, она растекалась длинными языками, орошая облюбованное милиционерами местечко в глубине двора, за сарайчиком, точно это не высокосортный первач, а бог знает что. И Грищенко, едва сдерживая стоны, должен был расписаться на «акте уничтожения». Затем наступила очередь самогонных баков и змеевиков, из которых многие поражали своим техническим совершенством. Это было воспринято в местечке как гибель культуры. Весть о необычайном событии разнеслась по району; вся округа погрузилась в горестное недоумение. Самогонщики были вне себя. Это ставило на голову всю их политику.

Обрадовался только местный доктор. Он сейчас же пришел к Володе и стал просить, чтобы конфискованный самогон передали в больницу, где давно уже не было спирта. С этого дня весь самогон шел в больницу.

Влекомая вещественными доказательствами, бричка уже въезжала в местечко, когда со стороны базарной площади послышалась стрельба. Через минуту мимо Володи и Грищенко промчался новый открытый зеленый фургон. Молодой парень стоял на нем во весь рост, широко рас-

ставив ноги в залатанных штанах. Балансируя на ухабах, он нахлестывал разъяренных вороных жеребцов. Едва Володя успел позавидовать этому умению жителя степи – сам он не смог бы устоять и на подводе, едущей шагом, – как зеленый фургон скрылся в клубах пыли. Грищенко задумчиво посмотрел ему вслед и, не ожидая распоряжений, погнал гнедых к базару.

Через минуту бричка выехала на площадь.

Базар был завален арбузами всех сортов – херсонскими, монастырскими, днепровскими, – венками репчатого лука, синими баклажанами, нежно-розовыми глиняными глечиками, в которых вода остается прохладной в самый жаркий день, новыми просяными вениками и другими малопитательными и не дефицитными предметами. Это был, так сказать, видимый базар. Внутри этого видимого базара существовал другой базар – невидимый, который и являлся главным. На невидимом базаре торговали салом, сахаром, кожей. Это был нервный базар, с торговлей из-под полы, вспышками паники, конфискациями и неожиданной стрельбой, – базар тысяча девятьсот двадцатого года.

У въезда в постоялый двор гудела большая толпа. Из толпы навстречу бричке выскочил волостной милиционер Кондрат Жменя, запихивая на ходу новую обойму в свою трехлинейную винтовку.

Кондрат Жменя оглашал воздух бранью. Она сотрясала все его существо, мешая бежать, стрелять и говорить. Тем не менее, хотя и с помощью одних только ругательств, Жменя быстро и точно описал Володе происшедшее.

Только что, на глазах у всего народа, под носом у него, волостного милиционера Кондрата Жмени, в двух шагах от

районной милиции и уголовного розыска, известный всему району дерзкий вор Красавчик угнал фургон и пару лошадей.

Володе не надо было объяснять, кто такой Красавчик. О поимке Красавчика он мечтал со дня своего приезда в Севериновку. Едва услышав это имя, Володя выскочил из брички.

– Где стоял фургон? – спросил он взволнованно.

Он бросился к месту, указанному Жменей, упал на колени и стал разглядывать дорожную пыль сквозь увеличительное стекло. Толпа затихла и с уважением следила за его действиями. Вокруг стояли немцы в черных чиновничьих фуражках и двубортных твинчиках, из-под которых виднелись бархатные фиолетовые нагрудники; молдаване в длинных рубашках, расшитых красным и зеленым; украинские дивчины, замотанные белыми платочками по самые глаза; чинные местечковые самогонщики, одетые по-городскому. Володя видел только их сапоги, попадавшие иногда в фокус его двояковыпуклой линзы. Грищенко куда-то исчез. Володя ползал уже минуты две, но успел разглядеть только несколько непереваренных конскими желудками овсинок. От этого занятия его отвлек протиснувшийся сквозь толпу Грищенко.

– Що вы тут шукаете, товарищ начальник? Це ж одно смиття! – сказал он по-украински. Со всеми Грищенко разговаривал по-русски, а с Володией почему-то только по-украински. – Чи, може, вы шукаете тут вещественные доказательства? – добавил он.

В его словах звучал льстивый оптимизм, с помощью которого он старался отвлечь внимание начальника от за-

жатого под мышкой круглого румяного кныша; происхождение кныша не оставляло сомнений, а быстрота, с которой он появился, была почти сверхъестественной.

Но Володя как зачарованный продолжал разглядывать землю, на которой запечатлелся невидимый след преступления.

– Прямо счастье, что толпа не затоптала следы, – сказал он. – Они нам расскажут, куда скрылся Красавчик.

– Красавчик? – удивился Грищенко. – Да мы ж его бачили. До Одессы подался Красавчик.

– То есть, как – бачили? Почему до Одессы? – уставился на него Володя.

– Зеленый фургон у криницы мы бачили? Бачили. Хлопца на том фургоне мы бачили? Бачили. Так то ж Красавчик и був.

От изумления Володя чуть было не выронил увеличительное стекло.

– В погоню! – крикнул он и бросился к бричке.

– В какую погоню? – холодно спросил Грищенко, не трогаясь с места. – А коней напугать?

– Да ты же их напугал на хуторе? – удивился Володя.

Гнедые стояли понурившись. Их обвислые, старческие губы едва не касались широких, плоских копыт, рыжеватая шерсть была как бы побита молю, вместо хвостов торчали черные резиновые репки, почти лишенные волос. Понятие погони было чуждо их опыту и их физической организации. Гнедые занимали такое же место среди лошадей, как маневровый паровоз серии «фита» среди курьерских паровозов.

– Грищенко, – сказал Володя, сильно покраснев, – я

приказываю тебе немедленно отправиться со мной в погоню.

Грищенко понял, что погоня неизбежна. Он засунул кныш в козлы, под сиденье, где хранились уздечки, цепной тормоз для спуска с крутого косогора и запасной шкворень; влез на сиденье и, глухо чертыхаясь, вытянул гнедых по бокам кнутовищем.

Через минуту бричка выкатилась на шлях, по которому они только что въезжали в местечко.

3

Грищенко безжалостно хлестал гнедых. Кнутовище с глухим стуком ударяло по их бугристым хребтам. Кони скакали тем вялым галопом, глядя на который встречные лошади не могут прийти в себя от изумления. Столь медленный галоп, несомненно, находился на грани невозможного. Высоко вскидывая то головы, то крестцы, гнедые колыхались над дорогой, и со стороны никак нельзя было понять, мчатся они во весь карьер или плетутся шагом. Их тянуло назад, к камере вещественных доказательств, к опису.

– Но-о, милицейская хухоба! – кричал Грищенко, хлопая гнедых кнутовищем по угловатым крупам, по частоколу ребер и даже по черепам, издававшим кувшинный звон.

Но ему не удавалось выколотить из лошадей ничего, кроме пыли. Равнодушно отмахиваясь сургучными печатями, гнедые продолжали симулировать галоп. Грищенко стоял на передке в позе Красавчика; балансируя на ухабах,

он широко замахивался на гневных, гикал, свистел. Всем своим видом он изображал лихую погоню. Была ли в этом шуме и свисте какая-то фальшивая нота, понятная лошадям, или, быть может, между энергичным причмокиванием, подергиванием вожжей и взмахами кнута существовал какой-то разнбой, приводивший к тому, что каждое из этих действий как бы отменяло предыдущее, но скорости не прибавлялось.

Грищенко тянуло назад, в местечко, к туго набитым мужицким возам, к маленьким базарным радостям и удачам, от которых его так бессмысленно оторвали.

Когда бричка взобралась на бугор, Грищенко обернулся к Володе и показал вперед кнутовищем. По противоположному склону балки двигался зеленый фургон. Возница его нахлестывал лошадей. Володе страшно захотелось соскочить с брички, сбросить с плеча японский карабин, упасть на колено и пустить меткую пулю вдогонку беглецу. Но он постеснялся Грищенко; как-никак до фургона было километра два, и этот выстрел мог показаться Грищенко недостаточно солидным. Пока Володя боролся с сомнениями, зеленый фургон перевалил через бугор и исчез из глаз. Падать на колено было поздно.

Когда они взобрались на второй бугор, впереди уже никого не было видно.

Володя начал опрашивать встречных.

— Будьте любезны, скажите, пожалуйста, — вежливо обращался он к проезжему дядьку, — вы зеленый фургон и вороных жеребчиков по дороге бачили?

— Бачили, бачили, — отвечал дядько — вон за тим горбочком.

Дядько долго стоял на месте и смотрел вслед бричке. А погоня скакала дальше, пока не встречала другого дядька, и тот тоже после разговора с Володей застыл на месте и глядел ему вслед.

Уже много дядьков стояли как зачарованные на пыльном шляху, а Володя все продолжал расспросы.

– Простите, не побачили ли вы зеленый фургон с воронными жеребчиками? – спрашивал он, и все отвечали ему, что бачили.

Грищенко мрачно молчал, не желая облегчать переговоры с дядьками.

Чем ниже опускалось солнце, тем меньше дядьков попадалось им навстречу. Когда же бричка взобралась в на третий горбочек, Володя и Грищенко уже ничего не увидели впереди, так как стало темно.

Из темноты навстречу бричке выехал длинный обоз.

В те времена люди по шляхам ночью не ездили. Селяне, купцы, извозчики-балагулы старались попасть на постоянный двор засветло. Если же сумерки настигали проезжего в пути, он останавливался и ждал попутчиков. Подъезжала одна подвода, потом другая, третья. И когда их собиралось много, они двигались шумным обозом. Так во время войны ходили по морям караванами торговые суда союзных держав, спасаясь от подводных лодок.

Лиц дядьков не было видно, только сигарки вспыхивали в темноте и сквозь скрип колес были слышны слова – то украинские, то болгарские, то немецкие. Володя опрашивал невидимых дядьков. Они тоже встречали одинокий фургон, но не могли сказать, был ли он зеленым.

Еще полчаса ехали Володя и Грищенко, никого не

встречая. Проехав Ильинку, Грищенко остановил бричку, чтобы посвистать гнедым.

– Чуете? – спросил он, прислушиваясь к чему-то.

– Чую, – ответил Володя, думая, что вопрос относится к поведению лошадей.

Но Грищенко продолжал вслушиваться в степную тишину. Где-то звенели втулки фургона. Звук то усиливался, то замирал, окраска его менялась: то он был похож на шум струи, льющейся из крана, то на комариное пение.

– Красавчик, – сказал Грищенко, ткнув в темноту кнутовищем.

Не раз удивлял он Володю своим необыкновенным слухом. По звону втулок он за три версты мог определить, едет ли фургон, или рессорный молочник, или арба, или бричка, или мажара. А в своей деревне, слыша далекий звон втулок, он мог даже сказать, чей фургон едет, чья арба, чей молочник.

Ильинка и Куяльницкий лиман, блеснувший где-то внизу, остались слева. Бричка спускалась в балку, к тому месту, где в нескольких саженях от дороги стоял остов сожженного грузовика. На всем шляху – от Одессы до самой Балты – не было места хуже. Придорожная верба у Ангелова хутора, гребля за Яновкой, погорелая Петровская экономия, могила у Ширяева и еще одна могила, поближе к Одессе – все эти опаснейшие места степного фарватера, известные всякому, кто ездил тогда по Балтскому шляху, не могли сравниться с этим зловещим грузовиком в балочке за Ильинкой.

Кругом зияли выходы из каменоломен. Неподалеку вытянулись нехорошие села Кубанка и Малый Буялык.

Грищенко остановил бричку и, громыхнув затвором, вогнал в ствол патрон. Володя торопливо сделал то же.

– Но, милицейская хужоба! – сказал Грищенко негромко, и они двинулись вперед.

Володя сжимал карабин, едва сдерживая радость. Он убеждался, что храбр. Он склонялся к этой мысли и раньше, но, желая быть честным и требовательным к себе, откладывал окончательный вывод до проверки на деле. Володя спокойно вглядывался в темноту, и, хотя очертания грузовика казались ему более уродливыми и зловещими, чем обычно, рука его, ощущавшая влажное от вечерней сырости ложе карабина, была тверда.

Он даже почувствовал некоторое разочарование, когда убедился, что бандиты, по-видимому, решили не появляться этой ночью у грузовика. Но едва он подумал об этом, как Грищенко так резко осадил коней, что Володя, державший указательный палец на курке своего карабина, едва не выстрелил ему в спину.

Грищенко соскочил с козел и показал вперед дулом своего манлихера¹. Володя тоже соскочил и, выставив вперед свой карабин, стал рядом с Грищенко.

– Бачите? – спросил тот Володю замороженным голосом.

– Ни, – ответил Володя почему-то по-украински. Грищенко присел на корточки. Володя присел рядом с ним и почти приник щекой к земле: так ночью в степи лучше видно – очертания предметов вырисовываются на светлом фоне неба.

¹ Манлихер – австрийская винтовка.

– Якась зараза там на дороге качается, – прохрипел Грищенко.

Наконец и Володя увидел впереди что-то большое, черное. Черное пятно бесшумно двигалось то в сторону, то навстречу, угрожающе шевелилось. Иногда оно приподнималось над дорогой и несколько мгновений висело в воздухе, иногда застывало на месте. Они сидели на корточках довольно долго, но черное пятно не уступало дороги. Ничто не нарушало тишины. Наконец Грищенко встал, и они начали медленно продвигаться вперед.

Вдруг слабый, едва уловимый запах долетел до них. Грищенко выпрямился и матюкнулся. Они быстро пошли вперед, и чем ближе подходили к черному пятну, тем удушливее становился запах. Ночной мираж исчез. Пятно перестало качаться в воздухе и приняло определенные очертания. У обочины лежала дохлая лошадь с огромным вздувшимся животом. В тот год у дорог валялось много дохлых лошадей.

Они вернулись к бричке. Грищенко, растерев на ладони щепоть доморослого «самограя», свернул толстую сигарку. Желтое пламя зажигалки на секунду осветило ухабы и выбоины его щербатого лица.

– Чуете? – спросил он, затягиваясь. Где-то тонкой свирелью звенели втулки.

– Хоть бы какой-нибудь отпечаток, какой-нибудь след, какая-нибудь примета! – грустно сказал Володя.

Но у следствия не осталось ничего. Все следы, все отпечатки остались на месте преступления и погибли безвозвратно.

– Приметы? – сказал Грищенко. – Приметы я все бачив.

Он приставил палец к ноздре и звучно высморкался в степь; затем приставил палец к другой ноздре и высморкался еще раз.

– Заднее левое колесо новое, – сказал он наконец, – спицы не крашены. На задку – розочки... Жеребцы вороные, два аршина, два вершка, белые лысины, хвосты стрижены... Нарытники² немецкой работы, с бляшками... Ще що? Кони не кованы.

Володя оторопел. Он знал, что Грищенко обладает поразительным зрением, но то, что он сейчас услышал, превзошло все его ожидания. Сколько важных вещей сумел увидеть и запомнить этот человек, взглянув мельком на мчавшийся зеленый фургон, который пронесся мимо них и скрылся в клубах пыли, раньше чем он, Володя, успел заметить лицо преступника!

Догнать Красавчика не было никакой надежды. Грищенко сел на сиденье рядом с Володей, вынул из козел кныш и, разломив его пополам, угостил начальника.

Володя рассеянно принял угощение. В голове у него зрел план.

– Правь на Одессу, – сказал он после долгого раздумья.

Грищенко чмокнул. Усталые гнедые поплелись к Одессе.

Кныш оказался с гречневой кашей, печенкой и шкварками. Съев кныш, Володя и Грищенко задремали, зная, что гнедые сами найдут дорогу в город. Долго еще слышалось Володе далекое верещание, но он уже не знал, верещат это втулки Красавчика, или у него самого звенит в ушах.

² Нарытник – шлея.

Бричка вздрагивала на ухабах, чокались друг о друга германские бомбы-лимонки, черный американский кольт, качаясь на ремешке, позвякивал о сталь японского карабина, а молодой начальник, прислонившись к плечу соседа, тихонько посапывал, словно дул в камышинку.

4

Как разгадать намерения преступника, если о них ничего не известно? Володя знал, что отвечает на этот вопрос теория и практика розыска: нужно поставить себя на место преступника.

Что сделал бы он, Володя, на месте Красавчика? Длинная цепь логических умозаключений привела Володю к выводу, что на месте Красавчика он заехал бы на ночевку в какой-нибудь постоянный двор на окраине Одессы.

Володя решил переночевать в Одессе, а рано утром тщательно осмотреть подозрительные постоянные дворы на Балковской улице. Таков был план, который он составил, жуя грищенковский кныш. Кстати, на завтра у него была назначена в Одессе встреча с агентом второго разряда Шестаковым по очень важному и совершенно секретному делу.

Если Грищенко в глазах Володи являлся олицетворением фронтовой доблести, то новый агент второго разряда Виктор Прокофьевич Шестаков, прибывший в Севериновку на неделю позже Володи, представлял собой зрелище более чем невзрачное. В Грищенко все говорило о подвиге; и короткая австрийская шинель, и тяжелый манлихер, который он носил на ремне прикладом вверх, И

серьга в ухе, и знаменитая двупалая рука. Володя уважал Грищенко за зрение, за слух, за обоняние, за осязание. Он уважал его за ботинки – знаменитые английские военные ботинки на шипах, весом по два с половиной кило каждый, ботинки героя.

А Шестаков, немолодой, болезненный человек, ходил по улице в деревянных сандалиях, дома же – босиком. Деревянные сандалии, называвшиеся в Одессе, стукалками, при ходьбе щелкали, как кастаньеты, и по этому шуму за километр можно было узнать о приближении детектива. Володя не раз с неудовольствием спрашивал Шестакова:

«Ну, а что вы будете делать со своими стукалками, Виктор Прокофьевич, если вам придется подкрадываться?»

И Виктор Прокофьевич смущенно отвечал:

«Тогда я их сниму и буду подкрадываться босиком».

В общем, сначала Володя недолюбливал Виктора Прокофьевича за стукалки, за сиденькую проперченную эспаньолку, которая помешала бы ему заgrimироваться, если бы этого потребовала служба, за покатые плечи, которые делали его заведомо негодным для джиу-джитсу. Эгоизм восемнадцатилетнего здоровяка мешал Володе проникнуться сочувствием к болезням пожилого человека. Он не верил в существование катара желудка, диабета и камней в почках. Лицо Виктора Прокофьевича носило на себе следы всех болезней, свойственных его возрасту. Покрытое мешочками, припухлостями, складочками и извилинами, оно рассказывало о них, как оглавление о содержании книги. Одно веко у него часто подмигивало, и Володя думал сначала, что Виктор Прокофьевич подмигивает нарочно. Все свои болезни Виктор Прокофьевич

разделял на внутренние и хирургические. Однако он не лечил ни те, ни другие. Не признавая официальной медицины, он являлся последователем универсальной системы траволечения. Он применял ее много лет и главным аргументом в ее пользу считал тяжелое состояние своего здоровья. Чем хуже ему становилось, тем больше крепла его вера в систему траволечения. «Какова должна быть ее целебная сила, — говорил он, — если даже столь серьезные болезни не в состоянии ее победить?» Разруха лишила Виктора Прокофьевича необходимых ему лекарственных трав и снадобий. Но с прекращением траволечения здоровье его не ухудшилось. Объяснение этому нужно искать в явлении, отмеченном многими наблюдательными людьми: болезни, лишённые в суровую эпоху войны и голода того внимания, забот и ухода, которыми их обычно окружают, зачахли, захирели и потеряли былую власть над человеком. Верно это или нет, но Виктор Прокофьевич, скрипя и перемогаясь, нес службу. Он не был мнительным. Наоборот, он находил злорадное удовольствие в пренебрежении к своим болезням. Он не хотел их нежить в постели. Он заставлял их прозябать. И только катар желудка иногда брал над ним верх. Тогда он присаживался на корточки и, считая, что это ему помогает, пребывал в этой позе часами, пока не проходил приступ. Лицо его становилось беспомощным и немного виноватым. Все мешочки, припухлости и складочки выступали на нем еще более рельефно, чем обычно. «Забирает, собака!» — говорил он, как бы оправдываясь в своей слабости. С нетерпимостью первого ученика Володя осуждал и то, что можно назвать научными заблуждениями Виктора Прокофьевича. Не получив ни-

какого образования, взявшись за чтение уже в пожилом возрасте, Виктор Прокофьевич пронес через всю жизнь бремя некоторых научных заблуждений, от которых ни за что не хотел отказываться.

Не человек произошел от обезьяны, а обезьяна от человека. Огурцы вредны. Писатель Алексей Толстой – сын Льва Толстого. Лучший в мире пистолет – наган солдатского образца. Арбузы чрезвычайно полезны. Евреи могут петь только тенором. Характер мышления зависит от состава пищи и т. д.

Желая отметить свое пятидесятидвулетие, Виктор Прокофьевич поехал в Одессу и купил себе в подарок гипсового коня. Володя иронически отнесся к этому поступку. С нечуткостью человека, никогда не знавшего, что такое одиночество, избалованного привязанностью Друзей и родных, он осуждал маленькие чудачества и странности этого старого, заброшенного холостяка.

Но однажды Виктор Прокофьевич прогремел на весь уезд; он разыскал и вернул потерпевшему пару украденных лошадей. Обнаружение украденных лошадей в те времена в уездном розыске считалось почти невозможным. Сам начальник уезда товарищ Цинципер поддерживал эту теорию. Виктор Прокофьевич, работавший в розыске всего лишь недели две, проявил в этом деле прямолинейность невежды. Пренебрегая самой элементарной разработкой, как был в деревянных стукалках, он поехал на ближайший конский рынок, где потерпевший и опознал своих кобыл.

С этого дня Володя стал подозревать в Викторе Прокофьевиче талант самородка, поселился с ним в одной комнате и, в конце концов, подружился со стариком. Он

понял, что все научные заблуждения Виктора Прокофьевича, все его маленькие чудачества не могут заслонить двух его качеств: честности и здравого смысла. В свою очередь, Шестаков привязался к Володе. Это не была корыстная и насмешливая дружба Грищенко, а искренняя привязанность человека добродушного и бесхитростного.

Шестаков был старым метранпажем. Всю жизнь он простоял за талером в одной из типографий Рязани. Ровная и спокойная линия его судьбы под конец изобразила неожиданную закорючку: типографию ликвидировали, а его перебросили на работу в милицию. Как раз в это время в Рязани и уездных городах – Пронске, Егорьевске, Сапожке, Спаске – набирали милиционеров для посылки на Одещину, только что освобожденную от белых. Шестаков, считавший свои болезни действительными только при призывах в царскую армию, принял мобилизацию без возражений. Как был, в черной сатиновой рубашечке с перламутровыми пуговичками, подпоясанной шнурком, нацепив лишь большой милицейский нагрудный знак, он погрузился в теплушку и после двухнедельного путешествия вместе с тремястами пожилых рязанских милиционеров прибыл в Одессу. Все это были члены профессиональных союзов, люди непризывных возрастов, степенные и малоподвижные; в первое время им трудно было тягаться с многоопытными одесситами, которых стесняли рамки законности. Два качества, однако, делали их большой силой: верность и честность. Все знали: раз рязанец – значит, ничего не возьмет и никого напрасно не обидит.

В Одессе Шестакова перевели из милиции в уголовный розыск. Так старый метранпаж стал агентом уголовного

розыска, так он променял Рязань, в которой прожил всю жизнь, на Одессу, и все это случилось раньше, чем типографская краска вымылась из-под его ногтей. Товарищ Цинципер внимательно отнесся к новому агенту, решил не бросаться им зря и поэтому направил его в Севериновку, так как считал, что именно здесь под руководством Володи тот приобретет наиболее глубокие знания в наиболее короткий срок.

Володя усердно занялся повышением квалификации Виктора Прокофьевича. Он заставил его прочитать учебник судебной медицины, ознакомиться с основами химии и даже проштудировать курс дактилоскопии, хотя севериновский уголовный розыск и не располагал еще ни дактилоскопическим кабинетом, ни преступниками, которые могли бы оставлять в нем отпечатки своих пальцев. С присущим ему уважением к книгам Виктор Прокофьевич читал все, что ему давал Володя; он внимательно выслушивал историю о баскервильской собаке и с интересом разглядывал сквозь лупу строение текстильных тканей, эпидермис кожи и человеческие волосы различных групп, добываемые Володей у младших милиционеров. При этом он думал то, что должен был думать старый, благоразумный типограф, знающий и видящий многое такое, чего нельзя разглядеть в самую сильную лупу. Однажды вечером, сидя по обыкновению на корточках у стены и дымя козьей ножкой, он сказал Володе:

— Как хотите, Володя, а мое мнение такое: главное в нашем деле — не ползание на четвереньках с увеличительным стеклом, а поддержка населения. Кого больше — честных людей или жуликов? Если все честные люди возьмутся нам помогать, мы скоро останемся без работы.

Он стал разъезжать по комитетам незаможников, деревенским ячейкам комсомола, всеобучам, делал доклады в волостных ревкомах и тихо и незаметно, без шума и стрельбы, изрядно почистил за месяц несколько деревень вокруг Севериновки.

Благодаря Виктору Прокофьевичу в камере арестованных севериновского уголовного розыска наконец затеплилась жизнь. Он обнаружил преступников там, где Володе никогда не пришло бы в голову их искать: в самой севериновской раймилиции. Он извлек оттуда целую плеяду взяточников и даже, невзирая на протесты Володи, стал подбираться к Грищенко.

Отрицать успехи Виктора Прокофьевича Володя не мог, но применяемые им методы он считал кустарными. «Это все равно, что красивое пение без школы», – говорил он. Шестаков между тем, ободренный удачами, поставил перед собой задачу, которую Володя считал непосильной даже для себя. Он решил поймать знаменитого бандита Сашку Червня. Поимка Червня и была тем важным и совершенно секретным делом, ради которого у Володи было назначено свидание в Одессе с Виктором Прокофьевичем.

5

Володя приехал домой поздно ночью, бросился в чистую постель, приказал, чтобы его разбудили ровно без двадцати минут шесть, и моментально уснул.

Ровно без двадцати шесть мать разбудила Володю. За годы его ученья она приучила себя просыпаться в заказанное сыном время с точностью до одной минуты. Если

бы это понадобилось Володе, она могла бы проснуться в шесть минут пятого или без семнадцати три.

Проснувшись, Володя, по старой привычке, нежился минут пятнадцать в постели, хотя и сознавал, что каждая минута промедления может оказаться губительной для дела.

Эти пятнадцать минут были наполнены приятными размышлениями. Володя вспомнил, что отвечает за пять волостей, и эта мысль доставила ему удовольствие. Он повторил про себя названия своих волостей: Севериновская, Бельчанская, Фестеровская, Куртовская, Буялыкская. Он представил себе их очертания на географической карте. Фестеровская волость была похожа на маленькую Италию, а весь район — на распластанную телячью кожу. Володя вспомнил улицы, площади, рощи и баштаны знакомых сел, помечтал о неизвестных землях и неисследованных хуторах на окраине района, где он еще не успел побывать.

Володя полюбил деревню так, как может полюбить ее только закоренелый горожанин в семнадцать лет. Поездка в незнакомое село радовала его, как географическое открытие. Володю влекло туда, где не ступала еще его нога. За каждым горбчком, за каждой рощей перед ним открывались неизвестные страны. В бричке он становился путешественником. Ему нравился самый процесс езды: в бричках ездили ответственные работники. В пути разморенный зноем и монотонным покачиванием, Володя любил наблюдать, как мелькает заклепка на ободке колеса, как вздрагивает на ухабах проеденное ржой крыло брички, как подпрыгивает съехавший на спину наган Грищенко, сидящего на козлах. Он с гордостью думал, что все это движение совершается ради него. От него зависит, куда ехать.

Везут его, Володю. Ради него, Володи, вертятся колеса, семянят гнедые коники и Грищенко размахивает кнутом.

Тщеславие, простительное в человеке, который еще не привык быть взрослым, иногда побеждало врожденную Володину скромность. В глубине души он сознавал, что носит кольт обнаженным не потому, что это удобно, а потому, что это приятно. Не менее приятно было ставить на бумаге круглую печать. Иногда он оттискивал ее и на тех бумагах, где достаточно было углового штампа. В протоколах допроса ему нравилась заключительная фраза: «Больше ничего показать не имею, в чем и расписываюсь». Ему импонировала и общая конструкция фразы и особенно глагол «не имею». Ему казалось, что это слово превосходно отражает ту крайнюю степень опустошенности, какую являет собой обвиняемый в результате искусного допроса — обессиленный, дрожащий, открывший все свои мрачные тайны, раздавленный неумолимой логикой следователя.

Но больше всего Володя любил расхаживать по базару меж возов и ловить на себе почтительные взгляды приезжих хозяев. Иногда он подходил к ним и проверял их документы и конские карточки. Дядьки были большей частью совершенно мирные, и документы их оказывались в полном порядке. Володя уходил от возов, чувствуя свою вину перед дядьками; он был молод и не догадывался, что дядьки им весьма довольны. Довольны же они были потому, что испытывали радостное ощущение миновавшей опасности. Сохраняя монументальную неподвижность, которая позволяла догадываться о том, что они сидят на продуктах, привезенных для продажи и спрятанных где-то в глубине фургонов, под мешками с сечкой, под овчинами,

ряднами и соломенной трухой, хозяева еще долго смаковали воспоминание о неприятностях, которые могли с ними произойти, но не произошли; а Володя в это время шагал в другом конце базара, пристально вглядываясь в лица дядьков и чувствуя на себе их почтительные взгляды.

Володя гордился не только своей работой, но и своими друзьями: верным Шестаковым и смельчаком Грищенко. Но его очень огорчала неприязнь, которую питали друг к другу эти превосходные люди. Действительно, им трудно было сойтись – уж очень они были различны. Шестаков был совершенно равнодушен к вещественным доказательствам, Грищенко обожал обыски и конфискации. Шестаков был близорук, кособок и немного смешон; Грищенко был строен, могуч и ловок, как Кожаный Чулок. Только один раз мелькнула надежда, что они сойдутся во взглядах: совершенно случайно выяснилось, что Грищенко так же, как Шестаков, является горячим сторонником траволечения. Увы! Грищенко считал, что все травы нужно настаивать на водке. Он даже рассматривал последнюю как главный ингредиент целебного настоя. Это вызвало, конечно, горячие возражения со стороны Виктора Прокофьевича и в конце концов еще более отдалило друг от друга Володиных друзей.

Итак, Володя нежился в постели, но, вспомнив о Балковской, он вскочил на ноги. Он одевался, умывался и завтракал с такой стремительностью, что уже через десять минут был совершенно готов. Нацепив на себя кольт и торопливо чмокнув мать, он побежал к Шестакову.

Володя избегал приподнимать завесу над своим прошлым. Биография была его больным местом.

В каждом гвоздике грищенкоовских ботинок, в каждой рябине его изрытого оспой лица было больше героизма, чем во всем Володином прошлом. Кто бы мог подумать, что за спиной начальника севериновского уголовного розыска нет ничего, кроме гимназии! Что человек, приводивший в трепет целое местечко, еще два месяца назад был гимназистом седьмого класса? Но это было так. По молодости лет Володя еще ни с кем не воевал: ни с белыми, ни с петлюровцами, ни с махновцами, ни с григорьевцами. Он не был ни на одном из фронтов и две собственные бомбы-лимонки, привезенные им с собой в Севериновку, он выменял у знакомого пятиклассника на фотоаппарат, полученный от папы в день рождения.

Он попал в уголовный розыск по знакомству. Друг отца, помощник присяжного поверенного Цинципер, подвергавшийся репрессиям при царизме, был назначен Советской властью начальником уездного уголовного розыска. Товарищ Цинципер, человек городской, гуманитарного воспитания, никогда до этого назначения в деревне не бывал, если не считать выездов на дачу в Гниляково. Из крестьян он знал только молочниц. Вероятно, ему никогда не приходилось видеть и преступников. Он не встречал их даже в качестве подзащитных, ибо из-за радикальных убеждений при старом строе был лишен практики. Однако назначение товарища Цинципера не было ошибкой. Дело в том, что у Советской власти совершенно не было специалистов по уголовному розыску. Специалисты были лишь из старого сыскного отделения, но их не только нельзя было привлекать к работе, но, наоборот, полагалось разыскивать и сажать. И получилось почему-то так, что больше всего в

уездном уголовном розыске оказалось присяжных поверенных; на втором месте были гимназисты, затем шли педагоги, зубные врачи и прочие лица, отбившиеся от своих профессий, лица совсем без определенных занятий и, наконец, просто лица, искавшие случая поехать в деревню за продуктами. Среди них затерялась кучка пожилых рязанских милиционеров и несколько рабочих-коммунистов, присланных укомом партии. Таков был уголовный розыск, которому предстояло победить преступность на родине Мишки Япончика.

Володин отец не был в восторге от того, что товарищ Цинципер принял на службу его сына. Отец всегда мечтал о том, что Володя пойдет на филологический факультет Новороссийского университета. Мальчик лучше всех в классе писал сочинения и редактировал гимназический журнал «Следопыт». Правда, могло быть еще хуже. Конечно, уголовный розыск – это не филологический факультет. Но каково было одному из его знакомых, чей сынок пошел в воры?

Три с лишним года Одессу окружала линия фронта. Фронт стал географическим понятием. Казалось законным и естественным, что где-то к северу от Одессы существуют степь, леса Подолии, юго-западная железная дорога, станция Раздельная и станция Перекрестово, река Днестр, река Буг и – фронт. Фронт мог быть к северу от Раздельной или к югу от нее, под Бирзулой или за Бирзулой, но он был всегда. Иногда он уходил к северу, иногда придвигался к самому городу и рассекал его пополам. Война вливалась в русла улиц. Каждая улица имела свое стратегическое лицо.

Улицы давали названия битвам. Были улицы мирной

жизни, улицы мелких стычек и улицы больших сражений – улицы-ветераны. Наступать от вокзала к думе было принято по Пушкинской, между тем как параллельная ей Рижельевская пустовала. По Пушкинской же было принято отступать от думы к вокзалу. Никто не воевал на тихой Ремесленной, а на соседней Канатной не оставалось ни одной непростреленной афишной тумбы. Карантинная не видела боев – она видела только бегство. Это была улица эвакуации, панического бега к морю, к трапам отходящих судов.

У вокзала и вокзального скверика война принимала неизменно позиционный характер. Орудия били по зданию вокзала прямой наводкой. После очередного штурма на месте больших вокзальных часов обычно оставалась зияющая дыра. Одесситы очень гордились своими часами, лишь только стихал шум боя, они спешно заделывали дыру и устанавливали на фасаде вокзала новый сияющий циферблат. Но мир длился недолго; проходило два-три месяца, снова часы становились приманкой для артиллеристов; стреляя по вокзалу, они между делом посылали снаряд и в эту заманчивую мишень. Снова на фасаде зияла огромная дыра, и снова одесситы поспешно втаскивали под крышу вокзала новый механизм и новый циферблат. Много циферблатов сменилось на фронтоне одесского вокзала в те дни.

Так три с лишним года жила Одесса. Пока большевики были за линией фронта, пока они пробивались к Одессе, городом владели армии австро-германские, армии держав Антанты, белые армии Деникина, жовтоблаkitная армия Петлюры и Скоропадского, зеленая армия Григорьева, воровская армия Мишки Япончика.

Одесситы расходились в определении числа властей, побывавших в городе за три года. Одни считали Мишку Япончика, польских легионеров, атамана Григорьева и галичан за отдельную власть, другие – нет. Кроме того, бывали периоды, когда в Одессе было по две власти одновременно, и это тоже путало счет.

В один из таких периодов произошло событие, окончательно определившее мировоззрение Володиного отца.

Половиной города владело войско украинской директории и половиной – Добровольческая армия генерала Деникина. Границей добровольческой зоны была Ланжероновская улица, границей петлюровской – параллельная ей Дерибасовская. Рубежи враждующих государственных образований были обозначены шпагатом, протянутым поперек улиц. Квартал между Ланжероновской и Дерибасовской, живший меж двух натянутых шпагатов, назывался нейтральной зоной и не имел государственного строя.

За веревочками стояли пулеметы и трехдюймовки, направленные друг на друга прямой наводкой.

Чтобы перейти из зоны в зону, одесситы, продолжавшие жить мирной гражданской жизнью, задирали ноги и переступали через веревочки, стараясь лишь не попадать под дула орудий, которые могли начать стрелять в любую минуту. Однажды и Володин отец, покидая деникинскую зону, занес ногу над шпагатом, чтобы перешагнуть через него. Но, будучи человеком немолодым и неловким, он зацепился за веревочку каблуком и оборвал государственную границу. Стоявший поблизости молодой безусый офицер с тонким интеллигентным лицом не сказал ни слова, но, сунув папироску в зубы, размахнулся и ударил

Володиного отца по лицу. Это была первая оплеуха, полученная доцентом медицинского факультета Новороссийского университета за всю его пятидесятилетнюю жизнь.

Почти ослепленный, прижимая ладонь к горячей щеке, держась другой рукой за стену, он побрел, согнувшись, к Дерибасовской и здесь, наткнувшись на другую веревочку, оборвал и ее. Молодой безусый петлюровский офицер с довольно интеллигентным лицом развернулся и ударил нарушителя по лицу. Это была уже вторая затрещина, полученная доцентом на исходе этой несчастной минуты его жизни. Когда-то он считал себя левым октябристом, почти кадетом; он заметно полевел после того, как познакомился с четырнадцатью или восемнадцатью властями, побывавшими в Одессе; но, получив эти две оплеухи, он качнулся влево так сильно, что оказался как раз на позициях своего радикального друга Цинципера и сына Володи.

Город просыпался, когда Володя выбежал на улицу. Улицы были пустынные, солнце еще пряталось за крышами домов, сыроватый воздух был по-ночному свеж. Однако это не был нормальный утренний пейзаж мирного времени. Это не было пробуждение города, который плотно поужинал, хорошо выспался, здоров, спокоен и рад наступающему дню. Не было видно пожилых дворников в опрятных фартуках, размахивающих метлами, как на сенокосе, и румяных молочниц, несущих на коромыслах тяжелые бидоны с молоком; не гудел за поворотом улицы первый утренний трамвай; подвалы пекарен не обдавали жаром ног прохожих, и забытая электрическая лампочка не блестела бледным золотушным светом на фоне наступив-

шего дня. Никто не подметал Одессу, никто не поил ее молоком. Уж год не ходили трамваи, давно не было в городе электричества, а в пекарнях было пусто.

Но утро есть утро, и город есть город. И как ни скуден был пейзаж просыпающейся Одессы, в нем были свои характерные черты. Заканчивая свои ночные труды, молодые одесситы спиливали росшие вдоль тротуаров толстые акации. Они занимались этим по ночам не столько из страха ответственности, сколько из чувства приличия и почтения к родному городу. Когда любимые дети обкрадывают родителей, они боятся не уголовного наказания, а общественного мнения.

Стволы и ветки акации тут же, на тротуаре, распиливались на короткие чурбанчики, которые складывались пирамидками на перекрестках. Через час сюда придут домашние хозяйки и будут покупать дрова для своих очагов. Дрова продавались на фунты, и каждый фунт стоил десятки тысяч рублей. В эти дни погибла знаменитая эстакада в одесском порту. Одесситы гордились ею не меньше, чем оперным театром, лестницей на Николаевском бульваре и домом Попудова на Соборной площади. О длине и толщине дубовых брусьев, из которых она была выстроена, в городе складывали легенды. Будь эти брусья потоньше и похуже, эстакада, возможно, простояла бы еще десятки лет. Но в дни топливного голода столь мощное деревянное сооружение не могло не погибнуть. Эстакаду спилили на дрова. Еще несколько месяцев назад жители заменяли дрова жмыхами, или, как их называли в Одессе, макухой. Теперь же макуха заменяла им хлеб. Одесситы, гордившиеся всем, что имело отношение к их городу, переносили

это чувство даже на голод, который их истреблял, утверждая, что подобного голода не знала ни одна губерния в России, за исключением Поволжья.

Белинская улица, потерявшая за последние недели все свои великолепные акации, казалась Володе просторной и пустой, как комната, из которой вынесли мебель. Стекла в окнах домов были оклеены бумажными полосами. Опыт показал домашним хозяйкам, что эти бумажки предохраняют стекла от сотрясения воздуха во время артиллерийских обстрелов, бомбардировок с моря и взрывов пороховых погребов.

Пробежав Белинскую улицу почти до конца, Володя вошел во двор большого бедного дома на углу Базарной. Здесь остановился Шестаков.

6

Червень, которого сегодня собирался арестовать Виктор Прокофьевич, был не менее знаменит, чем Красавчик, а во многих отношениях даже превосходил его. Если мелких жуликов бывший метранпаж называл нонпарелью, то такие бандиты, как Червень, заслуживали сравнения с афишным шрифтом самых крупных кеглей.

Бывший прапорщик Сашка Шварц, известный под кличкой Червень, что значит июнь, был одним из опаснейших бандитов в уезде. Это ему принадлежал знаменитейший афоризм: «Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним».

— Если вам захотелось выстрелить, — говорил Сашка Червень, — то делайте это так, чтобы после вас уже не мог

стрелять никто... А для этого советую всегда стрелять первым. Никогда не сомневайтесь, нужно ли стрелять. Сомнение есть повод для стрельбы. Не стреляйте в воздух. Не оставляйте свидетелей. Не жалейте их, ибо и они вас не пожалеют. Живой свидетель – дитя вашей тупости и легкомыслия.

Не кто иной, как Сашка Червень, изобрел знаменитый прием – стрелять сквозь шинель. Руки его всегда были в карманах, в каждом кармане лежало по пистолету, и у обоих пистолетов курки были на взводе.

Червень стрелял из карманов в живот врагу. Еще ни один человек не успел сказать ему «руки вверх».

План поимки Червня, разработанный Виктором Прокофьевичем, был очень прост. Этот план не отличался тонкостью, в нем не было той прозорливости, которая так нравилась товарищу Цинциперу в Володиных протоколах. Товарищ Цинципер потирал руки от удовольствия, получая Володины протоколы, и не мог оторваться от них, не дочитав до конца. Он не подозревал, что в Севериновке у него сидит не Шерлок Холмс, а Конан Дойл.

Виктор Прокофьевич писал свои протоколы красивым косым, но мало разработанным почерком, долго замахиваясь пером перед каждым нажимом; в его дознаниях не было ничего, что могло бы обратить на себя внимание товарища Цинципера. Простым и заурядным показался Володе и проект поимки Червня, составленный Виктором Прокофьевичем.

Однажды в камеру арестованных севериновского розыска был заключен мелкий вор Федька Бык, изобличенный в краже цепей с общественных водопоев в Севери-

новке и Яновке. Бык был арестован на шляху. Он брел, сгибаясь под тяжестью своей добычи, которую тщетно пытался продать в течение нескольких дней. Бык даже обрадовался аресту, освободившему его от цепей, которые, возможно, ему пришлось бы носить на себе еще долго. Однако, когда с преступника сняли цепи, он отказался признать свою вину. Он отпирался лениво и неубедительно, лишь отдавая дань традиции. Он утверждал, что нашел цепи на дороге.

Цепи были переданы в камеру вещественных доказательств, а расследование дела поручено Виктору Прокофьевичу. Заметив отвращение, которое оставило в Быке его последнее преступление, Виктор Прокофьевич не ограничился снятием обычных показаний, но стал уговаривать вора вернуться к честной жизни. Он подолгу сидел с Быком в камере арестованных – маленьком глинобитном домике в глубине двора, где помещалась милиция. Он убеждал его порвать с преступным миром и стать честным человеком. Бык был польщен вниманием, которое ему оказывали, и проникся глубоким уважением к Виктору Прокофьевичу. Он согласился не столько из любви к свободе – часто попадаясь на мелких кражах, он был к ней довольно равнодушен, – сколько из уважения к Виктору Прокофьевичу. Даже в те короткие промежутки времени, когда Бык пользовался свободой, мысли его были в тюрьме. Стоило ему во время прогулки немного призадуматься, как ноги его сами сворачивали на мостовую, по которой он привык передвигаться, сопровождаемый стражей. Привычка к конвою так укоренилась в нем, что чувство какой-то пустоты вокруг не покидало его все время, пока он вынужден был путешествовать в одиночестве.

Склонный, как все воры, к широкому жесту, к поступкам эффектным и сентиментальным. Бык предложил ознаменовать свой разрыв с преступным миром выдачей Сашки Червня, которого часто встречал на Ставках, в пригороде Одессы.

Для этого нужно было выпустить Быка на свободу. Однако Володя воспротивился этому. Во-первых, он не хотел прощать Быку колодезных цепей; во-вторых, он дорожил каждой единицей, населявшей маленькую и часто пустовавшую камеру арестованных севериновского уголовного розыска. Но Виктор Прокофьевич с такой энергией защищал этот план, что Володя сдался, и Бык был освобожден.

Прошло недели три, и вот накануне того дня, когда Красавчик угнал из Яновки зеленый фургон, в Севериновку прибыло известие от Федьки Быка. Он сообщал Шестакову, что через два дня Червень встретится в «малине» на Ставках с одним из своих друзей. Было решено, что в аресте Червня примут участие все силы севериновского уголовного розыска: Володя, Виктор Прокофьевич и Грищенко. Виктор Прокофьевич готовился к операции особенно тщательно: долго изучал план дома, двора и прилегающих к «малине» улиц, нарисованный Быком, занял у начальника милиции, в добавление к собственному, наган солдатского образца, насобирал у сотрудников полшапки патронов к нему и даже обулся в новые черные ботинки, которые обычно лежали у него в чемоданчике. За день до встречи Володи с Красавчиком Шестаков отправился в Одессу. Виктор Прокофьевич был уже одет, когда к нему постучался Володя. Выслушав его взволнованный рассказ

о неудачной погоне за Красавчиком, Шестаков сказал неодобрительно:

– Зачем же поехали на вещественных? Надо было запрячь Коханочку и начмиловского Горобца. Ох, доберусь я до вашего Грищенко!

Защищать Грищенко у Володи не было времени. Им предстояло обсудить два важных вопроса: о розыске Красавчика и засаде на Червня.

Виктор Прокофьевич развернул план Одессы. Жирной карандашной линией, пересекавшей весь город, на нем была обозначена дорога на Ставки. Самих Ставков на карте не было – они не вмещались в ней, ибо были дальше самых далеких окраин. Однако Виктор Прокофьевич успел за вчерашний день побывать на Ставках и поглядеть издали на «малину» Червня. Затем он показал Володе подробный план двора и дома, где помещалась эта «малина»; на длинной стороне прямоугольника, изображавшего дворový флигель, немного левее ее середины, был нарисован жирный крест. В этом месте, у стены, Бык должен был поставить лопату – знак того, что Червень здесь. Отсутствие лопаты должно было обозначать, что Червень почему-либо не пришел или опоздал. Однако, по словам Быка, Червень должен был явиться сегодня непременно.

Володя пробыл у Виктора Прокофьевича не более пяти минут, но за этот короткий срок, как это бывает у людей, хорошо сработавшихся и понимающих друг друга с полуслова, они успели обсудить все, что нужно. В результате этого обсуждения Володя набросал на клочке бумаги план на сегодняшний день. В нем было два пункта и два примечания:

1. С утра Володя идет на Балковскую осматривать постоянные дворы; Виктор Прокофьевич беседует у себя с Федькой Быком.

Примечание: Грищенко до обеда отдыхает.

2. После обеда, независимо от того, удастся поймать Красавчика или нет, они отправляются на Ставки – ловить Червня.

Примечание: Грищенко сопровождает их на Ставки.

Покончив с планом, Володя попросил у Виктора Прокофьевича пальто. Он брал у него пальто всякий раз, когда собирался переодеться, чтобы остаться неузнанным. В нем было жарко и тесно; это было воскресное пальто пожилого рабочего – черное с бархатным воротником. Но служебное рвение не раз заставляло Володю прибегать к такой маскировке в самые знойные июльские дни. Севериновские самогонщики, любившие посудачить в свободное время на завалинке у входа в угрозыск, видя начальника в пальто Виктора Прокофьевича, из вежливости не здоровались с ним – они притворялись, что не узнают Володю. «Пошел на операцию», – шептали они друг другу, глядя вслед молодому начальнику.

Володя попрощался с Виктором Прокофьевичем и уже был на площадке лестницы, когда тот снова окликнул его. Прикрыв за собой дверь, он близко подошел к Володе.

– Не забудь взять на Ставки свои лимонки, – сказал он тихо и очень серьезно.

Подняв узкий бархатный воротничок пальто и тщетно стараясь спрятать в нем свое лицо, Володя вышел на улицу. Чтобы попасть на Балковскую, ему нужно было пройти через весь город.

Володя опасался встреч со знакомыми. Его девизом было: агент знает и видит все, но никто не знает и не видит агента. Особенно опасен был район гимназии, где он еще недавно учился. Этот район буквально кишел знакомыми. Мужская гимназия помещалась в конце Успенской улицы; ее можно было обойти, но тогда Володе пришлось бы приблизиться к женской гимназии Бален-де-Балю, что на Канатной. Район женской гимназии был для Володи не менее опасен.

Володя решил проскользнуть меж двух гимназий, пройдя по Маразлиевской улице. Это была односторонняя улица; дома вытянулись по левой ее стороне, а справа раскинулся Александровский парк. Маразлиевская была улицей богачей; перемены военного счастья на фронтах революции рождали в ней то радость, то горе, то отчаяние, то надежду, и в этом она была подобна улицам бедняков. Сейчас Маразлиевская с ее особняками и домами дорогих квартир казалась самой заброшенной, безлюдной и печальной улицей в городе.

Оглядываясь по сторонам, Володя быстро шел по Маразлиевской, задавая себе все тот же вопрос, который диктовали ему теория и практика розыска: что делал бы он сейчас, если бы оказался на месте Красавчика? Он старался представить себе все, что способен родить порок и пре-

ступление. Однако то, что рисовало его воображение, было бесцветным и неопределенным.

Володя уже миновал опасную зону гимназий, когда с ним поравнялся высокий парень лет восемнадцати. На нем были щегольские брюки «колокол», которые отличались от родственных им брюк клеш тем, что были еще шире внизу и еще уже вверху, и короткая черная куртка, которая могла сойти и за матросский бушлат и за твинчик немецкого колониста. Несмотря на жаркий день, воротник его куртки был поднят и он старался спрятать в нем свое лицо. Он шел, глядя прямо перед собой и не обращая внимания на прохожих.

Его бронзовая твердая скула показалась Володе знакомой. Если бы парень случайно не покосился на Володю, эта встреча не имела бы последствий и Володе, вероятно, удалось бы сохранить свое инкогнито до самой Балковской. Но, поймав на себе быстрый, рассеянный взгляд малознакомого молодого человека, Володя с торопливостью, свойственной застенчивым людям, поклонился ему.

— Ваша карточка мне знакома, — сказал парень учтиво, прикасаясь двумя пальцами к кепке. — Не запомню только, из какого она альбома.

— Мы знакомы по Черном морю, — ответил Володя. Они были знакомы не по тому Черному морю, которое омывает полуостров Крым, побережье Кавказа, Малую Азию, Болгарию, Румынию и южный край украинской степи, а по тому «Черному морю», которое находилось в ста шагах от Маразлиевской, за низеньким, уступчатым заборчиком Александровского парка и представляло собой большую, почти круглую яму с пологими склонами и ровным, сухим

дном. «Черным морем» с незапамятных времен владела команда футболистов, именовавших себя черноморцами. Как футбольное поле «Черное море» было необыкновенно комфортабельным: окруженное пологими склонами, оно само возвращало игрокам мяч, вылетевший за его пределы. В команде черноморцев играли портовые парни, молодые рыбаки с Ланжерона и жители старой таможни. Они выходили на поле в полосатых матросских тельниках и длинных, достигавших колен, старомодных трусиках, которые, впрочем, назывались тогда в Одессе не трусиками, а штанчиками. В своем натиске черноморцы не знали преград. Свирепая слава, добытая ими на заре футбола, в боях с командами английских пароходов, устрашала футболистов других одесских команд. Никто из цивилизованных футболистов Одессы не решался ставить на карту спортивное счастье, здоровье, а может быть, и жизнь, защищая свои ворота против черноморцев. Поэтому с той поры, как в одесский порт перестали заходить английские пароходы, черноморцы играли главным образом друг с другом.

Володя был из «Азовского моря». Рядом с «Черным морем» была яма поменьше, которую одесские мальчики называли «Азовским морем». Здесь тренировалась команда гимназистов. Как это ни странно, черноморцы иногда приглашали на товарищеский матч команду из соседнего «моря» и гимназисты принимали вызов. Это была игра львов с котятами. Если гимназистам не откусывали в игре ни ног, ни голов, то они были обязаны этим той деликатности, которая присуща сильному в обращении со слабым и беспомощным.

Володя был левым инсайдом у гимназистов, а высокий

парень – голкипером у черноморцев. В те времена высокие голкиперы ценились еще больше, чем сейчас. Обычно ворота обозначались кучками одежды, сброшенной с себя футболистами перед игрой, и верхняя граница ворот являлась воображаемой; естественно, что, чем выше мог достать своей пятерней голкипер, тем спокойнее чувствовала себя команда. Парень в брюках «колокол» был самым высоким голкипером в командах «обоих морей».

Но уже давно не летал футбольный мяч над «Черным морем» и примыкающим к нему «Азовским». Обезлюдело славное племя черноморцев, и некому было вспоминать о боях с командами английских пароходов. Раньше, когда старшие черноморцы уходили учиться в мореходку или поступали в торговый флот, их места в команде занимали молодые черноморцы, их младшие братья, ребята с Ланжерона, из старой таможни и портовых улиц, такие же загорелые и веснушчатые, такие же свирепые в нападении, защите и полузащите. Поколение футболистов становилось моряками, но за ними уже шло новое поколение футболистов, тоже будущих моряков.

Война разбросала черноморцев, уничтожила футбол, мореходку и торговый флот. Опустело «Черное море». Засохшая грязь на дне его потрескалась и покрылась чешуйками, как кожа на руке старика.

Володя с трудом узнал голкипера, которого не видел года два. Тот возмужал, похудел и стал еще выше. Между ними никогда не было ни дружбы, ни знакомства. Он знал лишь, что черноморец – сын таможенного сторожа. Однажды Володя дал очень красивый шут по воротам, в которых стоял черноморец: он взял мяч с воздуха на подъем и

ударил шагов с двадцати; мяч пошел между двух беков, но, к сожалению, прямо в руки голкиперу. Кроме этого памятного шута, их ничто не связывало. Однако почтение, которое питали гимназисты к черноморцам, было таким глубоким и неизменным, что Володя, невзирая на свое солидное положение, увидев голкипера, ощутил подобострастную радость котенка, повстречавшего доброго льва.

Они пошли рядом, задавая друг другу обычные вопросы: как живешь, где достал такие брюки, что делает Коля и куда девался Петя.

Володя сдержанно сообщил, что живет в деревне, меняя вещи на продукты. Узнав об этом, его спутник оживился и сказал, что тоже живет в деревне и тоже меняет вещи на продукты. Естественно, что разговор коснулся вещей, продуктов и цен. Однако Володя обнаружил во всем этом такую позорную неосведомленность, что поспешил перевести разговор на футбол.

Глаза их заблестели, когда они заговорили о футболе, ибо нет на свете таких болтунов, сплетников и фантазеров, как любители футбола. Они рылись в воспоминаниях, смаковали удары, осуждали и превозносили. От своего спутника Володя узнал о судьбе других черноморцев. Правый бек Зенчик, оказывается, стал петлюровцем, и его порубили белые. Правый хав Кирюша пошел к белым и его, наоборот, порубили петлюровцы. Капитан Ваня Поддувало сошелся с лезгинами из контрразведки генерала Гришина-Алмазова, шлялся по городу в черкеске и был убит темной ночью на Ланжероне неизвестно кем. Зато вся пятерка нападения — пять молодых рыбаков дождались красных и пошли на Врангеля.

Раньше черноморцы делились только на беков, хавбеков и форвардов; казалось, что других различий между ними нет. Теперь, когда команда разделилась по-новому, когда одни стали белыми, другие красными, третьи жовтоблакитными, открылось то, что никогда раньше не было заметно на футбольном поле: что капитан Ваня Поддувало — сын богатого портового трактирщика, а форварды — бедные рыбацкие дети. И это определило их места на полях сражений.

Так Володя и черноморский голкипер брели, разговаривая, через весь город, и каждый раз, когда Володе нужно было свернуть налево, оказывалось, что голкиперу тоже нужно налево; и каждый раз, когда ему требовалось повернуть направо, оказывалось, что голкиперу нужно туда же. У Володи начало зарождаться подозрение, что черноморец тоже идет на Балковскую, и, хотя такое предположение казалось почти невероятным, по мере приближения к Балковской подозрение превращалось в уверенность. Это очень тревожило Володю, ибо голкипер мог помешать ему ловить Красавчика. Володя попытался даже скрыться от своего спутника — он сворачивал то на одну улицу, то на другую, но ему не везло: всякий раз он выбирал именно ту улицу, которая была нужна его спутнику. Он никак не мог отвязаться от этого человека.

Беседа о футболе, однако, была очень приятной. То, что говорил один, редко совпадало с тем, что сообщал другой, ибо, как все люди, они лучше помнили собственный вымысел, чем действительные события. Но они выслушивали друг друга со снисходительной уступчивостью, ибо каждый из них интересовался не столько тем, что говорил

другой, сколько тем, что собирался сказать сам. Каждый с нетерпением ожидал окончания речи собеседника, чтобы приступить к изложению собственного мнения; разговор напоминал игру в футбол, где один старается вырвать мяч у другого, чтобы ударить самому.

На Дерибасовской улице темой их разговора был шут Яшки Бейта, на Преображенской – бег Вальки Прокофьева, на Софиевской – вопрос об искусственном офсайте, доступный пониманию только самых тонких знатоков. На Нарышкинском спуске они коснулись вопросов футбольной казуистики (как должен поступить рефери, если игрок возьмет мяч в зубы и внесет его в ворота?). На Московской улице они заговорили о том, как мотается знаменитый форвард Богемский, и здесь в их взглядах неожиданно обнаружилось столь крупные расхождения, что, при всей снисходительности друг к другу, они вступили в серьезный спор. Желание доказать свою правоту настолько овладело ими, что они решили наглядно продемонстрировать прием, послуживший причиной спора, и для этого, отыскав подходящий камешек, остановились на перекрестке, отошли на край тротуара, положили камешек на землю, и попрыгали вокруг него, воспроизводя приемы Богемского так, как их понимал каждый. Чтобы овладеть камнем, голкипер, улучив момент, отпихнул Володю в сторону; бедро его на секунду прижалось к Володиному бедру и совершенно явственно ощутило твердое тело кольца, лежавшего в кармане Володиного пальто.

После этого голкипер стал задумчивым и грустным и, дойдя до ближайшего угла, попрощался с Володей.

– Покедова, мне на Бажакину, – сказал он и свернул налево.

Пройдя еще два квартала, Володя тоже свернул налево – на Балковскую.

Он прошел ее всю, от истоков до самого устья. Постоялые дворы расположились в низовьях Балковской, по обоим ее берегам, там, где улица впадает в степь.

Как по многоводной реке, идут по Балковской в море-степь торговые караваны и, выйдя из устья улицы, расходятся во все стороны – на Тирасполь, на Балту, на Голту. Здесь прощаются с Одессой и здороваются с ней. Если бы степь была морем, в конце Балковской стоял бы маяк, освещающий вход в гавань.

Улица состояла из постоянных дворов, фуражных лавок, кузниц, шорных мастерских, трактиров. Это был Бродвей для еврейских извозчиков – балагул; самые прихотливые желания их удовлетворялись здесь без отказа. Здесь была даже синагога для балагул, с балагулами-служками. Не меньше, чем балагулы, любили Балковскую конокрады. Между членами этих двух цехов царила извечная вражда. Но всегда почему-то там, где вращались балагулы, обосновывались и конокрады. Кошки и собаки, не любя друг друга, обыкновенно живут под одной крышей.

В одном из постоянных дворов жил портной Г. Кравец, который, по слухам, обшивал виднейших конокрадов уезда. Идя по улице, Володя увидел на противоположной стороне его зеленую вывеску. Слева на вывеске желтыми буквами было написано по-украински:

КРАВЕЦЬ Г. КРАВЕЦЬ.

Справа было написано по-русски: «Портной Г. Кравец».

Рядом с вывеской и перпендикулярно к ней на ржавом стержне висел железный пиджак, скрипевший под ударами ветра.

«Что я сделал бы, — спрашивал себя Володя, разглядывая вывеску, — если бы оказался на месте Красавчика?»

Мучимый этим вопросом, он в нерешительности стоял перед вывеской.

«Я мог бы зайти к этому портному, чтобы заказать себе новый костюм. Я заплатил бы за него из денег, вырученных от продажи украденных лошадей».

Несомненно, это предположение имело столько же оснований, сколько всякое другое, и поэтому Володя решил начать поиски с посещения портного. Прохаживаясь взад и вперед, Володя обдумывал наводящие вопросы, посредством которых он выведает у портного что-либо о его преступных связях.

Когда план был готов, Володя, нащупав револьвер, лежавший в кармане пальто дулом вверх, стал переходить улицу. Дойдя до ее середины, он остановился, чтобы пропустить фургон, выехавший из ворот соседнего постоянного двора.

Лошади шли шагом, и Володя, полный мыслей о портном, рассеянно глядел на фургон. То, что это был зеленый фургон, само по себе ни о чем не говорило. Девять фургонов из десяти на Одессине окрашены в зеленый цвет. Было другое, более важное обстоятельство; левое заднее колесо фургона было новым, с белыми некрашеными спицами.

Володя пошел рядом с фургоном. В голове его все спуталось. Грищенко сообщил ему слишком много примет. Теперь они теснились в мозгу Володи, мешая принять решение. Розочки на задке, лысины на мордах, нарытники с бляшками, некованные копыта... Два аршина, два вершка от холки до земли. Он шел рядом с фургоном, положив правую руку на высокий борт – дробину. Ему одновременно хотелось и забежать вперед, чтобы посмотреть на лошадиные лысины, и заглянуть под копыта, чтобы узнать, кованы ли они, и броситься назад, чтобы освидетельствовать розочки на задке фургона. Немецкой ли работы нарытники? Володя поглядел на возницу. Воротник его полуморского, полустепного твинчика был поднят. На мешке половой сидел голкипер «Черного моря». Это еще больше смутило Володю.

Нужно было что-то делать, что-то говорить. Но что?

Вместо само собой подразумевавшегося «руки вверх» Володя произнес наконец, запинаясь:

– Скажите... как ваша фамилия?

Фамилии Красавчика он не знал, вопрос был бесполезен.

– Фамилия? – переспросил голкипер и прищурил свои глаза цвета ячменного пива. – Иээх! – дико взвизгнул он и хлестнул лошадей.

Дробина толкнула Володю в сторону и вперед, затем он почувствовал удар в поясницу, упал на руки, новое заднее колесо перескочило через его спину; еще миг – и, стоя на четвереньках, он увидел перед самым своим носом розочки на задке фургона. Они удалялись от него со все возрастающей быстротой. Вид этих розочек почти ослепил его.

Он вскочил на ноги и бросился вперед с такой стремительностью, будто им выстрелили из невидимой катапульты. Сделав несколько отчаянных скачков, он вцепился в задок в тот момент, когда фургон набрал полную скорость и розочки грозили скрыться навсегда. Он перевалился корпусом через борт и, подпрыгав в воздухе ногами, очутился в фургоне.

Черноморец, не оглядываясь, хлестал лошадей так, будто хотел перерубить их пополам. Володя вскочил на ноги и, балансируя, стал передвигаться вперед. Увы! Царственная поза, в которой Володя видел Красавчика в тот день, когда тот удирали из Севериновки, плохо удавалась. Он чувствовал, что на любом ухабе его может выбросить из повозки. Наконец, кое-как утвердившись на зыбком днище фургона, он схватил за дуло револьвер и высоко поднял его над головой. Один удар по черепу – и с преступником будет покончено. Револьвер описал большую дугу и довольно слабо ткнулся рукояткой в кепку бандита. Тот был не столько ушиблен, сколько удивлен. Но тут дело приняло уж совсем неожиданный оборот. Потеряв равновесие, Володя повалился на возницу, подмял его под себя, тот выпустил вожжи, лошади понесли. Вожжи упали в ноги лошадям, левый жеребец выскочил за постромки и скакал боком, лягаясь. Возница лежал тихо. Володя терся носом о его пыльный затылок и шершавое ухо и, видя над бортами фургона ряды скачущих домов, заборов и вывесок, соображал, что делать. Решение было принято лошадьми. Выбежав на площадь, они сами отдались в руки правосудия, остановившись у общественного водопоя, где их взял под уздцы постовой милиционер.

Через минуту фургон поехал по Балковской. Милицционер правил лошадьми, арестованный сидел на дне фургона, а Володя – на дробине. Задержанный молчал, он как-то обмяк и посерел. Футболист исчез, его место занял правонарушитель. Володя сидел на дробине, держа в руках кольт. Дуло его было направлено на преступника. Не было сомнений, что голкипер «Черного моря» и Красавчик – одно и то же лицо. Они проехали Балковскую, пересекли Бажакину, свернули на Московскую, миновали перекресток, где только что два молодых человека прыгали вокруг камешка, изображавшего футбольный мяч, поднялись по Нарышкинскому спуску и через пять минут въехали во двор дома, где помещался уездный уголовный розыск.

Затем все трое были введены в кабинет товарища Цинципера.

Его удивлению не было границ. В учреждении, возглавляемом товарищем Цинципером, поимка бандита считалась почти невозможной. Товарищ Цинципер был очень взволнован, беспрерывно снимал и надевал свое четырехугольное пенсне, потирал лысеющую голову, назвал задержанного «товарищ Красавчик», зачем-то придвинул ему стул и пригласил сесть. Красавчик сел, все продолжали стоять. Сотрудники стояли в полном молчании, пожирая глазами живого бандита. Наконец товарищ Цинципер объявил, что будет допрашивать Красавчика лично, через час, после того как заслушает утренние доклады подчиненных. Красавчика увели, а Володя помчался к Виктору Прокофьевичу.

Виктор Прокофьевич был дома – он только что отпу-

стил Федьку Быка. Володя поведал Шестакову о своих приключениях, о поимке Красавчика, но не скрыл и своих ошибок; рассказал, как он путешествовал с преступником через весь город, всячески стараясь от него ускользнуть, и как он был удивлен, когда, наперекор его усилиям, благодаря счастливой случайности Красавчик оказался у него в руках.

– Эх, Володя, Володя! – сказал Виктор Прокофьевич укоризненно. – Ваша главная ошибка заключалась в том, что вы все время старались поставить себя на место Красавчика. А что вы знали о Красавчике? Ничего. Надо было, наоборот, поставить Красавчика на место себя. Тогда бы получилась более верная картина. Вы подумали бы о том, что и у Красавчика могут быть в городе родители, к которым он пошел ночевать; что и Красавчик, ворочаясь в своей постели, думал о зеленом фургоне, а утром, напившись чаю и попрощавшись с матерью, побежал на Балковскую.

Володя хотел что-то возразить, но дверь открылась и в комнату вошел фельдъегерь товарища Цинципера.

По дороге на допрос Красавчик бежал из-под стражи...

9

Самыми бандитскими районами в уезде считались одесские пригороды.

Ставки считались самым бандитским из пригородов Одессы.

Как при отливе, когда океанские воды уходят и на обнажившемся дне остаются мутные лужицы с застрявшей в

них мелкой рыбешкой, тиной и водяными блохами, в степных просторах Одесщины, едва схлынули волны гражданской войны, осела «кукурузная армия» – пестрая смесь из остатков разбитых банд, политических и уголовных головорезов, конокрадов и контрабандистов.

«Кукурузной» эта армия называлась потому, что убежищем ее на Одесщине, лишенной лесов, были кукурузные заросли. Днем бандиты сидели в кукурузе, а ночью выходили на шляхи. Одно время было так: днем в уезде одна власть, ночью – другая.

Три месяца назад из Одесщины ушли белые, на этот раз навсегда; до них ушли петлюровцы, махновцы, французы, англичане, греки, поляки, австрийцы, немцы, галичане. Но еще носился по уезду на красном мотоциклете «Индиан» организатор кулацких восстаний немец-колонист Шок; еще не был расстрелян гроза местечек Иоська Пожарник, обязанный кличкой столь прекрасным своим лошадям, что равных им можно найти лишь в пожарных командах; уныло резали своих соплеменников молдаване братья Мунтяну; грабил богатых и бедных болгарин Ангелов, по прозвищу Безлапый; еще не был изловлен петлюровский последыш Заболотный, уходивший после каждого налета через Днестр к румынам; еще бродил на воле бандит в офицерском чине Сашка Червень, не оставлявший свидетелей. В самой Одессе гимназистка седьмого класса Дуська Верцинская, известная под кличкой Дуська-Жарь, совершила за вечер восемнадцать налетов на одной Ришельевской улице и только по четной ее стороне. Самогонных аппаратов в деревнях было больше, чем сепараторов; спекулянты ездили по трактам шумными обозами; в кулацкой

солومه притаились зеленые пулеметы «максимы», а сами кулаки, еще не вышибленные из своих гнезд, готовили месть и расправу.

Странные дела творились в преступном мире. Богатые чаще грабили бедных, чем бедные богатых. Кулаки посягали на добро незаможников. Неимущие становились опорой законности, а собственники – вдохновителями анархии и разбоя. По уезду гремели конокрады из помещиков и налетчики из гимназистов. Они свозили награбленное к «малинщикам» из священников. Бывший гласный городской думы попался на краже кур и гусей.

В Одесском уезде жили бок о бок украинцы, молдаване, немцы, болгары, евреи, великороссы, греки, эстонцы, арнауты, караимы. Старообрядцы, субботники, молокане, баптисты, католики, лютеране, православные. Жили обособленно, отдельными селами, хуторами, колониями, не смешиваясь друг с другом, сохраняя родной язык, уклад, обычаи.

Немцы жили, как полтора столетия лет назад их прадеды жили в Эльзасе и Лотарингии, – в каменных домах с островерхими кровлями, крытыми разноцветной черепицей. Дома, мебель, повозки, платья, посуда, вилы и грабли, кухонные плиты, молитвенники – все это было точь-в-точь таким, как в Эльзасе.

Колонии назывались Страсбург, Мангейм – как города на Рейне. Немцы были разные. Были немцы с французскими фамилиями – онемеченные эльзасские французы, с заметным украинским налетом, и были немцы с немецкими фамилиями. Были немцы богачи и бедняки, немцы-католики и немцы-лютеране, немцы, говорящие на

гохдойч, и немцы, говорящие на платдойч, плохо понимающие и не любящие друг друга. Кроме немецкого, колонисты знали немножко украинский. «Мы нимци», – говорили они о себе.

Молдаване на Одессине жили точно так, как их предки в дунайских княжествах двести – триста лет тому назад; ели мамалыгу с кислыми огурцами и медом, сами ткали полотно и шерсть и не понимали по-русски. Французы ухаживали за своими виноградниками, как где-нибудь в Провансе.

Рядом с огромными нищими селами стояли немецкие хутора, где каждый из тридцати хозяев носил фамилию Келлер или Шумахер, имел от тысячи до полуторы тысяч десятин тяжелой черноземной земли и полсотни заводских лошадей. Были села, где жили сплошь хлебопашцы, и были села, где жили виноделы, огородники, гончары, шорники, брынзоделы, рыбаки, столяры, шинкари и даже села, где жили одни только музыканты, разъезжавшие по свадьбам и крестинам.

Были села, особенно поближе к Одессе и по Днестру, где жили бандиты. Бандиты были из немцев и болгар, из евреев и молдаван, из украинцев и греков, из мирного и немногочисленного племени караимов. Были бандиты из баптистов. Вечерами они выходили на шляхи и в ночной темноте грабили и убивали, не разбираясь в национальности. И по утрам у дорог находили трупы немцев и болгар, евреев и молдаван, украинцев и караимов.

Но Володя, описывая в своих актах, как выглядят эти трупы и в каких положениях застигло их утро, не мог охватить взглядом всю картину. Ему не были понятны ее

масштабы и социальный смысл. Но ему была ясна его задача. Вид первого трупа, который ему пришлось осматривать, глубоко потряс его. Это не был страх перед мертвецом. Это было негодование и острое сознание чужого человеческого горя. «Люди, только что освобожденные революцией, не должны умирать от руки убийц», – сказал он себе. Он должен помочь трудовым селянам сбросить с себя последнее иго – бандитизм. Чтобы они могли мирно работать на своих полях и виноградниках. Пастись овец. Ездить по шляхам днем и ночью. Повыбрасывать обрезы. Спать спокойно в своих хатах.

...Даже люди, столь мужественные и привыкшие к опасностям, какими Володя считал себя, Грищенко и отчасти Шестакова, испытывали неприятное чувство, приближаясь к Ставкам – этому неприступному бандитскому гнезду.

Не всякий одессит знает, где расположены Ставки, и только очень немногие бывали на этой глухой окраине.

...Несколько раз город кончался, пропадал, начинались пустыри, мусорные свалки, чахлые баштаны и, наконец, голая степь; потом степь снова переходила в огороды, свалки, пустыри, появлялись какие-то бесконечные заборы, склады, крупорушки, возникали подобия улиц. Володя, Виктор Прокофьевич и Грищенко всё шли и шли, выходили из города и снова входили в него, а до Ставков было еще далеко, и они начинали опасаться, что не попадут туда до темноты.

Они шли на Ставки брать Червня – Володя, Виктор Прокофьевич и Грищенко, особенно мрачный сегодня и как будто чем-то раздраженный. Они шли через пустыри,

мимо бесконечных заборов из желтого песчаника, утыканных сверху осколками бутылок, выбирая дорогу среди обрезков кровельного железа, тряпья, жестянок, битого стекла, куч навоза идохлых кошек.

Прохожие почти не встречались, да и самое название «прохожий» не вязалось с видом людей, пробиравшихся иногда по пустырям и переулкам Ставок. Эти встречи вызывали у мирного путника такое же чувство, какое испытывает горожанин, впервые попавший в деревню и увидевший на пути своем бодливую корову.

– Нехорошо идти гурьбой, – сказал Виктор Прокофьевич. – Если они увидят кучу народа, то догадаются, что мы идем на них облавой.

– Ще неизвестно, хто кому облаву готовит, – заметил Грищенко зловеще, – чи мы на их, чи воны на нас.

– Я с Грищенко пойду вперед, – продолжал Виктор Прокофьевич, – а вы, Володя, отстаньте шагов на пятьдесят, будете, так сказать, защищать тыл. Мы с Грищенко войдем первыми, а вы...

– Ни за что! – вспыхнул Володя. – Уж не потому ли, что Червень стреляет сквозь шинель?

– От вже и поцапались! Я можу пойти сзади, – примирительно сказал Грищенко.

Но Виктор Прокофьевич заупрямился.

– Что вы за человек, Володя? Вы обязательно хотите поймать всех бандитов сами! Вы уже поймали Красавчика, и пока хватит с вас. Дайте и старику раз в жизни поймать преступника.

В конце концов Володя согласился, чтобы не обижать старика.

– Не забудьте, Володя, – сказал Шестаков, – наш уговор насчет лопаты. Если лопаты не будет, мы поворачиваемся и на цыпочках уходим.

10

Володя пошел сзади, время от времени вынимая карманное зеркальце и проверяя, не выслеживает ли их кто-нибудь.

Иногда он не без удовольствия разглядывал на дороге красивые отпечатки в форме полумесяца, напоминающие следы укусов; то были отпечатки обрамленных шипами грищенковских каблуков. Бравая спина их владельца виднелась впереди, шагах в пятидесяти; рядом шагал, сутулясь, Виктор Прокофьевич.

Они подошли к переезду. Здесь, как всегда в жаркую пору, запахло железной дорогой: дегтем, гарью, застоявшейся в кюветах водой и далекими путешествиями. Володя любил этот запах. От чистенькой щебенки повеяло теплом, накопленным за день. Рельс, которого он мимоходом коснулся рукой, был горячим, хотя солнце уже зашло. Сумерки надвинулись быстро.

Еще минут пять они пробирались сквозь дыры в каких-то дощатых заборах, пока не пришли к облезлому, покрытому струпьями двухэтажному дому со сводчатой подворотней посредине, маленькими окнами и толстыми стенами, подпертыми полуобвалившимися кирпичными контрфорсами. Дом был окрашен в буро-зеленый цвет, в какой время и морские туманы красят в Одессе заброшенные строения, а городская управа – богадельни и сиротские приюты, и принадлежал к тому типу зданий, самая

архитектура которых органически включает в себя запах испорченных уборных, смрад помоек, сырость и плесень внутри и снаружи.

Из дома доносилась бойкая песенка, которую пела в те дни вся Одесса:

*Как приятны, как полезны помидоры,
Да помидоры, да помидоры...*

Перед тем как скрыться в подворотне, Виктор Прокофьевич обернулся к Володе и кивнул ему.

Володя побежал. Он знал, что Червень с приятелем должны находиться не в двухэтажном доме, выходящем на улицу, а в дворовом одноэтажном флигеле. Когда он очутился перед длинной сводчатой подворотней, в его уши ударили рвущиеся оттуда громоподобные звуки песни, как будто он всунул голову в граммофонную трубу:

Да помидоры, да помидоры...

Володя побежал по гремющей подворотне и очутился на квадратном двореке, замощенном камнем-дикарем. Посредине росло лишь одно дерево с голыми, скорченными, как бы застывшими в судороге, обрубками сучьев. На один из обрубков была надета большая макитра. От дерева навстречу Володе молча бросилась высокая худая собака с темными кругами вокруг белых глаз, собака с головой стерляди, собираясь не то обнюхать его, не то укусить. Володя отпрыгнул в сторону. С детства он испытывал не то что страх, но какое-то предубеждение против собак,

оставшееся в нем с того дня, когда его, трехлетнего мальчика, облаяла соседкина болонка; ужас, испытанный им в тот день, на всю жизнь определил его отношение к собакам.

– Пшел! – крикнул Володя серому и, косясь через плечо, пересек двор по дуге, в центре которой оставался подозрительный пес.

Перед Володей было одноэтажное здание складского типа с толстыми решетками на окнах и входом посередине. Из этого входа и рвался наружу лихой припев. Володя знал, что вход ведет в коридорчик, имеющий аршин восемь в длину и аршина два в ширину, что коридорчик упирается в дверь, за которой находится комната с окном, взятым в решетку. Здесь и должен был находиться Червень с приятелем.

В глубине коридорчика появилась и исчезла полоса света. Песня оборвалась.

«Вошли», – подумал Володя.

Уже почти стемнело.

Слева от входа стояла лопата.

Вытянув вперед руку, Володя побежал по темному коридорчику. Ладонь его коснулась толстого железного засова. Он потянул его к себе, дверь, удерживаемая тугой пружиной, приоткрылась, и Володя просунул голову внутрь.

Он увидел комнату, более широкую, чем длинную; большой стол, оставлявший лишь узкие проходы у стен, заставленный бутылками и едой, человек пятнадцать мужчин и женщин, неподвижно, в полном молчании си-

девших вокруг стола, Виктора Прокофьевича, стоявшего справа, у дверного косяка, и Грищенко, который стоял еще правее, опираясь на манлихер.

Еще не было произнесено ни слова, еще не было сделано ни одного движения. Но пальцы уже лежали на собачках. Слабый шорох, произведенный Володей, привел все в движение. Лавина рухнула. Из многих глоток вырвался пронзительный крик. Черная квасная бутылка описала почти видимую дугу и шлепнулась доньшком о лоб Шестакова. Боднув воздух эспаньолкой, Виктор Прокофьевич рухнул на пол. Лампа-молния погасла. В грохоте опрокидываемых стульев, звоне посуды, топоте, рычанье утонули чьи-то пистолетные выстрелы. Казалось, что в комнате топчется бешеный слон.

Все бросились к выходу.

Володя втянул голову в плечи и отпрянул в коридор. Дверь захлопнулась и сейчас же, нажатая кем-то изнутри, ударила его в лоб.

Он толкнул дверь обратно. Он сделал это инстинктивно. Если дверь откроется, бешеный слон растопчет его. Изнутри нажали на дверь сильнее. Володя хотел бежать, но он не мог оставить дверь. Он налег на нее всем корпусом, но дверь неумолимо – миллиметр за миллиметром – отодвигала его в коридор. Подошвы Володи медленно скользили по полу. Но его левая ладонь хранила какое-то важное воспоминание. Воспоминание о прикосновении к засову! Ладонь догадалась, что надо делать. Она стала искать в темноте. Ум в этом не участвовал. Рукой управлял страх. Нужно было закрыть дверь на задвижку, чтобы бежать.

Володя уперся плечом в засов. Ему показалось, что позвоночник его сейчас сожмется гармошкой. Но вдруг ноги его на секунду перестали скользить.

За дверью образовалась каша из людей и стульев, подхваченных потоком, устремившихся к выходу. Мешало тело Шестакова, упавшего внутри у порога.

Нажим изнутри ослабел – может быть, руки, давящие на дверь, были отняты на миг, чтобы нанести новый, еще более сильный удар.

В этот миг засов вошел в скобу.

Теперь можно было бежать через пустынный двор, мчаться по Ставкам. Никто не будет гнаться за ним, кроме серой собаки.

Володя на цыпочках, стараясь не стучать ногами, побежал через двор мимо сумасшедшего дерева, к подворотне. Серый пес шарахнулся от него. Володя чувствовал во всем теле необыкновенную легкость, будто с его плеча свалился весь флигель.

Только сердце стучало на весь двор.

В подворотне Володя остановился, затем так же, на цыпочках, словно боясь, что кто-нибудь увидит его, побежал обратно.

Он вспомнил: Виктор Прокофьевич, Грищенко!

Дверь гудела так, будто изнутри ее били тараном. Володе казалось, что при каждом ударе она выгибается наружу.

Володя выхватил свисток. Как только его рука ощутила этот символ власти и порядка, он успокоился.

Он засвистел. Он знал, что на выстрелы народ не прибежит, а на свисток прибежит. В те времена стрельба не была для одессита чем-то необычным, что могло бы его заинтересовать и заставить ускорить шаг. Но в звуке милицейского свистка заключалась магическая сила, подчиняться которой одессит привык издавна.

Володя свистел, таран продолжал гроыхать. Перегородка, отделявшая Володю от бандитов, трещала и грозила рассыпаться. Сейчас Володя уже вполне трезво оценивал обстановку. Если дверь будет высажена, не спастись ни ему, ни Виктору Прокофьевичу, ни Грищенко. Во главе осажденных – Червень, а Червень не оставляет свидетелей.

– Не ломайте дверь! – крикнул Володя фальцетом. – Стрелять буду!

И вытащил из кармана кольт.

Но дверь продолжала сотрясаться от ударов.

Толстая кольтовская пуля с десяти шагов пробивает двухдюймовую доску. Володя поднял кольт. – Стрелять буду! – крикнул он снова и, даже не успев полюбоваться собой, выстрелил в дверь два раза.

Наступила минута тишины, затем послышались три громких удара. Кусочки песчаника, отбитые от стены, брызнули Володе в лицо. Большая макитра на сучке с грохотом разлетелась на куски и осыпала осколками дворик. Осажденные отстреливались.

Володя выскочил из коридорчика и, став за угол, продолжал стрелять в дверь. К счастью, он вовремя вспомнил одно из изречений Червня: «Начав стрелять, не забудь остановиться». В обойме у него оставалось только два патрона.

Володя снова схватился за свисток. Осажденные же, начав стрелять, еще долго не могли остановиться, хотя среди них и находился сам Червень. Пули летели через дворик. Во флигеле напротив со звоном сыпались стекла.

Вдруг в шуме боя образовалась щель, сквозь которую прорвался новый звук. Володя быстро обернулся. Кто-то бежал через двор, работая на ходу затвором длинной берданки.

На бегущем была защитная гимнастерка, украшенная синими венгерскими бранденбурами, какие сейчас нашивают на пижамы, парусиновая буденовка старинного фасона, с высоким шпилем и двумя козырьками – сзади и спереди; на ногах – желтые ботинки из твердой, негнущейся кожи. Незнакомец был так занят своей берданкой, в которой что-то не ладилось, что, подбежав к Володе, даже не поглядел на него, а продолжал громко лязгать затвором.

– Кто ты? – крикнул Володя.

– Продармеец, – ответил тот, не отрываясь от своего занятия.

– Сколько у тебя патронов?

– Один, – ответил продармеец, показывая длинный патрон с толстой свинцовой, спиленной на конце пулей, вроде тех, которыми стреляли в битве на реке Альме.

Володя быстро оценил огневую силу подкрепления.

– Стрелять не надо, стой здесь, щелкай затвором, – Володя сунул продармейцу свисток, – и свисти.

Продармеец стал по другую сторону входа и принялся щелкать и свистеть, свистеть и щелкать, как ему было приказано.

Между тем бандиты прекратили стрельбу и снова за-

нялись высаживанием двери. Через несколько минут их усилия увенчались успехом. Крик торжества вырвался изнутри. Дверные петли отскочили. Дверь приоткрылась – теперь она держалась только на засове. Достаточно было немного отодвинуть ее в сторону, чтобы засов вышел из скобы и путь был открыт. Но осажденные сгоряча продолжали бить в дверь, отгибая засов и постепенно расширяя проход.

Володя схватил одну из своих лимонок. «Дверь защитит Шестакова, но тех, кто выскочит в коридор, порвет на куски», – пронеслось в голове у Володи.

Это была лимонка, выменянная когда-то на фотографический аппарат, заветная лимонка, на которой ему был знаком каждый бугорок, каждая царапина. Пришло-таки ей время взорваться! Он вырвал кольцо – сколько раз он представлял себе это движение, которое каждая лимонка позволяет сделать только однажды, – и бросил продолговатую, бугристую, как еловая шишка, бомбу в коридорчик.

Из коридора гроыхнуло, дунуло ветром, дымом и пылью.

Дверь упала.

Было тихо. Внутри что-то звякнуло.

– Сдавайтесь! – крикнул Володя. – Иначе все будете перебиты.

Продармеец шелкнул затвором.

– Выходи безоружными, по команде, спиной вперед, каждый отдельно, с поднятыми руками. Кто не подчинится – взорву! – крикнул Володя в темноту.

Сзади слышался топот. Кто-то бежал через дворик, размахивая фонарем. Светлый круг прыгал по булыжнику.

– Стой! Кто идет? – крикнул Володя. Все нужные слова сами шли на язык. Человек с фонарем молчал.

– Кто ты? – опять крикнул Володя.

– Я?

– Да, ты.

– Я – житель, – уклончиво ответил незнакомец, испуганно разглядывая Володю.

Тот стоял, держа в поднятой руке вторую лимонку, как бокал.

Человек с фонарем колебался. Его взгляд скользил по лимонке, наплечным ремням, обшитым кожей Володиным галифе. Все это были вещи неясные, неубедительные. Лимонка, наплечные ремни могли быть у кого угодно. Но свисток! Свисток мог быть только у представителя закона.

– Я – председатель домкома, – сказал незнакомец, ободренный непрекращающимся свистом.

– Далеко отсюда телефон? – спросил его Володя.

– На переезде, пять минут ходу.

– Бегите на переезд, звоните в угрозыск дежурному по городу, без номера... повторите...

– ...угрозыск, дежурному по городу, без номера...

– ...чтобы выслал летучку и «скорую помощь»... повторите...

– ...летучку и «скорую помощь»...

– ...на Ставки. Куда ехать – объясните сами. Сумеете?

– Сумею.

– И чтобы позвонили Цин-ци-пе-ру. Запомните?

– Чтобы позвонили Цин-ци-пе-ру.

Председатель домкома поставил фонарь на землю и побежал.

В глубине коридорчика о чем-то шептались. Володя стоял за углом стены, прислушиваясь. Вдруг дверь скрипнула под чьей-то ногой.

– Сдавайся! – крикнул Володя, замахнувшись лимонкой.

– Сдаемся, – слышалось изнутри.

Бандиты выходили по одному, затылками вперед, подняв руки. Вероятно, они ожидали увидеть во дворе большой отряд. Но, когда они убеждались в своей ошибке, было поздно ее исправлять. Они уже были испуганы и, стало быть, побеждены. Володя стоял с револьвером и бомбой, следя, чтобы никто не опустил рук. Продармеец обыскивал бандитов и ставил их в ряд, лицом к стене. Всего вышло девять человек – пять мужчин и четыре женщины. Червня среди них не было.

– Женщин ставь по краям, – распорядился Володя. Когда с бандитами было покончено, он крикнул:

– Виктор Прокофьевич!

Но ответа не было.

В этот момент в коридорчике слышался шорох.

– Не лякайтесь, це я, – сказал знакомый голос. По коридорчику пятился, подняв руки, Грищенко.

– Это щоб вы з переляку меня не шлепнули, товарищ начальник, – объяснил он, выбравшись во двор.

Одна штанина была у Грищенко оторвана до колена, и голая нога торчала из нее, как протез. К рябой щеке прилип салатный лист, но, в общем, младший милиционер был цел и невредим.

– Вот здорово, ты цел? – обрадовался Володя. – Что же ты там делал, внутри?

– Да ничего. Як стали нашего Виктора Прокоповича топтать, я соби и подумав: «Пока спекут кныши, останешься без души» – тай заховався пид стол, в затишок...

– Где Виктор Прокофьевич? – прервал его Володя мрачно. – Что с ним?

– А хибя ж я знаю? Що я, доктор?

– А где твой манлихер?

– Манлихер? – переспросил Грищенко и почесал за ухом.

12

В то время как Грищенко чесал за ухом, мушка его манлихера остановилась как раз на уровне груди Володи. Человек, целившийся в Володю из манлихера, лежал за порогом комнаты. Очнувшись от контузии, он пошарил вокруг себя. Его рука сначала нащупала чье-то холодное лицо, затем приклад. Он подтянул его к себе и засунул палец в дырку в нижней части магазина. Палец вошел в дырку на глубину одной гильзы. «Четыре патрона в магазине», – подумал человек. Есть ли патрон в стволе? Щелкать затвором нельзя было – тот, кто стоял у входа, мог услышать и отскочить в сторону. Но ведь винтовка на предохранителе; стало быть, патрон в стволе есть. Человек в комнате тихо отвел предохранитель и принял щекой к прикладу.

Володя стоял в светлом квадрате выхода. Над головой его висела красная луна. Фонарь председателя домкома освещал его снизу колеблющимся светом. Человек переводил мушку манлихера с Володиной головы на грудь, с груди на голову.

– Грищенко, – говорил Володя взволнованно, – я при-
казываю тебе полезть за манлихером...

– Ну, як же я туда полизу, – плаксиво отвечал Гри-
щенко, – коли я чую що там хтось чухається.

– Грищенко...

Но Володя не договорил.

– Получай свой манлихер! – раздался голос изнутри.

И манлихер Грищенко, выброшенный сильной рукой из коридора, загрохотал по булыжнику. Грищенко прыгнул в сторону, как кенгуру. Вслед за манлихером из коридорчика показалась долговязая фигура с поднятыми руками.

Грищенко поднял манлихер и держал его растерянно, как будто это была не винтовка, а дрючок.

– Обыщи, – сказал Володя Грищенко.

– Отскожь, не прикасайся, – сказал долговязый. – От меня винт получил – и меня же обыскивать хочет! На, обыскивай! – Он повернулся корпусом к председателю домкома, который только что вынырнул из темноты.

Председатель домкома, обнаружив неплохую технику кистевого механизма, стал проделывать волнообразные движения вдоль его тела. В этом, собственно, не было ничего удивительного, ибо одесситы последние годы только тем и занимались, что обыскивали друг друга.

Верзила поворачивался перед председателем домкома то спиной, то боком, как на примерке у портного. Тусклый свет фонаря падал иногда на его лицо, и чем пристальнее вглядывался в него Володя, тем больше убеждался, что эти твердые бронзовые скульпы не имеют ничего общего с подробно описанной Федькой Быком толстомясой, банной мордой Сашки Червня. «Эта карточка мне знакома, – думал

Володя, разглядывая бандита, – но из какого она альбома?» Верзила между тем повернулся к свету, и Володя понял, что он снова поймал Красавчика.

– Красавчик! – пролепетал Володя совершенно потрясенный. – Как ты сюда попал?

– Добрый вечер, гражданин начальник, еще раз! – Красавчик приложил руку к кепке. – Мы с вами сегодня, как нитка с иглой: куда вы – туда я, куда я – туда вы.

Этой фразой было сказано очень много. Он давал понять, что признает неуместность при данных обстоятельствах всяких воспоминаний о старом знакомстве двух футболистов. Он не собирается извлекать из них какую-либо пользу для себя. Он понимает, что дружба дружбой, а служба службой. Он произнес эти слова тем полным достоинства, почтительно-фамильярным тоном, которым опытный арестованный всегда разговаривает со своим следователем. Но, не претендуя на поблажки по знакомству, он не собирался отказываться от того, на что имел право по закону.

– Прошу только, гражданин начальник, – сказал он тем же почтительно-фамильярным тоном, – отметить в протоколе этот манлихер. Дескать, вор-конокрад Красавчик, не имея мокрых дел и не желая их иметь...

Продолжая вертеться перед председателем домкома с поднятыми над головой руками, то втягивая, то выпячивая живот, услужливо подставляя еще необысканные участки тела, он объяснил Володе, почему умный вор не пойдет на мокрое дело.

– Мокрые дела умному вору ни к чему, – говорил он. – За мокрые дела шлепают.

Председатель домкома между тем нащупал за пазухой Красавчика какой-то ремень и принялся его вытаскивать. За ремнем потянулся моток, оказавшийся уздечкой.

– Орудие производства, – объяснил Красавчик, смутившись.

– Манлихер я отмечу, поскольку факт имеет место, – сказал Володя. – Но ты скажи откровенно: как насчет побегов? Будешь еще бежать или нет? Красавчик ударил себя в грудь:

– Побей меня гром, разве ж это был мой побег? Это ж был ихний побег. Берут меня из камеры и дают мне конвой – женщину-милиционера. Это же просто насмешка! Мы идем по улице, а я себе думаю: меня же люди видят, знакомые! Может, мне даже этой свободы особенно не хотелось...

Председатель домкома фыркнул.

– Ну, чем доказать? Вот могу дойти до этих ворот и обратно. Хотите?

Он сказал это так искренне и горячо, как может сказать только человек, взятый под стражу.

Много времени спустя Володя задумался над тем, что удержало руку Красавчика, когда он, целясь в него из манлихера, решал вопрос: убить или не убить? Только ли холодный расчет опытного уголовника? Не вспомнил ли Красавчик в эту минуту «Черное море», футбол? Не вспомнил ли он, увидев в светлом квадрате входа инсайда «Азовского моря», что сам был когда-то голкипером черноморцев и лежал в их славных воротах, как лежит сейчас на полу в темной воровской «малине»? И тогда, быть может, в нем проснулся добрый лев, не пожелавший убить

ничего не подозревающего, беззащитного врага; быть может, он почувствовал обиду за себя, за свою скверную судьбу, понял, что смутное время кончилось и что надо делать окончательный выбор. Но если эти мысли и взволновали его, он постарался скрыть их. Лишь много лет спустя Володя узнал, о чем размышлял Красавчик в минуту, решившую судьбу обоих.

Бандиты стояли в ряд в причудливых позах, изогнув спины и упершись ладонями в стену. Потеряв свободу, они потеряли индивидуальность. Они казались одинаково серыми, покорными и почти неотличимыми друг от друга. У них онемели поднятые руки, чесались спины, и они были коровьими голосами:

– Гражданин начальник... разрешите опустить руки...

Нытье бандитов прервал грохот автомобиля, полным ходом въехавшего во двор. Это был курносенький грузовичок «фиат» на твердых шинах, битком набитый людьми. Машина круто завернула, и начальник оперативного отдела с ходу копчиком упал на бандитов. За ним посыпались агенты и менее чем в две секунды бандиты были обысканы с головы до ног.

– Городская работа, а? – подмигнул начальник оперативного отдела Володе, намекая на превосходство городского угрозыска над уездным.

Расшитая золотом кубанка начоперота, алая черкеска, окрыленная пришипленным к спине башлыком, желтые сапоги с подколенными ремешками и маленьким раструбом вверху голенища, обритая со всех сторон борода котлеткой, напудренное лицо, наконец бомба-фонарка особенно редкостного, не известного Володе образца – все

это производило такое сильное впечатление, что всякому, кто видел этого человека, хотелось ему немедленно сдаться.

Еще через секунду бандиты, подгоняемые агентами, как овцы, толкаясь, лезли в грузовик. Они рассаживались в нем, ворча друг на друга, зло пиная женщин и стараясь захватить лучшие места. Только что потеряв свободу, они хотели тем не менее с удобством ехать в грузовике. Утратив преимущества, которые дает человеку свобода, они сейчас же стали заботиться о мелких выгодах, которые могло дать им заключение. Когда бандиты уселись, начальник оперативного отдела, освещая путь фонариком, устремился в коридорчик. За ним двинулись агенты, целясь в темноту из револьверов.

Первым вынесли Виктора Прокофьевича.

— Сажай, сажай его под стенку, не клади, чтобы юшка через голову не вытекла, — распоряжался начоперот.

Виктора Прокофьевича посадили под стенку, он тихо застонал. Седенькая эспаньолка его потемнела от крови, стекавшей по лицу.

— Кроме черепа, все в порядке, — сказал начоперот, ощупав опытной рукой раненого и с трудом отгибая его пальцы, все еще сжимавшие два нагана солдатского образца. — Вот пример доблести! — добавил он, — Без памяти, голова пробита, а наганов отдавать не хочет.

— Что с ним, как вы думаете? — спросил Володя в тревоге.

— Что я, доктор? — пожал плечами начоперот. — Думаю, добрая жменя стекла в черепе. Один кусок торчит из лба, как рог.

Рядом с Виктором Прокофьевичем положили еще двух: один был без памяти, другой мертв.

Начоперот осветил его лицо электрическим фонариком.

– Червень, – сказал он. – Наповал. – И, посмотрев на Володю с уважением, добавил: – Вам повезло. Поздравляю. Приложив руку к груди, он отвесил Володе легкий поклон. – Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним.

Затем он поднял кусок старого толя, валявшийся у водосточной трубы, и, стряхнув с него песок, накрыл лицо бандита.

В это время во двор въехала машина «скорой помощи». За ней, гремя шестернями, вкатился нарядный штабной «берлиэ» на высоких колесах; его широкий, выпуклый радиатор, обильно украшенный бронзой и эмалью, сверкал, словно осыпанная звездами, лентами и орденскими знаками грудь императора. В «берлиэ» сидел товарищ Цинципер.

Три пары автомобильных фар осветили необычную сцену: тела, вытянувшиеся на земле, кучу арестованных под дулами наведенных на них наганов, белый халат доктора, склонившегося над Виктором Прокофьевичем, и в центре – Володю, потного, измазанного, с упавшими на глаза волосами. Он все еще держал в вытянутых руках пистолет и бомбу, как скипетр и державу.

– Володя! – крикнул товарищ Цинципер, соскакивая с машины. – Уездный розыск гордится тобой!

Он хотел пожать Володе руку, но увидев пистолет и бомбу, бросился к начопероту, по дороге едва не наступив на тело Червня. Близоруко поглядев на его поднятые колени и черную лужу, вытекшую из-под куска толя, товарищ

Цинципер, непривычный к подобным картинам, заметно позеленел.

Володя разыскал взглядом Грищенко, который терся где-то в задних рядах.

– Грищенко, дай на минуточку твой манлихер, – сказал он.

Грищенко вышел вперед. Все великолепие его куда-то исчезло, и он казался невзрачным, как сибирский кот, только что вытащенный из воды.

Взяв у Грищенко винтовку, Володя обратился к товарищу Цинциперу:

– Товарищ начальник, разрешите доложить: младший милиционер Грищенко арестован мной за измену долгу.

– Пожалуйста, пожалуйста, я не возражаю, – замахал руками товарищ Цинципер, с некоторой робостью взирая на своего неукротимого агента.

– Занимайте места согласно купленному билету, – изысканно вежливо обратился начоперот к Грищенко, сложив ладони лодочками, и указывая ими в сторону грузовика, в котором уже сидели, понурившись, бандиты.

Грищенко пошел, сутулясь, к грузовику, и его спина, еще недавно такая бравая, сразу стала похожей на спину заключенного.

– Это все? Или еще не все? – Начоперот выразительно покосился на председателя домкома.

– Пока все, – ответил Володя.

– Тогда поехали! – крикнул начоперот и, взмахнув полами черкески, взлетел на грузовик.

Володя подошел к Шестакову. Рядом с ним на коленях стоял врач. Белый бинт летал вокруг головы раненого. Из-под марли были видны только его глаза.

– Как раненый? – спросил Володя у врача.

– Рана не опасна, но месяц продержим, – ответил тот, ловко перебрасывая бинт из руки в руку.

– Подлечите его, пожалуйста, и от хронического катара, – сказал Володя. – И, когда он придет в себя, передайте ему от меня записочку.

Он вынул из кармана клочок бумаги – это был их план на сегодняшний день – и написал на обороте:

«Виктор Прокофьевич! Красавчик пойман. Червень убит. Грищенко я посадил. Завтра утром приду к вам в больницу.

Володя».

Первой выехала на улицу «скорая помощь». За ней тронулась летучка. Бандиты сидели на дне грузовика, агенты – на бортах. Двое лежали на крыльях, целясь из винтовок в Ставки, притаившиеся в ночном мраке.

Долговязая фигура Красавчика раскачивалась над головами урканов. Красавчик стоял, широко расставив ноги, балансируя на ухабах и хватаясь иногда за голову Грищенко, сидевшего у его ног.

– Гражданин начальник, манлихер! Не забудьте манлихер! – кричал Красавчик Володе.

Тяжело переваливаясь, грузовик вполз в сводчатую подворотню.

– Манлихер! – прогремело из подворотни в последний раз.

На улице бандиты приободрились – в конце концов то, что случилось с ними, было в порядке вещей – и затянули

воровскую «дорожную». Ветер забросил во дворик ее бойкий напев и веселые слова:

Майдан несется полным ходом...

Последними выехали со двора товарищ Цинципер и Володя на «берлиэ». Худая серая собака со стерляжьей головой бросилась за машиной, чтобы укусить ее в заднее колесо, но раздумала и отбежала. Двор опустел. Только часовые стояли у дверей разгромленной «малины».

– Володя, – сказал товарищ Цинципер, закрывая рот ладонью от встречного ветра, – я завтра же ставлю вопрос перед начальником губернского розыска, чтобы вас обоих – тебя и Шестакова – наградили именными золотыми часами с надписью: «За успешную борьбу с бандитизмом».

Они догнали летучку. Клубы пыли окутали «берлиэ», и воровская частушка заглушила приятные речи, с которыми товарищ Цинципер обращался к своему агенту.

Едва Владимир Степанович Бойченко закончил чтение, едва члены клуба перенесли мыслью из знойной Одессы в суровые Гагры, как несколько рук потянулось к увесистым золотым часам, лежавшим на тумбочке у изголовья кровати доктора. Все хорошо знали эти часы и безукоризненную точность их хода.

Самым проворным оказался юрисконсульт. Он схватил часы и нажал пружинку. Толстая крышка со звоном отскочила, и под ней, как в сейфе, оказалась другая, точно такая же крышка. Юрисконсульт поднес часы к керосиновой лампе и громко прочитал надпись, выгравированную на внутренней стороне крышки:

*Владимиру Алексеевичу Патрикееву
за успешную борьбу с бандитизмом
от Одесского уездного уголовного розыска
25 августа 1920 года.*

На минуту все онемели от изумления.

– Позвольте! – закричал наконец юрисконсульт. – Вы нарушили условие, доктор! Вы должны были написать из собственной жизни... Значит, сыщик Володя не вы, Владимир Степанович, а вы, Владимир Алексеевич!

И он недоуменно повернулся к Патрикееву.

– Вы меня, кажется, разоблачили, – ответил тот, чуть-чуть смутившись. – Отпираться бесполезно. Володя – это я.

– И вы ездили на кобыле Коханочке? – спросил старик Пфайфер.

– И я ездил на кобыле Коханочке.

– И вы бросали лимонки?

– И я бросал лимонки.

– И вы поймали Красавчика?

– И я поймал Красавчика.

Члены клуба недоумевали. Все уже создали в своем воображении образ Володи, и это был образ молодого доктора Бойченко. Теперь нужно было этот образ менять. Нужно было на место Бойченко ставить Патрикеева. Это было трудно. Трудно было поверить, что солидный, уверенный в себе Патрикеев был когда-то робким, застенчивым, смешным мальчиком – таким, каким он был описан в рассказе доктора.

– Как это на вас не похоже! – всплеснула руками Нечестивцева. – Вы – и эти степные трупы...

– Позвольте! – перебил ее юрисконсульт. – Одною я все-таки не понимаю: почему же часы у Владимира Степановича? При чем здесь доктор?

– Ну, это просто, – ответил Патрикеев, ухмыльнувшись не без лукавства. – Мы с ним старые приятели, и я давно подарил ему эти часы на память о юности, проведенной вместе.

– Сидели небось за одной партой?

– Нет, мы учились в разных учебных заведениях.

Юрисконсульт еще долго не мог успокоиться.

– Кто бы мог подумать, – говорил он, обращаясь к Пфайферу и Нечестивцевой, – что известный литератор десять лет назад был мелким агентом деревенского уголовного розыска...

Все согласились с тем, что подобные превращения возможны только в наши дни, и каждый привел несколько примеров быстрого роста людей в Советской стране. Оказалось, что доктор Нечестивцева была когда-то медицинской сестрой, а интендант Сдобнов – почтальоном; и даже сам Пфайфер, знаменитый хлебопек, до семнадцатого года всего-навсего управлял большой частной пекарней в Кременчуге. Только юрисконсульт Котик со смущением признал, что всегда был юрисконсультом и его отец тоже был юрисконсультом.

– Скажите, – спохватился вдруг Котик, – а куда девался ваш Красавчик?

– Красавчик попал, разумеется, в допр, – ответил Патрикеев. – В те годы над воротами одесского допра висела надпись, сочиненная его начальником, бывшим политкаторжанином, полжизни просидевшим в царских тюрьмах:

«Допр не тюрьма, не грусти, входящий». Всякий, кто попадал в допр, мог стать человеком, если только хотел этого. Красавчик сидел года четыре и все четыре года работал и учился. Он вышел на волю довольно образованным молодым человеком, спокойным и скромным. То, что произошло с ним дальше, никого в наши дни не может удивить; он продолжал учиться и кончил вуз. Кстати, и я кончил все-таки вуз – филологический факультет бывшего Новороссийского университета. То были трудные годы для юношей, и многие из нас занимались не тем, чем надо. Советская власть помогла нам найти место в жизни. Она занялась нами, как только у нее немножко освободились руки. С одними она обошлась сурово, как с Красавчиком, с другими – поласковее. Кто дождался этого времени, кто захотел, тот стал человеком... Теперь Красавчик, – продолжал Патрикеев, – редко вспоминает о своих степных похождениях, о «кукурузной армии», о том времени, когда он не выходил из дому без уздечки за пазухой. Теперь вы можете совершенно спокойно доверить ему пару лучших своих лошадей. Я не терял его из виду, и в конце концов мы подружились; каждый из нас считает себя очень обязанным другому: я – за то, что он не выстрелил в меня когда-то из манлихера, а он – за то, что я вовремя его посадил.

Патрикеев швырнул в камин чурбанчики, на которых сидел, и подошел к окну. Посредине гагринской бухты, прямо перед дворцом, возвышалась пирамида огня. Это был теплоход. Он был иллюминирован с такой пышностью, будто его рубильниками управляли огнепоклонники. Патрикеев распахнул балконную дверь. Непривычная тишина почти оглушила его. Прибоя не было. Молодой си-

неватый месяц мирно сиял в звездном небе, а под ним попереки спокойного моря тек к берегу светлый лунный ручей. С высокого берега свергались в море потоки талой воды. Было тепло, снег быстро таял. И, как бы извещая о первых глотках воды, вернувших жизнь гидростанции, в электрической лампочке над верандой порозовела и затрепетала тонкая нить.

Торжественный аккорд потряс воздух. Он был всеобъемлющ. Все тона сплелись в нем и все звучало вместе с ним – горы, море, стекло в оконной раме. Он наполнял собой все. Он был так низок, что казался подземным. Это гудел теплоход.

– Товарищи, – крикнул Патрикеев, – шторм утих!

Но никто не обратил внимания на его слова. Все смотрели на доктора Бойченко. Тот сидел молча, опустив голову и приблизив лицо к огню, как будто немного обиженный тем, что никто не сказал ни слова о литературных достоинствах его рассказа. Доктор молчал, и члены клуба продолжали смотреть на него немигающим, изумленным взглядом.

Общее внимание смутило доктора. Он поднялся со стула, расправил широкие плечи, потянулся, и все увидели его долговязую фигуру, твердые бронзовые скулы и веселые глаза цвета ячменного пива.

Январь-апрель 1938 года

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК

1

Зайцев быстро освоился. Он носил теперь старенькое, узковатое в плечах пальто, не иначе как приподняв воротник. Кепку натягивал до самых бровей, так, что не было видно огненно-рыжих волос. И смотрел на всех, чуть выкатив сердитые серые глаза.

Еще весной на книжном развале он купил замусоленную книжку с описанием японских способов борьбы, собранных, как было указано на обложке, господином Сигимицу, начальником тайной полиции, в помощь сыщикам, морякам и господам офицерам, желающим усовершенствовать свою мускулатуру.

Сделавшись, таким образом, обладателем всех этих хитроумных способов борьбы, Зайцев прямо-таки рвался к деятельности, бурной, рискованной, головокружительной, готовый хоть сейчас поставить на карту всю свою восемнадцатилетнюю жизнь.

А деятельности все еще не было.

Вернее, деятельность-то была: в уголовном розыске почти непрерывно звонил телефон – из районов города и губернии сообщали о происшествиях убийствах, кражах, ограблениях. Но Зайцева пока не допускали к этим делам.

И Егорова не допускали.

Впрочем, Егоров, как видно, и не стремился к опасным приключениям.

Угрюмый, стеснительный, похожий в кургузом черном пиджачке и в вылинявшей форменной фуражке на обносившегося гимназиста, он целый день сидел на широкой скамейке, где обычно ожидают своей очереди потерпевшие или задержанные по подозрению, пока их не опросит дежурный. И его самого было легко принять за потерпевшего.

Дежурный по городу так ему и сказал:

— Ты, брат, тут не сиди. А то ты только путаешь меня...

Егоров пересаживался поближе к столу дежурного. Но и здесь сидеть было уж совсем неудобно. К столу то и дело подводят задержанных или подходят потерпевшие, и надо все время кому-то уступать место.

А Зайцев большую часть дня проводил в разных комнатах — слушал, как ведут допросы, или заглядывал в окошечко арестного помещения, где сидят и шумно переговариваются еще, должно быть, не протрезвившиеся самогонщики.

Да и протрезвиться им мудрено: отобранные у них самогонные аппараты свалены тут же рядом, в кладовой, отчего весь коридор пропах сивухой. Чиркни, кажется, спичкой — и воздух вспыхнет синим спиртовым пламенем.

Встретив в этом длинном полутемном коридоре заблудившуюся торговку, пришедшую заявить о краже со взломом, Зайцев, раньше чем провести ее к дежурному по городу, сам ей тут же учинял допрос. И держал правую руку в кармане, будто у него там пистолет. Но пистолета Зайцеву еще не выдали.

И Егорову не выдали.

И неизвестно, выдадут ли. Неизвестно даже, оставят ли их работать в этом грозном учреждении.

Жур, к которому они прикреплены в качестве стажеров, вот уже который день лежит в больнице. Его подстрелили бандиты на Извозничьей горе. Говорят, очень сильно испортили ему руку. И еще не известно, вернется ли Жур к исполнению своих обязанностей.

Ничего не известно.

А время идет.

Дежурный по городу, сидя за обшарпанным столом, часто взглядывает на стенные часы и записывает время в толстую тетрадь. Он записывает с точностью до минут, когда было заявлено о происшествии, когда агенты поехали на поимку преступников, когда привели задержанных. Он записывает течение времени. Спокойно записывает, потому что ему некуда спешить. Он уже устроился на работу, и вместе с временем идет ему зарплата.

А Егорову и Зайцеву зарплата не определена.

Все будет зависеть от Жура. И не только от Жура, но и от обстоятельств.

Дело в том, что в губкоме комсомола ошибочно выписали две путевки на одну штатную должность. Значит, кто-то один может остаться на работе – или Егоров, или Зайцев.

– Останется тот, кто покажет себя с лучшей стороны, – сказал Жур в первый же день, как приставили к нему стажеров. – Но вообще-то вы не сильно тревожьтесь, ребята. Штат, конечно, почти весь заполнен. Однако у нас особая работа: все время происходит движение в личном составе. Может, вам внезапно обоим повезет. Вдруг откроется непредвиденный шанс.

– Понятно, – кивнул Зайцев и весело улыбнулся, как Жур.

А Егоров ничего не понял. Не понял, какой может вдруг открыться непредвиденный шанс.

Зайцев объяснил ему это, когда они вышли из комнатки Жура.

– Ну, честное слово, ты как бестолковый, – сказал Зайцев. – Сотрудников же непрерывно убивают. Ты сам видишь, какой повсюду бандитизм. Даже в газетах об этом пишут. Ну и вот, если кого-нибудь при нас убьют, нам освободятся места. Или, – Зайцев опять улыбнулся, – или нас самих тут ухлопают, пока мы еще не в штате...

У Егорова потемнело лицо.

– Боишься? – спросил Зайцев.

– А ты?

– Не очень.

– Ну и я, – сказал Егоров.

И по-другому он не мог сказать. Неужели он признается, что боится! А может, Зайцев нарочно испытывает его?

Зайцеву было бы куда лучше, если б Егоров испугался: пошел бы в губком комсомола и заявил, что тут у вас, мол, вышла ошибка – две путевки на одну должность. Пусть, мол, там в угрозыске остается Зайцев, а я хотел бы пойти на курсы счетоводов, как настаивает моя сестра Катя. Или хорошо бы, если есть свободная путевка, устроиться в Завьяловские механические мастерские – учиться на слесаря-водопроводчика, как советовал покойный отец.

Конечно, Зайцев был бы доволен, если б Егоров именно так поступил. Но Егоров так не поступит. Ни за что не поступит.

Нет, уж он лучше подождет Жура. Подождет сколько надо. Хотя сидеть часами в дежурке и ждать своей участи очень нелегко.

Дежурный по городу, когда подле него нет ни задержанных, ни потерпевших, достает из-под бумаг пачку печенья «Яхта», сердито разрывает обложку и, откусывая сразу от двух печенюшек, пьет чай из крышки от американского термоса.

На Егорова он теперь не обращает никакого внимания, будто это не человек, а неодушевленный предмет, такой же, как высокая китайская ваза, что стоит зачем-то вон там в углу.

Напившись чаю и съев в задумчивости всю пачку печенья, дежурный выплескивает из термосной крышки остатки чая прямо на пол, завинчивает термос и, вытерев губы аккуратно сложенным носовым платком, выдвигает ящик стола.

В ящике он устанавливает небольшое зеркало и, глядя в него, осторожно, как женщина, укладывает пальцами волнистые длинные волосы.

Вдруг на щеке он заметил какой-то непорядок, пятнышко какое-то, обеспокоился, сделал страдальческое лицо и стал натягивать кожу ногтями. Ногти у него давно не обрезались – такая мода. Особенно длинный ноготь на мизинце. Этим ногтем, как шилом, он долго оперирует щеку – счищает пятнышко, и ему, наверно, совсем неинтересно, что о нем думает Егоров.

А Егоров думает о многом.

В Дударях, где он жил недавно, тоже есть уголовный розыск. У Егорова там были знакомые ребята. Он иногда заходил к ним. И вот если сравнить ту дежурку в Дударях с этой, то получится просто позор. Там, в Дударях, чистота, все стены заново побелены, а тут только слава, что гу-

бернский уголовный розыск. Пол затоптан, стены и вся мебель обшарпаны.

И на стенах всюду надписи гвоздем, и карандашом, и еще чем-то. Например: «Усякин, я тебя не боюсь», или: «Иванова Женя пусть помнит...», дальше зачеркнуто карандашом. «Костю Варюхина давно бы надо выгнать отсюда. Даже фамилия, обратите внимание, Варюхин. Этого терпеть нельзя». И опять: «Усякин, я тебя не боюсь».

Дежурный, должно быть, не видит, не замечает этих надписей.

Выдавлив угорь на щеке, он осторожно прижигает ранку пробочкой от пузырька с йодом. Затем выходит из-за стола, и по-петушиному отставив ногу, как артист на сцене, читает стихи, грустно глядя в отпотевшее окно, за которым идет дождь со снегом:

*Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое...*

– А кто такой Усякин? – вдруг спрашивает Егоров.

Дежурный, вздрогнув и прищурившись, подозрительно смотрит на Егорова.

– А тебе зачем?

– Тут написано, – показывает Егоров.

– Мало ли что тут написано, – строго говорит дежурный. И опять садится за стол, считая рукой обложку от

печенья в специальную корзинку, стоящую подле стола.

Зайцев уже узнал, что этот дежурный по городу готовится в артисты.

«Все куда-нибудь готовятся, – уныло и завистливо думает Егоров. – А я...»

И не может додумать свою мысль до конца. Не успевает. На столе звонит телефон и спутывает мысли Егорова.

– Дежурный по городу Бармашев вас слушает, – говорит в телефонную трубку дежурный. И, как-то по-особенному вывернув ручку, записывает широким пером «рондо» очередное происшествие.

Почерк у дежурного тонкий, паутинный, со многими завитушками. И сколько Егоров ни вытягивает шею, он все равно не может прочесть, что там записывает в толстую тетрадь дежурный.

А Егорову хочется узнать, где что случилось. Каждый звонок волнует его. Но заговаривать с дежурным он больше не решается. Чего доброго, дежурный еще скажет:

– А ну-ка, иди отсюда. Ты мне мешаешь...

Егоров старается сидеть тихо. Вид у него вялый. Глядя со стороны, можно подумать, что он хочет спать. Но он спать совсем не хочет. Внутри у него все кипит и клокочет.

Уж лучше бы ему, чем сидеть вот так без толку, опять пойти по дворам. Если нет постоянной работы, можно наняться к кому-нибудь попилить, поколоть дрова, тем более у него есть хорошая лучковая пила и колун – еще от покойного отца остались. Все-таки заработок.

А то вечером придешь домой, сестра Катя спросит:

– Ну как, сыщик, кого поймал?

– Никого я не поймал, но поймаю, – скажет Егоров. – Вот посмотришь, поймаю...

– Ну уж ладно, – невесело засмеется Катя. И поставит перед ним чугунок с теплыми картошками в мундирах. – Кушай уж что есть. И получше тебя люди не могут устроиться...

Прямо в горле останавливаются эти картошки. А что делать?

И Катю винить нельзя. Ей трудно, у нее трое ребятишек, без отца. Она целый день и ночь стирает и гладит, стирает и гладит.

А Егоров сидит вот в дежурке. И чего он сидит? На что надеется? Может, ничего из этого сидения и не получится. Даже скорее всего – не получится.

А время идет. И это ведь не просто время идет – это жизнь проходит.

Было Егорову семнадцать лет, зимой будет восемнадцать.

В Дударях он было хорошо устроился – жил у дяди, работал на маслозаводе. И грузчиком работал и помощником аппаратчика. Неплохо работал, присматривался к делу. Но дядя внезапно на старости лет женился во второй раз. Новая жена стала настраивать дядю против племянника. Пришлось уехать обратно к сестре. И не рад теперь Егоров, что уехал из Дударей. Там он все-таки считался штатным работником. А тут он кто?

– Ты гляди, что нам дали, – вдруг появляется в дежурке Зайцев и протягивает Егорову две записки. – Это билеты. Нас приглашают как сотрудников. Будет вечер. В честь Октябрьской революции. И еще полагаются талоны в буфет. Пойдем к Зыбицкому, возьмем талоны... Да ты не расслаживайся, пойдем скорее. Что ты как сонный?..

Зайцев уже знает всех. И хотя на дверях комнаты, где сидит Зыбицкий, приколочена табличка: «Посторонним вход воспрещен»; Зайцев смело открывает эту дверь.

А Егоров остается в коридоре.

– Да иди ты, иди, – тянет его за собой Зайцев. – Тут написано: «посторонним». А мы же с тобой не посторонние, если нас, ты видишь, приглашают...

2

Худенькая, белобрысая, похожая на сердитую девочку, Катя вся вдруг осветилась от счастья, увидев приглашенный билет. Не ее приглашали, а брата, но все равно она была в восторге. Особенно ей понравилось: «Дорогой товарищ Егоров!» («Дорогой товарищ» напечатано на машинке, а «Егоров» приписано от руки.)

Катя несколько раз перечитала билет, словно хотела заучить его наизусть: «Организационная комиссия по проведению праздника Октябрьской революции приглашает вас на торжественный вечер. Доклад товарища Курьева. Художественная часть. В заключение – товарищеский чай».

– Вот оно как дело-то обернулось, – говорила Катя. – Ну, я очень рада за тебя, Саша. Очень рада. – И она поцеловала брата. – А я ведь, дура, до последнего не верила, что тебя примут.

– Да меня еще не приняли, – покраснел Егоров.

– Теперь уж примут. Обязательно примут, – уверяла Катя. – Теперь уж тебя выгнать не имеют права, если пригласили. И смотри, как пишут: «Дорогой товарищ Егоров». Значит, уважают...

– Да это всем так пишут...

– Нет, это уж ты мне не рассказывай – всем. Всем, да не каждому. Товарищеский чай. Но в чем же, мне интересно, ты пойдешь? Надо бы хоть рубашку тебе купить.

И утром в воскресенье, попросив соседку приглядеть за ребятишками, Катя повела Егорова на Чистяревскую улицу.

Было слякотно, туманно, но все еще не очень холодно. Никогда, говорят, в Сибири не было такой осени – то дождь, то снег, то опять дождь.

Прежде всего они зашли в красивый магазин с громадной вывеской «Петр Штейн и компания. Мануфактура и конфекцион».

Продавец им выбросил на прилавок несколько коробок с сорочками. Но Кате почему-то не понравилась ни одна. Нет, одну она как будто хотела купить. Подошла уже к кассе, стала пересчитывать деньги, завязанные в платке.

Долго пересчитывала. Толстый приказчик в пенсне насмешливо смотрел на ее худенькую фигурку в старомодном плюшевом жакете и на Егорова в смешном, кургузом пиджачке и гимназической фуражке.

Егорову вдруг стало тошно.

– Пойдем, – сказал он сестре. – Не надо мне никаких рубашек. – И пошел из магазина.

– Как же это так не надо? – заморгала белесыми ресницами Катя, но все-таки пошла вслед за ним.

Молча пройдя всю Чистяревскую, тускло поблескивавшую запотевшим стеклом витрин и полированной бронзой, они издали увидели в низине широкую площадь, где качались, как подсолнухи под ветром, шапки, шляпы, фуражки и рокотал многоголосый гул.

Вот уж где можно было купить все, что угодно.

И на столах, и на прилавках, и на ручных тележках, и просто на рогожах на земле разложен разный товар.

Замки и старинные шкатулки, посуда и пряники, ватные пиджаки и балалайки, топоры и валенки, старые генеральские погоны и живые гуси.

И тут же лиса в клетке.

Егоров больше всего заинтересовался лисой, даже спросил, сколько она стоит. Но Катя ухватила его, как маленького, за руку и повлекла в сторону.

Она увидела старуху, распялившую на палке не новую косоворотку. Цена была подходящей. Но Катя порядилась минут пять и заставила Егорова примерить покупку. Не раздеваясь примерить, просто вытянуть руки – не коротки ли рукава. А пока он примерял, стала прицениваться к почти новому цвета морской волны френчу на руках у мальчишки.

Френч этот года два-три назад носил какой-то иностранный офицер-интервент, завезенный к нам из неведомых земель. Офицера, наверно, и убили в этом френче. Но сейчас не хотелось думать об этом, да и некогда было думать.

За френч и косоворотку удалось заплатить ненамного больше, чем за одну сорочку в магазине «Петр Штейн и компания».

Егоров надел френч и даже ростом стал как будто выше. А Катя, безмерно счастливая, оглядывала его со всех сторон и оправляла.

– Вот теперь ты сотрудник. Настоящий сотрудник. Я деньги берегла, хотела ребятишкам валенки на зиму ку-

пить, но теперь не жалею. Ребятишкам два шага до школы, им ничего не сделается. А тебе важнее, если тебя приняли на такую работу...

– Да меня еще не приняли, – опять покраснел Егоров.

– Значит, примут, обязательно примут, – успокоила его Катя. – Как же это могут не принять, если мы затратили такие деньги только на одну одежду...

У Егорова защемило сердце. Ведь вот что наделал этот пригласительный билет. Катя, расчувствовавшись, отдала почти все свои сбережения за френч и косоворотку. А вдруг Егорова все-таки не примут? Даже скорее всего не примут.

Егоров предложил тут же сейчас продать его кургузый пиджачок, чтобы выручить хотя бы часть денег. Но Катя сказала, что сперва починит пиджачок, приведет в порядок, а потом будет видно – может, он и сам его еще поносит. Трепать такой красивый френч во всякое время нельзя.

Возвращались они с базара по одной из главных улиц – бывшей Петуховской, теперь Фридриха Энгельса.

Улица уже готовилась к празднику. Над фасадами домов плескались флаги.

На крышу самого высокого дома – почты рабочие поднимали на веревках портрет Карла Маркса.

– Смотри, Катя, как красиво! И тут еще лампочки к вечеру зажгут, – показал Егоров на крышу.

– А чего красивого-то? – не обрадовалась Катя. – Буржуи как были, так и остались. Только название переменялось – нэпманы...

– Это временное явление, временные трудности, – тоном докладчика произнес Егоров. И ему самому не понравился этот тон. Не так бы надо разговаривать с родной сестрой. А как?

Катя сейчас, вот в эту минуту, беспокоится, конечно, не столько из-за новоявленных буржуев, сколько из-за того, что деньги, сбереженные ребятишкам на валенки, уже истрачены, почти все истрачены. И это понятно Егорову. А что касается буржуев и неустройства жизни, тут не все понятно и ему самому, хотя он комсомолец и должен бы уметь все объяснить. Но он не умеет и чувствует себя растерянным и виноватым перед Катей. Уж лучше бы не покупать эту рубашку и френч. Но что теперь делать? Куплены.

– Хорошо вам, мужикам, – опять говорит Катя. – Беспечные вы. Никакой-то заботушки у вас нет. А женщинам ох как трудно! Особенно с детьми...

«И мужчинам трудно», – хотел бы сказать Егоров. Но он молчит. Не словами надо успокаивать Катю, а делом – заработком. А когда он будет, заработок?

В ту же ночь Катя перелицевала воротник на френче, срезала малиновые лычки с серебряными птицами, перешила пуговицы. И когда Егоров снова примерил обнову, оглядев его, сказала:

– А этот офицерик, видать, одного роста с тобой был. Тоже, наверно, молоденький. Дурак, поехал воевать в Россию, даже в самую Сибирь. Вот и довоевался.

– Он же не сам поехал, – сказал Егоров, – его послали.

– Все равно дурак, прости меня, господи, – вздохнула Катя. – Теперь где-нибудь лежит закопанный. А ведь тоже, наверно, была у него мать или еще кто-нибудь. Я и про тебя тоже думаю. Радуюсь, что поступаешь на работу, а ведь работа какая опасная...

– Сравнила! – возмутился Егоров. – Он же кто, этот офицер? Интервент. Все равно что бандит. А я...

– Ну ладно, ну ладно, – сказала Катя. – У тебя своя голова на плечах. Сам смотри, как тебе будет лучше. А люди, между прочим, выучиваются на счетоводов. И никого ловить не надо. Сиди в тепле, считай себе на счетах.

3

Вечер устраивали не в том помещении, где находился уголовный розыск, а рядом – где управление губернской милиции. И вход был с другого подъезда.

Окна на втором этаже были ярко освещены, когда Егоров подходил к зданию в восьмом часу вечера. И внутри победно играл духовой оркестр, сотрясая стены.

И может, именно духовой оркестр внушил Егорову внезапную робость. А вдруг его не пустят на вечер? Вдруг скажут, что это была ошибка с приглашением, что стажерам нельзя? А он вон как празднично приоделся, надел френч, начистил башмаки, постригся и причесался. Волосы еще мокрые после причесывания.

Двери были широко распахнуты, и с улицы, даже с той стороны улицы, видно, что каменная лестница тоже ярко освещена и устлана коврами.

На ковре у входа стоял дежурный по городу, старший уполномоченный Бармашев, в синей шерстяной толстовке и в серебряного цвета брюках дудочкой, как было модно в ту пору.

Егоров хотел незаметно пройти мимо него. Даже подождал у дверей в надежде, что Бармашев уйдет: долго и старательно вытирал подошвы. Но Бармашев увидел Егорова, заулыбался и сказал:

– Приветствую. – И протянул ему руку. – Фуражку можешь повесить вон туда, на вешалку. Проходи. Очень приятно.

На втором этаже, в светлом коридоре, прогуливалось уже много приглашенных мужчин и женщин. Пахло духами, пудрой, легким табаком и чем-то неуловимо волнующим, чем пахнут праздники нашего детства, нашей юности.

Егоров поднялся на второй этаж и сразу остановился. Ему показалось, что все теперь смотрят только на него. А этот, мол, еще откуда взялся?

Знакомых не было видно. Да и откуда тут возьмутся знакомые?

Мимо прошел чем-то озабоченный Бармашев. Видимо, и здесь он дежурный по вечеру. Оглянувшись на Егорова, он вдруг потрогал его за плечо. И это легкое прикосновение было необыкновенно приятно Егорову.

Потом всех пригласили в зал, в тот самый зал, где в обычные дни за тесно составленными столами сидят милицейские служащие, стучат машинки, прикладываются печати, толпятся посетители.

Теперь столов тут не было. Были рядами выстроены стулья и сооружен помост с трибуной и единственным длинным столом, застланным красной материей.

Егоров не пробивался в первый ряд, но как-то так случилось, что он оказался в первом ряду и впервые в жизни увидел самого товарища Курычева. Даже рябинки на его лице увидел.

Товарищ Курычев, опираясь на трибуну, делал доклад. Егоров неотрывно смотрел на Курычева. И ему каза-

лось, что и Курычев смотрит с трибуны только на него.

А может, оно так и было? Докладчики ведь часто почти бессознательно выбирают в зале кого-нибудь одного, на кого бы можно было опереться глазами. Вот Курычев и выбрал Егорова, еще не зная, кто такой Егоров.

А Егоров, разглядывая Курычева, только и думает о том, что перед ним стоит человек, от которого будет зависеть вся его дальнейшая судьба. Примет Курычев Егорова на работу или не примет?

Только о судьбе своей и думает Егоров. Но вот до сознания его долетает фамилия – Воровский. Этого Воровского недавно убили где-то в Лозанне, в отеле «Сесиль». Он был нашим представителем. Его убили враги нашего государства.

Никаких подробностей убийства докладчик не приводит. Он называет дальше новую фамилию – Керзон оф Кедльстон.

Этого Егоров знает. Не лично знает, но слышал.

Еще весной, когда Егоров жил в Дударях, был митинг по поводу этого лорда Керзона. Он предъявил нам ультиматум, грозил войной, если мы чего-то не выполним, а мы этого как раз вовсе не хотим выполнять. И не обязаны, потому что мы против мировой буржуазии. Мы за рабочий класс. За весь рабочий класс, какой есть на всем земном шаре. Поэтому мы сейчас приветствуем рабочих немецкого города Гамбурга, которые вот в эти дни ведут ожесточенные уличные бои с полицией.

– ...Мы посылаем им сейчас отсюда наш пролетарский пламенный привет, – говорит товарищ Курычев.

И весь зал аплодирует.

И Егоров аплодирует.

Потом товарищ Курычев объясняет, почему мы еще допускаем буржуазию торговать и даже позволяем частникам открывать заводы. И приводит подлинные слова Владимира Ильича Ленина: «...Мы сейчас отступаем, как бы отступаем назад, но мы это делаем, чтобы сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперед. Только под одним этим условием мы отступили назад в проведении нашей новой экономической политики. Где и как мы должны теперь перестроиться, приспособиться, переорганизоваться, чтобы после отступления начать упорнейшее наступление вперед, мы еще не знаем. Чтобы провести все эти действия в нормальном порядке, нужно, как говорит пословица, не десять, а сто раз примерить, прежде чем решить».

— Вот это подлинные ленинские слова, — говорит Курычев. — Я надеюсь, вам понятна вся сложность и все невероятные трудности, в которых мы живем. — И опять смотрит на Егорова.

И Егоров невольно кивает в подтверждение того, что ему все, решительно все понятно. А чего же тут не понять! Только Катя все обижается, что ей с ребяташками очень трудно. Но ведь всем трудно, всему народу.

Однако есть надежда, что дела исправятся, как дальше доказывает докладчик. И приводит цифры добычи угля в Донбассе.

Докладчик считает уголь на пуды, на тысячи пудов. И так по его словам получается, что угля у нас в будущем году будет больше. Ненамного больше, но все-таки больше. Как-никак уже добыто пятьдесят один миллион пудов.

И, значит, мы постепенно ликвидируем послевоенную разруху, откроем новые заводы, сократим безработицу. А кроме того, наше правительство купило недавно в Америке триста тракторов.

– Таким образом, – говорит докладчик, – наша с вами судьба, товарищи, зависит сейчас не только от нас самих, но и от многих мировых факторов.

«Факторы» – это еще непонятно Егорову. Но ему становится вдруг понятным, что и его судьба теперь зависит, пожалуй, не только от товарища Курычева. Она связана, его судьба, и с добычей угля в Донбассе, и с боями в Гамбурге, и еще со многим, что происходит вдалеке от него, но имеет к нему, однако, прямое отношение. Он усваивает это не столько умом, сколько сердцем. И его охватывает необыкновенное, еще до конца не осознанное волнение.

– Теперь возьмем такой факт, – вытирает носовым платком лицо и шею товарищ Курычев. – Генерал Пепеляев, как вы знаете, недавно разбит. Его банды рассеяны, но не ликвидированы полностью. Они еще бродят по тайге, совершают набеги на сельские местности и пользуются поддержкой кулачества. Кое-кому они внушают надежду, что все еще переменится, что еще повторится интервенция. В деревне идет глухая классовая борьба. Она идет и в городе. Нэпманские элементы еще надеются, что им удастся хотя бы тихой сапой одолеть Советскую власть. Они занимаются хищением, применяют обман, и подкуп, и другие подлости. Вы же знаете, что нам пришлось недавно удалить из нашего аппарата несколько старых работников, уличенных во взяточничестве и грязных связях с нэпманскими элементами. Мы сейчас делаем ставку на молодые

кадры работников. Мы должны быть уверены в их неподкупности...

Глаза у товарища Курычева вдруг стали колючими. И вот такими глазами он смотрит на Егорова. И хотя Егоров ни в чем не виноват, он ежится под этим взглядом. И в то же время улавливает в голосе докладчика какую-то особенность, которая чуть расхолаживает его, Егорова. Есть в докладчике некоторая простоватость, что ли, не такой уж он, наверно, необыкновенный человек, как показалось Егорову вначале.

— ...Во всяком случае, мы всегда должны быть начеку, — говорит товарищ Курычев. — А у нас еще есть товарищи, которые начинают почему-то думать, что мы уже всего достигли. А нам еще надо перестроить весь мир. Наша жизнь, как указывает товарищ Ленин, по-настоящему не налажена. В нашей жизни еще имеется много мусора, который надо изымать, чтобы можно было быстрее строить новую жизнь. Нам надо всеми силами насаждать революционную законность, беспощадно карать врагов нашего молодого государства, а также приводить в чувство тех, кто озорует, не желая войти в политическое сознание. Да чего далеко ходить! Вчерашний день в ресторане «Калькутта» опять бандиты зарезали пьяного. А он оказался кассиром, который спокойно и бессовестно пропивал государственные деньги! Где же, я спрашиваю, были мы? Где была наша революционная бдительность в обоих случаях, когда, с одной стороны, этот преступный кассир брал из кассы деньги, а с другой стороны, рисковал своей жизнью в ресторане «Калькутта»?..

После доклада был перерыв. Многие вышли в коридор поразмяться, покурить.

А Егоров продолжал сидеть в зале, боясь потерять это удобное место. Ведь уже объявили: после перерыва будет художественная часть.

Он сидел, положив локоть на спинку стула, и рассеянно оглядывал зал.

Вдруг ему кто-то замахал рукой от дверей. Кто же это может быть? Ах, да это же Зайцев!..

Егоров не сразу узнал его.

Зайцев подошел к нему. Он был в сером, излишне свободном костюме.

«Наверно, в отцовском», – подумал Егоров.

Рыжие волосы Зайцева, всегда укрытые кепкой, сейчас пылали при ярком электрическом свете. И вздернутый нос, слегка облупленный, сиял, будто чем-то намазанный. А может, и правда намазанный. Егоров, улыбнувшись, подумал, что у Зайцева, наверно, постоянный жар и от этого облупился нос. Больше не от чего – лето давно прошло.

Зайцев хлопнул Егорова по колену и сел рядом.

– Слышал, что Курычев-то говорит? – весело спросил Зайцев. – Нужны, мол, молодые кадры, насаждать революционную законность. Даже в самом срочном порядке. А Жур, между прочим, все еще лежит в больнице, и мы из-за него должны баклуши бить. Нет, это надо поломать. Надо пойти прямо к самому Курычеву и поставить вопрос вот так: или – или...

Егоров боялся ставить вопрос вот так, как советовал

Зайцев. Да и Зайцев, пожалуй, излишне горячился. Ни к кому он скорее всего не пойдет, ничего не скажет. Но Егорову все-таки понравился этот решительный тон, и он сказал:

– Для такой работы, как эта, я считаю, надо иметь особые способности, как вот у тебя. А я еще про себя не знаю...

– Ну что ты! – засмеялся Зайцев. И пожалел Егорова: – И у тебя хорошие способности будут. Если, конечно, приложишь старание... – И, не посчитавшись с тем, что они соперники – ведь все еще не ясно, кто из них остается на работе и кому придется уйти, – вынул из кармана потрепанное произведение господина Сигимицу, с которым он теперь, должно быть, не расставался. – Вот интересная книжонка, смотри. Если хочешь, ознакомься. По-моему, мировая книжонка, хотя автор явно не наш человек...

Егоров раскрыл книжку, прочитал название и сразу углубился в чтение. Но тут началась художественная часть. Зайцев ушел в задние ряды.

На подмостках появился Бармашев. Он весело, с прибаутками, объявлял артистов.

Первыми выступали какие-то молодые парни и девушки, одетые как испанцы, – в черных плащах и в широкополых шляпах. Они лихо плясали, били в бубен и пели частушки про лорда Керзона и про наши самолеты, которые мы выстроим назло всем керзонам.

Егорову это все так понравилось, что он сам стал тихонько притоптывать ногой в такт пению. И случайно прихлопнул носок сапога своего соседа, какого-то важного старичка в милицейской форме, сидевшего рядом с женой.

– Извиняюсь, – сконфузился Егоров.

– Ничего, – сказал сосед. И кивнул на подмости. – Действительно здорово поют. И все в самую точку. В самую точку. До чего способные и политически подкованные люди...

Машинистка милиции Клеопатра Семенова, как ее объявил Бармашев, спела под аккомпанемент рояля романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Потом два милиционера в форменных брюках, но без гимнастеров продемонстрировали спортивные упражнения на брусках, старший делопроизводитель сыграл на гитаре и спел под собственный аккомпанемент «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит...». Уполномоченный угрозыска Воробейчик показал фокусы с картами.

Наибольший успех, однако, имел Бармашев, читавший стихи Сергея Есенина.

И это было особенно приятно Егорову. Он вспомнил, как Бармашев разучивал эти стихи в дежурке в его присутствии.

Егоров больше уже не обижался на него за то, что дежурный по городу относился к нему еще два дня назад как к неодоушевленному предмету.

Внизу, в первом этаже, были накрыты столы.

Перед каждым приглашенным поставили стакан с чаем и тарелку с бутербродами, яблоками и конфетами.

Яблоки и конфеты Егоров сразу же спрятал в карман. Потом, подумав, аккуратно завернул в чистый носовой платок бутерброды с сыром и брынзой. Все это он унесет домой, племянникам и Кате.

Только бутерброды с вареньем и омулевой икрой он решил съесть сам, а то, чего доброго, измажешь икрой и вареньем карманы.

Зайцев сидел у другого конца стола и все время наклонялся к какой-то девушке с алой лентой в черных волосах.

«Хорошенькая, – подумал, глядя на нее издали, Егоров. И еще подумал: «Как в песне: «Вьется алая лента игриво в волосах твоих черных, как ночь»».

Зайцев оставил свою девушку и ушел ненадолго.

Потом он появился с бутылкой пива и закричал через стол, как у себя дома:

– Егоров, иди сюда!

Егоров уже допил чай и подошел.

– Пива хочешь? – спросил Зайцев. И стал наливать в стаканы сначала девушке, потом Егорову пиво. И себе налил. – Давайте чокнемся. Нет, неправильно. Вы сперва познакомьтесь.

Девушка протянула Егорову левую руку – в правой пиво – и сказала:

– Рая.

– Егоров, – сказал Егоров. И покраснел. И от смущения нахмурился. И так, нахмурившись, спросил Зайцева: – А пиво это откуда?

– Тут же еще есть один буфет – за деньги, – кивнул на дверь Зайцев. И засмеялся, облизывая губы. – Ты как будто первый раз сюда пришел.

– А я и правда первый раз, – сознался Егоров. Но если бы он даже знал, что здесь продают пиво, он все равно не купил бы. На что он купит?

А Зайцев купил не только бутылку пива, но и две толстые конфеты в красивых бумажках – девушке и Егорову. От конфеты Егоров отказался.

– Это откуда девушка? – негромко поинтересовался он, отозвав Зайцева в сторону. – Тоже здешняя? Сотрудница?

– Нет, зачем! – улыбнулся Зайцев. – Это просто моя девушка. Знакомая.

– А как она сюда попала?

– Обыкновенно. Я ее провел. Взял у Бармашева билет и провел...

Егорову даже стало как-то обидно. Он стеснялся сюда идти, боялся, что его не пустят. А Зайцев не только сам прошел, но и девушку свою провел. Не побоялся.

И еще удивился Егоров, что у Зайцева уже есть своя девушка, хотя Зайцев старше Егорова всего месяца на три.

А у Егорова не было девушки, про которую бы можно было сказать, что он за ней ухаживает. Он, пожалуй бы, даже не решился пойти вот так куда-нибудь на вечер с девушкой. Ему бы совестно было, неловко.

Года два назад, когда еще был жив отец и Егоров учился в школе, ему сильно нравилась одна девочка – Аня Иващенко. Он, наверно; влюбился в нее. Конечно, влюбился. И написал ей стихи.

Он тогда еще писал стихи и мечтал стать поэтом. Но не стал. И теперь уже не станет. Сам знает, что не станет. А тогда писал. Тайно писал. Никому не показывал. Нет, показывал. Но только одному человеку – Ваньке Маничеву. Они сидели за одной партой.

Ванька Маничев был старше его года на два, учился плохо, но считал себя очень умным и говорил:

– Ты, даю тебе слово, Егоров, будешь, как... как, я не знаю кто... как Пушкин. Или в крайнем случае как Лермонтов.

Да, правда, только Маничеву Егоров показывал свои стихи, больше никому. И Ане Иващенко не показывал. Да она и не обращала на него никакого внимания, хотя, наверно, заметно было, что он в нее влюблен.

Он подружился тогда с ее братом, мальчишкой, пронырливым, жадным, выпрашивавшим в школе дополнительные завтраки. Егорову была особенно противна его жадность. Но Егоров все-таки подружился с ним, подарил ему двух лучших голубей. Все для того, чтобы бывать у них в доме и хоть мельком видеть Аню, слышать ее голос.

Егоров даже заикался, когда разговаривал с ней. А она все равно не обращала на него никакого внимания. А почему?

Егоров как бы нечаянно посмотрелся в большое зеркало. И в зеркале увидел не только себя, но и Зайцева и его девушку.

Нельзя, пожалуй, сказать, что Егоров хуже Зайцева на вид. Егоров и ростом выше, и плечистее, и нос у него не облупленный, и темные волосы хорошо причесаны.

«Шатен» называется мужчина, у которого такие волосы. Егоров шатен, а не рыжий, как Зайцев.

Но все-таки Зайцев, а не Егоров пришел сюда с этой хорошенькой девушкой. И легче все в жизни достается Зайцеву.

Наверху, на втором этаже, опять загредел духовой оркестр.

Начались танцы. Все пошли наверх. И Зайцев пошел со своей девушкой. И Егоров.

Весь вечер Зайцев танцевал с кем хотел. И девушка его танцевала то с Зайцевым, то еще с кем-нибудь.

А Егоров хорошо устроился на стуле в коридоре и вчитывался в книжку господина Сигимицу. Любопытная книжка. И хорошо ее тут читать под музыку. И музыку слушаешь и читаешь.

Егоров уже немало книг прочел в своей жизни. Особенно много он читал в Дударях. Делать там нечего было по вечерам. Он брал книги в библиотеке и читал.

Он даже старался прочитать «Капитал» Карла Маркса. Но ничего не понял. И чуть не заболел от досады. Ему было обидно, что все читают и понимают или говорят, что читают и понимают, а он вот один не понимает. Ну никак не понимает! Что он, глупее всех, что ли?

Его успокоила одна учительница, сказала, что у него недостаточно образования для такого чтения, и посоветовала читать пока другие книги.

Он прочитал о звездах, о происхождении жизни на Земле, о дальних странах – таких, как Индия. Потом читал романы Гончарова, Диккенса, Тургенева, читал и делал выписки, как его научили.

Из этой книжки господина Сигимицу он тоже сделает выписки. Тем более что это теперь ему надо для работы, если его, конечно, возьмут на работу.

Он спрятал книжку в карман и решил идти домой. Но из зала вышел разгоряченный танцами Зайцев.

– А ты чего не танцуешь? Хочешь, потанцуй с моей девушкой. Запомни: ее зовут Рая.

Егорову отчего-то было неловко сказать, что он не танцует, не умеет. Он сказал:

- Не стоит сейчас. После. Я домой пойду.
- А что ты такой невеселый? Вроде печальный.
- Я думаю, – сказал Егоров.

Зайцев засмеялся.

– Все думают, но у тебя вид какой-то постный. Ты что, все тревожишься, что тебя на работу, думаешь, не возьмут?

– Да это пустяки, – слукавил Егоров. – В крайнем случае я в какое-нибудь другое место устраюсь.

– А я нет, – сделал сердитые глаза Зайцев. – Я все равно тут останусь. Мне просто нравится эта работа. Я хотел или в матросы пойти, или сюда. Мой отец работает в артели «Металлист»...

– Это его костюмчик? – кивнул Егоров.

– Его, – опять засмеялся Зайцев. – Так вот, я говорю, мой отец работает мастером в артели «Металлист». Он все уговаривал меня, чтобы я тоже к ним в артель пошел. А что мне за интерес делать замки!

У Егорова мелькнула мысль: «А что, если через Зайцева устроиться в эту артель? Вот было бы дело! Во-первых, специальность...»

Но Егоров тут же отогнал эту мысль. Из самолюбия отогнал. Если Зайцев считает, что его, Зайцева, обязательно примут на работу в уголовный розыск, почему он, Егоров, должен считать себя хуже Зайцева?

Конечно, Зайцев более шустрый. Шустрых все любят. Однако пока еще ничего не известно.

Вернувшись домой, Егоров всю ночь при керосиновой

лампе изучал произведение господина Сигимицу. Вот именно изучал. Читал, и перечитывал, и делал выписки.

И под утро пришел к убеждению, что он, Егоров, способен с помощью этой книги усовершенствовать свою мускулатуру ничуть не хуже любого моряка или офицера. Все дело в упорстве, в систематичности занятий, как уверяет господин Сигимицу. Ну что ж, Егоров проявит упорство. Посмотрим, что из этого получится.

После торжественного вечера в честь Октябрьской революции, после доклада и товарищеского чая, после всей этой веселой, бодрящей душу праздничности он, несмотря на прежние сомнения, был все-таки полон самых, как говорится, радужных надежд.

Однако положение его в дежурке и после праздника ни в чем не изменилось. По-прежнему дни его текли бесплодно.

Бармашев, казавшийся таким любезным на вечере, опять как будто не узнавал Егорова. Опять во время своего дежурства он принимал его за неодушевленный предмет. Опять, не глядя на него, пил из термоса чай с печеньем «Яхта», смотрелся в зеркало и читал стихи, по-петушиному отставив ногу.

Все, словом, было по-прежнему. И по-прежнему Егоров сидел в дежурке в старом черном пиджаке с короткими рукавами. Френч цвета морской волны он решил по совету Кати не носить, пока не определится его судьба.

И пока судьба его не определилась, Егоров не обижался на Бармашева. И на Воробейчика не обижался, когда дежурил Воробейчик. Хотя другого человека нахальнее Воробейчика, наверно, нет на всей земле.

Егоров был занят, если можно так сказать, проверкой учения господина Сигимицу.

В этой великой книге были рекомендованы, между прочим, верные способы укрепления кисти руки.

Для этого надо было постоянно ребром ладони постукивать о какой-нибудь твердый, желательно деревянный, предмет, и ладонь постепенно приобретет прочность камня или железа.

Чтобы не терять даром времени, Егоров, сидя в дежурке, в часы наибольшего шума и суеты добросовестно и терпеливо постукивал о край скамейки ребром ладони то одной, то другой руки, то обеими вместе.

И действительно, вскорости он убедился, что господин Сигимицу, в общем, не врет, ладони в самом деле как будто твердеют.

Егоров продолжал с еще большей энергией стучать о край скамейки.

Делал он это, как ему казалось, незаметно для окружающих. Да и кто будет обращать на него внимание среди множества людей? Но дежурный по городу Воробейчик все-таки заметил его странные движения и однажды спросил:

– Ты чего дергаешься? Ты нервный, что ли?

– Не особенно, – конфузливо сказал Егоров.

Сказать, что он не нервный, как требовалось бы для этого дела, он не решился. Посовестился. Не хотел врать.

Может, он действительно нервный, даже скорее всего нервный.

Весь этот шум в дежурке, все эти разговоры о происшествиях, о разных несчастьях и несчастные люди, которых он видит здесь, угнетают его.

Если б он не посидел несколько дней, как теперь, в дежурке уголовного розыска, он, наверно, никогда бы не узнал, что на свете, вот лишь в одном городе, столько несчастий.

А человек, было написано в одной книге, создан для счастья, как птица для полета. Егорову в свое время так понравились эти слова, что он выписал их в тетрадку.

Но откуда берутся несчастья?

Откуда появляются воры, грабители, убийцы или вот такие женщины, как эта, что стоит сейчас у стола дежурного, в сбитой на затылок шляпке, и рыдает, и сморкается, и опять рыдает?

Волосы у нее распущены. На тонких ногах шелковые, скользкие чулки.

– Да не убивала я его! – кричит и плачет она. – Он был из себя очень полный, представительный, в хороших годах. Он покушал немного портвейну, прилег и помер. А что у него были деньги, я вовсе не знала. Мне, правда, Лидка говорила – вы же знаете Лидку Комод! – что он будто сам из нэпманов, что у него будто свой магазин на Чистяревской. Но я не знала. Он только обнял меня, вот так, и говорит...

– Ну ладно, прекрати. Ты это расскажешь следователю, – оборвал ее дежурный по городу Воробейчик. И покосился в угол. – Тут дети...

– Да какие это дети! – опять закричала женщина. – Это не дети, а первые бандиты. Они сейчас сумку у меня выхватили в коридоре. Велите им, гражданин начальник, отдать сумку...

– Эй вы, орлы! – повернулся в угол Воробейчик.

Он, видимо, хотел сказать этим беспризорным мальчишкам, стеснившимся в углу, чтобы они отдали сумку. Но на столе зазвонил телефон.

Воробейчик снял трубку. На Бакаревской улице только что ограбили сберегательную кассу.

— Водянков! — закричал Воробейчик. — Давай на Бакаревскую. Возьми с собой Солдатенкова. Дом номер четыре. Сберкасса.

А мальчишки достали откуда-то белую булку, рвут ее грязными руками, едят и хохочут.

И Егорову, когда он смотрит на них, тоже хочется есть. И хочется узнать: откуда взялись эти мальчишки, где их родители, что они такое натворили, за что попали сюда? И еще интересно, правда ли, что эта женщина, переставшая теперь плакать, убила нэпмана?

Все это хорошо бы выяснить Егорову. Но, кроме него, это, должно быть, никому тут не интересно.

Воробейчик говорит милиционеру, кивнув на женщину:

— Эту води в шестой номер. Я ее записываю за Савельевым. А этих, — он показывает на мальчишек, — пусть заберет Михаил Кузьмич. — И смотрит на потерпевших, сидящих у стены. — Ну, кто тут еще?

Воробейчик, наверно, сейчас же забыл о тех, кого увели. Он опрашивает уже новых людей.

А Егоров все еще думает о той женщине и о мальчишках. И неловко признаться, что его печалит их судьба, словно они ему родные, словно он, Егоров, чего-то недоглядел и вот из-за этого произошло несчастье или еще скоро произойдет.

Вечером Зайцев зовет его в «Париж».

– Да ты не стесняйся, – говорит Зайцев. – У меня есть деньги. В крайнем случае ты тоже меня потом пригласишь... Что мы с тобой, в последний раз, что ли, видимся?

А откуда, интересно, у Зайцева деньги?

У Егорова даже двадцати копеек не бывает. Он и на стрижку, как ни стыдно, у сестры берет.

А Зайцев, это заметно, всегда при деньгах. И на вечере тогда он пиво покупал.

Они идут через Сенной базар, мимо широких ворот пожарной команды, мимо сломанного памятника царю Александру Второму, разговаривают обо всем. Но Егоров все думает: «Откуда у Зайцева деньги?» Наконец спрашивает:

– Тебе деньги отец дает?

– Нет, зачем! Я сам зарабатываю...

– А как?

– Очень просто. Я в газете пишу. Если где замечу непорядок, сейчас же подаю в газету заметку. Вот, например, тут в прошлом году прессованное сено сложили, а укрыть не укрыли. Оно сгнило. Я написал, что надо бы дать по рукам...

– А как подписываешься?

– «Глаз».

Это почему-то удивило Егорова.

– Глаз?

– Ну да, Глаз. Мне платят за это, как рабкору. Немного, но все-таки платят. Я могу и больше зарабатывать...

Сколько захочу, столько и заработаю. Я могу даже фельетончик написать.

– А почему ты не поступишь на постоянно в редакцию?

– Не хочу.

Этот ответ просто ошеломляет Егорова. Зайцев ведет себя так, будто все в мире зависит только от него, Зайцева. Куда захочет, туда и поступит. И не похоже, что он хвастается. Нет, он, наверно, в самом деле так думает, так уверен, что удастся все, что он захочет.

– Я же тебе говорил, что я люблю эту работу в уголовном розыске, – напоминает Зайцев их разговор на вчере.

И это тоже удивительно Егорову. Как это можно любить или не любить работу? Да Егоров стал бы хоть камни на себе перетаскивать, лишь бы платили, лишь бы не сидеть на шее у Кати, не ходить вот так в ресторан на чужой счет.

В «Париже» они сидят за столиком у стены, под пальмой. А над ними висит клетка с канарейками. Играет музыка. И большая белотелая женщина с красиво изогнутыми бровями поет на подмостках, точно желая успокоить Егорова:

*Пусть ямицик снова песню затянет,
Ветер будет ему подпевать.
Что прошло, никогда не настанет,
Так зачем же, зачем горевать?..*

В жизни Егорова еще ничего не прошло. Или прошло пока что очень мало. Жизнь его, по сути дела, только начинается. Но как-то странно она начинается.

Отец сперва хотел, чтобы сын стал кровельщиком, как он сам, как дедушка. Потом отец переменял свое мнение, стал говорить, что сыну лучше всего после школы выучиться на слесаря-водопроводчика. Но отец умер.

И Егоров так ни на кого и не выучился...

– Ты где на комсомольском учете состоишь? – наливает ему пиво Зайцев.

– Пока нигде, – поднимает стакан Егоров и сдувает пену. – У меня учетная карточка еще в Дударях.

– А членские взносы ты платишь?

– Пока не платил. Не с чего платить. Я же не считаюсь безработным. На бирже труда не состою.

– Ты смотри, как бы тебя не погнали из комсомола. Ты возмись на учет в управлении милиции.

– Да кто же меня примет?

– Примут. Я уже взялся. Мне вчера дали одно комсомольское поручение. Буду драмкружок организовывать...

Егоров опять удивлен:

– Ей-богу?

– Комсомолец не должен говорить «ей-богу». Пора от этого отвыкать, – нравоучительно произносит Зайцев. И прищуривается точно так, как дежурный по городу Бармашев. – Ты что, в бога веришь?

– Не верю, но... – Егоров ставит стакан на стол, – но просто такая привычка. – И вдруг сердится: «Что он меня учит? Подумаешь, какой большевик с подпольным стажем...»

Но Зайцев как будто не замечает, что Егоров сердится. Или в самом деле не замечает.

– Да ты пей пиво, – кивает он на стакан. – Сейчас поедим пельменей, и у меня есть предложение...

Егоров пьет пиво медленно, мелкими глотками. Оно приятно холодит рот, горло. Во рту у него была сегодня весь день неприятная сухость. Уж не простудился ли он?

Не френч бы ему надо было покупать, а башмаки. Они совсем прохудились. Ноги по такой слякоти все время мокрые.

– У меня есть вот какое предложение, – говорит Зайцев Егорову, когда официантка подносит им пельмени. – Вы тарелки-то как держите? – вдруг спрашивает он официантку. – Вы же пальцы туда макаете. А ресторан, между прочим, называется «Париж».

– Да ладно, – машет рукой Егоров.

– Ничего не ладно. В другой раз вызову хозяина, заставлю переменить. Идите, нечего на меня глазеть! На первый раз я это дело прощаю.

– Да не стоит с ними затеваться, – машет рукой уже с ложкой Егоров. – Они, эти официантки, тоже, можно сказать, рабочий класс. Работают от хозяина.

– Вот в том-то и дело, я заметил, – не может успокоиться Зайцев, когда сюда зайдет какой-нибудь толстопузый нэпман, так они готовы в три погибели изогнуться. А когда зашли, они видят, простые ребята, значит, можно без подноса... Нет, это дело надо поломать.

Зайцев берет ложку.

– Так вот какое у меня есть предложение, – говорит он, осторожно пробуя горячий бульон. И вдруг кричит: – Перец!

Поперчив пельмени, он с удовольствием их ест, прихлебывая пиво. И уж потом выкладывает свое предложение:

– Надо бы навестить Жура.

Эта мысль, такая простая и ясная, могла бы, кажется, давно прийти и в голову Егорову. Но не приходила. И может быть, не пришла бы. А Зайцев уже все обдумал.

– Вообще-то, – ковыряет он в зубах спичкой, – я сейчас не держусь за Жура. Я мог бы работать, допустим, с Водянковым. Он даже согласен взять меня к себе. Но ему неудобно перед Журом. Поэтому нам лучше всего завтра пойти в больницу и узнать, какие дела у Жура. Может, он еще год собирается болеть...

И тут, между прочим, выясняется уж совсем удивительная подробность.

Оказывается, пока Егоров все эти дни сидел в дежурке, Зайцев сумел побывать на четырех происшествиях.

Водянков сегодня искал Солдатенкова, чтобы ехать на Бакаревскую, где ограбили сберкаассу. Но Солдатенкова вызвали к начальнику. А тут подвернулся Зайцев. И Водянков взял его с собой.

Рассказывая Егорову об этом происшествии, Зайцев свободно пользовался словами из обихода уголовного розыска, как будто он не дни, а годы провел в этом учреждении.

Он восхищался Водянковым, который «сразу наколол наводчика».

Наводчиком оказался племянник сторожа соседнего со сберкаассой дома.

– Рыжий, вроде меня, и наших лет с тобой парнишка, но дурак, – смеялся Зайцев. – Когда Водянков начал допрашивать его дядю, он хотел тут же подорвать когти. Бросился к окошку, но я тут же сшиб его с ног. Знаешь, тем

приемом? Вот так... А потом, когда мы его вели, он сразу же раскололся, раскис. Говорит: «Я год был безработным, прямо все продал с себя, поехал к дяде, познакомился тут с одними ребятами...» И плачет...

– А может, он правда был безработным, – предположил Егоров.

Зайцев прищурился.

– Ты что, его жалеешь? Воров жалеешь?

– Не жалею, – смутился Егоров. И опустил глаза в пустую тарелку. – Но все-таки, когда посмотришь на это, как сегодня в дежурке, неприятно...

– Все равно надо кончать эту публику, – решительно заявил Зайцев. И постучал ножом по тарелке, подзывая официантку. – Вечером просто нельзя пройти по саду Розы Люксембург. Вырывают у женщин сумки. Даже у моей девушки – помнишь эту Раю? – чуть не вырвали...

Егоров опять вспомнил женщину, которая будто бы убила нэпмана, и мальчишек, вырвавших у нее сумку.

– А с твоим характером, я тебя предупреждаю, тебе будет худо, – сказал Зайцев. – Характер тебе придется менять.

– Ну да, – согласился Егоров. И в задумчивости стал постукивать ребром ладони о край стола, как рекомендует господин Сигимицу.

Это превращалось в привычку.

Утром они решили навестить Жура в больнице. Но когда они явились в уголовный розыск, чтобы спросить

разрешение на отлучку и узнать точный адрес, Воробейчик им сказал, что Жур ходит где-то тут. И они сию же минуту увидели Жура.

Высокий, плечистый Жур изрядно похудел, побледнел. Веселые глаза его запали. Но, увидев практикантов, он заулыбался.

– Ну как, ребята, вас еще не подстрелили? А я вот досрочно встал на текущий ремонт. – И он пошевелил правой толстой забинтованной рукой, висевшей на черной повязке. – Такие дела, такая работа...

Он долго перелистывал журнал происшествий. Потом сказал дежурному по городу Воробейчику:

– Ты мне больших дел не давай. Я еще числюсь на больничном листе. У меня рука. Но дай что-нибудь такое не очень хлопотное, чтобы с ребятами съездить. – И кивнул на Егорова и Зайцева. – Огневые, видать, ребята.

Эта случайная и еще на заслуженная похвала не обрадовала, а, пожалуй, встревожила Егорова. «Огневые»! Зайцев – это правда, огневой. А про себя Егоров не решился бы такое сказать.

И даже чуть струхнул. Вот сейчас начинается самое главное. Они поедут, как говорят тут, на дело, где надо будет действовать в опасных условиях, и сразу обнаружится, что Егоров не годится. «Хотя почему это вдруг? – про себя обиделся Егоров. – Еще ничего не известно. Посмотрим».

– Тут у меня есть одно дело, такое вроде ученическое, – сказал дежурный по городу. – Аптекарь какой-то не то отравился, не то удавился. На Поливановской улице, номер четырнадцать. Против приюта для глухонемых...

– Вот, вот, это подходяще, – почти обрадовался Жур. – Надо только вызвать Каца.

– Кац тут, – сказал дежурный.

И вскоре пришел Кац, худенький старичок с маленьким чемоданчиком.

– А как же с оружием? – спросил Зайцев. – Нам надо бы хоть какие-нибудь пистолеты. Так-то, пожалуй, с голыми руками, будет неудобно...

– Да они сейчас ни к чему, – улыбнулся Жур. – Но если есть нетерпение, можем достать...

Зайцеву он вручил браунинг, а Егорову наган.

Зайцев подошел к окну и стал передергивать затвор.

– Ты погоди, – остановил его Жур. – Как бы ты не ахнул в окно.

– Да нет, я умею, – сказал Зайцев. – Мне уже сегодня Водянков давал точно такой. Это же, кажется, бельгийский, первый номер, если я не ошибаюсь... – И Зайцев сунул пистолет в карман.

А Егоров не решился поступить так же. Он опасливо держал револьвер в руке до тех пор, пока Жур не объяснил ему, как нужно обращаться с таким оружием. Жур посоветовал носить наган под пиджаком на ремне, вот с этой стороны, как у самого Жура.

Егоров легко приспособил наган, положил в кармашек за пазухой, как орехи, десяток патронов и готов был к любым действиям. Но его знобило. И он не мог понять, отчего его знобит. От простуды или от предчувствия опасности? И во рту была нестерпимая сухость. Все время надо было облизывать губы, а они от этого потом потрескаются. Неужели он правда простудился? А вдруг он

сляжет как раз в эти дни, когда он еще не служащий и не безработный? Вот будет приятный подарок Кате...

– Ну, пошли, товарищи, – позвал Жур. – Главное в нашем деле – не робеть. В любое время. Мы, как говорится, ребята хваткие. Семеро одного не боимся. И на печке не дрожим.

На улице было по-прежнему слякотно. Хваленая сибирская зима долго не могла установиться в том году. Накрапывал мелкий дождь.

Жур прошел несколько шагов по тротуару. Потом поднял левую руку и подозвал извозчика.

– Познакомьтесь, – сказал он уже в пролетке, когда все уселись. – Это судебный медик Илья Борисович Кац. А это, – показал он на Зайцева и Егорова, – это мы еще поглядим, что из них будет. – И засмеялся.

На Поливановской у дома номер четырнадцать, где внизу аптека, толпились любопытные.

Два смельчака даже взобрались на карниз и заглядывали в тусклые, забрызганные дождем окна.

– Ты нас, уважаемый, тут подожди, – приказал Жур лохматому извозчику. И вошел в дом.

На узкой деревянной лестнице было темно. Пахло мышами и лекарствами. Мышами – сильнее.

Жур открыл дверь в коридор, набитый людьми.

– Здравствуйте, – сказал так громко и приветливо, точно здесь собрались исключительно его знакомые. – Что это у вас случилось?

– Да вот, – указала болезненного вида женщина на коричневатую запертую дверь. – Наш сосед, аптекарь Коломеец Яков Вениаминыч, разошелся с супругой. И видимо, переживал.

– Короче говоря, скончался, – заключил мужчина в жилетке.

– Ключ? – спросил Жур.

– Да он изнутри замкнутый, – вздохнула женщина, подперев ладонью щеку.

Жур левой рукой вынул из кармана большой складной нож и стал заглядывать в скважину замка. Потом молча протянул нож Зайцеву.

И Зайцев без слов все понял. Быстро раскрыл нож, просунул лезвие в щель двери, поковырял-поковырял, и дверь бесшумно открылась.

Лучше было бы Егорову не приезжать сюда, не сидеть в извозничьей пролетке, не греть у живота наполняющий сердце гордостью наган.

Как открылась дверь, Егоров сразу обмер.

В спертom воздухе под потолком на шнуре висел человек с обезображенным лицом.

– Ваше слово, Илья Борисыч, – кивнул на покойника Жур и повернулся к дверям: – Граждане, лишних все-таки прошу отойти. А вот вы и вы, – указал он на двух мужчин, – пожалуйста, останьтесь. Нам нужны понятия...

Но разве кто-нибудь сам себя посчитает лишним! Почти все и остались, но в комнату не вошли. Продолжали толпиться у дверей.

Кац потрогал повесившегося за ноги, сморщился, пожевал стариковскими губами.

– Это называется «смерть». Надо его снять.

Зайцев поднял лежавшую тут стремянку, на которую, может быть, в последний раз поднимался аптекарь, мигom установил ее, укрепил на шарнирах и полез по ступенькам с открытым ножом.

– Придерживай его! – крикнул Жур Егорову, когда Зайцев стал перерезать шнур.

Егоров, однако, не понял кого придерживать, и взялся скрепя сердце за стремянку.

А придерживать надо было аптекаря, чтобы он не рухнул. Но этого уж Егоров, пожалуй, не смог бы. Не смог бы заставить себя.

Аптекаря снял Кац. И Жур помогал ему левой рукой. А Егоров все еще держался за стремянку, хотя Зайцев уже слез.

– Так, – сказал Жур и стал осматривать комнату, подошел к окнам.

Узенькая форточка была плотно притворена, но не защелкнута на крючок. Жур ее толкнул кулаком, отворил. Потом опять прикрыл.

Вышел в коридор, прошелся по нему взад-вперед.

– Ходили к нему его компаньоны – братья Фриневы, Борис и Григорий. Очень жалели его, – рассказывала Журю болезненного вида женщина. – Все сговаривали его прокатиться на извозчике. Для удовольствия. Чтобы, значит, согнать тоску. Даже нанимали извозчика. Но он не схотел, бедняжка...

– Какие братья? – спросил Жур.

– Фриневы. Тоже аптекари, с Белоглазовской.

– Давно они были?

– Да уж давно. Дня, наверно, три назад.

Жур опять вошел в комнату.

Кац рассматривал лицо и шею мертвого аптекаря. Трогал зачем-то его уши.

– Не нравятся мне эти линии, – показал Кац на шею покойника. И опять потрогал его уши.

– Да, не очень хорошо он выглядит, – согласился Жур.
(Как будто аптекарь, удавившись, мог выглядеть хорошо!)
– Егоров! У тебя как почерк? Разборчивый?

– Ничего, – глухо ответил Егоров.

– Ну, тогда садись, пиши. Только старайся, почище пиши, поразборчивей...

Жур подвинул ему стул и положил перед ним стопку бумаги.

Егоров взял перо. Он боялся, что у него будут дрожать руки. Но руки не дрожали.

– Пиши, – повторил Жур. – Сначала заглавие: «Протокол осмотра места происшествия». Написал? Молодец! Теперь год, месяц, число. «Двенадцать часов дня... Я, старший уполномоченный уголовного розыска Жур У. Г., значит, Ульян Григорьевич, – в присутствии судебного медика Каца Ильи Борисовича, практикантов Егорова...» Как тебя зовут?

– Саша.

– Нет, так не пойдет. Надо полностью.

– Александр Андреевич.

– «...Александра Андреевича и Зайцева...» А ты, Зайцев, как называешься?

– Сергей Сергеевич, – поспешно и с достоинством откликнулся Зайцев.

– «...Сергея Сергеевича, а также понятых, – Жур посмотрел удостоверения личности двух мужчин, – Алтухова Дементия Емельяновича и Кукушкина Свирида Дмитриевича, составил настоящий протокол осмотра места происшествия смерти гражданина Коломейца Якова Вениаминовича». Написал? Хорошо пишешь. Дальше. «Осмотром установлено. Двоеточие...»

Егоров старательно, почти без ошибок, записал под диктовку Жура все, что установлено осмотром. И как расположена в общей квартире комната аптекаря, и сколько в ней дверей, и окон, и форточек, и как они закрыты, и куда выходят, и какого размера передняя в квартире. И как была вскрыта комната («путем отжима ригеля») в момент прибытия представителей органов власти на место происшествия.

«Значит, этот язычок у дверного замка называется «ригель». Интересно, подумал Егоров, продолжая писать. — И как ловко Зайцев его отодвинул перочинным ножиком, этот ригель. Молодец Зайцев! А на покойника мне не надо глядеть. Ни в коем случае. Да ну его».

Жур диктовал четко, ясно, выговаривая каждую букву.

И Егоров писал спокойно, радуясь, что рука не дрожит. Значит, всякий человек может заставить себя делать что угодно, если этого требуют обстоятельства.

Он подробно описал под диктовку всю мебель в комнате аптекаря, перечислил склянки с лекарствами на столе, подушки, большие и маленькие, матрац, голубое тканьевое одеяло, которым покрыта постель, брюки, жилет и пиджак аптекаря, сложенные на спинке кожаного кресла.

Затем так же спокойно он описал вделанный в потолок массивный медный крюк для люстры, на котором висел на шнуре, — и толщину и цвет шнура описал, — труп мужчины средних лет, невысокого роста, плотного телосложения, одетый в нательное теплое егерское белье сиреневого цвета.

— Хорошо пишешь, — опять похвалил Жур Егорова. — Но погоди минутку. — И снова стал осматривать труп, расте-

гивая пуговицы на рубаше. – Пиши дальше. «После освобождения шеи трупа от петли и констатации судебным медиком факта смерти произведен детальный осмотр трупа. Белье на трупе оказалось целое, чистое, без каких-либо пятен. На лице, голове и теле трупа никаких ран, ссадин, царапин и иных повреждений нет. Конечности целы. На шее трупа, однако, имеется неясно выраженная странгуляционная борозда, оставленная шнуром, что указывает на необходимость судебно-медицинской экспертизы. Из ранних трупных явлений налицо сильное окоченение челюстей и конечностей, а также трупные пятна, расположенные на ногах в виде сливающихся овалов размером с куриное яйцо и пятикопеечную монету царской чеканки». По-моему, правильно? – обратился Жур к Кацу.

Кац утвердительно мотнул головой. И Егоров мотнул. Мотнул, как клонул. И свалился со стула. Обморок.

Ах как растерялся, а затем обозлился Жур! Ведь не будешь объяснять любопытным, все еще заглядывающим в открытую дверь, что это не работник уголовного розыска упал в обморок, а стажер – мальчишка, щенок!

– Нашатырный спирт, – сказал Кац и стал близорукими глазами осматривать склянки на столе аптекаря.

Егорову дали понюхать нашатырного спирта. Он очнулся.

Жур и Кац усадили его на стул. И Жур еще для большей верности с особой энергией потер ему левой рукой виски и уши.

– Зайцев, пиши, – приказал Жур.

Зайцев уселся за стол. Потом вскочил, подошел к трупу, потрогал его ноги и сказал:

– А это вы немножечко ошиблись насчет пятен, товарищ Жур. Куда же с пятикопеечную монету? Это как две копейки царской чеканки...

– Пожалуй, – согласился Жур. – Ну, пиши: с двухкопеечную монету...

Зайцев продолжал писать протокол.

А Егоров, бледный, с красными ушами, сидел в стороне от стола и автоматически, уже совсем бессознательно, постукивал ребром ладоней о край стула, как рекомендует господин Сигимицу для укрепления кистей рук. Но на кой черт нужен теперь господин Сигимицу со всей его наукой и хитроумными способами, если, кажется, все пропало, все?

Когда явились из морга санитары в серых халатах, Зайцев стал суетливо помогать им укладывать на носилки труп аптекаря.

А Егоров даже не приподнялся со стула. Зачем он будет еще поднимать этого мертвяка, если из-за него – вот именно из-за него – рухнула, пожалуй, вся карьера Егорова? И что ему не жилось, аптекарю? Нет, видите, пожелал удавиться...

Внизу, у подъезда дома, все еще ждал лохматый извозчик. И рядом стояли дроги из морга.

Егоров, спустившись вниз по этой узкой деревянной лестнице, хотел сразу же направиться домой. Ведь все ясно: не служить ему больше в уголовном розыске. Пусть ему сделают отметку на комсомольской путевке, что он не справился, и отошлют ее обратно в губком. Не справился и не справился. Что ж теперь делать? Пусть...

Но все-таки, проходя мимо Жура, садившегося в пролетку, Егоров спросил только из вежливости:

– Мне больше не надо приходить?
– Это в честь чего не приходить? – осердился Жур. – Нет, милости просим. Давай садись в пролетку. Поехали...

8

В дежурке в тот же день узнали о происшествии с Егоровым. Ведь о чем-нибудь хорошем чаще всего узнают позднее, а о плохом мгновенно.

Воробейчик хохотал больше всех.

– Значит, могло получиться сразу два мертвяка – аптекарь и стажер. Вот так работнички...

– Почему работнички? – спросил Егоров. – Ведь я один упал. Зайцев не падал.

– Значит, боишься? – допытывался Воробейчик. – Покойников боишься?

– Боюсь, – сознался Егоров.

И то, что он не оправдывался и не обижался, когда смеялись над ним, в какой-то степени выручало его.

Новые факты потом постепенно ослабят, может быть, впечатление от этого, в сущности, исключительного случая. Однако забыть о нем совсем сотрудники, наверно, не смогут. Так всегда и будут вспоминать: «Егоров? Какой это Егоров? Ах, этот, что упал в обморок, когда поднимали мертвого аптекаря! Ну и слюняй...»

Больше всего здесь не прощают трусости, душевной слабости, излишней чувствительности. Ты пришел сюда работать – так работай. Ты же знал, что тут не гимназисток воспитывают...

Это знал и Егоров. И все-таки допустил непростительный промах.

Воробейчик не даст теперь ему проходу. Нахальный, надоедливый Воробейчик. Черный, как грач.

Егоров сперва думал, что его тут так прозвали – Воробейчик. За юркость. Он и ходит подпрыгивая. А потом выяснилось, что это его настоящая фамилия – Виктор Антонович Воробейчик...

И как раз сегодня он до самой ночи будет дежурным по городу. Поэтому сидеть в дежурке Егорову уже совсем тяжело, невыносимо тяжело.

Лучше ему побродить по коридору, благо коридоры длинные и полутемные.

Жур, должно быть, забыл о Егорове. Или Журу противно вспоминать про него. Где-то в коридоре слышен голос Жура.

Егоров невольно идет на этот голос.

Узенькая дверь чуть приоткрыта. За дверью разговаривают несколько человек. Пять или шесть, или всего трое.

– Почему вдруг выгнать? – кого-то спрашивает Жур. – А если тебя выгнать или меня?

Егоров догадывается, что это говорят о нем. Кто-то требует, чтобы его выгнали. Ну и пусть. Может, это сам Курычев требует. Ему уж, наверно, доложили. Уже нашлись старательные болтуны и доложили...

Близко подходить к двери Егоров не решается. Но, и совсем отойти не может. И не может расслышать всех голосов. Только голос Жура он слышит довольно ясно:

– Вообще мне противно это слово «выгнать». Это барское, дурацкое слово. А что касается Усякина, то я считаю, что его увольнять пока не надо. Его надо только решительно предупредить. Пусть он знает, что у нас тут не ба-

лаган и безобразий мы не потерпим. Пусть Усякин занимается только собаками и никуда не лезет.

Усякин, Усякин. Ах, это тот Усякин, про которого в дежурке написано: «Усякин, я тебя не боюсь». Но Егорову сейчас даже не хочется догадываться, кто такой Усякин.

«Я сам теперь Усякин», – угнетенно думает Егоров и проходит мимо двери.

Но дверь вдруг открывается.

Из комнаты выходят Жур и трое незнакомых. Нет, один знакомый. Ой, да это сам товарищ Курычев, начальник угрозыска!

Егоров хочет с ним поздороваться. Но Курычев, даже не взглянув на него, уходит в глубину коридора – в свой кабинет, где ковры. Интересно, знает он, как оскандалился Егоров, или не знает? Хотя теперь это уже все равно.

– Ну, как ты, Егоров, себя чувствуешь? – кладет Жур левую руку Егорову на плечо.

– Ничего, – говорит Егоров.

– Ты вот что, – задумывается Жур, – пойди в криминалистический кабинет. Ты был у нас в криминалистическом кабинете?

– Нет еще.

– Вот пойдите. И Зайцева позови. Пойдите вместе. А потом можете идти домой. Завтра приходи ровно в девять. И в дежурке не сиди. Там тебе нечего делать. Приходи прямо ко мне, вот сюда. Ну, будь здоров. Гляди веселее...

Не очень-то, однако, весело глядеть чувствительному человеку на эту страшную выставку в криминалистическом кабинете. Даже стошнить может с непривычки.

Егоров подумал, как бы ему тут опять не упасть, в этом

кабинете. Вот был бы позор. И он все время облизывал губы. И все время ему хотелось сплюнуть куда-нибудь, но сплюнуть, к сожалению, некуда. И неловко.

Все стены увешаны веревками, мешками, колотушками. И указано точно, кого, когда и кто убивал этими предметами.

А в витринах разложены пистолеты, винтовочные обреза, ножи и кинжалы со следами порыжевшей крови.

И это еще ничего. Но зачем сфотографированы в разных позах убитые, повешенные, утопленные люди? И непонятно, для чего развешаны портреты убийц: старуха какая-то, как баба-яга, убила восемнадцать человек разными способами и в разное время, бородатый ломовой извозчик, погубивший своих детей, торговка, делавшая пирожки из человеческого мяса... Много их, всяких, тут. В стеклянных банках заспиртованы чьи-то внутренности.

Егоров просто не может смотреть на все это. Но Зайцев кричит с другого конца зала:

– Егоров! Иди сюда! Вот смотри-ка, еще что... – И показывает на большую стеклянную банку, в которой мерцает – издали видно – что-то розовое с синим, отвратительное что-то.

– Тут всего за один день не разглядишь, – говорит Зайцев, когда Егоров приближается к нему. – Я во второй раз смотрю и то удивляюсь. Нам надо с тобой сюда еще раза два-три прийти, чтобы все как следует рассмотреть... во всех подробностях...

– Придем, – покорно кивает Егоров. – А сейчас мне некогда. Надо идти.

– Подожди, – удерживает его Зайцев.

Все-таки очень деликатный человек Зайцев. За все время он ни разу даже намеком не напомнил о том, что сегодня случилось с Егоровым на Поливановской, в комнате аптекаря. Разговаривает обо всем, а о том ни слова.

На улице Зайцев вдруг останавливается.

– погоди. Нам надо зайти в комсомольскую ячейку. Я все-таки хочу, чтобы тебя взяли на учет.

– Не возьмут.

– А я тебе говорю, возьмут. Я уже разговаривал с Шурочкой...

– Кто это Шурочка?

– Там, наверху, в управлении милиции.

И они поднимаются на второй этаж, входят в тот зал, где был торжественный вечер.

Никакой торжественности тут теперь, понятно, нет. Опять тесно составлены столы, над столами склонились милицейские служащие.

Зайцев быстро находит коротко стриженную девушку, издали похожую на парня. Ее даже неловко называть Шурочкой – такая она большая, могучая. И голос у нее хриплый. Но Зайцев все-таки называет ее Шурочкой.

– Вот, Шурочка, наш парень из уголовного розыска, Егоров. Я тебе про него говорил...

Дело, томившее Егорова все время, пока он здесь живет, решилось в две минуты.

Шурочка сказала, что она сама запросит учетную карточку из Дударей, а пока поставит его на учет условно.

– Спасибо, – сказал Егоров уже на улице. – Большое, я даже не знаю, какое тебе большое спасибо, Зайцев. Я это никогда не забуду. Ты меня, ей-богу, сильно выручил...

– Опять «ей-богу»? – засмеялся Зайцев.

– Ну ладно, я потом отвыкну, – пообещал Егоров.

Они проходили в сумерках мимо красного здания городского театра, где подле освещенного подъезда среди голых, давно уже сбросивших листву деревьев толпилось множество людей.

И над толпой возвышались три конных милиционера.

А на фасаде театра в окружении электрических лампочек висела огромная афиша:

«Был ли Христос? В диспуте примут участие нарком просвещения А. В. Луначарский и митрополит Александр Введенский».

Весь город, казалось, рвался в театр. И, конечно, не потому, что всем хотелось немедленно выяснить, был ли на самом деле Иисус Христос.

Всем хотелось посмотреть на знаменитого наркома просвещения, вдруг пожелавшего приехать в этот далекий сибирский город. И на митрополита Введенского – главу так называемой живой церкви – многим тоже хотелось посмотреть.

– Хочешь, зайдем? – показал на театр Зайцев.

– Ну, разве пробьешься? – усомнился Егоров.

– А хочешь?

– Я бы пошел с удовольствием, если б пустили, – сказал Егоров.

– Тогда сразу пойдем, – позвал Зайцев и, наклонив голову, устремился в толпу.

Егоров еле поспевал за ним.

Зайцев расталкивал людей и говорил только одно слово «минутку».

У самых дверей они вынуждены были остановиться.

Их остановили билетеры, стоявшие с двух сторон.

– Ваши билетики?

– Из угро, – как-то глухо и грозно произнес Зайцев. И оглянулся на Егорова. – Этот со мной.

– Пожалуйста, – сказал один билетер и опасливо посторонился.

Все великолепие этого старинного театра с его люстрами, синим бархатом и позолотой в одно мгновение как бы обрушилось на Егорова и придавило его.

Оказывается, он никогда еще не был в театре и не знал, что здесь так красиво.

– Гляди, Луначарский, – показал Зайцев, когда они уселись на бархатный барьер ложи.

– Который?

– Да ты что, Луначарского не видел?

– Где же я его увижу?

– А на портретах?

– Ах, на портретах...

– Вы что тут, долго будете безобразить? Слезайте сейчас же. А то я милицию вызову.

Зайцев посмотрел сверху вниз на чистенького старичка билетера.

– Вызовите. Я как раз хотел вас об этом попросить.

А Егоров спрыгнул с барьера и потянул за собой Зайцева.

– Не валяй дурака, Сережа, а то подумают, мы – хулиганы.

– Не подумают, – скосил глаза на билетера Зайцев, но все-таки тоже спрыгнул.

– Который, ты говоришь, Луначарский? – опять спросил Егоров, жадно вглядываясь в людей, разместившихся за высоким и длинным столом президиума, застланным красным бархатом.

– Вон тот полный, налево смотри, в пенсне, редкие волосы. Причесывается, что ли? Нет, просто ухо потрогал...

– А я на этого подумал, на худощавого...

– Ты что? – удивленно посмотрел Зайцев на Егорова. – Разве плохо видишь?

– Нет, ничего.

– Этот же, худощавый, – поп. Его сразу заметно, что он поп. Это и есть митрополит Введенский.

Однако ошибиться было легко.

Из-за трибуны видно только голову и плечи выступавшего митрополита. Волосы у него не длинные, как бы полагалось духовному лицу. И он в эту минуту перелистывал на трибуне бумаги. Вычитывал цитаты, как всякий докладчик. Только цитаты он приводил из Библии на церковнославянском языке, непонятном многим.

Егорову же был понятен этот язык. Он и грамоте стал учиться сперва по-славянски. Раньше, чем он пошел в школу, его учил отец по какой-то старинной книге.

Отец Егорова больше всего любил чтение именно старинных, главным образом божественных книг. Верховлаз-кровельщик, он часто чинил купола храмов, разъезжал с этой целью по всей Сибири и считал себя близким к церковным делам. Только, кажется, перед самой смертью, уже на гражданской войне, он разочаровался в религии. А бабушка Егорова постоянно, до сих пор читает Библию. И кажется, еще совсем недавно она возила внука на пароме в

Староберезовский монастырь, на поклонение мощам святого Софония.

Егоров до сих пор помнил все молитвы. Но сейчас весь этот божественный, религиозный мир был от него где-то далеко-далеко, как в тумане. И ему было вовсе не интересно слушать митрополита.

Он рассеянно оглядывался по сторонам, рассматривал расписанный потолок, балконы, галерку.

– Не люблю я их, – негромко и досадливо сказал он, опять покосившись на митрополита Введенского.

– Кого? – удивился Зайцев. – Кого не любишь?

– Ну, одним словом, попов и вот всю религию. У меня из-за них в Дударях чуть большое дело не вышло. Чуть-чуть меня из комсомола из-за них не наладили...

– А что такое? – обеспокоился Зайцев. – Ты в церковь ходил? Молился?

– В том-то и дело, что я уже не молился. И не ходил. А все-таки пришили дело. Меня, одним словом, один парень спас. Вениамин Малышев. Мировой парень! Так я ему до сих пор письмо и не написал. А он меня, можно сказать, спас. А то бы я сейчас скитался.

– Да в чем дело-то было?

– После я тебе расскажу. Но это было большое дело, – вздохнул Егоров.

– После так после, – оборвал его Зайцев. – А сейчас слушай. Говорит Луначарский. Вон он, видишь, встал... – Зайцев схватил Егорова за руку. Теперь внимательно слушай – Луначарский...

Полный, плотный человек с крупной седоватой головой поднялся за столом. Пенсне его заблестело.

– Ну, хорошо, – сказал он, – допустим на минутку, что митрополит Введенский ведет свое происхождение непосредственно от бога Саваофа. Допустим, что он создан по образу и подобию божью. А я и те, кто со мной согласен, приходим, как утверждает наука, от обезьяны. И вот если вспомнить, как выглядит обезьяна, и взглянуть хотя бы на меня, можно сказать, какой прогресс. А теперь вспомните могущественного бога Саваофа, каким его изображают на иконах, и посмотрите на нашего собеседника митрополита. Не правда ли, какой ужасный регресс?!

Многие засмеялись и захлопали.

А когда смех и аплодисменты утихли, Егоров наклонился к уху Зайцева и доверительно прошептал:

– А мы правда все от обезьяны.

Зайцев опять засмеялся.

– Я серьезно говорю, – нахмурился Егоров. – Я это еще в Дударях читал, что мы все от обезьяны...

Тон у Егорова был такой, что мне самому, мол, неприятно это открытие, но не признать его все же нельзя. И Егоров вздохнул.

Домой он пришел очень поздно, но в темном дворе еще визжала пила и ухал топор.

Катя и ее ребяташки азартно работали под окном кухни, в полосе света, падавшей из окна от керосиновой лампы-«молнии». Они пилили и кололи дрова, и укладывали их тут же под низеньким навесом.

Егорову стало стыдно. Ребята и Катя работают, а он где-то там ходит, слушает митрополитов... А все думают, что он задерживается на работе. А на работе он сегодня оскандалился.

Катя, однако, обрадовалась его приходу.

– Вы, ребята, пилите, – оставила она пилу, – а я покормлю дядю.

Раньше она его не так называла.

– Нет, я уже поел, – сказал Егоров.

– Вижу, – вытерла руки фартуком Катя. – Вижу по личику твоему прекрасному, как ты поел. Краше в гроб кладут.

– Нет, я правда не хочу есть. Я буду сейчас пилить с вами.

– Поешь, – повела его в дом Катя. – Я сегодня щи варила. Большой чугунок. Мы уж во второй раз поели. Еще теплые щи.

Она три раза повторила это слово «щи», и Егоров вдруг так захотел есть, что у него засосало внутри.

– Хорошие, очень наваристые. С костями от ветчины варила, – поставила Катя на стол ароматную еду и нарезала толстыми ломтями хлеб.

Пригласительный билет на торжественный вечер в честь Октябрьской революции был, как сказали бы историки, переломным моментом в отношениях брата и сестры. Она теперь, казалось, с особым удовольствием ухаживала за ним, как за важным лицом, оказавшим ей высокую честь состоять в прямом родстве.

Егоров поел, и его быстро сморила дремота, но он ее преодолел и пошел пилить дрова.

Племянники оживились. Каждый хотел пилить с ним. Но счастье это выпало только младшему – Коле. Митя и Валентин кололи и укладывали дрова.

А Катя ушла намочить белье к завтрашной стирке.

Всю ночь Егоров ворочался, бился. И даже кричал во сне.

Снились ему мертвый аптекарь и какие-то облезлые тигры, которые во что бы то ни стало хотели сожрать Егорова. Он забирался от них на высоченную лиственницу, но они упорно лезли за ним.

И он чувствовал, что хочет спать, что силы иссякают, и боялся, что тигры обязательно растерзают его в таком состоянии. Но поделать ничего не мог.

Тигры, однако, его не растерзали.

Утром он проснулся бодрым, опять поел вчерашних щей и пошел на работу.

Работа оказалась на редкость странной.

Жур посадил его и Зайцева переписывать старые протоколы допросов и осмотра мест происшествий. Они сидели за одним столом.

Зайцев писал и сердился.

— Опять школа первой ступени...

Хотя едва ли ему приходилось в школе переписывать такие документы.

А Егоров молчал.

Школа первой ступени была сладчайшим воспоминанием его жизни.

В школе он встретил Аню Иващенко и влюбился в нее. И еще сейчас это воспоминание слегка туманит его голову. Надо бы хоть разыскать как-нибудь брата Ани. Интересно узнать, где сейчас Аня. Но все это успеется. Все это можно сделать потом.

А сейчас главное – работа. Все равно, какая работа – переписка или что-нибудь другое. Лишь бы пройти испытательный срок, утвердиться на этом месте.

В двенадцатом часу дня пришел Воробейчик и попросил Жура отпустить Зайцева съездить вместе с ним в Замошкину рощу, где минувшей ночью произошло два ограбления.

В третьем часу Зайцев вернулся из Замошкиной рощи, и уже сам Жур послал его привезти в уголовный розыск вдову аптекаря Коломейца, которая по справке адресного стола проживает в Зверином предместье, Вокзальная улица, дом номер двенадцать.

Зайцев во второй раз уехал.

А Егоров все продолжал переписывать старые протоколы.

Нет, он не все время переписывал. В обеденный перерыв, когда на втором этаже – в управлении милиции – затрещал звонок, Егоров вынул из кармана мешочек, в котором были кусок хлеба и две картошки, съел их и запил теплой водой из «титана» с кислой конфеткой «барбарис», выданной ему Катей в знак особого ее уважения к его необыкновенной деятельности.

Деятельность же оказалась не ахти какой необыкновенной.

Егоров понял, что его отстраняют от оперативной работы, но зато собираются, может быть, оставить на канцелярском деле. Вот так, наверно, все и будет. Их зачислят обоих в штат – Зайцева и Егорова. Только поставят на разную работу. Ну что же! Лишь бы оставили. Не все ли равно, что делать, в конце концов. Надо только стараться

хорошо работать, а то и с канцелярского дела могут попросить.

И Егоров старался. Он выписывал аккуратно каждую букву и огорчался только, что ручка попалась какая-то расхлябанная, перо в ней все время болтается. Все пальцы испачкал чернилами. И еще, чего доброго, можно испачкать страницу.

Зайцев привез на извозчике вдову аптекаря и, оставив ее в коридоре у дверей, вошел в комнату Жура.

– А я тебя жду, – сказал ему Жур. – Надо бы еще привезти старшего брата Фринева, Бориса. Он живет на Белоглазовской, тринадцать...

Жур мог бы послать Егорова за этим Фриневым Борисом, пока не было Зайцева. Подумаешь, какая сложность! Но Жур все-таки не послал Егорова. Значит, правильно: Егоров, по мнению Жура, не годится даже для самой простой оперативной работы.

«Ну что ж, пусть, – подумал Егоров. – Пусть Зайцев ездит, а я буду переписывать. Все буду делать, что заставят. Я не капризный. Мне так даже лучше. Башмаки у меня худые. А на улице слякоть».

И все-таки где-то в глубине его сознания тлела, как уголек, горчайшая обида.

Не мог Егоров примириться с тем, что Зайцев лучше его, что Зайцеву все доступно, что Зайцева здесь уже считают боевым, а он, Егоров, вдруг бухнулся в обморок, как девчонка, испугался мертвого аптекаря.

Но теперь уж поздно жалеть об этом. Может, потом еще будет время и Егоров тоже покажет себя. А пока: «При осмотре места происшествия обнаружено... двоеточие. Как

это может быть обнаружено двоеточие? Чепуха какая! Я ошибся. Я, наверно, устал...»

И он действительно устал.

Был уже шестой час дня. За окнами потемнело. Но Егоров решил исправить ошибку, решил снова переписать протокол осмотра с самого начала.

В это время к нему подошел Жур.

Егоров побоялся, что Жур прочтет последнюю фразу, заметит глупую ошибку и поймет, что стажер не годится и для канцелярской работы.

Егоров закрыл последнюю строку ладонью и размазал чернила. Руки от волнения у него были потные.

Но Жур не обратил никакого внимания на то, что пишет стажер. Жур сел на стул против него и сказал:

– Слушай, Егоров, у меня к тебе есть просьба. (Не задание, заметьте, а просьба.) Я вчера велел, чтобы в мертвецкой заморозили этого аптекаря Коломейца, ну его к черту. За ним тоже вскрываются дела. Но у нас, знаешь, какие там работнички. Может, ты съездишь в Ивановскую больницу, проверишь?

– Ну что же, – опустил глаза Егоров.

– Я знаю, тебе почему-то неприятно смотреть на этого аптекаря. Но такое дело – послать некого. У меня еще два допроса. Съездишь?

– Ну что же.

– «Ну что же» – это не разговор, – вдруг посуровел Жур. – Ты находишься на работе, с тобой говорит уполномоченный, – твой, стало быть, непосредственный начальник. Надо, во-первых, встать...

– Ну что же, – еще раз невольно сказал Егоров. И встал.

– Так, значит, съездишь? Можешь съездить?

– Отчего я не съезжу? Пожалуйста. Сейчас?

– Да, нужно бы сейчас съездить...

Но это только так говорится – съездить. А ехать не надо. Можно пешком пройти два квартала Главной улицы, потом свернуть на Бакаревскую и спуститься к набережной.

Тут, на набережной, за понтонным мостом, и находится Ивановская больница.

Егоров пошел пешком. Он шел и все старался подавить в себе гнетущее чувство надвигающейся на него неотвратимой беды. И в то же время он думал: «А что, если б послали в мертвецкую сейчас Воробейчика или даже Зайцева? Они, пожалуй, и не почесались бы. Нет, наверно, и им было бы неприятно. Но они бы все равно пошли. И я иду. В чем дело?»

На набережной было уже совсем темно и холодно.

Великая река, обьятая холодным туманом, ревела со стоном и скрежетом. Будто томилась, что до сих пор нет настоящего мороза и она никак не может покрыться льдом.

За мостом стало чуть светлее от ярко освещенных окон больницы.

Она большая, во весь квартал, больница. И вдоль нее тянется чугунный забор на каменных столбах.

Егоров вошел в больничный двор, где было еще светлее.

Из боковой двери две женщины в серых халатах вынесли укрытые простыней носилки.

– Это откуда? – спросил их мимо идущий мужчина с газетным свертком под мышкой. – Из десятой?

– Из десятой.

– Неужели Савельев?

– Он.

– Значит, преставился?

– Значит, так.

– Ну, этак-то ему лучше будет, отмучился, – удовлетворенно вздохнул мужчина, тоже, видно, здешний человек, наверно санитар, и поправив сверток под мышкой, пошел дальше.

«В баню, – подумал Егоров. И еще подумал, глядя на женщин с носилками: – У людей вот такая работа, может, каждый день, и они ничего. А меня ненадолго сюда послали, и я уже чего-то боюсь. А чего бояться-то?»

Егоров хотел спросить этих женщин, где тут мертвецкая, но понял, что носилки несут именно туда, и побрел за носилками.

– Никодим! Никодим Евграфыч! – закричала одна женщина, державшая носилки. – Открывай, принимай гостя!

– Чего кричишь? Открыто для всех. И для вас лично, – отозвался откуда-то из-под земли старческий голос.

И над дверями подвала вспыхнула лампочка.

Из подвала вылез на свет старик в брезентовой куртке и в брезентовых же штанах, с тонкой, длинной шеей, как у гуся, и с маленькой, детской головкой в теплой шапке.

– К вам тут вчера привезли аптекаря, – сказал ему Егоров. – Приказали заморозить. Аптекаря фамилия, – он посмотрел в бумажку, – Коломеец Яков Вениаминович.

– Ничего не знаю, – снял шапку старик и, отряхнув ее, опять надел. – У меня тут все почти что аптекари. Если велели заморозить, значит, заморожен. Иди гляди...

И повел Егорова по широким каменным ступеням в подвал, куда уже пронесли носилки.

В глубине подвала старик опять зажег лампочку над нишей, откуда пахнуло зябким, мертвенным холодом, и Егоров увидел на помосте восемь в ряд лежащих мертвецов. Три женщины, четыре мужчины и один мальчик, что ли. Не разберешь.

Лампочка светит тускло, она грязная.

– Он вам родной? – спросил старик.

– Это с какой стати? – почти обиделся Егоров. – Я из уголовного розыска.

– А-а, ну, это другое дело.

Егоров думал, что старик, узнав, кто он такой, проникнется к нему особым почтением и станет извиняться, что еще не заморозил аптекаря. Но старик, напротив, утратил к Егорову всякий интерес, выяснив, что он не родственник аптекарю.

– Ищите его, где он тут лежит, – показал старик на весь подвал. И зажег еще одну лампочку. А потом еще одну.

Подвал оказался громадным.

– Где же его тут найдешь? – растерялся Егоров и пожегился.

Здесь, казалось, даже холоднее, чем на набережной. И все-таки откуда-то шло, должно быть, тепло. Нет, это просто было душно.

– Они как же у вас тут, по номерам? – спросил Егоров, стараясь не показать растерянности.

– По номерам? – засмеялся с дребезгом старик. – Да разве на них наберешься номеров? Их вон сколько тут напихано, накладено! Видимо-невидимо. Ужас...

Однако ужаса старик, должно быть, не испытывал.

Ужас испытал Егоров. Он почувствовал, что его опять подташнивает, как тогда. И от лампочек в углах шевелятся тени. Кажется, что здесь не только мертвые, но притаились и живые. И эти живые в сговоре со стариком. В сговоре против Егорова. Вот они сейчас его погубят. Очень хитро и страшно погубят.

Егоров пошел к дверям.

А может, ему в самом деле уйти и сказать, что аптекаря не нашли, не могли найти? Пусть придет сюда Воробейчик, если он так любит над всеми подфигуривать. Или Зайцев. Или кто-нибудь еще, кто хочет. Даже зарплату не платили, а уже посылают куда-то.

– Вы что это, вроде как робеете? – вдруг с ухмылкой посмотрел на Егорова старик.

И весь позор вчерашнего дня снова встал перед Егоровым. И позор этот повторится.

– Отчего это я робею? – не сразу, а переведя дыхание, спросил Егоров. – Ты не робеешь, а я робею?

– Мне-то уж чего робеть, – опять ухмыльнулся старик. – Мое дело такое, что мне робеть не полагается. Но многие, я замечаю, робеют. Даже из вашего этого самого... из сыскного, словом.

– Я не из сыскного, – твердо и с вызовом сказал Егоров. – Я из уголовного розыска. Сыскное – это при царе было. Ну-ка, давай показывай, где у тебя самые свежие, кого, допустим, вчера привезли...

– А я их не отбираю. Это не ягода. Вы сами тут разбирайтесь. Мне за отбор денег не платят...

Егоров на мгновение снова растерялся. Как же он тут

разберется сам? Ни за что ему не разобраться. Но его внезапно осенила счастливая мысль.

– Тебе ведь, отец, еще вчера приказали заморозить аптекаря. А ты чего делаешь? Чего ты тут выясняешь, кто робеет и кто не робеет? Тебя поставили на дело – делай, а нечего дурочку разыгрывать! Я ж тебе говорю, что я не из шарашкиной конторы, а из уголовного розыска. Показывай мне, где тут аптекарь...

– Пожалуйста, глядите, – вдруг действительно оробел старик. – Давайте вот этого сымем. – И он потянул за ноги мертвеца, лежавшего первым от края. – Женщин тревожить не будем, а мужеский пол оглядим. Не этот? Глядите...

Глядеть на это было самым трудным для Егорова. Но он глядел.

– Нет, не этот.

– Ну, тогда зайдемте с этого края, – предложил старик, потирая будто озябшие руки.

Егоров не считал мертвецов, но, пожалуй, не менее двадцати перебрал их старик, пока Егоров угадал:

– Вот этот.

Это был действительно аптекарь. И сейчас, как тогда, Егорову, мельком взглянувшему на него, опять стало плохо.

«Только бы снова не сыграть дурака, – быстро подумал он и привалился плечом к каменному столбу. – Не упасть бы тут при старике. А то просто позор будет. Просто позор...»

Но старик уже не глядел на Егорова. Он, как бревешко, поднял аптекаря и понес к той высокой нише, где лед.

Как благодарен был Егоров старику за то, что он не попросил помогать ему!

Однако, дотащив аптекаря до ниши, старик закричал:

– Ваше здоровье, молодой человек! А ну-ка, давайте вдвоем закинем его!

Егоров никогда не смог бы вспомнить, как это произошло. Но он все-таки собрал в себе силы, заставил себя взять аптекаря за каменно-холодные ноги, и, чуть качнув, они уложили его на лед.

– Большое спасибо, – сказал Егоров старику.

Бодро, твердо сказал. И пошел из подвала.

– И вам спасибо, – ответил старик. – Это наше дело – призывать усопших. А как же! Каждого надо устроить куда надлежит...

Егоров вышел из подвала, и силы, казалось, оставили его. Коленки дрожали. Но все-таки он прошел весь двор. И только у забора остановился.

Не мог дальше идти, навалился на забор. Тошнит, и в глазах темно. И отчего-то хочется плакать. И страшно: вдруг кто-нибудь увидит его тут... Что это, молодой человек, покойников, что ли, испугались? А сколько вам лет? Зимой будет восемнадцать. А где вы работаете?

– Ну ладно, – сказал Егоров самому себе, – пойдем потихоньку...

Когда он проходил по набережной, коленки уже не дрожали. Но все еще подташнивало. Он постоял недолго на мосту, облокотившись на перила, будто смотрит в воду. Потом пошел дальше.

На Главной улице уже вовсю горело электричество. И особенно много было света, как всегда, у кинотеатра

«Красный Перекоп».

Здесь стояли, освещая рекламу, старинные шестиугольные фонари. Они остались еще от той поры, когда кино называлось иллюзионом и содержал его забредший в Сибирь итальянец.

Шла старая картина «И сердцем, как куклой, играя, он сердце, как куклу, разбил». И готовилась новая, которую будут показывать завтра, – «Солнце любви».

Егоров остановился посмотреть в широком окне фотографии из новой картины.

Остановился не потому, что уж так хотелось все это посмотреть, а потому, что ему опять вдруг стало нехорошо. Ах, какой ты нежный, Егоров!

Он сам сердился на себя.

Вдруг его кто-то потрогал за рукав. Оглянулся. Перед ним стоял высокий румяный молодой человек в хорошем драповом пальто, в серой кепке. Узконосые штиблеты, фасон «шимми» или «джимми», ярко начищены, несмотря на слякоть.

– Егоров, ты не узнаешь меня?

– Отчего же не узнаю? Маничев Ваня. Но вид, правда, богатый. Где работаешь?

– У частного. Сейчас только у частного и можно зарабатывать. На консервной фабрике Гусева. А ты, мне сказали, куда-то уехал...

– Я уже приехал. В Дударях работал, на маслобойном заводе...

– А сейчас где?

– А сейчас, – Егоров затруднялся, – сейчас приглядываюсь только...

Сказать, что он работает в уголовном розыске, Егоров не решился. Да он еще и не работает. По-прежнему не известно еще, будет ли работать.

Поговорили они недолго о том о сем – в общем ни о чем, как говорят давно не видевшиеся люди, знавшие друг друга еще школьниками. Но Маничев все время разглядывал Егорова тяжелым взглядом взрослого человека, которому понятно многое. Потом сказал:

– Удивительно... Я помню, ты стихи писал. Ты мне показывал. Наша географичка Нина Степановна говорила, что у тебя... вроде того, что... природные способности. Я думал, ты далеко пойдешь...

– Не пошел, вот видишь, не пошел, – улыбнулся Егоров. Невесело улыбнулся, потому что ведь в самом деле горько, что он не пошел далеко. Некоторые пошли, а он не пошел. Даже на башмаки себе не может заработать. Хлюпает грязь в башмаках.

И все-таки очень приятно, что он встретил Ваньку Маничева.

Конечно, было бы еще приятнее, если бы он встретил его, когда и у самого были бы получше дела. Но все равно радостно вспомнить детство, школу, школьный сад, где они забирались с Ванькой в укромный уголок у, каменной сырой стены соседнего со школой дома и Егоров тайно, таинственным голосом читал свои стихи. Ох как волновался он тогда в предчувствии каких-то необыкновенных перемен в своей жизни, с каким торжеством и трепетом произносил, читая стихи, это красивое слово – «будущее»!

И вот будущее наступило. Он идет еле живой из мертвецкой. И стыдится сказать об этом даже Ваньке Маничеву.

Нечем гордиться Егорову. Недалеко он пошел...

– Ты что, – еще измерил его взглядом Маничев, – болеешь или болел?

– Нет, я здоровый.

– Живешь, что ли, худо? Вид плохой у тебя. Ровно после тифа.

– Нет, ничего. Живу неплохо.

– Приходи к нам на фабрику, – пригласил Маничев. – Могу устроить как старого друга...

– Спасибо, – сказал Егоров и подумал: «Кто знает, может, еще придется прийти». Но не стал спрашивать, куда приходить. Спросил только: – Наших старых ребят не встречаешь?

– Встречаю. Аню Иващенко помнишь?

– Аню Иващенко? – зачем-то переспросил Егоров. И почувствовал, как перехватило горло. – Где она?

– Вон она, – показал Маничев в стеклянные двери кинотеатра.

И Егоров увидел Аню.

Она стояла в светлом вестибюле, в легком жакете, отороченном мерлушкой, и в мерлушковой шапочке – покупала яблоки. Какая-то чужая, не такая, как раньше, но еще более красивая.

Егоров не хотел, чтобы Аня увидела его в таком виде. И в то же время он рад был бы услышать ее голос, потрогать ее руки. Нет, не потрогать, а только посмотреть на них, увидеть, как она улыбается, поднимая изломанные брови, а на щеках возникает нежный-нежный румянец, от которого становится всем светло.

Он мечтал когда-то не о женитьбе, нет, но каком-то

удивительном приключении, вдруг сталкивающим его с Аней. И ему нравилась старинная песня:

*Обобью свои сани коврами,
В гривы алые ленты вплету.
Прогремлю, прозвеню бубенцами
И тебя подхвачу на лету.*

Нет, он только с виду такой тихий, Егоров. А это именно он собирался прогреметь-прозвенеть бубенцами. И именно Аню Иващенко он собирался подхватить на лету.

Вскоре Аня вышла из вестибюля на улицу, поискала глазами Маничева, нашла, улыбнулась и, вынув из кулька, протянула ему большое красное яблоко.

Егорова она не узнала.

– Аня, это Егоров, – сказал Маничев и протянул Егорову яблоко.

– Не хочу, – замотал головой Егоров.

– Все ужасно изменились, – посмотрела на Егорова Аня. – А ты, Егоров, как прежде, дикий. Кушай яблоко. У меня еще есть...

Она не поздоровалась с ним, не удивилась, что встретила его, спросила только:

– Ты тоже на этот сеанс – в семь тридцать?

– Нет, – опять мотнул головой Егоров. – Я просто мимо шел. Просто мимо...

Потом он спросил, где ее брат и что она сама делает. Брат ее вьется вокруг театра. Она так и сказала: «вьется». Не артист, но что-то вроде администратора или помощника. Уехал в Барнаул. А она на курсах иностранных языков. Уже второй год учится.

– Это сейчас мировое дело – иностранные языки, – надкусил яблоко Маничев. – На любую концессию можно устроиться переводчицей. Они платят валютой. Говорят, им уже отдают в концессию даже пароходство. Не справляются с делами большевики...

Маничев точно хлестнул Егорова по лицу этими словами. Но Егоров ничего не ответил. Да, наверно, и не сумел бы ответить.

В вестибюле загремел колокольчик. Это приглашали в кинотеатр тех, кто взял билеты на семь тридцать.

Маничев потрогал Егорова за рукав.

– Ну, будь здоров.

– Буду, – пообещал Егоров. И, кивнув Ане, пошел дальше.

А Аня взяла Маничева под руку и даже не оглянулась на Егорова. Да и почему она должна была оглядываться?

Из всех витрин – из магазинов, аптек и парикмахерских – лился на улицу яркий свет.

И над самой улицей, над серединой ее, качались электрические лампочки. А под лампочками мерцали лужи.

На каждом углу сидели подле маленьких черных ящиков мальчишки чистильщики обуви.

Мало кто хотел сейчас чистить обувь, в такую слякоть. Но каждого прохожего пытались остановить своим криком мальчишки: «Почистим, гражданин? Почистим до блеску, до самого треску!»

И только Егоров не интересовал мальчишек. Не такие у него башмаки, чтобы их еще чистить за деньги. Да и денег нет у Егорова. И не скоро будут.

Не скоро он купит себе такие штиблеты с узким носком,

фасон «шимми» или «джимми», как у Ваньки Маничева. А может, не купит никогда. И все равно надо было что-то ответить Ваньке Маничеву, когда он сказал о большевиках.

Надо было ответить так, чтобы Аня вдруг покраснела. Не барин, мол, ты, Ванька, а холуй, хотя и корчишь из себя барина. И папа твой, лихач-извозчик, тоже холуй. И вечно вы будете холуями. «Сейчас у частника только и можно заработать». Ну и зарабатывайте! Ну и целуйте частника во все места! А Аня пусть целует этих самых... концессионеров. И Ваньку Маничева, если ей нравится этот боров. «Не справляются с делами большевики». Еще посмотрим, кто с кем справится! Послать бы тебя, Ванька, сейчас в мертвецкую искать аптекаря, ты бы свободно набрал там полные штаны...

Егоров так взбодрился, что от недавнего его нездоровья не осталось и следа. Лоб вспотел. Клеенчатая подкладка фуражки прилипла ко лбу. Он потрогал козырек, сдвинул старенькую фуражку на затылок, и исхудавшее, бледное лицо его неожиданно приобрело залихватское выражение.

Вот таким он и вошел к Журю.

Жур, однако, не только не похвалил его, но и не взглянул на него, озабоченно роясь в каких-то бумагах на столе.

Весь стол был завален бумагами.

– Ах как жалко! – наконец вздохнул Жур. – Я про Шитикова и забыл. Просто выпал у меня из головы этот Елизар Шитиков.

– Я Елизара Шитикова знаю, – сказал Егоров. – Он у нас во дворе жил. Потом он переехал. Он теперь на Извозничьей горе живет...

– Нигде он не живет, – опять стал рыться в бумагах Жур. – Его сегодня убили.

– Убили?

– Ну да. Надо было его тоже велеть заморозить. Он нам будет нужен. Это все одно дело. Ну и навязался на нашу голову этот аптекарь Коломеец Яков Вениаминович! Без него мало работы. А теперь бросить нельзя. Надо заморозить Шитикова...

Егоров молчал. А Жур все рылся в своих бумагах. И чего он такое потерял?

– Надо было мне сразу тебя попросить, когда ты пошел, чтобы заморозили и Шитикова, – опять сказал Жур.

Егоров неожиданно для себя предложил:

– Я еще раз могу сходить...

– Сходишь? – как будто обрадовался Жур.

– Схожу.

– Сходи, пожалуйста, Егоров. Не посчитай за труд... А ты обедал?

– Успею...

– А деньги на обед у тебя есть?

– Ну откуда? – даже удивился Егоров. И успокоил Жура: – Я дома потом пообедаю.

– Дома ты завтра будешь обедать, – посуровел Жур. – Ты сейчас сходи еще раз в больницу насчет Шитикова, а потом пойдешь в «Калькутту» и там поешь. На вот, – он достал деньги. – Бери, бери, не ломайся! Я этого не люблю. В получку отдашь...

– Ну уж, в «Калькутту»! – улыбнулся Егоров, уверенный, что Жур шутит. – Там меня только и ждут, в «Калькутте».

– Все уже закрыто, все столовые закрыты, – посмотрел на часы Жур. – А в «Калькутте» только начинают гулять. Зайди поешь. Послушаешь музыку. Но вина смотри не пей. Ни капли. Ты на работе.

– Да я и никогда не пью, – покраснел Егоров.

– Ровно в двенадцать ты мне будешь нужен, – постучал Жур пальцем по вещественному доказательству – по циферблату настольных часов в форме башни, подаренных когда-то кому-то в день чьей-то серебряной свадьбы, о чем гласит серебряная же, еще не оторванная пластинка. И вдруг сказал: – Хотя погоди, я вот что сделаю. Шитикова поднимал Водянков, пусть он его и замораживает. Я ему сейчас позвоню. А ты иди в «Калькутту». Обязательно хорошо поешь. Солянку возьми. Ночью, однако, мороз будет. Я чувствую, у меня рука ноет...

Егоров в «Калькутту» все-таки не пошел. Хотя было любопытно – никогда не был. Но не решился пойти. И домой пойти тоже не решился. Ведь все равно сегодня же придется опять уходить, а Катя обязательно пристанет с вопросами, куда да зачем.

Но до двенадцати часов еще было далеко. А тут толкаться в коридорах не хотелось.

Егоров вышел на улицу, постоял у подъезда. Улица на его глазах чуть побелела – повалил снег.

Напротив, на другой стороне улицы, светился вход в клуб имени Марата. На дверях висела афиша:

«Сегодня лекция. Начало ровно в 8 часов. Вход свободный для всех».

Егоров перешел на ту сторону.

До начала лекции оставалось восемь минут, но народ

собирался медленно. На кино или на постановку все идут, а на лекцию, даже когда вход свободный для всех, народу немного.

Егоров на деньги Жура взял в клубном буфете винегрет, селедку и полфунта хлеба. Все съел, показалось мало. Подумал, не взять ли еще бутерброд с сыром и чаю с сахаром. Что он, не отдаст эти деньги Журу? Конечно, отдаст. Жур сам сказал: «Отдашь в получку». Значит, будет получка.

Эта надежда развеселила Егорова. Он взял еще не только бутерброд с чаем, но и два печеньица из пачки «Яхта» – точно такие, какие ест во время своего дежурства по городу старший уполномоченный Бармашев. Не для одного же Бармашева делают это великолепное печенье!

Все получилось очень хорошо. Егоров допил чай и доел печенье как раз в тот момент, когда из зала вышел заведующий клубом и сказал:

– Ну, товарищи, мы начинаем лекцию. Больше ждать нельзя. После лекции будет кино...

Лекция называлась «Будущее Сибири».

И вот есть дураки, которые не ходят на такие лекции!

Егорову было все безумно интересно.

Седенький старичок, какой-то ученый, что ли, подробно рассказывал, как все будет.

– Через какое-то время – ученый, правда, не сказал, через какое, – Сибирь никто не узнает.

Ленин указывает, что электрификация должна изменить всю страну. И как раз в Сибири есть все возможности для электрификации. В Сибири появятся во множестве такие грандиозные заводы, каких еще не видывал мир. Они будут выпускать все – от сложнейших машин до одеколо-

на. И нам не нужны будут никакие концессионеры. В кабалу к мировой буржуазии мы не пойдем. Мы будем делать все сами. Мы построим новые, чудесные города. И наши люди забудут даже такие слова, как «разруха» и «безработица».

Егоров, конечно, не сомневался, что все именно так и будет. Но он хотел бы, чтобы это все поскорее делалось.

Иначе, если дело такое затянуть, многие могут не выдержать. Многим очень трудно.

И этот старичок лектор, пожалуй, умрет, пока ликвидируют безработицу. Надо скорее строить и открывать заводы, чтобы всем была работа. А то ведь как нехорошо у нас пока получается: говорят, на работу надо принимать только членов профсоюза, а чтобы пройти в члены профсоюза, надо сперва поступить на работу. А как поступить?

Из-за этого и сестра Егорова Катя вот уж второй год не может никуда устроиться. Много ли она заработает стиркой при трех детях? И при ней же, вроде как на ее иждивении, находится пока брат...

Егоров сидит, внимательно слушает лектора и ребром то одной, то другой ладони, то обеими вместе постукивает о край стула.

Хорошо, что он попал на такую лекцию. Но как бы ему не опоздать на работу. Надо ровно к двенадцати. Он наклоняется к соседу и спрашивает шепотом, сколько времени.

— Десятый час. Двадцать минут десятого.

Значит, можно еще посмотреть и кино.

Неплохо идет время. Неплохо. А будущее еще не наступило. И лектор об этом говорил.

Егоров ошибся сегодня, когда скорбно подумал там, у кинотеатра, что будущее уже наступило.

Нет, будущее наступит еще. Замечательное будущее. Но в том будущем, которое наступит, уже не будет прежней Ани Иващенко. И не будет прежнего, влюбленного в нее Егорова. Он что-то приобрел сегодня и что-то потерял. Но так и идет жизнь...

11

Ровно в двенадцать ночи Егоров вошел в полутемный коридор уголовного розыска.

После яркого света в клубе имени Марата тут ему показалось уж совсем темно. Как в освещенном восковыми свечами подземелье Староберезовского монастыря, куда бабушка еще маленьким привозила его на пароме, чтобы поклониться мощам святого Софрония. И стены тут такие же толстые, глухие, как там, в подземелье. Пол бетонный.

Многие сотрудники давно ушли домой. Остались только те, кто дежурит и кому предстоит участвовать в операции нынешней ночью.

Из дальней двери, должно быть, из кабинета начальника, вышел Жур, увидел Егорова.

– А Сережа где?

Это он уже так называет Зайцева.

– Я могу его поискать, – предлагает Егоров.

– Не надо, – встряхивает черными волосами Жур. Днем видать, что они с проседью, с чуть заметной проседью. А сейчас, в этом полутемном коридоре, ничего не заметно. – Зайцев сам найдется. Он паренек точный.

Значит, Жур у уже известно, что Зайцев паренек точ-

ный. А какой паренек Егоров? Об этом еще ничего не известно.

– Иди, Егоров, посиди там у меня, – говорит Жур, проходя дальше по коридору. – Скоро поедем. У нас сегодня серьезные дела. Очень серьезные...

Жура подстрелили прошлый раз на Извозчикьей горе, когда он производил обыск – искал оружие. Были проверенные сведения, что с Дальнего Востока опять поступила партия японских карабинов.

Две крупные партии оружия Жур отыскал еще весной. Был уверен, что отыщет и третью, о которой все время поступают сведения. Но не вышло. Бандиты оказали сопротивление.

Правая рука висит на перевязи. И ноет, надоедливо ноет. Видимо, кость серьезно повреждена.

Однако Жур не может сейчас лежать и нянчить руку. Он хочет поскорее отыскать эту третью партию оружия. Вот отыщет, тогда будет видно, что делать с рукой.

– Поехали, – говорит он в половине первого ночи и быстро шагает по коридору.

Зайцев уже нашелся и идет за ним. И Егоров идет.

Во дворе они усаживаются в старенький автобус фирмы «Фиат», который в уголовном розыске для простоты, что ли, называют «Фадеем».

В кузове, со всех сторон затянутом дырявым брезентом, уже сидят какие-то люди, но рассмотреть их невозможно, потому что в кузове темно.

И во дворе темно и на улице. Город давно спит.

А они куда-то едут...

Не весь город, однако, спит. В «Калькутте», когда они

проезжают мимо, играет музыка. И будет играть всю ночь. И всю ночь из широких окон ресторана будут литься на улицу трепетные полосы синего света. И всю ночь будет греметь бубен. И гортанные голоса цыган будут разрывать пьяный гул.

Хорошо там, наверно, в «Калькутте», тепло. А в автобусе холодно. В дыры и в щели врывается ветер – уже зимний, пронзительный.

Егоров сидит в автобусе у самого края, на узкой скамейке, держится за железную скобу и чувствует, как коленеет рука от холодного металла. Но не держаться нельзя, а то, чего доброго, вывалишься из автобуса. Вот тогда будет хохоту в дежурке.

– Ты где там, Егоров? – спрашивает Жур. – Живой?

– Живой, – говорит Егоров. Но голос у него сейчас отчего-то сиплый, жалобный.

В автобусе смеются. Так теперь, наверно, всегда будут смеяться над ним. Что бы он ни делал, что бы ни говорил. Ну и пусть!

По хохоту Егоров узнает Воробейчика. Значит, и Воробейчик едет с ними. А рука уж совсем заоченела. Что же будет дальше?

Автобус дребезжит, как консервная банка на веревочке.

И вдруг останавливается. Какое счастье, что можно погреть руку! Хоть минутку погреть. Ведь рука будет нужна для дела. Может, этой рукой сейчас придется взять наган. Может, придется стрелять. Кто знает, что придется делать!

Нагану тепло, он угрелся на животе Егорова. А Егорову холодно. Правильно предсказал Жур, что ночью будет мороз.

Трое, пошептавшись, выпрыгивают из автобуса и уходят в кромешную тьму.

Вот теперь совсем хорошо. Егоров усаживается поудобнее. Можно больше не держаться за скобу. Руки он прячет за пазуху, под самое сердце. А сердце отчего-то сильно бьется. Может, Егоров трусит? Может, он правда боится? А чего бояться-то? Сколько народу в автобусе! И никто ничего не боится. Зачем же он один будет бояться!

Воробейчик опять смеется. Но Егоров понимает, что Воробейчик теперь смеется не над ним.

Теперь Егоров хорошо различает все голоса в автобусе, слышит все слова.

— Значит, ты немножко сердишься на меня, Ульян Григорьевич? — спрашивает Воробейчик Жура.

— При чем тут ты? — говорит Жур. — Я сам это дело выбрал. Но вообще-то получилась серьезная петрушка. Выбрал, называется, мелкое дело для практики стажерам. А теперь этот аптекарь всю душу из меня вымотает. И как раз он в эту пору мне сильно нужен при моих делах. Просто без него мне бы делать было нечего...

— Давай, Ульян Григорьевич, я аптекаря возьму себе, — предлагает Водянков. — И стажеров твоих возьму.

— Нет, уж пусть они при мне остаются, — весело отвечает Жур. — Больно хорошие ребята. И аптекаря мы между делом сами доработаем, доведем до ума.

Жур, в сущности, такой же, как все, уполномоченный, старший уполномоченный. Но по тому, как с ним все остальные разговаривают в автобусе, можно понять, что Жур имеет над ними еще какую-то власть, что ли.

Водянков вдруг просит его:

– Ты поговори, Ульян Григорьевич, с Курычевым насчет Баландина. Это все-таки политическое дело. А он не дает мне людей. Я хочу, чтобы работала группа. Это всегда лучше, когда сразу начинает работать группа...

– Я поговорю, – обещает Жур. – Но толк-то какой? Тут не все от Курычева зависит...

Егоров прислушивается к разговорам и догадывается, что Жур какой-то особый человек. Не начальник, но все-таки особый. Ах, ну чего же тут гадать! Жур просто секретарь партийной ячейки.

Егорову с Зайцевым, наверно, сильно посчастливилось, что они попали именно к Журю.

А может, и не посчастливилось. Кто знает, что еще будет...

Автобус опять остановился. И опять двое выпрыгнули из автобуса. И еще выпрыгнул один, когда автобус переехал Архиерейский мост.

Вот этот, наверно, самый смелый, который выпрыгнул сейчас. Здесь же, где-то рядом, кладбище, а за кладбищем – это давно известно – живут самые отчаянные жиганы. Это даже отец Егорова всегда говорил, что за кладбищем ютится самое отъявленное жиганье.

Отец рассказывал, что ему пришлось тут однажды, еще в молодости, девушку провожать, так он, говорил, чуть ума не лишился. На обратном пути на него четверо жиганов в мертвецких саванах напали. Еле убежал. А отец был человек не трусоватый, на войне был, и на германской и на этой, на гражданской.

– Егоров, где ты? Иди сюда, – позвал Жур.

Жур сидит недалеко от шофера. И Зайцев тут же.

– Чего ты там уединился? – говорит Жур. – Садись с нами. В компании-то веселее.

Егоров садится рядом с Журом, но особенного веселья не испытывает.

Автобус теперь продвигается медленно.

На ходу из автобуса выпрыгнули еще двое. И еще один.

Этот один был Воробейчик. Егоров узнал его в темноте.

В автобусе остались только Жур, Зайцев и Егоров. Егоров думал, что Жур будет что-то объяснять, расскажет, как надо вести себя в случае чего. Но Жур молча курил. И когда сигарка из газетной бумаги вспыхивала при затяжке, было видно лицо Жура, как показалось Егорову, печальное.

Наконец автобус остановился.

– Пошли, – сказал Жур и первый выпрыгнул на прихваченную морозом звонкую землю. За ним выпрыгнул Зайцев, потом, чуть помедлив, Егоров.

На улице стало как будто светлее, даже намного светлее.

Это из развалин тучи вышла луна.

Нет, кладбище они еще не проехали. Вот оно – белые столбы забора, чугунная ограда и церковь. Это они заехали с другой стороны кладбища. Оно большое, Егоров не думал, что оно такое большое.

Снег смешался с грязью и так застыл. Ноги в башмаках скользят. Надо было бы надеть валенки. У Егорова есть валенки. Хорошо, что он не продал их тогда, летом, в Дударях. А Жур правильно еще с вечера говорил, что к ночи будет мороз, хотя вечером было слякотно, шел снег.

Жур идет подле кладбищенского забора, поднимается в горку. У него тоже скользят ноги, но он идет уверенно.

– Ну, ребята, – говорит он, – тут глядите в оба!

Зайцев как-то странно горбится и озирается.

Жур вдруг смеется.

– Ты что думаешь, ты похож на Пинкертона? Ты сейчас на собаку-ищейку похож. А человек должен всегда походить только на человека...

Легко сказать – походить на человека. А на человека походить, может, труднее всего.

По скользким комкам мерзлой грязи они переходят улицу. Идут по переулку, мимо длинных сараев, мимо ветхих домиков, вдоль заборов, сплетенных из обрезков кровельного железа, березовых прутьев и еловых жердей. Здесь официально обитают ломовые и грузовые извозчики, печники, скорняки, сапожники, скобяных дел мастера, и мало ли еще кто здесь обитает неофициально.

Кладбище теперь позади, но его хорошо видно с горки – кресты, склепы. Выше всех склеп купцов Трубицыных.

Жур стоит на горке, подносит к глазам левую руку, смотрит на часы. Потом долго и молча оглядывает кладбище.

И стажеры молчат. Так, наверно, и надо вести себя перед важной операцией.

Жур, может быть, еще раз обдумывает, как ее лучше проводить. Но Жур вдруг говорит:

– Ох, как я покойников сильно боялся! Долго боялся. Бабушка у меня была такая болтливая! Все мне, маленькому, про покойников разные страсти рассказывала. Вот я и боялся. Даже ночью другой раз не мог уснуть. Все мне что-то такое мерещилось...

– А потом? – спрашивает Зайцев.

– А потом, уж не знаю, как-то притерпелся, – пожимает могучими плечами Жур. И улыбается. – Все еще может быть. Может, и сейчас еще испугаюсь...

Зайцев тоже улыбается.

– Ну уж, сейчас?

– А что вы думаете? – серьезно говорит Жур. – Может найти всякое затмение...

А Егоров молчит. И в этот момент огромный, сильный Жур становится ему как бы ближайшим родственником. Вот с кем Егоров хотел бы когда-нибудь поговорить по душам!

– Укрепляйте, ребята, нервную систему, – вдруг советует Жур. – Вас еще и на войну пригласят. И не один раз. Много еще будет всякого. Молодой человек, я считаю, должен укреплять свою нервную систему...

А как ее укреплять, не сказал. Пошел дальше.

И стажеры пошли за ним.

12

Останавливаются они у двухэтажного, избитого дождями, и ветрами, и самим временем дома. Внизу лавка, наверху жилье.

Жур поднимается по шаткой лестнице, по узким облесенным ступенькам и опять оглядывает местность.

Тихо здесь, мертвенно-тихо, словно и сюда распространилась территория кладбища. Впрочем, кладбище видно и отсюда. Только теперь его видно уже смутно.

Вслед за Журом по лестнице поднимается, держась за поручни, Зайцев. И уж потом, когда Жур стучит в дверь, на лестницу вступает Егоров.

Дверь открывается, обдавая посетителей душным теплом.

– Высоко живете, – говорит Жур женщине, стоящей на пороге в одной рубашке и в цыганской шали, накинутой на голые плечи.

– Выше-то лучше. К богу ближе, – насмешливо откликается женщина, нисколько, видимо, не удивляясь столь поздним посетителям.

– Вам-то хорошо. Гостям худо. Хоть бы вы обкололи ступеньки ото льда, показывает на лестницу Жур и продолжает оглядывать местность. Подниматься трудно...

– Зато спускаться легко, – уже смеется женщина, и на смуглом лице вспыхивают белые зубы. – Если отсюда кого пихнешь, он вниз пойдет без задержки. Не затруднится...

– И часто спихиваете?

– Бывает... Ой, да вы меня простудите! Я с постели...

Они входят, как в предбанник, в крошечный коридор. Жур включает карманный фонарик.

– Жарко топите.

– Нельзя не топить – жилыцы, – вздыхает освещенный фонариком старик, похожий на святого угодника Николая Мирликийского, спасителя на водах. – Дунька, лампу...

– Ожерельев? – вглядывается в старика Жур. – Тебя что-то давно не видать было...

– А вы будто не знаете, где я был. По вашей милости все было сделано. Но вот отпустили. Не находят за мной особой вины. Не находят. Сколько ни искали...

– Ох, так это вы, гражданин начальничек, а я думала – Яшка, – смотрит при лампе на Жура молодая женщина, почти девочка, которую старик называл Дунькой. – А говорили, что вас вроде того что убили. Значит, вранье...

– Значит, вранье, – подтверждает Жур. – А ты, значит, по-прежнему здесь живешь?

– А где же? Раньше у дедушки Ожерельева жили и теперь живем. И так, наверно, будет до скончания века. Не выбраться, видно, нам отсюда...

Дедушка Ожерельев сел к столу, постучал ногтем по табакерке, открыл, взял щепотку, набил обе ноздри, помотал головой.

– Не могу. Нюхать нюхаю, а чихнуть не могу. Слабость. И сна нету. Пропал сон. И все по вашей милости. Вся наша жизнь одно беспокойствие...

Жалкий этот дедушка, чуть живой, а его еще по тюрьмам таскают, как он сам сказал. За что? И все тут какие-то жалкие.

Егоров смотрит на худенькую Дуньку, которая удивительно похожа на его сестру Катю. Бывает же такое сходство. Рост одинаковый, волосы, глаза. И щурится так же от лампы. И родинка над верхней губой. С той же стороны родинка, с правой.

Дунька говорит Журу:

– Никакого изменения в нашей жизни, гражданин начальничек, уж, видно, не предвидится...

– А какого же ты изменения ждешь? – спрашивает Жур.
– Сама и виновата. Надо устраиваться. Я тебе давал адрес...

– Адрес – это одно, а дело – это другое, – будто сердится Дунька. – Вы думаете, это легко – солдатские шинели шить? Я себе все руки исколола...

Егоров почти разочарован. Он был уверен, что именно сейчас, в этом доме, начнется какое-то опасное действие. Он немножко боялся этого действия, но все-таки ждал его.

Может, их начнут обстреливать, думал он. А ничего не случилось. Такие же, как везде, разговоры. И жалобы такие же: на плохую жизнь.

Жур уселся почему-то у самой двери, где стоит ржавый умывальник. Может, Жур ждет чего-то.

– Значит, ты всех сюда перевез из старых своих домов? – спрашивает он старика. – И из женского монастыря тут, я смотрю, девушки?

– Да куда же я всех перевезу? – кричит старик. – Я и никого-то не перевозил. Они сами. Они работают от себя. Мне только за квартиру...

– Это верно, – соглашается Жур. – Разве всех перевезешь! У тебя ведь, кажется, три таких дома было...

– Вы мне все прочитываете, – обижается старик. – Был один дом, правда – мой, а второй – женин, жены моей, покойницы. А теперь вот самого загнали в эту халупу и еще здесь по ночам беспокоят...

«Действительно, – думает Егоров, – для чего мы сюда пришли? Людей разбудили, сидим. А людям, наверно, завтра на работу».

– А сынок твой где? – спрашивает старика Жур.

– А откуда же я знаю? – разводит руками старик. – Вы бы не пришли, я и про вас бы не знал, где вы есть и в своем ли здоровье...

– Значит, не знаешь, где сынок?

– Не знаю. Я ж говорю, только на днях вернулся. А Пашка, говорят, совсем уехал. В Читу, говорят...

– Значит, ты еще не приступал к делам?

– А какие ж у меня дела? Мелкая торговля, и то лавка стоит запечатанная. Наложили зачем-то арест. А ведь что

писали в газетах? В газетах писали: частный капитал должен торговать. То есть у кого есть деньжонки, пускай торгует...

— Но никто не говорил, что надо торговать обязательно краденым.

— А я не спрашиваю, из каких мест доставляют товар. Откуда мне знать, краденый он или дареный.

На эти слова старика Жур не отвечает. Должно быть, не находит что ответить. Молчит.

Где-то далеко глухо хлопают выстрелы. За перегородками, за черным занавесом тихо и тревожно переговариваются разбуженные люди. Кто-то поспешно одевается, стучит башмаками.

Все это слышат Егоров и Зайцев. И Жур, конечно, тоже слышит. Но он, должно быть, не придает этому никакого значения. Он по-прежнему сидит на табуретке подле умывальника, курит. Вдруг он спрашивает старика:

— Ну, а сейчас-то чем еще думаете торговать, кроме оружия?

— Какого оружия? — возмущается старик. — Собираете вы бабью сплетню какую-то. Делать вам нечего. И раньше были сыщики. Но такого не было, чтобы по ночам будить...

— Раньше, это правда, такого не было, — соглашается Жур. — Раньше ты бы сунул сыщику от щедрот своих красненькую, допустим, и воруй и спи спокойно...

Егорову хочется разглядеть лицо старика, но старик отворачивается от света лампы. Однако понятно, что он усмехается, сердито усмехается.

— Раньше, гражданин начальник, ты, пожалуй, и сам бы посовестился меня будить. Без всякой красненькой. Рань-

ше, пожалуй, тебя бы не назначили на такую должность. Ты ведь, я знаю, молотобойцем у Приведенцева работал. Я и твоего папашу-хохла знал. Он бондарничал у Вороткова в мастерской. Вот это была ваша настоящая должность. А теперь, выходит, вы хозяева...

– Выходит, что мы, – опять соглашается Жур.

Старик наконец чихает и смеется, вытирая полый рубахи нос.

– Выходит, что правда. Ведь как вся жизнь, целиком вся, перевернулась... А может, она опять обратно перевернется? А что, если она перевернется обратно? А?

– Ты, наверно, на это и надеешься, – говорит Жур. И включает карманный фонарик, зажимает его в коленях, смотрит на ручные часы. – И Бурсыхин на это надеется. И еще кое-кто. Иначе бы ты на старости лет не рисковал, не берег для них оружие...

– Тю, канитель какая! – еще больше сердится старик и плюет. – Опять он про оружие!.. Да ты его сначала найди. Найдешь – тогда разговаривай и хвались...

– Найдем, – обещает Жур. – А как же не найти! Нас на это дело специально поставили. Из молотобойцев, как ты говоришь, в сыщики перевели. Кому-то и этим делом надо заниматься...

На кирпичной плитке близко от лампы стоит незакрытая кастрюля с пшенной кашей.

Егоров смотрит на кашу. Она необыкновенно белая.

«Наверно, на молоке, – думает Егоров. И еще думает: – Уж поскорее бы все это кончалось!»

А Жур продолжает разговаривать со стариком.

И Зайцев заметно томится. Когда где-то далеко хло-

пают выстрелы, он, как охотничья собака, делает стойку, козырьком прикладывает ладонь ко лбу, смотрит в окно. Ходит от окна к окну, заглядывает за перегородки.

В дверь негромко стучат.

Опять та женщина в цыганской шали на голых плечах выходит из-за перегородки открыть дверь, как будто не могут открыть старик или Жур, сидящие у двери.

Входит раскрасневшийся вспотевший Водянков. Он здоровается, хозяйственно сморкается, щурит от света глаза.

– Беседываете?

– Да вот разговорились, – улыбается Жур, кивая на старика. – Давно не виделись. То он в тюрьме сидит, то я лежу в больнице...

– А у нас получилось все как надо, – рассказывает Водянков. Бурсыягина только что отвезли, со всей компанией...

– Бурсыягина? – спрашивает старик.

– Его, дедушка, его, собственной персоной, – разглаживает пальцами пышные усы Водянков. – Правда, оказал сопротивление, а как же... Но, слава богу, отвезли. Отмучился, болезный. Отшумел...

«Где-то было что-то интересное, – огорченно думает Егоров. – А мы тут просидели». И смотрит в широкую щель, как за перегородкой перед зеркалом худощавый мужчина в пенсне дрожащими руками застегивает на затылке готовый галстук-бабочку.

– Ну куда же вы теперь пойдете? Еще ночь. Они ведь к дедушке, они нас не затрагивают, – успокаивает мужчину женщина в цыганской шали. – Да и вас разденут по дороге. Тут опасно. А у вас вон какое богатое пальто...

– Знал бы, не поехал, – никак не может застегнуть крючок на затылке мужчины. – Ведь как я не хотел сюда ехать! Это меня этот скотина Аркадий Алексеевич уговорил. Стоеросовая дубина. Уверял – приличное помещение...

– А чего особенного? – будто обижается женщина. – У нас и не такие люди завсегда бывали. И все спокойно...

Егорова отвлекают от этой картины выстрелы, вдруг захлопавшие, кажется, у самого дома. Егоров смотрит на дверь. А Зайцев бежит к двери.

– Зайцев, не торопись, не на пожар, – негромко говорит Жур, не подымаясь с места.

Жура, должно быть, не удивляют и эти выстрелы. А стреляют, похоже, прямо в дверь.

«Как в ловушке мы», – думает Егоров. Но странное дело – страха не испытывает.

Дверь открывается.

В коридорчик не входит, а вваливается парень в кожаной тужурке, с лицом, измазанным чем-то черным.

Это, наверно, шофер автобуса.

– В самое ухо, – вздыхает он.

И когда подходит к лампе, видно, что это не черным, а красным измазан он – кровью. Кровь льется ему за ворот.

– Ах, дурак! – наконец сердится Жур.

– Почему же я дурак? – обижается шофер.

– Да не ты... Зайцев, перевяжи его... Умеешь? Это вот дедушкин сынок дурак, – кивает на старика Жур. – Это его работа. Ни в какую Читку он не уехал. Он старается сейчас отогнать от дома. Надеется еще перепрятать с папашей оружие. Значит, сведения правильные...

– Это что, вы насчет стрельбы думаете? – спрашивает старик. – Это, вы думаете, мой сынок Пашка стреляет? Нет, это не Пашка. Благородное даю вам слово, не Пашка...

– Именно благородное слово, – усмехается Жур. – У тебя все слова благородные.

Зайцев не умеет делать перевязку. И Егоров не умеет. Но он помог шоферу снять тужурку.

Перевязку делает Водянков, зубами разорвав индивидуальный пакет.

А Жур отдергивает черный занавес.

– Здравствуйте, – говорит он мужчине в пенсне, уже застегивающему жилетку. – Прошу предъявить ваши документы.

– Я не обязан вам предъявлять, – с достоинством отвечает мужчина, и пенсне вздрагивает на его жилистом тонком носу. – Я, во-первых, случайно сюда... случайно попал. Меня ввели в заблуждение. Я ни за что бы сюда не поехал. А во-вторых...

– Егоров, обыщи его.

Жур брезгливо поморщился и прошел дальше, за перегородку.

А Егоров смутился больше этого случайного посетителя. Как это вдруг обыскивать такого почтенного гражданина? Но делать нечего.

– Ну-ка, гражданин, поднимите, пожалуйста, руки.

На Егорова пахло запахом духов, хорошего табака и самогонки.

Человек в пенсне оказался нэпманом, совладельцем фирмы «Петр Штейн и компания. Мануфактура и конфекцион».

Егоров вспомнил тот красивый магазин на Чистяревской, куда они заходили с Катей покупать сорочку. И не купили. Егоров больше не чувствовал почтения к этому человеку. Он сперва подумал, что это какой-нибудь профессор или доктор. А это нэпман, хозяйчик, частник...

– Держите, гражданин, ваши документы. А это у вас что?

– Это зажигалка в форме браунинга. Можете ее взять себе...

Егоров легонько нажал курок, пистолет фыркнул, зажегся огонек. Егоров удивился: правда, зажигалка.

– Возьмите ее, – опять предложил нэпман.

– На что она мне? – сказал Егоров и отдал зажигалку нэпману, хотя в самом деле занятная была зажигалка. Никогда такой не видел.

– Молодой человек, я надеюсь все-таки, что эта наша встреча останется между нами, – улыбнулся тонкими губами нэпман. – Я тем более семейный человек. Мне будет неприятно. – И все еще дрожащими руками раскрыл бумажник. – Вот, пожалуйста, вам. Никто не видит. Это за ваше молчание. По случаю нашего такого малоприятного знакомства. В таком месте...

– Ну что вы, ей-богу, одурели, что ли? – отвел его руку Егоров. – Для чего это?

Жур приказал отпустить нэпмана.

– А он мне деньги давал, чтобы я помалкивал, – засмеялся Егоров, когда нэпман ушел.

– И ты взял? – спросил Жур.

– Ну, для чего?

– Значит, ты взятки не берешь?

Тут только до Егорова дошло, что этот нэпман ведь правда предлагал ему взятку. Егоров покраснел. Он готов был сломать нэпману пенсне, переломать все кости. За кого этот нэпман принимает его, комсомольца Егорова? И как он сразу не догадался, что это ведь и есть взятка? Он думал, что взятки дают как-то по-другому...

Егоров выбежал на лестницу. Но по лестнице поднимались Воробейчик и еще какой-то парень в дорогой пыжиковой шапке и в борчатке с мерлушковым воротником, с таким же мерлушковым, как на шапочке и на воротнике у Ани Иващенко, которую Егоров встретил вечером, несколько часов назад. Но теперь ему казалось, что это было очень давно.

Воробейчик подталкивал парня, а парень оглядывался и огрызался.

За ними шли еще два человека, незнакомых Егорову.

— Вот он, гроза морей, — втолкнул в коридор парня Воробейчик.

— Прямо из Читы прибыл? — спросил парня Жур. — Папаша говорит, что ты в Читу отбыл...

— Я его с крыши ссадил, — кивал на хозяйского сына Воробейчик. — Он залез вон на ту крышу и постреливал вот из этой штуки, — Воробейчик достал из-за пазухи тяжелый пистолет «кольт». — А я его тихонько из-за трубы, как кошка мышь. И еще счастливый его бог. Я бы сделал из него покойника, если б он оказал сопротивление...

— Эх! — снял пыжиковую шапку хозяйский сын и шлепнул ею об пол. Потом стал расстегивать борчатку с оторванной полкой.

Полу он оторвал, когда Воробейчик сталкивал его с крыши.

Под борчаткой у него были синяя косоворотка, опоясанная шелковым шнурком с кистями, синие же брюки галифе и белые, измазанные в саже бурки, обшитые полосками коричневой кожи.

Егоров с интересом смотрел на него.

Это был первый крупный бандит, которого вот так близко увидел Егоров, настоящий бандит. Он только что прострелил ухо шоферу и мог убить шофера. Мог убить кого угодно. И, наверно, убивал.

Однако ничего особенного все-таки Егоров в нем не заметил. Хозяйский сын был похож на обыкновенных нэпманских сыновей, что торгуют в лавках на Борзовском базаре. И у него такие же, как у них, нахальные, насмешливые глаза. Он и сейчас не испуган, не растерян. Он только огорчен.

Вынув из кармана брюк расческу, он, глядя в зеркало, стал расчесывать мокрые волосы, кольцами слипшиеся на лбу.

— Для чего же ты учинил стрельбу? — спросил его отец, как спросил бы, наверно, всякий отец набедокурившего сына.

— Вы, папаша, не суйтесь, — ответил сын, собирая с расчески опавшие волосы. Потом подул на расческу и спрятал ее в карман.

— Ну ладно, купцы, показывайте ваш товар, — улыбнулся Жур. — Ломик, надеюсь, у вас найдется?

— Девок тут развел! — закричал на отца сын. — Они все сыскные. Для чего они были тут нужны?

— Ломик, — повторил Жур. И спросил: — Сами будете поднимать пол или нам придется?

– Я у вас на службе не служу, – огрызнулся сын. – И служить не буду...

– Это определенно, – подтвердил Жур. – Служить ты у нас не будешь, нет.

Зайцев уже где-то в коридоре добыл топор и долото.

– Это что тут, в углу? – показывает Жур. – Надо разобрать.

Зайцев разгребает какие-то тряпки, мочало – сперва ногой, потом руками. Егоров начинает ему помогать. Они вытаскивают из кучи тряпья ватное одеяло, тянут матрац, набитый мочалом.

И вдруг в самом углу испуганно заплакал ребенок. Голый, худенький, лет, наверно, трех, со всклокоченными волосами.

– Ну, ты сопляк! – сердито отодвигает его Зайцев. Он сердится сейчас на все, на всех. Он уверен, что таким сердитым и должен быть всегда работник такого учреждения.

Ребенок встает на тоненькие ножки, жмурится от света, но не уходит из угла.

– Мальчик, – удивляется Егоров.

– Уберите ребенка, – обращается к женщинам Жур. – Чей это ребенок?

На свет лампы выползает страшная, как баба-яга, старуха. Точно такую Егоров видел в криминалистическом кабинете на снимке. А эта только что спала на печке.

– Кто его знает, чей он? Верка его мать. Она уехала во Владивосток. Оставляла мне ему на харчи, но чего она там оставила...

– А как Веркина фамилия?

– Кто ее знает как! Верка и Верка. Княжна ей была кличка...

Егоров поднял ребенка с полу, и ребенок цепко ухватился за его шею.

– Глядите, признал отца, – засмеялась женщина в цыганской шали.

Егоров покраснел.

– Кешка, – сказала Дуня мальчику, – это твой отец нашелся. Поцелуй папочку.

Мальчик еще крепче обнял Егорова и действительно поцеловал.

– Ничей? – спросил Егоров старуху. – Совсем, совсем ничей? – и повернулся к Журу.

– Работай, – нахмурился Жур. – Тут не детский дом. Положи ребенка...

Егоров посадил мальчика на сундук около кирпичной плитки и прикрыл его плечики байковым одеялом.

Зайцев уже оторвал топором плинтус и стал вырубать первую от стены доску.

– Подожди-ка, не так, – взял долото Егоров. – Она так может расколоться...

– Ну и пусть, – продолжал орудовать топором Зайцев. – Жалко, что ли...

– Подожди, – опять сказал Егоров.

И подсунул долото в то место, где забиты гвозди. Надавил коленом на ручку долота. Доска скрипнула протяжно и подалась, сильно пахнув старой, слежавшейся пылью и плесенью, от которой трудно дышать. И в то же время чуть расколота смолистая доска вдруг запахла свежей лиственницей или сосной, будто под слоем тлена таилась жизнь, и вот она обнаружила себя.

Егоров ловко отрывал долотом одну доску за другой, точно не один год провел на такой работе. Он делал теперь это с явным удовольствием. Но вдруг над его головой закричал Воробейчик.

– Ящик!

Под полом оказалось три ящика – два длинных и один квадратный.

В длинных ящиках лежали короткие японские карабины, обмазанные по стволам вонючей желтой мазью и обернутые в вощеную бумагу. В квадратном ящике – обоймы с патронами.

– Мало, – вздохнул Жур. – Отдирайте еще. И смотрите, куда прячут оружие. Это ж внизу потолок может обвалиться...

Вот теперь Егоров взял топор, потому что надо было отодрать тяжелые плахи.

– Да руби ты, не возись, – посоветовал Зайцев и хотел отобрать топор.

– погоди, – отстранил его Егоров и снова, подсунув топор, как долото, в то место, где гвозди, навалился на черенок.

Плаха закрипела со стоном, и опять после запаха пыли и плесени появился живучий и сильный запах сосны.

Тут, у русской печи, были обнаружены пистолеты.

– Н-да, – поглядел на пистолеты Водянков, – Буросяхин со своей компанией натворил бы еще много бед при этих шпалерах. Опоздал он...

Дедушка Ожерельев ругался из-за чего-то с сыном Пашкой, глядя, как их оружие переносят в автобус.

Женщины за печкой тревожно перешептывались. А

худенький мальчик в байковом одеяле смирно сидел на сундуке. Увидев Егорова, проходящего мимо, он, как родного, вдруг ухватил его за штаны и показал на незакрытую кастрюлю с кашей, все еще стоявшую на кирпичной плитке.

— Хочу каши. Каши хочу.

Егоров не знал, как быть. Но разве можно взять чужую кашу? И он неожиданно для себя сказал мальчику:

— погоди, потом! Дома покушаем.

Егоров, конечно, нечаянно это сказал, но все-таки не совсем нечаянно.

Отрывая старые доски, разгребая руками старую, слежавшуюся пыль, он все время думал о мальчике. Вот они сейчас уйдут, уедут отсюда, из этой душной тесноты, а мальчик останется. Надо бы забрать мальчика. Не надо мальчику тут жить. Нехорошо это, нечестно оставлять тут мальчика. Мальчик же ни в чем не виноват. Виноваты вот этот подлый дедушка Ожерельев, его сын Пашка и еще какой-то Буросяхин. Виноват, наверно, и этот трусливый нэпман, хозяин красивого магазина «Петр Штейн и компания. Мануфактура и конфекцион».

В сердце Егорова закипала злоба. И в то же время пробуждалось еще неясное ему самому чувство ответственности за жизнь. Не ясное, но сильное и острое, как свежий запах сосны, что пробивается из этих оторванных старых досок, пробивается вопреки всему, что налипло на них за многие годы.

Ох, какая тяжелая работа попалась Егорову!

Жур приказал ему стоять внизу, у автобуса, где уже стояли Воробейчик и шофер с забинтованной головой.

Вскоре сюда подошел еще автобус – черный, прозванный в уголовном розыске почему-то каретой. Этот автобус для арестованных. – Ну как, не боишься бандитов? – насмешливо спросил Егорова Воробейчик.

– Не боюсь, – ответил Егоров. И добавил: – Покамест не боюсь...

Внизу, у автобуса, пришлось стоять долго, пока наверху продолжали обыск и потом писали протокол. И все время, должно быть со скуки, Воробейчик посмеивался над Егоровым. Смеялся даже над тем, что Егоров, как он признался, не пьет, и не курит, и еще не женатый.

– Скопец, что ли?

13

Начинался медленный, мглистый рассвет, когда из дома вывели и усадили в «карету» задержанных. Вышли из дома наконец все сотрудники.

– Поехали, – сказал Жур, залезая в «Фадей». – Кажется, все вышли.

«А как же тот ребенок?» – хотел спросить Егоров. Но не решился спросить. А спросить хотелось.

Воробейчик взглянул на растерянное лицо Егорова и засмеялся.

– Ребенка-то что же не берешь? А он тебя признал за родителя. Какие бывают бессовестные отцы...

– Ну и что? Я его возьму, – сказал Егоров и посмотрел на Жур. – Можно, я его возьму?..

– Как хочешь, – сказал Жур. И нахмурился. Или это показалось Егорову, что Жур нахмурился.

Егоров побежал наверх. Он укутал мальчика байковым одеялом. Потом снял свою телогрейку, укрыл его еще телогрейкой. И в одном черном куцем пиджачке выбежал на улицу.

В автобусе смеялись. Только Жур не смеялся, но он и не смотрел на Егорова. Видимо, ему было неприятно это странное поведение стажера.

А Водянков вынул из-под сиденья телячью шкуру и протянул Егорову.

– Ты укройся сам-то. Простынешь...

Зайцев опять сидел с Журом.

Жур спросил его:

– Ну как, Сережа, нравится тебе работа?

– Боевая, – весело откликнулся Зайцев. – Я такое дело вообще люблю...

– А тебе нравится? – спросил Жур Егорова. Надо было спросить и Егорова, уж если он спросил Зайцева.

– Ничего, – ответил Егоров.

– Ничего – это дырка, пустота, – сердито проговорил Жур. И смуглое лицо его как окаменело.

– Тебе надо бы, Егоров, в детский дом поступить, – насмешливо посоветовал Воробейчик.

– Ну, кто же меня туда примет?

– А если б приняли, пошел бы?

– Ну, откуда я знаю...

– Значит, тебе не нравится наша работа? – еще строже спросил Жур. – Ты скажи прямо...

– Нет, ничего, – повторил Егоров. – Я же говорю, ничего. Работать можно. Только, конечно...

– Это многим неинтересно, – сказал Жур. – Никому не

интересно мусор убирать. Но кому-то же это надо делать покуда. И надо учиться так делать, чтобы мусор убирать, но самому не измараться. Надо вот это уметь...

— А мне все было интересно сегодня, — признался Зайцев. — Только я сперва думал, товарищ Жур, что вы нас с Егоровым предупредите, как все будет, и скажете, как действовать.

— А меня и всех прочих работников бандиты тоже что-то не предупреждают, — усмехнулся Жур. — И не говорят, как надо с ними действовать. И раньше мне никто ничего не говорил. Я как вернулся с фронта, вышел из госпиталя, меня направили на эту работу, так вот сразу и пошло.

— Но вы все-таки на фронте были, на гражданской войне, — как бы позавидовал Зайцев. — И потом, может быть, читали специальные книги...

— Читал, — подтвердил Жур.

Зайцев вынул из-за пазухи книгу господина Сигимицу, начальника тайной полиции. Он, оказывается, и на операцию ее захватил.

И не только Жур, светя фонариком, подержал и полистал эту книгу в автобусе, но и Водянков, и Воробейчик, и другие.

Воробейчик даже сильно заинтересовался.

— Это вот какая книга, — показал он большой палец. — Ты дай мне ее хоть на денек. Я тебе тоже что-нибудь дам...

— Пустяки это, детские пустяки, — кивнул на книгу Жур. — Я такие тоже читал. Нет в них ничего нового. — Он потрогал Зайцева за колено. — Тут понимаешь, Серега, в чем дело? Все, что говорится в этой книжке насчет мускула-

туры, – это, конечно, все, может, даже правильно. Но ведь кроме мускулатуры еще многое требуется в нашем занятии. Например, ум и совесть. А про совесть много ли там говорится, в этой книге?

– Про совесть? – почему-то смутился Зайцев. – Про совесть я чего-то не помню...

– Вот видишь. А совесть нам требуется в нашем занятии почти что на каждом шагу, поскольку нам выданы, чувствуешь, – большие права...

Жур вынул левой рукой из кармана жестяную коробочку с табаком и стал скручивать на колене папироску из газетной бумаги. Табак у него рассыпался.

– Давайте я вам скручу, – предложил Зайцев.

– Нет, спасибо, – отказался Жур. – Мне хочется самому. Я так стал практиковаться еще в больнице. Меня учили инвалиды. Иногда у меня получается, иногда нет...

На этот раз получилось. Жур закурил и сказал:

– Мне вот сегодня дедушка Ожерельев в сердцах напомнил, что я бывший молотобоец и меня, мол, в старое время, при царе или при том же Колчаке, не взяли бы в сыщики. Это, положим, он брешет, что не взяли бы. Взять-то бы взяли. Не такая уж это высокая должность. Но при Колчаке или вообще в старое время все это было куда проще. Все шло, одним словом, как вроде по заведенному порядку. А сейчас это надо как-то по-новому налаживать. А как? Вот опять же этот дедушка Ожерельев, уже прижатый нами сейчас, все старался побольнее меня уколоть, даже отца моего вспомнил, как он говорит, – хохла. А мне бы, по-умному-то, надо было промолчать, поскольку я тут выступаю в данный момент как представитель власти,

представитель, можно сказать, государства. А я вдруг чуть не пустился с ним в перебранку. И вот сейчас жалею...

– Жалеете?

– Ну да, жалею. Вышло, как будто я с ним личные счета свожу, с этим дедушкой, ну его к черту. – Жур приподнял край брезента и плюнул на улицу. – А это нехорошо и глупо. И опасно. Ну, конечно, мы живые люди и у нас могут быть разные личные счета. Но мы не должны в наши личные счета вмешивать государство. А у меня вышло со стариком, – я это сам заметил, не очень красиво. Я начал было серчать. А серчать нельзя, если ты представитель власти и хочешь делать все по закону...

– Да по закону его бы стукнуть надо, этого дедушку паршивого, – сказал Зайцев. – Стукнуть – и все, чтобы он не вонял.

– Стукнуть-то это проще всего, Серега. И легче всего, – очень пристально посмотрел на Зайцева Жур. – Труднее разобраться как следует, разобраться и понять...

А в чем разобраться и что понять, Жур не объясняет. Глубоко затягивается и долго молчит. Потом говорит снова:

– Нету книги, к сожалению, в которой бы все было указано, как делать и понимать. До всего надо додумываться самим, своей башкой. Все самим надо пробовать. И не бояться, если другой раз обожжешься. Без этого ничему ведь не научишься.

Мальчик, угревшись на руках у Егорова, крепко уснул. И Егоров, казалось, забыв про него, внимательно и даже с удивлением слушал Жур, как все мы слушали в детстве, в юности разных чем-то удививших нас людей, встретившихся нам на разных жизненных перепутьях.

И, не подозревая об этом впоследствии, мы легко усваивали и усваиваем многое из характеров этих людей, прошедших мимо нас, ушедших навсегда, но продолжающих существовать и действовать не столько в нашей памяти, сколько в наших поступках и в наших душевных движениях.

Конечно, Егоров потом забудет во всех подробностях эту ночь. Забудет, как дребезжал на ухабах старенький автобус фирмы «Фиат», прозванный для простоты «Фадеем». Забудет и подлого дедушку Ожерельева и отчаянного мерзавца его сына Пашку. Забудет и продушенного духами, хорошим табаком и самогоном нэпмана – совладельца фирмы «Петр Штейн и компания. Мануфактура и конфекцион». Забудет и многие слова, говоренные Журом. И даже многие мысли, высказанные им, забудет. Но что-то необходимое для жизни все-таки отложится, отслоится в самом сердце и в глубинах сознания молодого человека, и это будет называться потом жизненным опытом. За жизненный опыт, однако, придется еще заплатить дорогой ценой, придется еще многое пережить, узнать и услышать...

Впрочем, не все мы и не все усваиваем в жизни одинаково. Даже, казалось бы, бесспорные истины разными людьми воспринимаются по-разному и в разных душах находят разное преломление.

Егоров думает одно, а Зайцев другое.

Зайцеву не понравилось, что Жур так начисто отверг книгу господина Сигимицу. Зайцев почти обиделся. И не за господина Сигимицу, а за себя. Ведь книга эта теперь принадлежит Зайцеву. Он нашел ее на развале, купил, прочел, дал почитать Егорову. И у Зайцева есть об этой

книге свое мнение не такое, как у Жура. И Зайцев вообще не обязан во всем слушаться Жура. Тем более Жур эту книгу не читал.

– Вы правда эту книгу не читали, товарищ Жур?

– Нет, эту книгу не читал, – опять посмотрел на обложку Жур. – Но они почти все похожи. Их на базаре и сейчас можно сколько угодно найти...

– А эту, значит, вы не читали? – еще раз спросил Зайцев.

И непонятно, чего он добивается. Даже смешно. Жур улыбнулся.

– Ты что, Серега, хочешь доказать, что это какая-то особая книга господина Сигимицу?

– Я ничего не хочу доказывать, – сказал Зайцев. – Я просто спрашиваю...

Но он не просто спрашивал. Он взъярился, как молодой петух. И это было действительно смешно.

Если б так повел себя, допустим, Егоров, над ним бы первым засмеялся Воробейчик. Но Зайцев рассмешил только Жура. А смешливый Воробейчик на этот раз не смеялся. Может, не хотел смеяться. Не заметил, что это смешно. Или ему просто нравится Зайцев. Ведь может и Воробейчику нравиться кто-то. И к тому же Воробейчик хочет выпросить эту книгу у Зайцева.

Зайцев сердился и пропустил мимо ушей все рассуждения Жура. Но Журу понравилось даже, как сердится Зайцев.

– Ох, я смотрю, ты шибко самолюбивый паренек, Серега!

Это сказал Жур Зайцеву, когда все выходили из автобуса во дворе уголовного розыска.

– Ты останься, Серега, ты мне еще будешь нужен немножко. А ты иди домой, – сказал Жур Егорову. Как-то обидно сказал. И должно быть, сам заметил это. – Или лучше вот так сделаем. Шофер сейчас сменится, и тебя отвезут домой в автобусе...

Многие удивились на Ужачьей улице, когда утром чуть свет Сашку Егорова привезли на автобусе и еще с ребенком на руках. Но больше всех удивилась, прямо ужаснулась сестра Егорова.

– Чертушка ты! – всплеснула она руками. – Ты как на погибель мою стараешься. Куда ты ребенка притащил? Для чего? У меня вон своих трое, без отца, с открытыми ртами...

– Ты, Катя, не обижайся, – смущенно попросил Егоров. – Ты его только испукай. Чем-нибудь немножко покорми. Он здорово есть хочет. Гляди, какой худой. А ему, говорят, три года. И ты его не оскорбляй. Я его потом снесу в детский дом. Он будет считаться как мой собственный сын. Он прямо признает во мне отца. Ну и пусть. Я его на свою фамилию запишу...

– Да мало ли сейчас детей беспризорных, даже получше этого! – сказала Катя. – Ты посмотри, что на вокзале делается! По всей России едут почти что одни беспризорные. Разве ты можешь всех записать на свою фамилию?

– Сколько смогу, столько запишу, – упрямо проговорил Егоров. – А ты, Катя, не обижайся. Я скоро буду очень хорошую зарплату получать. Все деньги будут твои. Я ведь даже не курю. Хотя некоторые и смеются. Ну и пусть. Я все равно курить пока не собираюсь...

На счастье Егорова, это внезапное прибавление его семейства совпало с другим событием, которого, впрочем, надо было ожидать.

На следующий день в обеденный перерыв Егорова у «титана», где берут кипяток для чая, встретил Зайцев:

– Ты почему, Егоров, деньги не получаешь?

– Какие?

– Как какие? Мы же здесь не ради Христа работаем. Нам выписали за две недели как стажерам. Я получил...

Егоров держал кружку под краном. Она уже наполнилась. И кипяток пошел через край, полился на пол, на башмаки Егорова. А он все еще удивленно смотрел на Зайцева.

– Ну да? Ей-богу?

– Вот именно ей-богу! – засмеялся Зайцев. – Ты просто малохольный! – И закричал: – Ты смотри, смотри, ты же сейчас ошпаришься!

Егоров в растерянности уронил кружку. Потом поднял ее, поставил на подоконник и пошел на второй этаж получать зарплату, если правда, что Зайцев его не обманывает.

Однако на втором этаже в бухгалтерии, как во всем учреждении, как во всем городе, был обеденный перерыв. Касса была закрыта.

Егоров, забыв о своей обеде, сел у кассы. Он хотел, чтобы поскорее пришел кассир. И в то же время его тревожила мысль, а вдруг Зайцев чего-то напутал? Или Зайцеву выписали, а ему, Егорову, еще не полагается? Зайцев ведь чуть раньше его пришел в уголовный розыск. Нет, они, кажется, в один день пришли. Ну да, в один день...

Мимо Егорова проходили служащие, возвращавшиеся к

своим столам после обеденного перерыва. И ему было неловко. Ему казалось, что все смотрят на него и думают: «А этот уже пришел за деньгами. Еще ничего не наработал, а уже пришел за деньгами. Бывают же нахалы...»

Однако в свой час явился угрюмый кассир и, поискав прокуренным пальцем в ведомости фамилию Егорова, спокойно отсчитал ему деньги.

– Распишитесь вот тут...

– Пожалуйста, – сказал Егоров.

Он, безмерно счастливый, сбежал по каменным ступеням вниз. Но внизу взял себя в руки и степенно, даже степеннее, чем надо, и медлительнее, чем надо, прошел по коридору мимо постового милиционера, чтобы и милиционер не подумал, что Егоров уж так сильно обрадовался этим деньгам. Что он, денег, что ли, никогда не видел, Егоров? Все получают зарплату, и он получил...

Внизу, в узенькой своей комнатке, Жур приступил уже к третьему допросу одного из братьев Фриневых.

Все было ясно теперь. Аптекаря Коломейца отравили братья Фриневы. Он был их компаньоном не только по содержанию аптеки, но и по сбыту краденных у государства спирта и дорогих лекарств.

При дележе огромных барышей у компаньонов встретились серьезные затруднения.

Яков Вениаминович Коломеец, как глава всего дела и бывший учитель братьев Фриневых – он был старше их и по возрасту, – присваивал наибольшую долю.

Кроме того, он намекал, что в случае повторных протестов со стороны братьев у него есть возможность их жестоко наказать. Он знал за ними такое, что, если об этом

узнал бы и уголовный розыск, им ни за что не миновать бы тюрьмы.

А он сам, Коломеец, человек разочарованный. От него ушла жена. Ему жизнь теперь вообще не мила. И терять ему, стало быть, нечего...

Это и заставило братьев Фриневых применить к своему старому учителю и соучастнику самые крайние меры. И они применили. Но у них получилось немножко не так, как они сперва задумали.

Они старались его выманить из квартиры. Хотели прокатить его за свой счет на извозчике, чтобы якобы развлечь, рассеять его хмурые мысли по поводу подлой измены супруги. А потом намеревались завезти его на Дачу лесного короля, в эту необыкновенно красивую, но пустынную в осеннее время местность, и здесь прикончить с помощью веревки, которая была припасена и находилась уже в великолепном экипаже на дутых шинах, на «дутиках», извозчика Елизара Шитикова.

Затея эта, однако, не удалась.

Тогда братья Фриневы, Борис и Григорий Митрофановичи, явились к своему учителю в день его рождения и принесли с собой подарок – американский фотоаппарат, купленный в комиссионном магазине Шальмеера.

Им было известно, что Коломеец еще неделю назад облюбовал этот аппарат, но купить по скупости своей не решался. Они преподнесли этот подарок, и старший брат Борис сказал, что уже довольно бы им спорить и ссориться. Яков Вениаминович все-таки их учитель, и они помнят это и хотят извиниться. И хорошо бы по такому случаю и тем более в честь дня рождения выпить и забыть все. Пра-

вильно, мол, что Яков Вениаминович берет себе большую часть. Он и должен ее брать, если он их учитель.

В спирт, который был у Коломейца, они добавили очень полезной для желудка облепиховой настойки, так как учитель их по слабости здоровья никогда не употреблял спирт в чистом виде. И вообще в выпивке был воздержан. Мог охмелеть от одной рюмки даже не вина и не спирта, а только лимонада, если при этом будут чокаться лимонадом и произносить тосты.

Поэтому братья спирт развели облепиховой настойкой по-разному – себе покрепче, учителю послабее. И он сам взбалтывал и разводил эти вроде как разные напитки.

Ему, конечно, и в голову не могло прийти, что напиток, который он приготовил для себя, и есть самый крепкий, даже больше того – смертельный. В нем был яд, очень сильная доза яда, принесенного братьями из своей аптеки и аккуратно вдавленного в пробку как раз той бутылки, которую взбалтывал для себя в день своего рождения Яков Вениаминович Коломеец.

Яд должен был убить его не сразу, а часа через три, максимум через четыре, когда гости уйдут домой. А пока захмелевший аптекарь веселился и радовался, что ему попал в руки такой чудесный фотоаппарат.

Он проводил гостей в начале десятого часа вечера, тщательно, как всегда, замкнулся у себя в комнате и решил лечь спать. Но ему вдруг стало душно, и он открыл форточку. Он думал, что воздух его освежит.

Но воздух его не освежил.

В начале двенадцатого именинник умер. А форточка так и осталась открытой.

В час ночи братья Фриневы опять подъехали к дому своего учителя и компаньона. Их встревожило вот что: а вдруг кто-нибудь видел, что они вечером были у Коломейца? Ведь очень легко при вскрытии трупа заподозрить, что именно они отравили аптекаря. Конечно, доказать это было трудно: яд такой мог быть и у него самого. И он сам мог лишиться себя жизни, огорченный уходом жены.

— Глупо мы сделали, что не взяли обратно фотоаппарат, — сказал старший Фринев, Борис. — Я себе эту глупость никогда не прощу. Можно было бы перед уходом опять поссориться с ним и забрать аппарат. И зачем он ему? И вообще все это крайне глупо. Я уверен, что нас заподозрят...

И тут братья опять посмотрели на открытую форточку. А что, если сговорить извозчика Елизара Шитикова попробовать залезть в форточку и забрать аппарат? Все равно они с ним в сговоре. Все равно ему надо платить. А пролезет ли он в форточку?

— Моментальное дело, — сказал Шитиков.

И от себя внес серьезную идею. Он залезет в форточку вот с этой веревкой, что у него уже давно припасена под козлами, подвесит аптекаря на какой-нибудь крюк или гвоздь. И тогда уж комар носу не подточит: понятно будет, что аптекарь сам удавился.

Шитиков потребовал только, чтобы братья ему вперед уплатили за эту работу очень крупную сумму.

— Верить на слово по теперешнему времени никому нельзя, — вздохнул Шитиков. — Больно много развелось плутов и бессовестных людей. Многие, даже образованные люди прямо как бандиты действуют. Даже хуже других бандитов и мазуриков...

Братья тут же уплатили Шитикову. И он так ловко обделал это поручение, что можно было только удивиться. Он, как змея, пролез в узкую форточку, куда, казалось, и голову не просунет нормальный человек. И вылез с фотоаппаратом. Но отдать аппарат братьям он, однако, наотрез отказался. Он стыдил их, когда они требовали фотоаппарат, напоминал им, что они так же, как и он, христиане и что господь их обязательно покарает за жадность.

— А кроме того, — в заключение погрозил братьям Шитиков, — мне моя жизнь тоже не дорогая. Я в случае чего и повиниться могу. Могу поехать в губрозыск и повиниться. Кто я такой? Я человек темный. Извозчик. А вы все-таки люди образованные — фармазоны. Лекарства составляете, людей травите...

И с этими словами извозчик уехал к себе на Извозничью гору. Но прожил он после этих слов только сутки.

Через сутки он был убит.

Все ясно, что касается убийства аптекаря. Остается только выяснить, кто убил извозчика Елизара Шишкова.

Братья Фриневы отказываются говорить об этом. Старший брат, Борис, сознался как будто во всем, рассказал в подробностях, как они отравили аптекаря, но об убийстве извозчика он, вот истинный Христос, ничего не знает.

А младший брат, Григорий, что сейчас сидит перед Журом, держит себя так, словно он и в отравлении аптекаря не принимал никакого участия.

— Поклеп, все клеп на меня, — говорит он одно и то же, мотая лысой головой.

Жур, однако, терпелив. Даже излишне терпелив, как кажется Зайцеву.

– Григорий Митрофанович, – смотрит Жур почти жалостливо на младшего Фринева, – мы же с вами разговариваем не первый день. Зачем мы понапрасну время расходует? Ведь все же главное и так ясно. А что не ясно, мы все равно выясним. Мы для этого тут работаем. А вы, честное слово, как дурака валяете. Брат у вас умнее...

– Ему и полагается, – пробует пошутить Григорий Фринева. – Он старший брат.

– Ну, скажите, если можете, откровенно, – просит Жур, – кто кому сильнее надоел: вы мне или я вам? Ведь вы же который день повторяете одни и те же слова...

– А что же еще повторять, если натуральный поклеп? – вскидывает на Жура оловянные глаза младший Фринева.

– Я бы его сейчас прямо сразу стукнул, – вспыхивает Зайцев, когда арестованного уводят обратно в камеру. – Он – вы же сами видите – просто играет у вас на нервах, как на гитаре.

Жур улыбается.

– Я же говорил вам, ребята, надо укреплять нервную систему. Нервы еще потребуются. Время такое, что нервы потребуются. Надолго еще потребуются. У нас нервы должны быть всегда вот какие...

Жур сжимает в кулак длинные, сильные пальцы левой руки. Правая у него еще на перевязи.

– Все равно, – пылает в красивых рыжих волосах голова Зайцева, – все равно таких, как эти Фриневы, по-моему, надо кончать всеми способами. Прямо немедленно кончать...

– Это как же? – опять улыбается Жур. Ему, видимо, нравится страстность Зайцева. – Как же ты, Серега, пред-

лагаешь их кончать? Вот так же, как они кончали аптекаря?

– Хотя бы. Убийство за убийство. Я бы даже и разбираться не стал...

– Видишь, Серега, – трогает его за колено Жур, – это вот они, Фриневы, не разбирались. Они хапуги, жулики, воры и убийцы. А мы представляем здесь наше государство. Оно нас обязало разбираться. И оно обязано и нас наказывать, если мы плохо разбираемся...

– Но ведь сказано: карающий меч революции, – напоминает Зайцев.

«Он начитанный», – уважительно смотрит на Зайцева Егоров. Но Егорова сейчас, откровенно говоря, не сильно интересует этот разговор. Он хотел бы сегодня пораньше уйти – отнести домой получку. Ох, наверно, будет рада Катя!

– Меч, ведь он очень острый, Серега, – ходит по узенькой своей комнатке Жур. – Особенно если он карающий. С ним требуется большая осторожность. Очень большая осторожность. Нам наша партия на это прямо указывает...

– Но партия не указывает, что надо нюнькаться со всякими отравителями, – возражает Зайцев. – Когда я еще хотел поступить в уголовный розыск, у меня было такое представление, что здесь сразу кончают. Берут и сразу в случае чего... кончают...

– Тогда ты ошибся, Зайцев, – вдруг останавливается Жур и смотрит на Зайцева в упор. Лицо у Жура становится каменным. – Тогда тебе всего лучше было пойти в палачи...

Эти слова ошеломляют Зайцева. И может быть, даже выражение лица Жура пугает. Зайцев молчит, опускает глаза. Потом внезапно усмехается.

– Ну, вы тоже скажете, товарищ Жур!

И Жур, должно, быть, чувствует, что перехватил.

– Чудак ты, Серега, – говорит он, чуть помедлив. – Чудак. Молодой еще. Больно горячий. Тебе еще надо книги почитать, подумать, поглядеть, как народ живет, узнать, в чем его трудность жизни. Бывает, что люди и в преступники попадают от безвыходности. Если всех вот сразу так карать...

– А эти братья Фриневы тоже попали от безвыходности?

– Ну, эти другое дело, – морщится Жур. Он задел больной рукой о спинку стула. – Этих мы не будем брать в пример. Но с ними нам по закону тоже надо как следует разбираться.

Жур подходит к столу, перелистывает бумаги.

– Довольно, ребята, философии. Я займусь, однако, Грачевкой. Надо нам готовить большую операцию. А ты, Серега, вот что. Поезжай, привези сюда нового мужа этой вдовы аптекаря. Надо его во что бы то ни стало найти. Парфенов Терентий Наумович. Нет, вы лучше поезжайте вдвоем с Егоровым. И смотрите в оба. Мне думается, по некоторым данным, что это серьезный жук. Он может много прояснить в аптекарском деле. А в общем дело неинтересное...

– А мне показалось, что оно интересное, – вдруг говорит все время молчавший Егоров. – Как ловко вы его раскрыли...

– Не все еще раскрыли, – уже уселся в свое кресло Жур. – Надо, однако, стараться дальше так же все тщательно анализировать...

Это непонятно Егорову. Как это надо стараться анализировать? Но спрашивать сейчас об этом у Жура неловко. После надо спросить, в подходящий момент.

Жур вчитывается в бумаги. Лицо у него становится необыкновенно озабоченным.

Зайцев и Егоров уходят.

15

Зайцеву и Егорову снова надо было ехать на Извозничью гору, где на Водопойной улице, в Щенячем тупике, проживает новый муж вдовы аптекаря некто Парфенов Терентий Наумович.

Извозничья гора, наверно, долго еще будет притчей во языцех. Долго еще будет тут ютиться разная шпана. И не только городские жители, но и работники уголовного розыска долго еще будут с особым чувством вспоминать об этой горе, о ее огромном заросшем густым кустарником кладбище, о «хитрых хазах» и «малинах», что теснятся за кладбищем и вокруг него.

Не отличишь, где живут кустари и где настоящие, опытные, профессиональные бандиты. Все смешалось здесь, как на свалке.

Понятно, что» Егоров и Зайцев чувствуют себя по-особому настороженно, снова отправляясь на Извозничью гору.

Егоров немножко тревожится из-за того, что с ним сейчас вся его двухнедельная получка. Вдруг что-нибудь случится – деньги пропали. А как обрадовалась бы Катя, увидев эти деньги...

На углу Кузнечной и Стремянной Зайцев остановил извозчика точно так, как это сделал Жур, когда они ехали на первое в своей жизни происшествие поднимать мертвого аптекаря.

А теперь они едут одни, без Жура.

Жур сказал, что этот Парфенов, муж бывшей аптекарши, серьезный жук.

«Интересно, сейчас узнаем, какой он жук, — думает Егоров. И уже забывает о том, что у него в кармане вся его получка. — Парфенов, Парфенов. Фамилия какая знакомая!» Потом он думает над словами Жура: «Надо стараться все тщательно анализировать».

Егоров готов изо всех сил стараться, но ему непонятно: как это надо анализировать? И в книге господина Сиги-мицу ничего об этом не сказано.

Егоров и Зайцев сидят рядом в извозничьей пролетке с поднятым кожаным верхом. Впереди у них толстая ватная спина извозчика в круглой войлочной шляпе с блестящей пряжкой на околыше.

— Как ты это понимаешь, Сергей, — «надо анализировать»?

— А чего тут не понять? — говорит Зайцев. — Очень просто. Человек, допустим, отказывается: я, мол, не воровал. А ты ему все равно не веришь. Ты делаешь в уме свой анализ: нет, мол, я тебя знаю, ты вор...

— А если он правда не вор?

— Все равно ты должен его подозревать. Ты всех должен подозревать...

— Всех?

— Ну да. Никому верить нельзя.

Зайцеву уже все понятно. А Егоров во многом сомневается.

– погоди, Сергей. Как же это так? Никому верить нельзя. Это, выходит, мы должны жить, как Елизар Шитиков. Это же он перед смертью сказал. Так прямо и в протоколе записано. Шитиков сказал братьям Фриневым, что, мол, отдайте мне деньги вперед, потому что по теперешним временам никому верить нельзя...

Зайцев смеется.

– Он правильно сказал. – И кивает на спину извозчика. – Ты поосторожнее с разговорами. Мы на дело едем...

– А я ничего особенного и не говорю, – оправдывается Егоров. – Но понимаешь, что я думаю. Если всех подозревать и всем не верить, так это получается, что все люди плохие...

Зайцев подтягивает голенища сапог. Один сапог вытирает об извозничий плюшевый коврик и досадливо морщится.

– Для чего ты сейчас завел этот разговор? Плохие, хорошие... Ты, честное слово, как... как девушка какая-то. Или даже как... баба...

Егоров молчит. В самом деле, может быть, он завел сейчас ненужный разговор?

А Зайцеву хочется, видимо, сгладить излишнюю резкость слов, и он, помедлив, говорит уже другим тоном:

– Ты пойми, Егоров, одно. Если ты, допустим, не работаешь в розыске, если ты просто человек, ты можешь верить кому хочешь...

– Но я все равно остаюсь человеком, – перебивает Егоров, и лицо его принимает упрямое и даже сердитое выражение.

Зайцев опять смеется.

— Ох, до чего ж ты забавный... — И, выглянув из пролетки, делает строгое, озабоченное лицо, такое же, как у Жура. — Кажется, мы с тобой приехали.

Он» подходят к высоким зеленым воротам.

Зайцев не начальник Егорову. И никто не говорил, что Зайцев должен быть старшим. Но он ведет себя как старший.

— Ты меня тут жди, Егоров, у ворот. Если услышишь стрельбу или я крикну, тогда забегай в ворота. А если все тихо, просто стой. Конечно, если кто побежит, задерживай. Тут зевать никак нельзя...

Егоров ждет Зайцева минут пять, десять. Никто не бежит, не кричит, не стреляет. Все тихо вокруг.

Только внизу, под горой, ревет невидимая отсюда река, ревет и глухо скрежещет. Трудно ей. Мороза все еще нет — настоящего, крепкого, сибирского. Не скоро еще в этом году замерзнет река. А она буйная, озорная.

Егоров вспоминает лекцию в клубе имени Марата. И лектора вспоминает, седенького старичка. Он говорил, что здание величайшей гидростанции, которая будет выстроена на этой реке, вероятно, разместится в районе так называемой Извозчикьей горы.

Егоров сейчас думает об этом. И ему становится вдруг весело. Все тогда тут изменится, на этой горе. Все эти хибарки придется сломать. И все воры и бандиты разбегутся как тараканы. Или они будут тут работать на гидростанции, на строительстве. Их заставят тут работать...

Из ворот выходит Зайцев. Нет, пока ничего не получилось. Вдова аптекаря говорит, что она ничего общего не

имеет теперь с Парфеновым. Он оказался, говорит она, темной личностью. Да, она им одно время увлекалась. Но это было временное увлечение. Она жалеет об этом.

Зайцев, однако, разузнал у вдовы про всех родственников и знакомых Парфенова, записал их адреса, взял его фотографию. Теперь будет легче его искать. А он явно скрывается. И вообще подозрительный тип. Нигде не работает и что делает – непонятно. И непонятно, чем он мог соблазнить аптекаршу. На фотографии он в котелке, при галстукe, морда отвратительная, отлитая из какого-то тяжелого серого вещества, глаза сонные. Это он снимался еще до революции.

– Ну, пойдем, – говорит Зайцев.

Почти весь день они потратили на поиски этого неуловимого Парфенова. Они ездили и на извозчиках и ходили пешком.

Егоров несколько раз хотел продолжить разговор о том, как надо анализировать. Но Зайцев сердился:

– Не люблю разговаривать про разную бузу, когда надо работать, соображать. Жур, наверно, думает, что нас уже ухлопали. А мы никак не можем найти этого типа в котелке...

В каждом доме, куда они заходили, им говорили, что Парфенова нет. Был недавно, но сейчас нет. И давали адрес места, где он может быть. Они узнали, между прочим, что у Парфенова уже есть новая симпатия – некая Нюшка. Но фамилия ее неизвестна. Однако живет она на Канавной улице, дом номер то ли шесть, то ли семь, а может, и десять.

На Канавной Зайцев сразу облюбовал маленький ста-

рый домик, у ворот которого на лавочке сидела старуха. А над нею качался, поскрипывая на ветру, жестяной сапог, извещавший, что здесь живет сапожник.

«И Парфенов здесь живет», – почему-то сразу, каким-то непостижимым чутьем, угадал Зайцев, хотя на воротах написан краской номер три.

Зайцев подошел к старухе.

– Терентий дома?

– Да он дома, и нету его. Он вышел, – сказала старуха. – А ты чей? Веркин брат, что ли?

– Веркин брат.

– Так вы проходите. Они вас ждут. Нюшка сейчас пельмени будет крутить. Терентий побег за мясорубкой к Захаровым. Да вон он сам идет, – вдруг показала старуха.

Из соседних ворот вышел огромный мужчина в пальто, накинутом на плечи, и в бобровой круглой шапке с бархатным верхом, нисколько не похожий на свою дореволюционную фотографию. В правой руке у него была мясорубка.

– Вы Парфенов Терентий Наумович? – пошел ему навстречу Зайцев.

– Хотя бы...

– Вы нам будете нужны на минутку. Пройдемте с нами. Тут неудобно стоять...

– Это кому же... неудобно?

Мужчина без заметной тревоги, но с явным презрением оглядел совсем молодых ребят – одного в потертом, узковатом в плечах пальтеце, с рыжими волосами, прикрытыми старенькой кепкой, другого в стеганой телогрейке и в вылинявшей, должно быть гимназической, фуражке.

– Да вы что, сопляки, на бимбор, что ли, меня хотите взять?

И он взмахнул мясорубкой.

Всегда Егоров будет восхищаться Зайцевым.

Пусть они потом поссорятся, будут сильно и непримиримо враждовать. Но Егоров не забудет, как Зайцев стремительно толкнул верзилу головой в живот.

А пока Парфенов подымался, Зайцев двумя ударами как обрубил ему обе руки.

Егоров только и сделал, что отпихнул ногой от Парфенова выпавшую мясорубку.

– Бабушка, – сказал он старухе, – возьмите ее. Приберите...

А старуха даже не ойкнула. Она почти спокойно взирала на эту сцену. Мало ли бывает драк на Извозничьей горе!

– Не шуми, – прямо в ухо Парфенову дохнул Зайцев. – Ты понял, мы откуда?

– Как не понять.

– Иди тихонько вперед. Побежишь – убью, – пообещал Зайцев и сунул руку в карман, где у него лежал теперь настоящий бельгийский браунинг.

– Бабушка, – опять сказал Егоров, – вы действительно приберите мясорубку. Мы ушли...

– А Жур говорит, что Сигимицу – это пустяки, – засмеялся Егоров, когда они сели опять рядом в извозничью пролетку.

Огромного Парфенова они посадили впереди себя на узенькое сиденье.

– Давай, извозчик, прямо в уголовный розыск, – тронул Зайцев извозчика за рукав.

Егоров был уверен, что в розыске теперь только и будет разговору о том, как Зайцев красиво задержал этого верзилу Парфенова. Вот уж действительно здорово!

Но в розыске даже внимания никто не обратил на этот факт. Задержали и задержали. Чего же тут особенного?

И Жур не похвалил стажеров.

Жур вначале был как будто недоволен, что они так много времени убили на розыски Парфенова. Потом он сказал:

– Ну, ладно, ребята, аптекарское дело у нас вроде того что идет к концу. Надо его поскорее закруглять и заниматься серьезными делами. Завтра я вас познакомлю с Грачевкой. Тут придется пораскинуть мозгами. А на сегодня вы свободны. Идите по домам.

Егоров вынул из-за пазухи старенькое, еще отцовское портмоне с шариками на застежке и отдал Журю долг, положив деньги на стол, на бумаги.

– Спасибо, – сказал Егоров.

– Не за что, – сказал Жур. И ссыпал деньги с бумаг в выдвинутый ящик письменного стола.

Зайцев опять пригласил Егорова в «Париж». И можно было бы пойти: деньги есть. Но Егорову хотелось поскорее обрадовать Катю, и он предложил Зайцеву:

– Может, ко мне пойдем, Сергей? Возьмем закуски, пива, все, что надо, и пойдем ко мне. Посмотришь, как я живу. Посидим по-семейному.

– Нет уж, это я успею, – засмеялся Зайцев. – Я еще нажижусь по-семейному.

Егоров зашел по дороге в роскошный гастрономический магазин Егорова.

Из-за этого однофамильца у него уже были неприятности. Когда еще в Дударях на маслозаводе его принимали в комсомол, все спрашивали, не сын ли он этого Егорова, не родственник ли. Как будто на свете и есть всего один-единственный Егоров, владелец магазина и кондитерской фабрики.

В магазине у Егорова разбежались глаза. Всего было много, и все хотелось купить.

На полках до самого потолка стояли коробки с конфетами и с печеньем, бутылки с вином и сладкой водой. На прилавках лоснились окорока, колбасы, сыр, балыки, икра. И продавщицы в белых наколках на головах розовыми пальцами резали и взвешивали на бронзовых весах всю эту благодать.

Егоровский магазин, помимо всего, славился своими продавщицами: все, как на подбор, красавицы, любая, кажется, хоть завтра могла бы пойти в киноактрисы. Но в том-то и дело, что пойти они никуда не могли. Во всей стране была безработица.

Очень трудно было найти работу. Но если человек ее нашел, — хоть какую, — он мог не сомневаться, что еда, одежда, обувь и все прочее у него будут. Магазины по всей стране ломились от изобилия продовольствия и разных товаров. Требовались только деньги.

И вот у Егорова сегодня они опять появились.

Егоров зашел, чтобы купить колбасы, которой он не ел, пожалуй, с самого детства. И в детстве ел не так уж часто, разве только в большие праздники — на пасху и на рожде-

ство. Да и, наверно. Катя забыла, какая она бывает, колбаса. Ребятам же ее этот продукт совсем мало знаком. Они родились в первые годы революции и росли в гражданскую войну. Какие уж им в это время доставались продукты...

Егоров пригляделся к ценам, прикинул в уме, во что ему обойдутся все покупки, и твердо решил оставить в этом магазине ровно четверть полочки.

Он купил и колбасы, и ветчины, и сыру, и балыка, и две пачки печенья «Яхта», и большую коробку бело-розовых конфет под названием «Зефир», и три бутылки сладкой воды. И бутылку портвейна. Хотя не был уверен, что Катя одобрит это последнее приобретение.

Но Катя одобрила портвейн.

– Что мы, разве не люди? – вонзила она взятый у соседей штопор в пробку. – Вот сейчас и выпьем за все хорошее, что еще будет в нашей жизни. А детям ты правильно купил сладкой воды. Я им на Первое мая ее покупала. Они ее очень любят...

Подле стола ходил уже чисто вымытый, обряженный в старенький матросский костюмчик, из которого вырос младший сын Кати, приемный сынок Егорова Кеха и смотрел на разложенную еду острыми глазами волчонка. Чтобы успокоить Катю, Егоров сказал:

– Я его завтра же сведу в детский дом. Я уже знаю, куда я его сведу...

– погоди, – будто не слушала брата Катя, оглядывая стол. – погоди, я еще селедочку хочу лучком обложить. Ах, жалко до чего, что мы Алексей Егорыча не можем пригласить. Пусть бы он с нами выпил. Хороший человек. Ведь он все захаживал, спрашивал, как мы живем. Вот и пусть бы поглядел, как живем...

Есть из многих великих, жизнеутверждающих качеств нашего народа одно поистине удивительное – забыть мгновенно при первой же удаче все плохое, что было, и помнить только о хорошем и надеяться только на хорошее.

Катя вспомнила в этот вечер и Алексея Егорыча, ломового извозчика, в долг перевозившего ей дрова, и тетю Настю, прачку, вот уже второй год безвозмездно разрешавшую ей пользоваться вместительным баком для парки белья, и Зину Козыреву, девицу легкого поведения, подарившую ее детям к празднику два фунта кедровых орехов.

Счастливая Катя всех хотела осчастливить в этот вечер, всех хотела пригласить к своему столу. Но было уже слишком поздно. А праздничный ужин нельзя было откладывать.

Уселись за стол только своей семьей.

Выпив рюмку портвейна, Катя сразу захмелела, стала много говорить, много беспричинно смеяться. Приблизила к себе приемыша и долго гладила его, говоря:

– Какой хороший мальчик! И зовут хорошо, чисто по-сибирски – Кеха. Значит, Кеша, Кеночка, Иннокентий...

– Я сведу его, – опять пообещал Егоров.

– И не думай! – вдруг строго сказала Катя. – Что значит «сведу»? Я обмыла его, придела, видишь, как хорошо обстригла – в кружок, хотя у меня ножницы тупые. А ты теперь будешь говорить «сведу». Нет, уж пусть он у нас тут растет. Где три, там и четыре. И это большое дело, Саша, что ты уже работаешь, что ты уже на своей тропе. И я работаю. А если есть работа, значит, есть и деньжонки. А при деньгах и купить все не трудно. Для чего же мы будем от себя хорошего мальчика отгонять? Пусть растет при нас. И нам веселее...

Так решилась в тот счастливый вечер судьба случайно найденного мальчика Кехи, получившего широко известную фамилию Егоров. Но его уж впоследствии, наверно, не будут спрашивать, не сын ли он, не родственник ли владельцу роскошного гастрономического магазина Егорову.

16

На работе теперь, кажется, только один Воробейчик продолжал подсмеиваться над Егоровым:

– Ну как, ребенок-то у тебя, живет?

– Живет.

– Кормишь его?

– Кормлю.

– А как кормишь-то? Чем? Грудями?

– Грудями, – отвечал Егоров. И проходил мимо.

У него были прежние башмаки, на которых по-прежнему хлябали еле державшиеся подметки, но он все-таки после первой полочки тверже ступал по земле, хотя по-прежнему было не ясно, оставят ли его на этой работе.

А работы все прибавлялось и прибавлялось. И работа становилась все более сложной.

Жур доверял теперь Егорову так же, как и Зайцеву, вести некоторые допросы, посылал их с кем-нибудь из старших на происшествия даже весьма серьезные, где надо было проявить и сметку, и ловкость, и мужество. И Егоров вел себя не хуже других – и стойко, и серьезно, и находчиво.

И все-таки Воробейчик продолжал подсмеиваться над ним.

Непонятно было, за что Воробейчик так невзлюбил Егорова, но всякий раз он как нарочно, и, может, в самом деле нарочно, старался подчеркнуть, что Зайцев – это действительно оперативник, огневой паренек, как любил выражаться Жур, а Егоров – это вроде как ходячее недо-разумение.

В Баульей слободе произошло убийство.

Воробейчик пришел сообщить об этом Журу, потому что Жур ведет почти все дела, связанные с убийствами и крупными вооруженными ограблениями. Журу бы и сейчас надо было выехать в Баулью слободу. Но Жур был занят подготовкой к важной операции. Поэтому он попросил Воробейчика:

– Съезди, пожалуйста, сам. Возьми с собой моих ребят. Им тоже невредно промяться.

– Я Зайцева возьму, – сказал Воробейчик, хотя Егоров сидел тут же, в этой узенькой комнатке Жура.

– Ну, возьми Зайцева, – согласился Жур. – Мне все равно.

И Журу действительно было все равно. Он даже не заметил, что Воробейчик особо выделяет Зайцева.

А Егорову, конечно, было обидно, хотя он сам признавал, что Зайцев паренек на редкость огневой, и сам им восхищался. Но всякому человеку, пожалуй, станет обидно, если его все время убеждать, что он тут вроде мебели присутствует. И Егорову стало обидно.

Ему казалось даже, что Воробейчик нарочно превозносил Зайцева, рассказывая о его необыкновенной храбрости, когда они вернулись из Баульей слободы.

– Ты понимаешь, Ульян Григорьевич, я сам в первую

минуту немножко ошалел, – рассказывал Воробейчик Журу. А вокруг стояло много сотрудников. – Приезжаем мы туда. Глядим, лежит у сарая здоровенный мужик – мертвый. А убийцу граждане с трудом загнали в сарай, и он там ревет, как медведь: «Всех расшибу!» Нас предупреждают, что в руках у него мясницкий топор. Его так с топором и загнали в сарай. Ну, что тут делать? Стрелять в него как будто не положено, а у него топор. Вот такой, ну, обыкновенно мясницкий. Трахнет по башке – и привет родителям. Я, открыто говорю, задумался. А Зайцев спокойно подходит к сараю и сбрасывает заложку. Убийца даже ахнуть не успел, как Зайцев вышиб у него топор и ему еще для верности два раза врезал по морде. Тут мы замечаем, что убийца пьяный в дымину. Он все лезет и лезет к Зайцеву. И Зайцев вдруг озверел. Я у него еле вырвал этого убийцу. Зайцев бы его самого свободно убил...

Журу, должно быть, не понравился этот рассказ. Он слушал Воробейчика, чуть нахмурившись. Или просто Жур был еще занят своими мыслями, связанными с другими делами, и поэтому хотел, чтобы Воробейчик поскорее рассказывал.

На убийцу Жур не пошел смотреть, спросил только, из-за чего произошло убийство.

– Из ревности, – сказал Воробейчик.

– Ну ладно, я этим потом займусь, – решил Жур. И попросил Воробейчика произвести предварительный допрос убийцы.

Журу было очень некогда. Он в тот же день к вечеру должен был выехать на крупную операцию в Грачевку. Уже расставил соответственно людей и думал об этой

операции, старался думать только о ней. Но никак не мог по-настоящему сосредоточиться, потому что его все время отвлекали всякие другие более мелкие дела, которыми, однако, нельзя не заниматься.

Опять вдруг всплыло это аптекарское дело. Следовательно требовал от Жура каких-то дополнительных данных. Следовательно утверждал, что у него нет достаточных оснований подозревать именно Парфенова в убийстве Елизара Шитикова, хотя это яснее ясного.

Братья Фриневы, конечно, не признаются, что они наняли Парфенова на это убийство. И Парфенов не признается. Им всем невыгодно увеличивать себе меру наказания. Но их уличают вещественные доказательства. Разве это не улика, что фотоаппарат, подаренный братьями Фриневыми аптекарю Коломейцу и взятый потом в комнате мертвого аптекаря извозчиком Шитиковым, оказался в конце концов у Парфенова? Как он к нему попал? Как попали к Парфенову такие личные вещи Шитикова, как серебряные часы в форме луковицы, бумажник, опознанный женой извозчика?

Чего же еще надо следователю?

Жур готов, если угодно, снова заниматься этим аптекарским делом. Но ведь и так все ясно. И следователю тоже не вредно раскинуть мозгами. А главное – Журу некогда, у него сегодня важная операция в Грачевке.

К тому же его вызывают к трем часам в городской комитет партии: контрольная комиссия не согласна с решением партячейки губрозыска по делу Кумякина, работавшего здесь уполномоченным и получившего по партийной линии строгий выговор с предупреждением.

Жур, как секретарь партячейки, должен явиться в контрольную комиссию. И он должен все – держать в голове. Все подробности дела Кумякина, и аптекарское дело, и сложный переплет агентурных сведений, необходимых для операции в Грачевке.

Ни с кем он поделить этих дел не может. Он не начальник. Он, в сущности, обыкновенный работник уголовного розыска – уполномоченный. Старший уполномоченный. Только и всего. И, кроме того, у него болит рука, потому что для ее заживления нужен покой. Но покоя, наверно, не будет до самой смерти.

Жур все время хмурится. А Егорову кажется, что он хмурится оттого, что недоволен им, Егоровым. Но что же Егоров делает не так?

К пяти часам дня Журу наконец удастся во многом убедить следователя, побывать в контрольной комиссии, провести два допроса, имеющих некоторое отношение к предстоящей операции. И он заметно веселеет. И сразу веселеют приставленные к нему стажеры – Егоров и Зайцев.

Впрочем, Зайцева, кажется, не сильно занимает настроение Жура. Зайцев уверен, что все идет так, как и должно идти. Он спрашивает Жура:

- А может, вы допросите Соловьева?
- Какого это еще Соловьева?
- Ну, этого убийцу, которого мы с Воробейчиком привезли из Баульей слободы...

Жур хотел бы отдохнуть, почитать газету, выпить чаю. Даже неплохо было бы побывать дома перед операцией. Неплохо бы хоть часок вздремнуть. Но он сам не любит,

когда у него остаются «хвосты» от дневных дел. Они переходят на завтра. А завтра появляются новые дела и, стало быть, новые «хвосты». Особенно нехорошо переносить на завтра допросы, если их можно завершить сегодня. Зачем излишне томить арестованного человека?

– Давай его сюда, – говорит Жур.

Зайцев уходит. Молодец Зайцев! Он не ждет, что прикажет сделать Жур, он даже сам подсказывает, что делать Журу.

Жур готовится к допросу, кладет перед собой на столе бланки протоколов, вставляет в ручку новое перо.

В коридоре лязгает винтовка. Это милиционер и Зайцев ведут арестованного.

Наконец Зайцев открывает дверь и вталкивает в комнату худенького человека в разорванной рубахе без пояса.

Арестованный, видимо, еле стоит на ногах. Левый глаз у него заплаыл, нос вспух. Из рассеченной брови сочится кровь.

– Прошу садиться, – строго говорит Жур. И вдруг вскрикивает: – Афоня!

– Жандармы. Сучье племя – жандармы, – всхлипывает арестованный. – Глядеть на вас не хочу...

Жур выходит из-за стола.

– Да ты что, сдурел, что ли, Афоня? Это ж я, Ульян...

– Все вы гады... Жандармы...

– Ну и дурак, – удивленно смотрит на него Жур. – Да ты сядь, тебе говорят. – И, трогая его левой рукой за худенькое плечо, усаживает. – Егоров, налей воды...

Арестованный пьет воду, захлебывается, плачет, зубы стучат о край стакана.

В комнатке распространяется запах самогонного перегара.

– Я, конечно, дурак. Вы все больно умные, – опять всхлипывает арестованный и дрожит всем тщедушным телом. – Меня вот сейчас выведут в расход, а вы будете сидеть тут в тепле. Жандармы...

– Ну, будет молоть чепуху-то, – чуть суровеет Жур. Он гладит арестованного, как ребенка, по голове, будто старается причесать его жиденькие волосы. – Ты что, зазяб, что ли? Может, чаю выпьешь? Егоров, скажи, чтобы принесли чаю...

Приносят чай. Жур достает из ящика письменного стола сахар, кладет в стакан, размешивает ложечкой, подвигает стакан арестованному, вздыхает:

– Эх, Афоня, Афоня! Что ж это, брат, случилось-то такое?

– Случилось, – отхлебывает чай Афоня и морщится: чай очень горячий. – Марафонтова знаешь?

– Это какого? Илью Захарыча?

– Нет, Тимку, сына его.

– Конечно, знаю.

– Вот я его и аннулировал сегодня. Прямо насмерть. Даже сам не ожидал...

И Афоня медленно рассказывает историю своего тягчайшего преступления.

Жур не записывает ее в протокол. Он сидит не за столом, а посреди комнаты на стуле, опустив голову. Ему тяжело слушать эту историю.

Афоня Соловьев если не дружок ему, то, во всяком случае, старый знакомый, старый товарищ. Они еще в

тринадцатом году, в тысяча девятьсот тринадцатом, вместе работали в экипажной мастерской Приведенцева: Афоня жестянщиком, а Жур молотобойцем.

И во все бы мог поверить Жур, только не в то, что Афоня Соловьев, хилый, болезненный, смирный, может убить человека. А вот смотрите, убил. И зверским способом – мясницким топором.

– Может, еще хочешь чаю?

– Горит у меня все внутри, – показывает на голую свою грудь Афоня и опять вздрагивает и плачет.

Был давно такой слух, что Грушка, Афонова жена, путается с мясником Марафонтовым.

Надо было бы Афоне давно уйти от нее или ее прогнать. Но жалко было деток. Две девочки беленькие – Тамарка и Нина. Ну как они останутся без матери? И Афоня терпел. Может, еще, думал, наговаривают лишнее на Грушку злые люди.

Да и выяснить все это досконально Афоне было некогда. Он все время в разъездах. Постоянной работы давно нет. Все случайные заказы.

И Марафонтов в прошлом году ему дал заказ – сделать большие бидоны для молока. Афоня сделал, а деньги не получил. Марафонтов жаловался, что нету денег, – все, мол, израсходовал на новый магазин. Вот наторгую, мол, и отдам.

А Афоне тогда случилось уехать в Дудари, подработать на маслозаводе. Он работал там почти что восемь месяцев. Мог работать бы еще с полгода, но соскучился больно по семье – по своим девочкам. И по Грушке тоже.

Приезжает вчера, выходит на вокзале, идет в киоск

купить жене и детям подарки и тут встречает сильно подвыпившего соседа своего по дому Емельяна Лыкова, проводника вагонов, который со смехом нехорошим вдруг говорит: «Да ты что стараешься шибко насчет подарков-то? Разве хватит у тебя средств подарить такое, что дарит твоей жене Марафонтов Тимка?»

Вся душа как перевернулась у Афони от этих слов. Даже домой идти не захотел. Сдал он вещи в камеру хранения, а сам пошел к знакомой старухе в шинок тут же, при вокзале.

Уже сильно пьяный явился домой, когда девочки спали, а Грушка, заспанная, на его укоры дерзко ответила: «Что ты колешь мне глаза Марафонтовым? Что, ты разве денег мне много оставил на харчи, чтобы я не ходила к Марафонтову?»

Так вся ночь и прошла в скандале.

А утром Афоня снова выпил и пошел требовать долг за те бидоны для молока.

В лавке много было народу. Марафонтов не хотел излишнего шума при покупателях и стал тихонько выталкивать Афонию из лавки, говоря: «Ты и так и жена твоя хорошо попользовались от меня. Я жалею даже, что связывался с вами. Нужна мне твоя Грушка, как собаке пятая нога! Ее каждый может поманить, твою Грушку, за полфунта мяса. И тебя самого. Вечные вы нищие. Избаловала вас Советская власть. — И еще сказал Марафонтов уже за дверями лавки: — Уйди ты за ради бога и не являйся больше, а то вот тяпну я тебя неосторожно топором по башке, будешь знать, как являться оскорблять».

Эту мысль несчастную о топоре подал пьяному Афоне

сам Марафонтов. И еще взмахнул топором для острастки. А дальше уж случилось черт знает что.

Афоня выхватил у Марафонтова топор и закричал страшным голосом, что убьет в одночасье себя и всех подлецов, кто торгует и ворует и с чужими женами живет.

Марафонтов, может, в десять раз сильнее Афони Соловьева. Он саженого роста, Марафонтов. Но тут он струсил вдруг и кинулся во двор.

А в Афоне прибавилось сил от трусости Марафонтова. Он погнался за ним. И не верил до последнего, что убьет, что хватит у него смелости убить. Но убил...

Афоня опять заплакал, опустив голову. Потом поднял ее и сказал твердо, со злостью:

— А уж после приехала жандармерия, когда я запертый сидел в сарае...

— Да какая жандармерия? Чего ты мелешь, Афоня, несусветную чепуху?

— А вот та жандармерия, которая, видишь, глаз мне как испортила, — покривился арестованный. — Судить судите, можете даже расстреливать, а бить по глазам не имеете полного права. Не для этого Советскую власть устанавливали. Я сам с дробовым ружьем сражался против Колчака. Имею ранения...

Зайцев встал и вышел, но вскоре вернулся, — видимо, хотел показать, что не боится отвечать за свои действия. Он спокойно сидел у края стола и, не мигая, смотрел на арестованного.

Жур пошел к Водянкову. Он попросил Водянского взять это дело об убийстве к себе, так как убийца личный знакомый Жура. И едва ли теперь удобно Журу самому вести такое дело.

Арестованного отправили обратно в камеру.

Жур собирался на операцию. Он звонил по телефону, вызывал к себе людей – словом, делал все, что делается в таких случаях.

На Зайцева он не смотрел и ни о чем его не спрашивал, хотя Зайцев все время сидел у стола.

Только когда позвонили, что автобус готов, Жур сказал:

– А ты, Зайцев, иди домой. Отдыхай...

– Почему?

– Ты уже сегодня совершил один геройский подвиг. Будет с тебя...

– Ладно, – надел кепку Зайцев и пошел к двери. Но у двери остановился. – Я все-таки хотел бы выяснить, Ульян Григорьевич, с чего вы вдруг так обиделись на меня? Ведь я там был не один, в Баульей слободке, когда мы брали этого убийцу Соловьева. Со мной был товарищ Воробейчик, и он не считал, что я нарушаю инструкцию. Ну кто же знал, что этот убийца ваш знакомый? Или, может, даже дружок?

Жур надевал пальто. Надевать пальто при раненой руке ему было трудно. А Егоров не сразу сообразил, что надо помочь.

Журу стал помогать Зайцев.

– Спасибо, – сказал Жур, продевая в рукав левую руку.

Правую просто прикрыл полой и, не застегиваясь, пошел к автобусу.

Так Зайцев и не получил в тот вечер никаких ответов на свои, в сущности, дерзкие вопросы.

И на операцию не поехал.

Операция сложилась крайне неудачно. Агентурные сведения, на которых строился первоначальный план, оказались ложными или путаными.

В Грачевке не удалось найти не только крупной партии оружия, как рассчитывал Жур, но даже стреляной гильзы не удалось найти.

Дедушка Ожерельев и его сын Пашка тоже не дураки. Они сами до ареста или их сообщники, еще не задержанные, успели, видно, вывезти оружие из Грачевки. А куда вывезли – пока неизвестно. Да и было ли оружие здесь?

Жур уже стал сомневаться. И все-таки, надеясь на удачу, он всю ночь рыскал по этой слободе, по этим глубоким оврагам, застроенным покосившимися хибарками и бараками.

Все было безрезультатно.

Жур устал до последней степени, хотя и не желал из упрямства признаваться в этом даже самому себе. Пронзительный ветер исхлестал ему лицо, и шею, и плохо прикрытую легким шарфом грудь.

И спутники Жура уже стали сердиться на эту бесплодную операцию, когда произошла приятная неожиданность.

Приятной эту неожиданность назвал Воробейчик. Он первым и совершенно случайно набрел на крупного преступника, на Федьку Буланчика, известного прихватчика, который действовал почти всегда в одиночку, заметных знакомств не вел, и поэтому долгое время поймать его не удавалось.

Над обрывом над рекой Саманкой, открытый всем ветрам, стоит беленький, аккуратный домик вдовой прачки Курмаковой Авдотьи Захаровны. Ничего подозрительного за ней никогда не наблюдалось. Жила она после смерти мужа-портного одиноко, смиренно, стирала на дому белье – видная женщина лет за тридцать, русые волосы, голубые глаза, весьма опрятно одетая.

Известно было, что сватались к ней в разное время мясник Новокшенов, лавочник Дудник, столяр и ящичный мастер Орлов Егор Кузьмич – все тоже видные вдовцы. И ни за кого она не пошла. Говорили, что ей будто совершенно опротивел мужской пол.

И вдруг у нее, у этой прекрасной, прекрасного поведения женщины оказался ночью в доме опасный и злой ворюга Буланчик.

Он спал не на кровати, а на отдельной перине, постланной на сундуке, в одном белоснежном белье, ничем не укрытый, так как в домике жарко натоплено.

И еще топится плита, над которой сияют на полке медные тазы и кастрюли, начищенные до ослепительного блеска. А на плите жарится и потрескивает в глубокой сковородке картошка со свининой, нарезанной квадратными кусками.

– Он пришел ко мне недавно, – показывая на спящего, объяснила вдова. – Ну, пришел, прилег отдохнуть. А я ему вот готовлю ужин. Он через часик хотел уходить. Он всегда если зайдет, так ненадолго...

Буланчик спал так сладко, как спят только в раннем детстве. И причмокивал губами во сне – толстыми надутыми губами, – будто обиделся на что-то и обида эта никак не проходит.

А работники уголовного розыска Жур, Воробейчик, Водянков и Егоров стояли тут же у плиты и разговаривали с вдовой. Знала ли она, что этот человек преступник?

– Догадывалась, – кротко ответила она. – Он же нигде не работает, ничем не торгует, а одевается чисто, как какой-нибудь частник, нэпман. Вот глядите, какое у него пальто, с бобровым воротником...

– Это не его пальто, – определил Водянков. – Это доктора Кукшина пальто. Доктора Кукшина, покойника.

– Вот видите, – сказала вдова. – Я тоже так догадывалась, что это чье-то пальто. И как он не боялся его носить! Ведь всегда могли родственники доктора узнать, если вы, например, не родственник и тоже узнали. Но он очень смелый, Федя. Ведь сколько раз я ему говорила и советы давала, чтобы он бросил свое занятие. Я так ему говорила: «Брось, Федя, свою глупость, и тогда я буду с тобой жить. Даже, если хочешь, обвенчаемся. Я свободная гражданка». А он одно говорит: «Дотя... (Он так зовет меня – Дотя...) Я, – говорит, – Дотя, не глупее тебя». И вот, пожалуйста, достукался... – И женщина заплакала. – А я ведь знала его, когда он еще кровельщиком был. Он был хорошим кровельщиком. Он сватался ко мне, когда я еще не замужем была. Но родители толкнули меня, глупости ради, за Курмакова, вот за покойного моего мужа Курмакова, – и вдова показала на портрет мужчины с узенькими проволочными усами, висевший над сундуком, где спит Буланчик.

Егоров так же, как Водянков, как Воробейчик, осматривает, обыскивает весь домик, пока спит Буланчик. А Жур стоит подле Буланчика. И Егорову интересно, о чем думает сейчас Жур.

Наконец Жур кладет руку на плечо Буланчика.

– Ну-ка...

Буланчик вскакивает, сует руку под подушку. Но под подушкой уже нет браунинга. Браунинг в кармане у Жура.

– Да ты не пугайся, – говорит Жур. – Тебе бы раньше надо было пугаться...

Водянков пошел позвонить по телефону, чтобы вызвать автобус.

Автобус затарахтел у домика скорее, чем оделся Буланчик.

Буланчик все медлил и медлил. Жур обозлился.

– Выходи, – сказал он, слегка подтолкнув Буланчика. – Выходи. Нечего дурака валять...

Буланчик подошел к дверям в брюках, в сапогах, но без пиджака.

И тут черт дернул Егорова сказать:

– Пусть он наденет пальто, а то вон какой ветер. Его в одну минуту прохватит насквозь...

И Егоров, не спросившись, снял с вешалки пальто и, как швейцар, подал Буланчику.

Журу он не сообразил сегодня помочь надеть пальто, когда они ехали на операцию, не успел сообразить. А тут вот вору, преступнику, вдруг решил оказать услугу.

– Тебе бы, Егоров, на вешалке служить хорошо, в парикмахерской Маргулиса, – зло засмеялся Воробейчик.

И Жур сердито посмотрел на Егорова.

Всю дорогу в автобусе Воробейчик смеялся над Егоровым.

А Жур сердито молчал. Уж это можно было понять, когда Жур сердится. Конечно, он сердится не только на

Егорова. Ему неприятно, что так бестолково прошла операция.

Буланчик – это мелочь для Жура, копеечный трофей. Не стоило всю ночь бродить под ветром, чтобы словить Буланчика. А крупное дело не вышло.

Вот из-за этого и сердился Жур. Про Егорова он, наверно, и не думает, забыл. И Егоров немножко успокаивается.

Но когда автобус въехал во двор уголовного розыска и Воробейчик стал выталкивать арестованного из автобуса, не Воробейчик, а Жур вдруг сказал Егорову, кивнув на Буланчика:

– А ты что же? Подхвати его под ручку, окажи помощь... уж если ты такая... сестра милосердия...

Не поймешь Жура.

Зайцева он не взял на операцию за то, что Зайцев грубо обошелся с убийцей. А на Егорова сердился за то, что Егоров такой жалостливый. Чего же хочет Жур? Чего же он сам добивается?

– Иди домой, – сказал Жур Егорову. И посмотрел на свои ручные часы. Нам скоро опять на работу. Иди поспи...

Егоров пошел было домой, но, проходя по коридору мимо дежурки, увидел Зайцева. И Жур увидел Зайцева.

– А ты почему не ушел?

– Жду.

– Кого это?

– Вас. Надо бы нам все-таки поговорить, – как бы с вызовом сказал Зайцев.

– Что, мы с тобой завтра поговорить не успеем? – нахмурился Жур. Завтра еще будет время...

– А может, мне завтра не приходиться, – достал из кармана Зайцев пачку папирос «Цыганка Аза». – Мне тоже без толку неинтересно тут толкаться, если не дают работы. – И, слегка встряхнув пачку, так, что из нее наполовину выдвинулись три тоненькие папироски, протянул Журю. – Курите...

Жур не взял папиросу. Жест стажера, видимо, не понравился ему. И слова не понравились. Жур еще больше нахмурился. Но Зайцев не придавал значения этой хмурости и, еще раз встряхнув пачку, протянул ее Егорову.

– Хотя ты, кажется, не куришь.

– Иди домой, – опять сказал Жур Егорову. И слегка подтолкнул в плечо.

Но Егоров не уходил. Ему интересно было, чем кончится разговор Зайцева с Журом.

Зайцев размял папиросу в пальцах.

– Мне все-таки непонятно, Ульян Григорьевич, чем я вам не угодил. Ведь все-таки, как ни крутить, этот Соловьев убийца, хотя и ваш знакомый...

– Он приятель мой, – сказал Жур. – Хороший старый приятель, с молодых лет...

– Ну, тем более. Но я-то тут при чем? Я действовал согласно инструкции.

– Что, в инструкции сказано, что надо бить по глазам?

– В инструкции это не сказано, – чиркнул спичкой Зайцев и стал смотреть на огонек, раньше чем прикурить. – Но понятно, что если убийца с топором, надо действовать решительно и смело. И не целовать убийцу. В инструкции прямо говорится...

– Что ты мне тычешь инструкцию? – отогнал Жур от

себя рукой дым от папиросы Зайцева. – В инструкции всего не запишешь. Где, в какой инструкции сказано, что делать, когда хорошая, честная женщина живет с бандитом и любит его?

– У меня еще не было такого случая, – не понял Зайцев, к чему такой поворот в разговоре.

– И у меня раньше такого не было, – сказал Жур. – Ты вот инструкции читаешь. Прочитал еще книгу какого-то Сигимица...

– А что, инструкции не надо читать? – перебил его Зайцев. – Вы считаете, не надо?

– Нет, надо, – подтвердил Жур. – Но надо еще согласовывать инструкцию со своим умом, со своей совестью и с сердцем, если оно не деревянное...

Эти слова не удивили Егорова. Он даже уловил и противоречие.

– А я, – вдруг вмешался в разговор он, – а я, вы считаете, товарищ Жур, поступил неправильно, когда подал пальто этому Буланчику? Я ведь тоже, выходит, послушался своего сердца...

– Ты – это другое дело, – оглянулся на Егорова Жур. – Может, ты и правильно поступил...

– А почему же вы на меня сказали, что я эта... сестра милосердия?

– Ну, я тоже не святой, – улыбнулся Жур. Как-то непривычно для него, почти растерянно улыбнулся. – Я тоже могу ошибиться. И у тебя это как-то не к месту получилось. Но вообще-то нигде не сказано, что арестованного надо обязательно морозить. Ты правильно поступил, дал ему пальто, но подавать пальто не надо было. Это смешно. Но

ты погоди, ты сбил меня. Я чего-то хотел ответить Зайцеву.

– Вы хотели мне ответить, чем я вам не угодил.

– Да что, дело в том, что ли, чтобы мне угодить? – опять нахмурился Жур. – Ты можешь угодить любому начальству. Но дело не в этом. Ты обязан, мы все обязаны угодить всему народу в его трудной жизни...

– Ну, всем я угодить не могу, – скатал Зайцев окуроч, как шарик, и бросил в высокую вазу для окурков. – Это значит, и бандитам надо угодить. И ворам...

– Воры и бандиты – это не народ.

– А откуда же они берутся? – прищурился Зайцев.

– Вот над этим и надо подумать, – поднял брови Жур. – Надо понимать, как живут люди. В инструкции этого всего написать нельзя. Надо самим додумываться, отчего люди бывают плохими или несчастными.

– Человек создан для счастья, как птица для полета, – сказал Егоров. Я прочитал это в одной книге.

– Вот это хорошая книга. Я ее не читал, но знаю – хорошая, – поддержал Егорова Жур. – И мы с вами ведь не просто сыщики, как было в старое время. Мы с вами раньше всего большевики. А большевики объявили всему миру, что добиваются сделать всех людей счастливыми. И мы не должны держаться тут как будто мы какие-то чурки с глазами. Как будто мы ничего не чувствуем, а только лупим по глазам. Убийца, мол, значит, бей его...

Зайцев слушал теперь Жура, похоже, почтительно, но глаза у него как-то нехорошо косили. Вдруг он спросил:

– А вы сами, Ульянов Григорьевич, извиняюсь, с какого года член партии?

– Я? – опять чуть растерялся Жур. – Я с семнадцатого. А что?

– Ничего. Просто так спросил. Мой отец тоже с семнадцатого. Даже почти что с шестнадцатого...

Егорову было неприятно, что Зайцев задал Журу такой вопрос. Но Жур, должно быть, не обиделся на Зайцева. Жур только сказал:

– Не задевает, я вижу, вас, ребята, то, что я говорю. Молодые вы еще, не обтрепанные в жизни. Не клевал еще вас жареный петух. Ну ладно, пойдемте спать...

18

Они вышли на темную улицу, очень темную перед рассветом.

Ветер, посвистывавший всю ночь, бряцая железом крыш и карнизов, стих, упал. Но предутренний влажный холод знобил.

Жур поднял левой рукой воротник, нахлобучил шапку на самые глаза.

– Эх, ребята! Вам кажется, что вы одни проходите тут испытательный срок. А на самом-то деле все мы проходим сейчас через тяжелое испытание, весь народ. А вы этого не видите или не понимаете. Уж не знаю, как сказать...

– Кто не видит, кто не понимает? – спросил Зайцев. – Надо же конкретно говорить...

– Вот ты, например, не понимаешь, – посмотрел на него Жур. – У тебя, по-моему, большая муть в голове. Вот ты сегодня и напорол.

– Вы скажите конкретно: чего я напорол? – взъерился Зайцев. – Конкретно скажите...

Оно тогда только входило в моду, это слово «конкрет-

но», пришедшее в быт от политики, от яростных митинговых речей. Не всем еще ясен был его точный смысл, но почти все хотели его произносить. И Зайцеву нравилось это слово.

– Могу сказать конкретно, – улыбнулся Жур. – Ты повел себя в Баульей слободе как хвастун. Ты хотел похвастаться перед всеми, показать, какой ты смелый. А надо быть смелым, но не хвастаться этим, не рисоваться...

– Да я и не хвастался. Я просто немножко погорячился. И меня взяло зло...

– Ну, значит, ты нервный. Как это человека на работе вдруг может взять зло? Значит, ты слабый?

– Вы еще скажете, что я псих?

– Не знаю. Может, и псих. Ты же сам говоришь, что тебя взяло зло. Значит, ты собой не управляешь, если оно тебя взяло. А если человека взяло зло, если он позволил, чтобы оно его взяло, стало быть, он уже не видит, не может видеть, что делает. Не может анализировать...

Вот опять это слово, не очень понятное Егорову, – «анализировать».

– Ну хорошо, ты ловко вышиб топор из рук Соловьева. Это, конечно, хорошо. Хотя геройства большого я в этом тоже не вижу. Афоня Соловьев и так еле живой. А зачем ты его еще стал бить после того, как вышиб топор?

– А что же, я на него любоваться должен, если он фактически убийца?

– Ты, значит, решил ему тут же объявить приговор и привести в исполнение? А кто уполномочил тебя судить его? Тебе государство поручило только задержать убийцу. Только задержать поручило тебе государство. А судить

будут в другом месте. В другом месте будут разбираться во всех подробностях. А ты, значит, превысил власть. А за превышение власти полагается домзак...

«Домзак» – это тюрьма. Но тюрьму тогда тюрьмой не называли. Лучше, благозвучнее казалось называть ее «домзак», что значит дом заключения, или «допр» – дом предварительного заключения, или «исправдом» – исправительный дом. Но тюрьма, как бы ее ни называть, все-таки есть тюрьма.

И Зайцев, понятно, притих. Вот когда он наконец притих и перестал петушиться.

Молча шли они втроем по пустынным улицам, мимо темных силуэтов зданий, тускло поблескивавших стеклом неосвещенных окон.

Город спал в сизой мгле, город, полный тревог, огорчений и надежд, противоречий и сложностей, большой сибирский губернский город, в котором все время клокочут страсти, клокочут даже в те часы, когда кажется, что город спит.

Впрочем, именно в эти часы и совершаются многие огорчительные события, вмешиваться в которые обязаны по долгу своей службы вместе с другими и эти трое, что идут по уснувшему или кажущемуся уснувшим городу.

В этом городе всегда, как во всем мире, были воры, грабители, убийцы. Но должны ли они быть всегда? Всегда ли сильный будет обижать слабого? Слабый всегда ли будет хитрить, чтобы обмануть сильного? Всегда ли человеческую жизнь будут омрачать звериные нравы?

Журу шел тридцать третий год, но в черных, дегтярного оттенка волосах его уже все явственнее проступала седина, и порой он сам себе представлялся стариком.

К непогоде, как у старика, у него ноет не только недавно раненная рука, но и разорванное осколком немецкого снаряда бедро и плечевая кость левой руки, задетая разрывной пулей.

Все-таки он побывал на двух войнах – на германской и гражданской. И сейчас каждый день для него как бы продолжается война, может быть, более трудная, которой не видно ни конца ни края. А во имя чего идет эта война? И чем она должна завершиться в конце концов?

Жура постоянно одолевают какие-то посторонние мысли, не имеющие как будто прямого отношения к его делу, к его ежедневным делам, но все же как-то связанные с его делами, с его жизнью, со смыслом его жизни.

Особенно томят его раздумья по ночам, когда, усталый после напряженного дня, он долго не может уснуть, не может, как он сам говорит, собраться с мыслями.

А ему обязательно надо собраться с мыслями.

Внешне он собранный человек, всегда аккуратно одетый, по-военному подтянутый. Никто, например, никогда не видел его небритым. Он научился бриться даже левой рукой. Он многому научился.

И все-таки ему часто кажется, что он еще не понял чего-то самого главного в жизни, что записано, наверно, в каких-то важных книгах, которые ему некогда прочесть. Некогда ему и додумать многое. Некогда разобраться в вопросах, встающих перед ним.

– А вы, ребята, как считаете, воры всегда будут или все-таки переведутся?

– Не знаю, – затрудняется Егоров.

– А ты, Зайцев, как думаешь?

– А чего мне думать? Мне все равно...

– Ну как же это все равно? – удивляется Жур. – Вы же, ребята, комсомольцы. Как я понимаю, вы готовитесь стать не только работниками уголовного розыска, но и коммунистами. А коммунист и комсомолец на любой работе обязан думать: какая у него работа, для чего она, что из нее должно получиться. Нет, Зайцев, это не ответ. Тебе полагается думать.

– А чего мне еще думать? Вы же сказали, что мне полагается домзак за превышение власти.

– Ну, это само собой. Но и в домзаках люди думают. Их для этого туда и помещают.

– А вы правда считаете, меня надо посадить?

– Вместе со мной, – говорит Жур. – Ты стажер, а я уполномоченный. Я обязан был тебя предупредить. Но мне и в голову не приходило...

Из-за угла вылетает взмыленная пара лошадей, впряженная в широкую пролетку, полную пьяных мужчин и женщин. Кучер, видимо тоже пьяный, свесился с козел, вот сейчас свалится.

Вожжи держит, стоя в пролетке, молодая женщина с распущенными волосами. Она хлещет лошадей длинным кнутом и кричит что-то отчаянное, будто зовет на помощь. Нет, это она поет.

И все остальные в пролетке поют. Но как-то смутно, тревожно становится от их пения.

– Нэпманы, – смотрит на них Егоров.

– Ну, почему обязательно нэпманы? – говорит Жур. – Если б одни нэпманы гуляли, это не страшно было бы. Отгуляли и померли, не жалко. Они мутят хороший народ,

вот в чем беда. Я на этом нэпманском деле хороших товарищей потерял. Одного мне было сильно жалко, вот как Афоню Соловьева. Я даже заплакал, когда узнал все подробности...

Нет, он не такой каменный, Жур, как иногда кажется. Но, может, это даже хорошо, что он не каменный. Егоров вспомнил, как Жур признался им у кладбища, что долго боялся покойников.

И сейчас Жур рассказывает историю своего товарища, хорошего парня, который сел в тюрьму. И ничего нельзя было сделать. Был виноват этот товарищ. Хотя не один он был виноват. И условия жизни были виноваты, если можно винить условия жизни.

– Хотя условия жизни винить нельзя, – подумав, сказал Жур. – Человек должен сам закалять себя, должен думать. Анализировать.

Егоров хотел было спросить, как понимать это слово, но не решался перебить Жура.

Жур остановился подле своего дома, взялся за холодное кольцо калитки, но во двор не вошел. Будто вспомнив что-то, отпустил кольцо, стал рассказывать, как трудно работать в уголовном розыске. Ведь при нынешнем разгуле бандитизма, воровства, при нэпманском подкупе работников не на всех и в розыске можно положиться. И в розыске есть мутные люди.

– Ты, Зайцев, не обижайся. У тебя, я замечаю, есть муть в голове, но я тебя мутным полностью не считаю. Но есть просто мутные. И они все-таки пока работают. Мы их выявляем, убираем. Но есть такие, что будто бы и хорошо работают. У них есть опыт, знания, сноровка. Но не вся их сноровка нам годится...

Это удивило Егорова больше всего. Вот уж чего он никогда не ожидал и не думал, что в розыске есть мутные люди.

– Даже взяточники есть в самом розыске, – сказал Жур. – И их не всегда легко поймать за руку. Ловим, но не всегда можем поймать. И кроме того, у нас даже были случаи, когда некоторые наши работники стреляли на операциях в своих же сотрудников, в коммунистов и комсомольцев. Попробуй потом разберись, кто убил сотрудника, бандиты или еще кто...

Это удивило и Зайцева. Он спросил:

– Но неужели это так и остается неизвестным? А, может быть, они и сейчас в угрозиске, эти люди?

– Какие люди?

– Ну, которые хороших сотрудников... укоцали.

– Очень приятно, – сказал Жур. – Очень, очень приятно. Ты, я смотрю, уже научился, говоришь «укоцали». Это же бандиты так говорят. Но я думал, что комсомольцы-то уж покажут пример, как можно переплыть море и не утонуть в море, как можно убирать грязь и не завязнуть в грязи...

– А что? – не сильно смутился Зайцев. – И Воробейчик так говорит. А он работник, считается, опытный...

– Очень опытный, – подтвердил Жур. – У Воробейчика и у других вы можете многому поучиться. И обязаны учиться. Но и Воробейчика и других, я думаю, вы тоже многому можете поучить. Не худо и Воробейчику будет у вас поучиться...

Это было уж совсем непонятно Егорову. Чему же он может поучить Воробейчика? Воробейчик только смеется над ним.

А Зайцеву понравились слова Жура. Зайцев понял, что весь этот разговор происходит именно потому, что их, стажеров, скоро переведут в штат. Это, должно быть, уже решено. Иначе не стал бы Жур тратить на них время.

– Вы должны, ребята, собрать все хорошее, что в вас есть, и показать это на работе, – сказал Жур. – Показать, что вы настоящие комсомольцы, что вы работаете не просто за кусок хлеба, за зарплату, а за идею, что вы чувствуете эту идею каждый день, каждый час. И тогда к вам никакая грязь не прилипнет. Спокойной ночи, ребята...

Жур снова взялся за кольцо калитки, повернул его и оглянулся:

– А ты, Зайцев, особо подумай.

Зайцев засмеялся.

– Видишь, – сказал он Егорову, когда Жур скрылся в глубине двора, – мне ведено особо подумать. То ли Жур считает тебя умнее, считает, что ты уже все обдумал. То ли все выходит наоборот...

– Наоборот, – сказал Егоров. – Жур тебя уважает. Ты ему нравишься.

– Что я ему, барышня, нравится? – опять засмеялся Зайцев.

Журу в самом деле нравился Зайцев.

Впрочем, многое нравилось и многое же не нравилось. И не всегда было легко отличить, что же нравится и что не нравится. Одна и та же черта в характере Зайцева вызывала разное отношение к нему.

Зайцев был необыкновенно подвижен, горяч и испол-

нителен. Против этих качеств едва ли можно возражать. Их сразу обозначили в уголовном розыске как оперативность. Но в оперативности Зайцева проступала и хищность.

И хищности этой он не скрывал. Он, казалось, не видел существенной разницы между, допустим, Афоней Соловьевым и Пашкой Ожерельевым. Оба для него были одинаковыми преступниками.

Он даже огорчился, когда узнал, что Афоню Соловьева суд приговорил не к расстрелу, как Пашку Ожерельева, а к заключению на десять лет.

– Мало. Я бы его тоже стукнул, этого малохольного Афоню. Ну что это десять лет?

– Давай, – предложил Водянков, – давай я тебя, Зайцев, запру не на десять лет, а только на трое суток вот у нас тут, в предварилке. Парашу тебе поставлю для удобства. Посиди попробуй, как это другие сидят...

Зайцев смеялся.

Может, в нем еще не перебродила, не перегорела мальчишеская страсть к шалостям, к озорству? Может, в нем самом еще борются разные начала? Может, с возрастом он станет серьезнее?

А пока ему многое кажется смешным. Особенно его рассмешила Дуня, девушка из бывшего заведения дедушки Ожерельева, пришедшая в уголовный розыск к Журу посоветоваться, как она сказала, «насчет дальнейшей жизни». Нашла куда идти советоваться. «Вот тоже дура», – определил Зайцев. И спросил:

– Надеешься получить советы, как лучше обирать клиентов?

Дуня вдруг заплакала. Так, заплаканная, она и вошла в комнату Жура, сказав:

– Этот рыжий у вас, товарищ начальник, просто очень нахальный...

Жур сделал замечание Зайцеву.

– А чего я ей сказал? – удивился Зайцев. – Чего она из себя строит? Обыкновенная эта самая... Ее бы тоже надо устроить вместе с дедушкой Ожерельевым. Все они одинаковые...

– Да, много, я гляжу, мути у тебя в башке, Зайцев, – говорил Жур. – Огромное количество...

Но муть – это еще не очень опасная вещь. Муть еще рассеется, отойдет, осядет.

Зайцев свое дело делает, ловко делает.

Его уже заметил сам товарищ Курычев. Ночью во время генерального обхода города, вернее объезда, Курычев пригласил вдруг Зайцева в свою машину, в старенький «рено». Как это случилось – непонятно, но Зайцев оказался в одной машине с самим начальником уголовного розыска.

– Что, расскажи, тебя Курычев спрашивал? – допытывался потом у Зайцева Воробейчик.

– Ничего особенного. Просто похвалил вас и меня за то, что мы лихо задержали этого Соловьева Афоню. Говорит, что это был героический акт. И кто ему про это рассказал?

– Ты, наверно, и рассказал.

– Нет, я ему ничего не рассказывал. А он сам забавный...

– Кто забавный?

– Ну, Курычев. Видно, тоже, как все грешные, побаивается бандитов...

– Почему ты думаешь?

– По всему. Это же сразу заметно. Когда на Селива-

новской мы входили в эту малину – помните, Васюкова квартира, на втором этаже? – он дверь дернул и остановился. Меня вперед пропустил. Будто из вежливости. А потом, когда туда зашли вы и Водянков, он стал сильно распространяться, чтобы все видели, что он не кто-нибудь, а сам начальник. Даже перед этими девками рисовался, расстегивал пальто, чтобы видели, что у него орден...

Зайцев не боялся даже в дежурке смеяться над начальником. Все должны были понимать, что он и перед начальником не собирается заискивать и пресмыкаться. Ну что из того, что сам Курычев пригласил его в свою машину? Он, может быть, из соображений собственной безопасности его пригласил. Может, с Зайцевым Курычеву спокойнее во время обхода. А Зайцеву все равно с кем ехать...

– Ох и мировой этот парень – Зайцев! – восхищался вечером в дежурке Воробейчик, сидя в кругу сотрудников, еще свободных от происшествий. – Вы не смотрите, что он стажер. Мы все еще наслужимся под его начальством. Вот попомните мои слова. Он далеко пойдет.

А Жур продолжал относиться к Зайцеву несколько настороженно. По-прежнему Жур не мог определить точно своего отношения к нему. Егоров казался проще Зайцева, понятнее. За Зайцевым же нужен глаз и глаз. Никогда нельзя угадать, что он сделает, если ему дать полную волю на какой-нибудь операции.

И в то же время Зайцев все больше нравился Жур. Не во всем, но нравился. Нравилась напористость Зайцева, безотказность в деле и, конечно, смелость. Однако и в смелости его было что-то не очень правильное, что ли...

Жур не мог до конца разобраться в Зайцеве. Да он и не торопился в выводах. Он сам сказал однажды стажерам:

– Вы, ребята, не думайте, что я старше вас и, значит, все хорошо понимаю. Я сам до многого еще не додумался. И вы, я считаю, тоже должны шевелить своими мозгами. Вот, например, у нас как поется в нашем гимне? «Весь мир насилья мы разрушим до основания, а затем...» Как вы, ребята, вот это, например, понимаете – «а затем»?

– Что ж тут не понять! – удивился Зайцев. – Все ясно: «...а затем – мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем...»

– Вот и не ясно, – возразил Жур. – Некоторые так понимают, что мы сперва все разрушим, и, мол, давайте только разрушать. А я считаю, что автор гимна, как говорится, поэт, вставил эти слова «а затем» в том смысле, что не когда-нибудь потом, а сразу, тут же, мы и обязаны его строить, то есть новый мир. И это мы видим на фактах. Мы разгребаем обломки от старого мира, убираем мусор, и тут же, сразу, нам надо строить. Поэтому нельзя смотреть так, что мы должны только ловить и уничтожать преступников. Мы должны искать, где причина, что человек становится преступником. И эту причину наше государство должно начисто уничтожить...

– А преступников уничтожать не надо?

Это спросил Зайцев и опять скосил глаза.

– Нет, почему же, – сказал Жур. – Преступников нужно уничтожать. Тут никакого спора нет. Нужно и убивать. Но надо все время смотреть, может, кого удастся и исправить...

– Мало кого, – покачал своей огненной головой Зайцев.
– Мало кого удастся исправить...

— А это мы потом посмотрим, мало или много, — нахмурился Жур. — Но я ведь это к чему говорю? Вот вы возьмите меня. Я человек, конечно, сердитый. Меня в жизни еще в детстве много обижали. Но даже я стараюсь не сильно сердиться, когда я на работе. Я другой раз нарочно сдерживаю себя. А вы ребята молодые. Вам еще не из-за чего сердиться...

Жур пристально смотрел чуть печальными черными глазами то на Зайцева, то на Егорова, хотя Егорова уж никак нельзя было заподозрить в том, что он излишне сердит. Ему не вредно бы, пожалуй, даже добавить злости, что ли, Егорову. Уж очень он тихий.

— Нам, ребята, еще воевать и воевать. И вашим детям, когда они у вас будут, еще придется, однако, сходить на войну. Но мы должны всегда помнить, за что мы воюем. Ты правильно сказал в прошлый раз, Егоров, что мы воюем за всеобщее счастье на земле...

Егоров этого не говорил. Но сейчас он не хочет перебивать Жура, не решается перебивать. Он сидит и внимательно слушает. А Зайцев ерзает на стуле, испытывая нетерпение.

Потом он вызывает Егорова в коридор и говорит:

— Ты не сильно развешивай уши. Тут еще есть одно серьезное дело. Как бы нам обоим не погореть. С нас сегодня будут снимать анкету. С меня уже сняли. Сам Курычев велел. Он даже сердился, спросил, почему до сих пор со стажеров не сняли анкеты. «Я, — говорит, — не буду их утверждать без анкет...»

— Ну что ж, — сказал Егоров, — пусть снимают анкету. Мне скрывать нечего...

– Да я не об этом, – поморщился Зайцев. – Ты, главное, вот учти: тебе двадцать два года.

– Да нет, что ты! – засмеялся Егоров. – Мне только семнадцать. И то еще нету. Зимой будет, в январе...

– Глупый, ты не обижайся, но ты, честное слово, как дурак. Они обоих нас примут. Я уже все выяснил. У них теперь есть две штатные должности. Они передвижку сделали. Но им обязательно нужен возраст. Я сказал, что мне уже исполнился двадцать один год, а ты говори, что тебе двадцать два. Ты выглядишь старше меня. У тебя вид угрюмый. А метрики все равно не спрашивают.

– Неудобно как-то, – задумался Егоров. – Поступаем на такую работу и вдруг сразу же допускаем обман. Вроде как сами мы жулики...

– Ну, как хочешь, Егоров. Но ты отсюда можешь свободно вылететь. Один парень вот так же, мне рассказывали, прошел весь испытательный срок, а потом вылетел из-за молодости лет. У него двух лет не хватало.

– А если...

Егоров хотел еще что-то спросить, но из глубины коридора, из полутьмы, закричали:

– Егоров!

Это его позвал Воробейчик.

Почему-то именно Воробейчику поручили снимать со стажеров анкету. Но Егоров сейчас даже обрадовался этому. Воробейчика он не любит. Поэтому он, думается, не обязан говорить ему правду. Вот если бы Егорова спрашивал Жур, Егоров бы сказал честно. А Воробейчик... да ну его!

И, стоя перед ним, на его вопрос о возрасте Егоров бессовестно сообщает:

– Мне сровнялось двадцать два года. Уже сровнялось...
Еще весной сровнялось...

И все-таки сразу потеет, как от тягчайшего напряжения. Нет на свете, наверное, более тяжелой обязанности, как обязанность врать.

Воробейчик спокойно записывает. Заполнив всю анкету, говорит:

– У тебя, Егоров, хорошее происхождение, чисто пролетарское...

Егорову это приятно. Однако, помедлив, Воробейчик продолжает:

– Но для работы в уголовном розыске у тебя нет призвания. Понимаешь, призвания.

– Не понимаю.

– Призвание – это когда человек просто создан для этого дела. Просто создан. Понятно?

– Нет, не понятно, – мотает давно не стриженной головой Егоров.

– Неужели непонятно? Ну, как же это тебе еще объяснить, если ты такой... ну как это... вроде вялый, как после сыпного тифа? А в уголовном розыске должны быть люди очень понятливые, быстрые – ну, как бы тебе это сказать? – сообразительные. Чтобы они никогда ничего не боялись. Ни живых, ни мертвых. И чтобы всегда были, ну, одним словом, – начеку. Ну разве ты можешь быть таким?

– Могу, – расправил плечи Егоров.

– Упрямый ты, вот это я вижу, как какой-нибудь, – не обижайся, – ишак. Ну ладно, как-нибудь разберемся.

Воробейчик собирает со стола бумаги и уходит.

В тот же день в узенькой комнатке Жура происходит короткое совещание.

Стажеры на этом совещании не присутствуют, потому что разговор идет о них. Быть ли им сотрудниками уголовного розыска, губернского уголовного розыска, – вот этот вопрос и решается сейчас.

Впрочем, о Зайцеве вопрос почти решен. Все высказываются за него.

Только Жур сделал одно замечание. Он сказал, что Зайцева надо немножко сдерживать, Зайцев слишком горячий. Ну что же, это не такой уж грех, что горячий. Работа тут в общем не холодная. Холодные сапожники тут не требуются.

Зайцев уже знает, что идет такое совещание. Знает, что там, в узенькой комнатке Жура, сейчас решается его судьба. Но он спокоен за свою судьбу. Он спокойно пьет в буфете чай с печеньем «Яхта».

Впоследствии, наверно, он купит себе такой же термос, как у дежурного по городу Бармашева. Или не купит. Даже скорее всего не купит. На кой ему дьявол термос?

– Налей мне еще стаканчик, – говорит он буфетчице.

– Опять с лимоном?

– Конечно.

Зайцев совершенно спокоен.

А Егоров волнуется. Он сидит за столиком против Зайцева, тоже пьет чай, но не с печеньем, а с булкой и ужасно волнуется. У него даже пальцы холодеют от волнения. Он греет их о стакан.

И Егоров волнуется не напрасно. На совещании только Жур высказался за него. И то очень осторожно.

– Почему нам не попробовать его еще? – говорит Жур. – Парень он, видать, честный, серьезный, старательный.

Но Воробейчик прямо кипит от злости:

– Да куда же его еще пробовать? Месяц пробуем. Сегодня ровно месяц.

– У меня против Егорова нету возражений, – разглаживает пышные усы Водянков. – Парень он как будто ничего. Но не могу я его понять, вроде как он робкий, что ли. Застенчивый какой-то.

Вот за это слово «застенчивый» и цепляется Жур, защищая Егорова.

– А что же, – говорит Жур, – надо, чтобы человек был нахалом? Он просто, я замечаю, совестливый паренек. А это, мне думается, неплохо. Если есть сомнения, можно ему дать еще самостоятельное задание, тем более он комсомолец. Неплохой, я считаю, комсомолец...

– Ну, разве что комсомолец, – ухмыляется Воробейчик.

И тут происходит странное. Воробейчик, все время выступавший против Егорова, предлагает послать его с последним заданием на «Золотой стол».

Казалось бы, Воробейчик мог придумать Егорову более трудное задание, на котором бы Егоров уж наверняка провалился. Но Воробейчик как будто настаивает на этом задании. Ну что ж, Жур не возражает.

Час спустя он вызывает к себе Егорова и спрашивает:

– Ты можешь попримечнее одеться? У тебя есть во что?

– Есть, – говорит Егоров.

– Ну вот, оденься как можно лучше и вечером пойдешь на «Золотой стол».

«Золотой стол» – это казино, где играют в лото, в карты и еще во что-то. Оно помещается в центре города, почти рядом с уголовным розыском, в следующем квартале,

против кинотеатра «Красный Перекоп». Там собираются богатые люди – нэпманы, старатели с золотых приисков. И жулики и бандиты, бывает, тоже там собираются. Особенно много бывает карточных шулеров, есть приезжие шулера.

Егоров в «Золотом столе» ничего особенного не должен делать. Если, конечно, вспыхнет скандал, он обязан задержать подозрительных. Ему поможет в этом милиционер, который стоит внизу, у подъезда. А так Егоров должен только наблюдать, не привлекая к себе внимания. Пусть все думают, что он просто игрок, молодой нэпман, гуляющий глупый молодой человек. Он может принять участие в игре в лото или в какой-нибудь другой игре. Для этого ему выдается казенных три рубля. Если проиграет, не страшно. Если выиграет, тоже. Вот и все. Сам, конечно, он не должен затевать скандалов. Боже упаси! Он должен держаться скромно, ни во что без толку не впутываться.

– Ну иди, Егоров, – сказал Жур. – Желаю тебе... Ну, словом, иди и старайся, чтобы все было как следует...

Егоров зашел домой, пообедал, переоделся, надел почти новый, перешитый Катей френч цвета морской волны, аккуратно причесался и уже в самую последнюю очередь посмотрел на башмаки.

Башмаки до крайности худые. Он уже два раза их сам ремонтировал, прикреплял дырявые подметки тонкой проволокой, вырезал из картона стельки. Все равно вида они никакого не имеют. Хотя их можно еще подкрасить сажей.

Егоров развел в керосине сажу и, поставив ногу на ступеньку крыльца, стал подкрашивать башмаки.

Его окружили племянники. Каждый хотел помочь ему в этом деле.

В одно мгновение они измазались, как чертенята. Но больше всех измазался Кеха. Он старался всех оттолкнуть и кричал, что это не чей-нибудь, а его папа, поэтому только он, Кеха, имеет право красить отцовские башмаки.

– Да он и не папа тебе, – сказал младший Катин сын. – Нам он дядя, а тебе чужой.

– Не чужой, не чужой! – закричал и заплакал Кеха. И стал ругаться вдруг такими словами, какие не только в три или в четыре года, но и в тридцать лет не все, пожалуй, знают.

Егоров растерялся. Он утешал Кеху, говорил, что он ему, правда, не чужой, но слова плохие, нехорошие слова. Надо их забыть. Поскорее забыть.

Егоров вышел из дома расстроенный. И всю дорогу думал то о Кехе: «Взяли ребенка, так надо воспитывать», – то о том, что ему, Егорову, самому сегодня предстоит.

Все-таки он идет сейчас на свое последнее испытательное задание.

Завтра уже будет ясно, как решилась его судьба. Вернее, она решится сегодня. Но Кате он об этом ничего не сказал, чтобы она не волновалась лишний раз.

А сам он сильно волновался. Хотя чего бы ему волноваться? Ничего страшного там не может быть. Да если и будет, он, пожалуй, не шибко испугается. За этот месяц он уже кое-что повидал. Все будет хорошо, как надо. Иди, Егоров...

В девятом часу вечера у развалин Хмуровского пассажа, сгоревшего еще в гражданскую войну и до сих пор не

восстановленного, он неожиданно встретил Жура.

У Жура был редкостный свободный субботний вечер. Он шел домой ужинать. Он так и сказал с улыбкой Егорову: «Иду домой ужинать». А Егорову очень интересно: как живет дома Жур? Если ли у него дети? Но спрашивать об этом неудобно. Не такие у Егорова с Журом отношения, чтобы спрашивать о домашних, о семейных делах.

Жур оглядывает Егорова под фонарем, видит, что у него под распахнутой телогрейкой красивый френч, – не «френч» теперь надо называть, а «тужурка».

– Что же ты так всегда не ходишь? У тебя же вид совсем другой, солидный...

Это звучит как похвала. Но Егоров вдруг вспоминает свой грех и совсем некстати в замешательстве говорит:

– Это все ничего, но я напутал в анкете...

– Пустяки. После исправишь.

– Но я здорово напутал...

– Исправишь, – хлопает его левой рукой по плечу Жур. – Анкета – это дело не страшное. Ты сейчас вот старайся, чтобы все было хорошо, умно. Последнее тебе задание – и, можно считать, кончился твой испытательный срок.

Жур идет с ним по улице, под неяркими сегодня фонарями. Видимо, опять падает напряжение на электростанции. Никак ее не могут наладить после гражданской войны.

– Наладится, все наладится, – смотрит на фонари Жур. – Лет через десять, через двадцать никто не узнает наш город. Это будет мировой город.

Так любили тогда говорить, лет тридцать с лишним назад: мировой парень, мировой город, мировые дела.

Жур дошел с Егоровым почти до самого казино, потом свернул в переулок к своему дому и сказал:

– Ну, счастливо тебе, Егоров. Работай. Главное, не горячись. Мы еще увидимся сегодня. Я с двенадцати ночи буду дежурить по городу...

Егоров даже удивился: почему это Жур так сказал? Отчего тут надо горячиться? Все спокойно.

20

У подъезда, где ресторан, стоит бородатый, в расшитой золотом ливрее швейцар. Он открывает двери Егорову. Егоров снимает внизу, на вешалке, телогрейку, фуражку, еще раз причесывается у огромного зеркала и поднимается на второй этаж. Нет, теперь он больше не волнуется.

В огромном зале расставлены длинные столы. За столами сидят какие-то ветхие старушки в допотопных шляпах, старички в стоячих воротничках, каких нынче уже не носят, полные, румяные мужчины с младенческими лицами и с телами купчих.

Все это лавочники, бывшие чиновники, домовладельцы. Они сидят над узкими полосками картона с цифрами.

А у стены на возвышении стоит однорукий, усатый инвалид и выкрикивает номера:

– Двадцать восьмой–и... Тридцать шестой–и...

Для чего он вытягивает это «и»? Егорову очень смешно. Но он не смеется. Никто не смеется, и он не смеется.

У него есть казенных три рубля. Но он пока не собирается играть. Он ходит меж столов, как ходят многие, с виду такие же, как он. Никто тут не догадывается, что он из уголовного розыска.

Вдруг он видит знакомое круглое лицо.

Это Ванька Маничев покусывает белыми зубами черную костяшку, которой закрывают цифры, и жадно смотрит на однорукого инвалида, выкрикивающего номера.

Ванька сейчас, увлеченный игрой, никого не замечает вокруг себя. А Егоров его хорошо видит. И сердце у Егорова чуть замирает. Ванька для него теперь навсегда связан с Аней Иващенко. Может, и Аня здесь? Нет, Ани не видно. А где же она?

И хотя Егоров все это время, все дни после их недавней встречи, думал, что он уже вытеснил Аню из своего сердца, Аня все-таки волнует его. И наверно, еще долго будет волновать. Пусть он думает, что уже не любит ее. Даже Ванька Маничев, этот бывший его дружок, оказавшийся нэпманским холуем, интересен Егорову только потому, что связан с Аней. Может, он уже женился на ней?

Но какое дело Егорову? Пусть женится. Пусть они все женятся. Он занят своим делом. Он заканчивает сегодня свой испытательный срок.

Егоров даже взглядом не хочет встретиться с Ванькой, проходит, уже не глядя на него, меж рядов, переходит в соседний зал, поменьше.

Вот из-за этого зала и все казино называется «Золотой стол». Здесь играют в карты.

И все здесь необычное, даже таинственное. Горят большие голубые, с мохнатой бахромой люстры. Окон не видно. На стенах висят черные полосы гладкой материи, на которой вышиты серебром и золотом луна и звезды, цветы и птицы и какие-то знаки, иероглифы.

Душно здесь и накурено так, что дышать, кажется, не-

чем. Но никто этого, должно быть, не замечает. За небольшими квадратными столами с зеленым суконным полом сидят нервнобольные, с землистыми, дергающимися лицами игроки. Коротко, сердито переговариваются. Иногда стучат по столам кулаками. Но никто тут и этому не удивляется.

Только важный старик с задумчивым лицом в бакенбардах, разносящий картонные колоды, изредка плаксивым голосом просит:

– Нельзя ли поаккуратнее, а?

Кажется, что тут собрались вдруг ожившие покойники. Все у них так же, как у живых, а лица покойницкие. И носы, как у покойников, острые.

Впрочем, это, может быть, свет от люстры, от боковых светильников, укрытых воощеной бумагой, зеленовато–серый свет искажает лица. И у Егорова сейчас лицо, наверно, не лучше, чем у игроков.

Егоров на ходу смотрится в мутное зеркало. Да, лицо у него потемнело, позеленело. Все, значит, зависит от света. А для чего тут такой свет? Для чего это разрешают в центре города глупую какую-то игру в карты?

Тут ведь не только нэпманы и приискатели сидят, но и, может быть, кассиры – сидят и проигрывают тайком казенные деньги.

Однако никак не угадаешь, кто тут кассир, кто нэпман и кто просто жулик или шулер.

Все игроки выглядят почти одинаково. И Егорову никто не поручал проверять у них документы. И вообще непонятно, зачем его послали сюда. Глядеть за порядком? Но тоже непонятно, какой тут должен быть настоящий порядок.

Егоров переходит от стола к столу, хочет все-таки понять, как идет игра, какие действуют правила. А сам играть пока не собирается. Да он и не умеет. Он может только вглядываться в лица, может только стараться угадать, кто тут подозрительный.

И все ему кажутся подозрительными, хотя он понимает, что это неправильное у него представление. Нельзя же всех подозревать. Но очень возможно, что здесь сейчас присутствует среди игроков необыкновенно опасный преступник, которого давно разыскивают. И вот его-то Егоров как раз и прозевает. А что он может сделать? Ему ведено только наблюдать. Вот он и наблюдает.

Наблюдение это быстро утомляет его. Глаза все сильнее пощипывает густой табачный дым.

Егоров выходит в коридор и видит белую дверь с небольшой красной табличкой: «Пти шво». А за дверью что-то негромко гудит и пощелкивает, и слышатся голоса. Можно ли войти в эту дверь? Надо ли входить? И что это значит — «Пти шво»?

Раздумывать, однако, долго не приходится. В дверь входят один за другим разные люди. И Егоров входит.

Оказывается, в этом помещении есть еще один зал, где светло, и чисто, и на белых стенах висят картины. А в самом центре зала огромный круглый стол. И вокруг стола толпятся люди. Много людей — молодых и старых. Больше молодых.

Некоторые выстроились вдоль стены в очередь к серебряному кассовому аппарату, который выщелкивает узенькие билетки. Протяни кассирше рубль и получишь билетик. Потом с этим билетиком надо пробиваться сквозь

толпу к высокой, черной, горбоносой женщине, что вышается над круглым столом.

У этой женщины все черное: и гладко причесанные волосы, и густые брови, и ястребиные глаза, и длинное платье с высоким воротником. Она командует разноцветными металлическими лошадками, с легким гулом бегущими по круглому столу. Она их то пускает, то останавливает. Для этого ей достаточно нажать кнопку.

— Граждане, делайте ваши ставки, — провозглашает черная женщина гортанным голосом. — Не задерживайте аппарат. Ваша лошадь ожидает вас. Она стремится привезти вам счастье...

Каждый игрок облюбовывает какую-нибудь одну лошадку на круглом столе. Или сразу двух-трех лошадок.

— Игра сделана, ставок больше нет, — опять провозглашает женщина, собрав все билетики, и нажимает кнопку. — Наблюдайте бег лошадей.

Лошадки, как живые, стремительно бегут по кругу.

Впрочем, это не лошадки бегут, это вращается круг. А кажется, что бегут лошадки, намертво приколотые к кругу. Кажется даже, что вон беленькая обгонит всех. Нет, всех обгонит игрневая. Но и игрневую, пожалуй, обойдет каурая. Или вот эта гнедая. Хотя нет, скорее всего первой придет игрневая.

Игра неожиданно увлекла Егорова. Он уже не вглядывался больше в лица игроков, ища подозрительных, как ему полагалось бы. Он смотрел теперь только на лошадок, стараясь угадать, какая придет первой.

Первой пришла серенькая в яблоках.

— Гражданина, сделавшего ставку на девятый номер, —

провозгласила черная женщина, – дирекция просит получить в кассе свой выигрыш...

Егоров видел, как сморщенный, лысенький старичок в клетчатой куртке подошел к кассе и получил пачку денег.

А что, если и Егорову сыграть? Поставить вон, допустим, на ту каурюю лошадку и сыграть. Ведь ему для этого специально выданы три рубля. Правда, они ему выданы не для игры, а для того, чтобы в случае необходимости он мог показать, что играет, что увлечен игрой, если на него станут обращать внимание игроки.

Игроки сейчас не обращают на него никакого внимания. Но он сам хотел бы сыграть. Ведь это очень интересно. Вдруг ему повезет? Вдруг он выиграет такую же толстую пачку денег, как этот сморщенный лысенький старичок в клетчатой куртке? Вот было бы здорово!

Егоров прикинул в уме, сколько может быть денег в той толстой пачке, и решил, что в ней, пожалуй, не меньше как две или даже три месячные получки.

Егорову за такую пачку надо работать два-три месяца. А тут поставить всего рубль – и, пожалуйста, собирай деньги, сколько хочешь собирай.

Можно, конечно, и проиграть. Даже скорее всего с не привычки проиграешь в первый раз. Ну так что же! Придется потом сказать в уголовном розыске: проиграл, мол, один рубль или два рубля, прошу, мол, вычесть из моей зарплаты.

Ведь вторую получку за две недели он еще не получал, но она ему уже полагается. Ее выплатят ему все равно, если даже его не примут в штат. Наверно, завтра и выплатят. Вот он и отдаст свой проигрыш. А вдруг он выиграет? Вдруг

вон та каурая лошадка, которую он облюбовал, придет первой? Что тогда?

Егоров представил себе сияющее лицо Кати, увидевшей на столе пачку денег.

Можешь делать с этими деньгами что хочешь. Можешь купить себе шубу. Можешь купить ребятишкам не только валенки, но и каждому по костюмчику. Можешь заготовить дров, и картошки, и капусты хоть на целую зиму. Можешь каждый день покупать на базаре мясо и ветчинные кости к щам или гороховому супу.

И деньги еще останутся.

Егоров взял бы из этих оставшихся денег только немножко – на башмаки.

Башмаки у него ведь действительно худые. Больше в них ходить никак нельзя. Да и, пожалуй, стыдно. Работаешь в таком учреждении, а ходишь черт-те в чем...

Башмаки он себе обязательно купил бы. И еще купил бы шапку. А то уши просто стынют на ветру. Даже, чего доброго, можно свободно отморозить уши, если начнутся холода. Будут отмороженные уши висеть, как пельмени. Нет, шапку тоже надо купить обязательно. Без шапки никак нельзя.

– Граждане, делайте ваши ставки, – снова провозглашает черная женщина.

А что ж она сама не делает свою ставку? У нее на глазах люди выносят из кассы такие деньги, а она только советует. Или ей нельзя делать ставки, потому что она находится здесь на службе? Конечно, ей нельзя. А Егорову можно? Пожалуй, можно. Ему же выдали три рубля, специально выдали.

А вот интересно: если он выиграет, как быть? Надо сказать в розыске, что он выиграл, или скрыть это? Нет, пожалуй, скрывать нельзя. Конечно, нельзя скрывать. Тут хитрости никакой не должно быть. Надо показать Журу весь выигрыш, выложить перед ним все деньги и спросить, что с ними дальше делать.

Если Жур скажет, что деньги надо сдать в кассу уголовного розыска, надо, конечно, сдать. Тут никаких разговоров быть не может. Но Жур может и так сказать, отсчитай, мол, казенные три рубля, которые тебе были выданы, а остальные бери себе. Тогда другое дело. Тогда можно смело идти с этими деньгами домой, к Кате. Ух, она здорово обрадуется!

— Игра сделана, ставок больше нет, — провозглашает черная женщина и садится на высокий черный вертящийся стул.

А Егоров так и не успел сделать ставку. Но все равно смотрит теперь только на каурюю лошадку номер семь, которую сразу облюбывал. У каурой красиво выгнутая шея и вздернутая голова. Будто она ржет на бегу.

Егоров неотрывно смотрит на каурюю и продолжает взволнованно думать.

А как, интересно, Кате он скажет, где взял эти деньги? Надо ли ей все в точности говорить?

Нет, пожалуй, не надо, а то еще она засмеет. Что же это, мол, ты все в сыщики стремился и вдруг в игроки перешел? Боюсь, скажет, как бы ты шулером не сделался...

Нет, конечно, Кате не надо всего говорить.

Надо просто сказать ей, что ему прибавили зарплату.

И даже лучше не отдавать Кате всех денег, а выдавать

ей по частям. А то она на радостях накупит разного барахла, когда необходимо купить самое-самое нужное.

В первую очередь надо купить ребятишкам валенки. Всем ребятишкам и, конечно, Кехе.

Ведь как некрасиво получилось: Егорову купили рубашку и френч, а ребята остались на зиму без валенок. Из первой полочки Катя так ничего и не смогла выкроить. Только что получше, посытнее стали есть.

А сейчас, если Егоров выиграет, сразу все изменится к лучшему. Но Кате не надо отдавать все деньги. Удобнее выдавать по частям. Тогда и врать не надо насчет прибавки к зарплате. Ведь Егоров больше играть не будет. Он сыграет только один раз. Нет, обязательно надо сыграть два раза. Хотя почему только два раза? Уж играть, так играть на все три рубля. Из трех раз он уж наверняка хоть на одной лошадке выиграет.

Каурая лошадка действительно кажется красивее всех. И хотя Егоров еще не сделал ставку на каурую, еще не внес свой рубль в кассу, у него все-таки замирает сердце. А вдруг буланая обойдет каурую? Нет, не обойдет.

— Стоп, — говорит черная женщина.

Бег прекратился. Каурая пришла первой. Егоров готов был захлопать в ладоши.

— Гражданина, сделавшего ставку на седьмой номер, — выкрикивает женщина, пристально оглядывая игроков, — дирекция просит получить свой выигрыш в кассе!

Егоров видит, как молодой человек в крагах вихляющей походкой приближается к кассирше. Вот он принимает от нее большую пачку денег.

Пачка кажется толще той, что получил лысенький

старичок в клетчатой куртке. Но ведь это деньги Егорова. Ведь он первый облюбовал каурую лошадку и все время, волнуясь, следил за нею.

Нет ничего хуже нерешительного человека. Егоров сильно сердит на себя. Уж если задумал, так надо играть, а не хлопать глазами. Вон какой-то джек в крагах унес из кассы его деньги и даже громко стукнул дверью, уходя: вы, мол, тут, дураки, стоите, глазеете, трясетесь за свои рубли, а я выиграл и пошел домой.

Егоров покраснел от обиды. Расстегнул пуговицу на френче и сунул руку во внутренний карман, где у него лежат эти казенные три рубля, рядом с комсомольским билетом.

«Никогда не кладите комсомольский билет в одно место с деньгами. Полезешь за деньгами – и можешь легко обронить комсомольский билет», – это говорил еще в Дударях секретарь укома комсомола Зуриков.

И Егоров сейчас вспомнил эти слова. Но он никогда раньше и не носил комсомольский билет рядом с деньгами. Да он и деньги не так уж часто носил в кармане. Это случайно получилось сегодня, что комсомольский билет оказался рядом с деньгами.

Егоров вынул три рубля и зажал их в кулаке, направляясь к кассе, где опять скопилась небольшая очередь.

В очереди стоял пожилой мужчина в пенсне, показавшийся Егорову удивительно знакомым. И мужчина, должно быть, узнал Егорова.

– Наконец-то решились? – усмехнулся мужчина. – А я все время наблюдаю за вами...

Вот так так! Егоров послан сюда наблюдать за игро-

ками. А оказывается, и за ним наблюдают. Но откуда же он знает этого мужчину?

— У вас, как мне показалось, серьезные финансовые затруднения?

— Чего это? — нелюбезно спросил Егоров.

— Я заметил, что вы долго рылись в своем кармане. — Мужчина поправил пенсне на жилистом, тонком носу. — Мне показалось, что у вас не хватает денег.

Чуть сиплый голос мужчины сразу же встревожил Егорова. А когда мужчина поправил пенсне на жилистом носу, Егоров мгновенно вспомнил дом бабушки Ожерельева на Извозчикьей горе. И нэпмана вспомнил, того нэпмана, что долго застегивал на затылке трясущимися руками готовый галстук-бабочку, а потом предложил Егорову взятку за молчание.

Егоров тогда не очень хорошо разглядел его в полутьме. А теперь-то совершенно ясно, что это именно тот нэпман, совладелец фирмы «Петр Штейн и компания. Мануфактура и конфекцион», что на Чистяревской, дом восемнадцать.

Нэпман точно таким движением, как тогда в доме бабушки Ожерельева, вынул из внутреннего кармана пиджака желтый бумажник.

— Могу одолжить на неопределенное время. Пожалуйста, не беспокойтесь...

Вот до какого унижения дошел Егоров! Его послали по делу. Сегодня кончается его испытательный срок. А он не только ничего хорошего не сделал, никого не выследил и не поймал, но даже вступил в знакомство с нэпманом, и ему, комсомольцу Егорову, как своему другу, нэпман

вдруг опять протягивает деньги. Значит, они тут, выходит, заодно орудуют, стараются разжиться на даровщинку, комсомолец Егоров и какой-то нэпман.

– Да идите вы! – заорал вне себя Егоров, так что на него оглянулись все в зале.

И этого не надо было делать. Нэпман сейчас не виноват. Во всем виноват только Егоров. Виноват прежде всего в том, что хотел поправить свои дела за счет вот этих лошадок. Люди работают, стараются работать. А он вон на что соблазнился! Может, он позавидовал нэпманам? Может, он тоже хочет открыть свой магазин на Чистяревской?

В одно мгновение Егоров осудил себя и вынес себе строжайший приговор. Он даже ужаснулся тяжести своего еще не совершенного преступления.

– Вы не кричите, – сказал нэпман. – Это моя добрая воля предложить вам займы. Я не вижу в этом ничего неприличного...

Егоров повернулся и пошел, как чем-то ушибленный, через весь зал к выходу.

Вот сейчас он был действительно в тяжелом положении, в более тяжелом, чем в тот час, когда поднимали мертвого аптекаря, или в тот вечер, когда ему пришлось впервые войти в мертвецкую.

Не было еще более тяжелого положения в жизни Егорова.

Ведь часа три назад, проходя через зал, где играют в лото, он посмеялся про себя над Ванькой Маничевым, жадно взирающим на однорукого инвалида, который выкрикивает цифры.

Егоров тогда просто презирал Ваньку Маничева за

жадность. А потом вдруг сам захворал жадностью. Как же это могло случиться с Егоровым?

Он опять проходил через зал, где видел Ваньку, но Ваньки здесь уже не было. И других игроков не было. Все ушли.

Уборщицы подметали мусор и гасили свет. Большие электрические лампочки, свисавшие с потолка в центре длинного зала, гасли одна за другой.

Можно было бы зайти в тот зал, где играют в карты. И надо было бы, пожалуй, зайти. Но Егорову почему-то казалось неудобным сейчас заходить туда. Да и время его вышло. Нет, кажется, еще не вышло. Надо все-таки посмотреть на часы.

Егоров медленно проходит по затемненному коридору и возвращается в тот зал, где играют в карты.

Тут уж в самом деле нечем дышать. Накурили так, что сильно режет глаза. И пахнет нехорошо. Черт знает чем пахнет! А лица у игроков густо-синие. Можно подумать, что тут действительно собрались вдруг ожившие покойники и опять решили играть.

Егоров проходит в глубину зала и смотрит на стенные старинные часы с огромным медным маятником в лакированном футляре.

Времени, оказывается, еще очень много до конца дежурства. «Золотой стол» закрывается, кажется, в три часа ночи. Но если идет крупная игра, и в три часа не закроют. Неужели тут придется ходить до трех часов?

Егоров опять смотрит на часы и вспоминает слова Жура: «Особенно долго-то там не толкись. Побродишь часов до двенадцати и можешь идти домой, если, конечно, не будет серьезного дела...»

Серьезного дела пока что нет. И, наверно, не будет. Но все-таки надо побродить здесь хотя бы еще с полчаса. До двенадцати обязательно надо побродить. Неудобно уйти раньше.

«А этот нэпман паразит, настоящий паразит, – думает Егоров, вспоминая происшествие у кассы «Пти шво». – Уже в свои дружки меня зачислил. Но я тоже хорош: полез, как дурак, за барышами».

Егоров расстроен до последней степени. Он медленно проходит меж столиков, рассеянно смотрит на игроков и все время думает, не может не думать о том, как он глупо, непростительно глупо поступил в «Пти шво», будь оно проклято.

И ведь об этом рассказать никому нельзя. Даже стыдно рассказывать. Вот какой он оказался барахольщик! Он и сам раньше не знал, что он такой жадный и глупый...

– Скучаешь?

Егоров, все еще сконфуженный своими мыслями, оборачивается. Может, это не его спрашивают? Нет, его.

Перед ним стоит худой, длинный пожилой человек с необыкновенно бледным, костлявым лицом, на котором горят глаза сумасшедшего.

– Ты меня знаешь? – спрашивает сумасшедший.

Ну конечно, он сумасшедший. Глаза горят и как будто прыгают, а на губах, в уголках губ, вроде как пена.

– Нет, – отвечает Егоров.

Внезапный испуг, как электрический ток, входит во все его существо и омертвляет мускулы.

Точно ватой сейчас набили Егорова. Вынули внутренности и набили ватой.

– А ты сам из угро?

Егоров отвечает не сразу. Он не может ответить – перехватило дыхание.

– Я тебя спрашиваю: ты сам из угро? Глухой?

– А в чем дело? – наконец откликается Егоров и слышит в своем голосе унижительную робость.

Вот такого человека, с таким голосом, надо немедленно выгнать из уголовного розыска. Зачем он нужен там? Да и на свете жить такому человеку незачем.

Егоров никогда в жизни так не презирал себя, как в это кратчайшее мгновение. И чего он вдруг испугался? Что он его, съест, что ли, этот сумасшедший? Ну и пусть съест. А из уголовного розыска, если узнают, Егорова сейчас же выгонят. Выгонят после всего испытательного срока. А он и в мертвецкую уже ходил и на операции ездил.

Сумасшедший ухмыляется, будто читает мысли Егорова.

– Чего вам надо? – спрашивает Егоров. Вот сейчас он спрашивает почти хорошо, более твердо.

– Давай выйдем. Я тебе там покажу, чего надо...

Можно было бы, пожалуй, и не выходить. Пусть он здесь говорит и показывает. Для чего это надо с каждым сумасшедшим выходить? Но тогда можно подумать, что Егоров правда испугался.

– Пойдем.

И они выходят в дверь, над которой светится красная табличка: «Запасный выход».

На небольшой квадратной площадке над лестницей темно. Только поблескивает какой-то кружок. Нет, два кружка поблескивают. И еще блестит что-то. Глаза! Не

сумасшедшего глаза, а еще чьи-то, нечеловеческие. И хриплый замогильный и все-таки немножко знакомый голос говорит:

– Ну-ка живо, руки... вверх!

Егоров отшатывается, упирается спиной в дверь, будто хочет ее открыть спиной, потом вытягивает ногу и сильно бьет ногой снизу, стараясь попасть носком башмака в блестящий предмет. Нет, такого приема не было в книге господина Сигимицу. Он появился только сейчас, вот тут впотьмах, этот прием.

На бетонную площадку упал пистолет. Это он и блестел. И блестит на полу. Егоров падает на него.

А на Егорова валится сумасшедший. Он хочет отнять пистолет. Но Егоров его ни за что не отдаст.

Им сейчас владеет то, что называется храбростью отчаяния. Только жалко, что он не умеет еще стрелять из такого пистолета. У него еще никогда не было в руках бельгийского браунинга. Наган был, а браунинга не было.

Сумасшедший сопит, стараясь отнять пистолет. От него несет тяжелым запахом винного перегара. Он, наверно, сильно пьяный. А в углу кто-то стонет и ругается.

Наконец Егоров слышит голос Воробейчика:

– Дурак! С тобой пошутили, а ты мне, кажется, руку сломал. Это ж Усякин. Ты что, Усякина не знаешь?

– Никого не знаю.

Егоров поднимается на ноги.

Глаза его уже привыкли к темноте. Он видит в углу Воробейчика, который поддерживает левой рукой правую.

Егоров по самому локтю ударил его носком башмака. Это очень больно.

– Ну ладно, давай пистолет, – говорит Воробейчик. – Пошутили – и хватит. Давай, давай. – И протягивает Егорову левую руку.

Но Егоров со всей силой отпихивает его. Да он что, с ума, что ли, сошел, Егоров?

Обида, и злость, и острая, нестерпимая боль в локте сокрушают Воробейчика. Неужели этот сопляк Егоров, над которым они действительно хотели пошутить, хотели напугать его страшной маской в темноте, подведет их теперь под крупную неприятность? Неужели он так и не отдаст пистолет? Неужели они вдвоем не одолеют его?

– Не таких видали фрайеров! – кричит Воробейчик и, преодолевая боль, старается ударить Егорова в бок ногой.

Но Егоров увертывается и хватает за шиворот Усякина, ринувшегося было к двери.

– Вниз, – толкает Усякина на лестницу Егоров, – вниз идите!

Воробейчик опять собирает силы, чтобы ударить Егорова в бок ногой. Он бывал в серьезных переделках. Но Егорова ему не удастся ударить. Егоров увертывается.

А Усякин, видимо, надеется все-таки уйти.

– Стой! – кричит ему Егоров. – Побежишь – буду стрелять. – И показывает Усякину на Воробейчика. – Веди его, поддерживай...

Они выходят не на главный подъезд, где стоит швейцар, а во двор, где темно и никого нет. Только в стороне белеет поленница березовых дров.

Воробейчик кидается к поленнице. Может, он надеется схватить полено? Все-таки он не хочет покориться какому-то стажеру, чью судьбу он еще три часа назад решал на совещании. Если он добежит до поленницы...

Но он не добежит. Егоров сбивает его с ног. И тут у Егорова почти совсем отлетает подметка. Она держится на одном гвозде. Однако некогда думать сейчас о подметке.

Фуражка и телогрейка Егорова остались на вешалке. Но это ничего. Он потом за ними зайдет.

Теперь главное – отвести этих жуков в уголовный розыск. Тоже нашли кого разыгрывать! Пусть сам Курычев и Жур посмотрят на них! Пусть узнают, какие они устраивают дурацкие шутки со стажерами! Стажеры хотят работать, а они видите что устраивают! Просто с жиру бесятся. Недаром Жур прошлый раз говорил, что в уголовном розыске не все еще сознательные. Вот пусть теперь Жур посмотрит...

Егоров, потный, злой, с разорванным воротом, стоял посреди двора и смотрел на сбитого у поленницы Воробейчика. Потом он потрогал себя за бок, нащупал оторванный накладной карман и еще больше обозлился.

У нового френча оторвали карман! Надо бы им еще добавить за это. Карман, наверно, оторвал Усякин. «Ну, погоди!» – сердито думает Егоров.

– А ты-то, – говорит Воробейчик Усякину, подымаясь с его помощью, – ты-то болван! Он мне, кажется, руку сломал или вывихнул. Я вздохнуть не могу. А ты...

– Да ну его... – берет под руку Воробейчика Усякин, косясь на Егорова. – Пойдем. Он еще шухер тут поднимет на весь город.

Но Воробейчик, прихрамывая, доходит до ворот и останавливается.

– Слушай, чалдон, – оглядывается он на Егорова, – отдашь пистолет или нет?

– Не отдам.

– Хочешь так – вынь обойму, а пистолет отдай?

– Не отдам.

– Дурак, да ты еще не имеешь права носить пистолет! У тебя даже разрешения нету. Тебе же не дали пистолета, когда посылали сюда. Ты еще не сотрудник. И не будешь сотрудником. Не будешь. Я тебе это твердо говорю. Ты помнишь, кто я такой?

– Не помню.

– Ну и дурак! Ох, какой тупой дурак! Ты же, наверно, сломал мне руку. Ты за это ответишь. И за то, что взял чужой пистолет, ответишь...

– Я его сдам дежурному по городу.

– Да над тобой же все будут смеяться. Над тобой и так целый месяц все смеются...

– Пусть.

– Пойдем, – тянет Усякин Воробейчика за рукав.

Но Воробейчик упирается.

– Да погоди ты, собачник! – говорит он Усякину. И опять оглядывается. – Ну, слушай, Егоров. Будем мы с тобой толковать по-хорошему?

– Не будем.

– Ну ладно, – угрожает Воробейчик, – потом не плачь...

Они выходят из ворот и не спеша идут по темной опустевшей улице. Усякин и Воробейчик впереди. Усякин поддерживает Воробейчика. А Егоров шагает за ними, высоко, как журавль, подымая ногу, чтобы окончательно не оторвать подметку. Даже удивительно, что она до сих пор держится.

И еще заботит Егорова пистолет. Он сунул его в карман

брюк, потому что неудобно все-таки с открытым пистолетом идти по улице, даже ночью. А вдруг он нечаянно выстрелит в кармане?

Егоров слышал, что у таких пистолетов есть какой-то предохранитель. Но где он находится, предохранитель, этого Егоров не знает. Надо было бы спросить об этом у Зайцева. Жалко, что раньше не спросил.

У Зайцева был как раз такой пистолет. Егоров его видел. И про предохранитель ему Зайцев сказал. Кажется, Зайцев. Надо было его сразу обо всем расспросить. А то вдруг сейчас ахнет пистолет прямо в кармане? Заденешь за курок или за предохранитель – и ахнет...

Егоров не боялся этого, когда схватил пистолет и зажал в кулаке, чтобы кулаком ударить Усякина. Ему и в голову тогда не приходило, что пистолет может внезапно выстрелить. А сейчас он этого серьезно опасается. Но все-таки не вынимает пистолет из кармана.

Если б Воробейчик мог угадать эти тревожные мысли Егорова, он, наверное, действовал бы по-иному. Но он, конечно, не догадывается.

Шагая по улице под руку с Усякиным, Воробейчик пытается применить психологический, что ли, способ. Хочет вроде как подольститься к Егорову, потому что другого выхода, как ему кажется, нет. Егорова не возьмешь теперь силой, а если начнешь сопротивляться, Егоров, чего доброго, действительно откроет стрельбу. «От этого психа, – думает Воробейчик, можно любую пакость ждать. Ему же терять нечего. И он злой, как взбесившийся».

Воробейчик оглядывается на Егорова.

– А ты, оказывается, здоровый. Я даже не ожидал, что ты такой здоровый...

Лесть, однако, не смягчает ожесточившееся сердце Егорова. Он молчит, будто не слышит слов Воробейчика.

Он думает о телогрейке и фуражке, оставленных там, в гардеробной, на вешалке. А вдруг все уйдут, швейцар закроет двери и телогрейка с фуражкой так и останутся там? До утра их, пожалуй, не получишь. Да и в чем пойдешь получать их утром? Неудобно вот так, во френчике и даже без фуражки, идти утром по городу. Да еще швейцар может утром начать волынку: откуда, мол, я знаю, чья это одежда?

– Вы чего плететесь, как мухи по струне? – кричит Егоров Воробейчику и Усякину. – Идите быстрее!

У Егорова стынут уши и по спине пробегает холодок. Ведь все-таки сейчас не июль и не август.

– Ты не подгоняй нас, Илья Муромец, – огрызается Воробейчик. – Подумаешь, какое геройство сделал! Своих же сотрудников подловил и ведешь, угрожаешь шпалером. Ты бандитов бы ловил, если ты такой храбрый. А своих сотрудников любой дурак может подвести...

У Егорова и руки стынут. Запястья прямо заледенели. Он потирает руки, стараясь их согреть.

А Воробейчик опять говорит, пробуя разные психологические, что ли, подходы:

– И сотрудники у нас тоже разные бывают. Одни с бандитами сражаются в открытую, жизнь свою не щадят, а другие перед начальством выслуживаются, как, например, ты, Егоров. Приведешь сейчас нас в управление и сразу выслужишься. Тебя зачислят на должность как комсомольца, а нас выгонят к такой-то матери. Тем более что я в данную минуту выпивши. Меня, конечно, выгонят. У меня до этого было два замечания. А ты займешь мою должность...

Егоров уже согрел руки. Теперь он греет ладонями уши. Он не все слышит, что говорит Воробейчик, да он и не старается его слушать. А Воробейчик говорит и говорит:

– Все-таки, Егоров, ты плохой товарищ. Никудышный товарищ. Сволочь! С тобой пошутили сотрудники, старшие твои товарищи, а ты вдруг обозлился, как цепной кобель. Товарищи так не поступают. Мало ли какая может быть шутка! Мы же все-таки в одном учреждении служим. И тем более мы сейчас выпивши, в состоянии, как говорится, аффекта. Это даже на суде учитывается. А ты, как сволочь...

Эти слова неожиданно трогают Егорова.

– Да брось ты причитать! – кричит он, останавливаясь. – Хочешь, я сейчас отдам тебе твою пушку, и вались ты к черту...

– Давай, – ошеломленный этим решением, протягивает руку Воробейчик.

Егоров осторожно вынимает из кармана пистолет и протягивает его Воробейчику.

– А вы видите... вы видите, как вы мне френч изорвали? – показывает Егоров. – Это тоже, считается, шутки?

– Да я тебе его сам зашью, – предлагает Усякин. – Приходи ко мне хоть сегодня домой, и моя жинка тебе зашьет...

– Да не надо мне, – отказывается Егоров. – Мне и дома зашьют. Но вы все-таки, я считаю, гады. Так люди не делают, как вы со мной.

Усякин останавливается под фонарем и показывает свое лицо.

– А фотокарточку ты мне вон как исказил! Это не считается?

– Сами виноваты, – отворачивается Егоров. – Пьян-чужки...

– Будешь звонить про это, как мы с тобой хотели пошутить? – спрашивает его Воробейчик.

– Для чего это я буду звонить?

– Не будешь? Дай честное слово...

– Да для чего я буду честное слово давать? – опять греет уши ладонями Егоров. – Я говорю, что не буду звонить, значит, не буду. Для чего это мне надо звонить?

– Ну, тогда держи пять, – протягивает ему непокаленную руку Воробейчик. – А я сейчас пойду прямо в больницу, в приемный покой. Пусть поглядят, что у меня в руке. Может, правда, перелом? Сильно ноет. Просто терпения никакого нет...

Егоров возвращается в казино. Он теперь почти рад, что все так в общем хорошо закончилось.

Действительно, это было бы глупо, если б он привел Воробейчика и Усякина в дежурку. Можно было бы подумать, что он правда хочет выслужиться перед начальством и что он плохой товарищ. С ним пошутили, хотели проверить, какой он, пугливый или нет. Ну и вот, проверили.

Жалко только, что карман оторвали. Катя будет ругаться, но ничего, пришьет. Немножко посердится и пришьет. Не с мясом же оторвали.

Егоров еще раз в гардеробной осмотрел карман. Нет, ничего, это можно пришить. Но что с подметкой делать? Опять идти, по-журавлиному подымая ногу? Да еще, чего доброго, и потеряешь на улице подметку. Пожалуй, ее лучше оторвать.

Егоров так и сделал – оторвал подметку и спрятал в карман.

Ноге стало холодно на холодном глянцеви́том полу, выстланном разноцветными керамическими плитками. Но Егоров этого не замечал. Он не замечал и озноба и того, что у него горят и ноют уши.

Торопясь, он оделся и снова вышел на улицу. Как же ему теперь быть? Рассказать ли обо всем Журу? Или не рассказывать? Рассказывать или не рассказывать? Ведь он пообещал Воробейчику «не звонить».

Уши у него сперва горели и на улице. Потом стали остывать и, наконец, снова зазябли. Ветер слишком сильный, как в ту ночь, когда они ездили на операцию в Грачевку. Нет, ветер, пожалуй, еще сильнее, чем тогда. И ветер как будто свирепеет.

Егоров греет уши ладонями и опять невольно вспоминает, как еще сегодня собирался купить шапку, за счет этих лошадок хотел разжиться. Хотел разбогатеть. И уже в мыслях был богатый. Уже делил деньги – сколько дать Кате и сколько оставить себе. А потом его пожалел нэпман...

Егоров плюнул, вспомнив жилистый нос нэпмана и вздрагивающее на носу пенсне.

Он шел по улице очень быстро. Оторванная подметка лежала в кармане, а ноге было нестерпимо холодно. Почти голый ногой, в одной портянке, приходилось ступать на застывшую слякоть тротуара. Уж скорее бы дойти! И тут совсем недалеко до угрозыска. Но это недалеко, когда идешь хорошо обу́тый...

Жур сидел в дежурке один. Он что-то записывал левой рукой. Егоров вошел почти бесшумно и остановился у дверей, как бы стараясь не помешать Жур. Но Жур вдруг поднял на него веселые глаза и, точно ему уже все известно, сказал:

– Так, так. Значит, вот так и заканчиваешь свой испытательный срок?

Егоров вновь с особой остротой почувствовал себя виноватым.

– Никаких происшествий не было, – пожал он плечами, словно стараясь все-таки хоть как-нибудь смягчить свою вину.

– А что ж ты такой унылый? – улыбнулся Жур. – Ты же не виноват, что не было происшествий. Мы же сами их не делаем. Стараемся не делать...

– Нет, я просто так, – опять пожал плечами Егоров.

Жур продолжал улыбаться.

– Деньги казенные не проиграл?

– Нет, что вы! Они при мне. Вот, пожалуйста...

Жур взял смятую трехрублевую бумажку, разгладил ее пальцами на столе, прочитал номер кредитки. Задумался. Потом опять улыбнулся.

– Что же не сыграл на казенные? Они, говорят, счастливые...

Егоров молчал.

– Не хотел, что ли? – допытывался Жур. – Боялся рисковать?

– Не в этом дело, – сказал Егоров, готовый признаться

Журу во всем, во всех своих помыслах. Но не знал, как начать. И, затрудняясь, повторил: – Не в этом дело...

– Не в этом, – подтвердил Жур. – Это ты правильно говоришь, не в этом. Я тоже точно так считаю.

Егоров все-таки хотел признаться Журу в том, как он чуть было не соблазнился. Надо сказать, как встретил у кассы будто знакомого нэпмана. И зачем сам подходил к кассе, тоже надо сказать.

Егоров начал уже рассказывать, как смотрел на механических лошадок. Но на столе зазвонил телефон. Вот он всегда тут звонит в самое неподходящее время. И так будет, может быть, постоянно.

Жур снял трубку.

– Хорошо, – сказал он в трубку, – хорошо, сейчас пришлем. – И повесил трубку. – Вот что, Егоров, ты можешь сейчас съездить на Голубевку?

– Могу. Отчего же я не могу? Сейчас?

– Сейчас.

Егоров посмотрел на свой башмак без подметки.

– Только я, Ульян Григорьевич, должен на минутку выйти...

– Выйди, конечно, выйди, – засмеялся Жур. – Законное дело...

Жур не понял Егорова. Умный, сообразительный Жур, а все-таки не понял.

Егоров надеялся найти в коридоре веревочку или лучше проволоку и хоть как-нибудь прикрепить подметку. Нельзя же так ехать на происшествие. А сообщить Журу об аварии с башмаком не решился. Жур, чего доброго, тогда скажет: «Ну, в таком случае не ездите». И так никогда для Егорова не кончится испытательный срок.

В коридоре, на свое счастье, Егоров встретил Зайцева, вернувшегося с происшествия. Зайцев, узнав, в чем дело, сперва захохотал, потом моментально достал, словно из земли вырыл, моток проволоки, не очень толстой и не очень тонкой, как раз такой, какая нужна. И Егоров тут же, в коридоре, стал не только прикреплять оторвавшуюся подметку, но и укреплять еще не оторвавшуюся.

— Ты смотри-ка, Егоров, у тебя и карман оторвался, — заметил Зайцев и опять захохотал. — Ты что, в переделке был?

— Да так, глупость одна получилась, — смутился Егоров и пошел в дежурку, где, наверно, уже сердится Жур.

— Ты погоди, — задержал его в дверях Зайцев. — Ты Воробейчика на «Золотом столе» не видел?

— Видел. А что?

— Я хотел тебя предупредить, но не успел. Они хотели тебя разыграть. Для этого и послали на «Золотой стол», выбрали вроде легкое задание. Я слышал, они тихонько сговаривались в дежурке, Воробейчик и Усякин. Ты Усякина не видел?

— Видел.

— Ну вот, они сговаривались, чтобы тебя разыграть. Они многих тут разыгрывают новичков. Я хотел тебя предупредить, но не успел. Значит, они тебя разыграли?

Егоров утвердительно мотнул головой.

— Ну и как? — спросил Зайцев.

— Ничего. Вот видишь, карман оторвали...

— А ты?

— А я ничего.

— Жалко, что они не на меня напали, — сокрушенно

пожалел Зайцев. – Я бы им показал кузькину маму... Не Воробейчику – он мужик в общем неплохой, а этому Усякину. Он дрессирует тут служебных собак, ну и пусть дрессирует. А комсомольцы – это ему не служебные собаки. Я бы его сразу отучил от этих штук...

– Он больше, наверно, не будет разыгрывать нас, – сказал Егоров. – Я думаю, что он больше не будет. Это они еще по старинке делают...

– Но тебя-то они правда разыграли?

– Разыграли, – опять мотнул головой Егоров.

– А как? – загорелся Зайцев. – Ты Расскажи мне все подробно. Воробейчик был в маске?

– Ага.

– Я видел у него эту маску на столе. Вот такие большие глаза. И фосфором намазанные, чтобы светились в темноте. Это действительно можно испугаться с непривычки. А Усякина ты раньше не видел?

– Никогда.

– Усякин – он и без маски страшный, – засмеялся Зайцев. – Он походит на сумасшедшего. Я его сам тут, в коридоре, чуть не испугался, когда увидел в первый раз. Он многих пугает. Ты мне Расскажи, как это они начали тебя разыгрывать. Я сам хотел пойти за тобой на «Золотой стол», чтобы тебя предупредить и посмотреть. Но меня Жур послал на происшествие. Я уже сегодня на два происшествия съездил. А мне было бы интересно посмотреть, что они с тобой будут делать...

– Ты понимаешь, я дал слово никому про это не рассказывать, – вздохнул Егоров. – Тебе-то, конечно, можно. Но меня сейчас вызывает Жур...

В дежурку он вошел заметно повеселевший. Все-таки это большое дело хорошо укрепить подметки.

Жур сказал ему, куда ехать, как ехать и кого взять с собой.

– Да, еще вот что, самое главное: я тебя так и не успел поздравить, остановил Жур Егорова уже в дверях. – Ты приказ-то видел?

– Какой?

– Да вон висит. С нынешнего числа ты зачислен в штат...

– А Зайцев как же?

– И Зайцев зачислен. Я его еще час назад поздравил. А тебя не успел. Поздравляю. – И Жур протянул ему левую руку.

– Спасибо, – сказал Егоров очень тихим голосом, стараясь не выказать радости. Да и радость как бы не дошла еще полностью до его сознания.

Никогда не думал он, что это долгожданное событие произойдет так просто. Ему казалось, что его еще долго будут испытывать, проверять. А вот, оказывается, уже проверили и вывесили приказ. И наверно, сам Курычев подписался.

Егорову хотелось своими глазами прочитать приказ. Но он не мог задержаться. Надо было ехать.

– Поздравляю, – повторил Жур. – Это очень приятно, что ты уже закончил испытательный срок. Но все главные испытания впереди. Нас теперь с тобой будет испытывать сама жизнь. До самой смерти, однако, будет испытывать. Со всей строгостью...

Жур еще что-то говорил, но Егорова сильнее всего тронули слова «нас с тобой».

Жур, казалось, приобщал его этими словами к чему-то необыкновенно значительному и важному – более важному, чем уголовный розыск, куда так старался поступить Егоров. Вот он и поступил. Но это еще не все. Далеко не все.

Жур вышел с Егоровым во двор.

Во дворе уже трещал, кряхтел и пофыркивал старенький автобус «Фадей».

– Ты сейчас едешь, Егоров, на происшествие в первый раз не как стажер, а как работник. Ты это учти, – сказал Жур во дворе. – Вся ответственность на тебе. Кузнецов и Солдатенков должны слушать тебя. Я их предупредил. Ну, счастливо тебе, Саша...

Автобус уверенно зафыркал и, медленно набирая скорость, выехал из ворот в темную ветреную ночь.

ДИНАРЫ С ДЫРКАМИ

Прежде чем рассказать об этом забавном деле, с которым я столкнулся в самом начале своей следственной работы, мне хочется вспомнить одного уличного грабителя, от которого я впервые услышал, какой неожиданный отклик иногда встречает в душе уголовника доверие. Этот грабитель, высокий, атлетического сложения человек, отличался чуть сонным, удивительно добродушным при его профессии лицом, с которого на мир взирали круглые, как бы раз и навсегда удивленные глаза. Он имел, однако, уже несколько судимостей и в преступной среде, как, впрочем, и в МУРе, был известен под кличкой «Тюлень».

В этот день, после окончания очередного допроса, Тюлень попросил папиросу и, закулив, произнес:

– За табачок и человеческий разговор спасибо. По такому случаю и я в долгу оставаться не желаю, как аукнулось, так и откликнется... Так вот, позвольте рассказать вам про некое происшествие моей жизни, вполне, можно сказать, необыкновенное...

– Пожалуйста, рассказывайте, – сказал я, с интересом глядя на почему-то смущенное лицо Тюленя.

– Шарашу я, как вы знаете, давно, – продолжал Тюлень, смущаясь все больше, – однако на мокрые деда никогда не шел и не пойду. Работал я всегда по ночам: дожидаясь себе в каком-нибудь глухом переулке прохожего, а еще лучше – дамочку, ну, подойду, поздороваюсь и шубку сниму, или часишки, или сумочку, или что там придется... Но все это я

делаю очень интеллигентно, потому что сам человек культурный, люблю кино и не переносу хамства, каковое считаю отрыжкой старого мира... Сам я, пальцем никого не тронул, тем более что пальчики у меня, извольте поглядеть, такие, что в дело их лучше не пускать...

И Тюлень, улыбаясь, протянул мне огромную лапищу. Потом, вздохнув, он продолжал:

– Брехать не стану, совесть меня не мучила, жил я себе спокойно, как говорят, не простуживался, пока не наколосился на одну особу женского пола...

– Любовь? – спросил я, полагая, что сейчас услышу историю неудачной любви, какие нередко приходилось выслушивать от подследственных.

– Да нет, совесть, – ответил Тюлень. – Случилось это ночью, в одном из переулков на Девичьем поле. Стоял я на стреме, дожидался своего карася. Мороз, вокруг ни души, темень. Вдруг слышу, хлопнула дверь в подъезде, и выбегает из него девушка, видать молоденькая, тоненькая, в меховой шубке. Подняла воротник, и, наверно, страшно ей стало от подобной пустынности и ночного мрака. Побежала, каблучками постукивает и все оборачивается – не гонится ли кто за ней... Ну, думаю, подвезло, сейчас я эту шубку национализирую. Отхожу от подворотни и прямо к ней. Она меня увидала и навстречу бежит, хватает, представьте, за руку и так жалобно лопочет: «Гражданин, ради бога, извините, но мне очень страшно, вокруг ни души, проводите до извозчика»... Лучше бы она меня ножом ударила!.. И сам не пойму, как это могло произойти, но только я ей руку крендельком подставил и бормочу: «Пожалуйста, не волнуйтесь, я вас провожу, не извольте опасаться».

– «Ах, говорит, как я вам благодарна! Я сразу почувствовала, что вы порядочный человек». И пошли... У меня сердце стучит, в жар бросило, не пойму, что со мною делается, а приступить к делу не могу, – ну вот никак не могу... Черт знает что такое!.. В общем, проводил ее до Девочки, самолично усадил в саночки, меховой полостью укутал и пожелал счастливого пути... Вот, гражданин следовательно, что может с человеком сделать доверие...

– Но после этого вы продолжали «шарашить»? – спросил я.

– Дня три на работу не выходил, потом опять начал. Однако, должен сказать, вроде как во мне что-то треснуло... Женщин вообще перестал грабить, и как-то все опостылело... Одним словом, потерял равновесие и пошатнулся в себе... Вот теперь получу срок и после лагеря «завяжу»... Хватит, больше не в силах!.. Потому после этого случая я вроде как контуженый...

И в круглых глазах Тюленя появилась такая жгучая тоска, что я сразу поверил, что он действительно «завяжет»...

В те годы я работал народным следователем Краснопресненского района города Москвы. В мой участок входила вся улица Горького – от Охотного ряда до Ленинградского шоссе, Красная Пресня и примыкающие к ней улицы и переулки. МУР (Московский уголовный розыск) тогда помещался в Большом Гнезниковском переулке и, значит, тоже входил в мой следственный участок. В связи с этим у меня завязались самые близкие, товарищеские отношения со многими работниками МУРа. Особенно я подружился с начальником первой бригады МУРа Николаем

Филипповичем Осиповым и его заместителем Георгием Федоровичем Тыльнером. Осипову тогда было за тридцать лет, а Тыльнеру около того.

Первая бригада МУРа занималась расследованием убийств, вооруженных грабежей и налетов и, таким образом, была сердцем угрозыска. Если учесть, что в те годы еще была довольно значительная профессиональная преступность, то станет понятным, что мои друзья были по горло загружены работой.

Осипов и Тыльнер были очень талантливыми криминалистами, любили свою нелегкую профессию и отлично работали. Николай Филиппович – сухощавый, всегда подтянутый блондин с быстрым, внимательным взглядом чуть прищуренных умных серых глаз – хорошо разбирался в людях, отлично знал психологию и жаргон уголовников и страстно увлекался, помимо своей работы, мотоциклетным спортом.

Мне, совсем молодому, начинающему следователю, дружба с этими людьми была не только приятна, но и полезна. Я многому у них учился и жадно слушал их живые, интересные рассказы о всякого рода запутанных уголовных делах, происшествиях и раскрытиях.

Приходилось мне не раз присутствовать и при том, как Осипов или Тыльнер допрашивали уголовников, и в первое время я вообще не мог понять, о чем они говорят, так как в вопросах и ответах было столько «блатной музыки», то есть жаргонно-воровских словечек, профессиональных терминов, что создавалось впечатление, будто эти люди беседуют на каком-то неизвестном иностранном языке.

Надо сказать, что преступный мир Москвы, конечно,

хорошо знал как Осипова, так и Тыльнера. И если уголовники, как правило, работников угрозыска не любили, то к Осипову и Тыльнеру они относились с нескрываемым уважением и даже питали к ним, как это ни покажется странным, известные симпатии. Объяснялось это тем, что, по мнению уголовников, Осипов и Тыльнер «мерекали в деле», и тем, что были широко известны их справедливость и личная храбрость.

Кроме того, Осипов, хорошо знавший этот своеобразный мир, никогда не позволял себе издеваться над подследственными, не топтал их человеческое достоинство и, неуклонно соблюдая требования закона и не делая никаких скидок, в то же время умел по-человечески разговаривать с арестованными, проявляя при этом большую чуткость.

Тыльнер, очень воспитанный, красивый, неизменно корректный человек, славился совершенно феноменальной памятью и, как говорили в МУРе, «держал в голове» весь преступный мир Москвы, помня наизусть чуть ли не все фамилии, клички, приметы и судимости московских рецидивистов. Последние хорошо об этом знали и говорили, что «барону Тыльнеру лучше на глаза не попадаться: ему горбатого не слепишь и на липу не пройдешь.» – то есть выдать себя за другого человека не удастся.

В мой участок входил, в частности, Благовещенский переулок, примыкавший к улице Горького, и в переулке этом стоял, да стоит и поныне, красивый, облицованный кафельной плиткой дом, в котором жили главным образом ответственные работники. Жил в этом доме и народный комиссар С.

И вот однажды, июльской ночью, воры забрались в

квартиру С., находившегося на даче, и среди мелких домашних вещей «увели» большой кожаный мешок с коллекцией старинных и древних монет, собираемой С. в течение многих лет.

Поднялся страшный шум. Во второй бригаде МУРа, занимавшейся расследованием квартирных краж, сразу сообразили, что найти вора будет трудно и дело это, кроме неприятностей, не сулит ничего. Начальник второй бригады Степанов, высокий, крайне обходительный и весьма респектабельный мужчина, большой дипломат, узнав об этом деле, до такой степени расстроился, что выкурил вне установленного расписания лишнюю папиросу. Степанов все в жизни делал по раз и навсегда установленному расписанию, никогда не торопился и считал, что поспешность губительна для здоровья, которым он очень дорожил. В связи с этим он был известен в среде уголовников под кличкой «Вася Тихоход». Он долго разглядывал свои до блеска наполированные ногти и потом тихо сказал своему помощнику Кротову:

– Миша, не кажется ли вам, что это не простая, а квалифицированная кража? А?

Хитроумный Кротов удивленно вскинул глаза на своего начальника, но потом, молниеносно оценив этот ход (дела о простых кражах, в силу статьи 108 УПК, должны были заканчивать органы угрозыска, а дела о кражах квалифицированных подлежали передаче народным следователям), немедленно начал клясться и божиться, что за всю свою жизнь он не встречал кражи более квалифицированной.

Но дело в том, что по точному смыслу закона квалифицированной считалась кража со взломом или примене-

нием технических средств, чего в данном случае и не было, так как вор или воры забрались в квартиру через форточку и, таким образом, несомненно принадлежали к той категории квартирных воров, которые соответственно именовались «форточниками». Поэтому Степанов, иронически поглядев на продолжавшего божиться Кротова, пламенно стремившегося избавиться от этого хлопотливого дела, процедил:

– Миша, в статье сто шестьдесят второй уголовного кодекса в числе признаков, определяющих квалифицированную кражу, почему-то нет ссылки на заверения Кротова. Кража-то, голубчик, форточная... а?

Кротов запнулся, Опустил очи долу, но окончательно не сдался.

– Да, но ведь форточку открыли с применением технических средств, – выразительно произнес он, глядя в лицо своему начальнику необычайно ясными глазами.

– Разве? Что-то я не помню, – ответил Степанов. – Если вы, голубчик, докажете, что пальцы – это технические средства, то тогда, конечно...

– Василий Яковлевич, при чем тут пальцы? – горячо выпалил Кротов. – Все данные дела говорят за то, что форточку открыли с применением стамески, а шпингалет сломали... Налицо и технические средства и элемент взлома...

– Да? Жаль, жаль... Конечно, грустно расставаться с таким любопытным делом, но закон есть закон, Миша... – И Степанов вновь нарушил расписание и закурил папиросу, на этот раз уже от удовольствия. – Да, голубчик, ничего не поделаешь... Направьте дело, согласно сто восьмой

статье, народному следователю... Подготовьте постановление.

И на следующий день ко мне поступило дело с весьма витиеватым постановлением, в котором Кротов с большим темпераментом и чувством живописал и «применение технических средств в виде специальной стамески, что можно заключить из протокола осмотра форточки», и «типичные следы взлома, выраженные в изломе форточного шпингалета, приобщенного к делу в качестве вещественного доказательства».

Через час после поступления дела ко мне позвонил Степанов и самым любезным образом трогательно справился о моем здоровье, самочувствии и делах, затем долго расхваливал погоду и Татьяну Бах в «Сильве», очень советуя мне ее посмотреть, уже в конце долгого разговора он небрежно бросил:

– Да, там мы вам, Лев Романыч, одно дельце направили, так уж вы не посетуйте. Ничего не напишешь – закон. Но вы, конечно, можете не сомневаться, будем помогать... Всемерно будем помогать... Не откажите, дорогой, дать справочку, что вы это дело приняли к своему производству, мне для отчета нужна. А за справочкой заедет Кротов.

Положив после этого разговора трубку, телефона, я еще, увы, не понял, какая беда свалена на мою доверчивую голову лукавым Тихоходом, и выдал справку подозрительно быстро приехавшему Кротову.

Понял я это на следующее утро, когда мне позвонил губернский прокурор Сергей Николаевич Шевердин, добрейший и умнейший старик, в прошлом тоже, как и Дегтярев, политкаторжанин, и сказал, чтобы я немедленно к

нему приехал с делом о краже в Благовещенском переулке.

Я перед выездом тщательно ознакомился с делом и тогда увидел, как притянуты за волосы «квалифицированные признаки», но уже был связан по рукам вынесенным мною постановлением о принятии дела к производству и справкой, унесенной Кротовым, как волк уносит ягненка.

Выслушав мой доклад и ознакомившись с делом, состоявшим в основном из документов, иллюстрирующих, как МУР спихнул его мне, Сергей Николаевич, улыбнувшись, сказал:

– Так, так, очень любопытно... Степанов, не будь дурак, спихнул дело вам, а вы, розоволицый сын мой, поспешили принять это дело к производству... Вы находитесь в том счастливом, хотя и опасном возрасте, когда уже научились, что делать, но еще не научились, чего не надо делать... А вот Степанов уже обучен не столько первому, сколько второму... Так как же теперь нам быть? Форточная кража почти безнадежное для раскрытия дело... А С. уже рвет и мечет, рычит, аки лев, и требует нас с докладом... Поедем, сын мой, предвижу уйму неприятностей, ибо ведом мне характер потерпевшего...

Когда мы вошли в кабинет С. и Шевердин представил меня ему как следователя, занимающегося делом о краже, С. – маленький, располневший, сидящий брюнет, находившийся в очень раздраженном состоянии, – проворчал:

– Ах, это и есть следователь?.. Ну, тогда мне понятно, почему жулики безнаказанно обворовывают квартиры наркомов... Товарищ Шевердин, у вас детский сад или прокуратура?

Шевердин очень вежливо, но с достоинством возразил, что хотя я и молодой, но подающий надежды следователь, работаю хорошо, а что касается до обращенного к нему вопроса, так ведь он не спрашивает товарища наркома, какого возраста его инспектора.

С. еще больше рассердился и стал кричать, что он будет жаловаться правительству, если в три дня не будет раскрыта эта кража, что ему наплевать на домашние вещи, но он нумизмат, всю жизнь собирал коллекцию древних монет, что это удивительная коллекция, в которой имелись даже динары с дырками времен Александра Македонского, что это не шутка и он не понимает спокойствия губернского прокурора, не верит в следователей, у которых молоко на губах не обсохло, и вообще более трех суток, считая с этой минуты, ждать не намерен...

Шевердин, тоже не на шутку разозлясь, но, видимо, не считая возможным продолжать этот разговор при молодом следователе, попросил меня подождать в приемной, а через полчаса, багровый от ярости, вышел из кабинета С. и увез меня к себе.

По дороге, а потом в кабинете старик все время ворчал на С. за «барские замашки» и «не нашу фанаберию». И действительно: через несколько лет С., как не оправдавший доверия, был снят с поста наркома.

Я, запинаясь от волнения и мысленно проклиная хитроумного Степанова и собственную неосмотрительность, ответил Шевердину, что, как он правильно заметил, дела о квартирных кражах наиболее трудные и процент их раскрываемости весьма низок, что я как следователь не располагаю никакими оперативными и агентурными воз-

можностями, а раскрыть такое преступление чисто следственным путем не берусь...

Было решено, что я направляюсь в МУР и договарюсь со Степановым, что они мобилизуют все свои возможности для того, чтобы помочь в раскрытии этой проклятой кражи.

Увы, Степанов, когда я обратился к нему, прямо мне сказал, что относится к этому делу пессимистически.

– Поймите, дорогой Лев Романович, – сказал он, – кража-то форточная, и вор, забираясь в эту квартиру, даже не знал, кого обворовывает. Толковый профессиональный вор вообще не полез бы в такой дом, это надо понять!.. Следовательно, в данном случае действовал какой-то штымп, новичок, одним словом – не рецидивист... Черта с два его найдешь!.. Мы уже с Кротовым и так наводили справки, прежде чем это дельце вам сплавить, хороший мой...

И Степанов с милой непосредственностью улыбнулся.

В самом скверном настроении я пошел к своим друзьям из первой бригады. Подробно меня расспросив, Осипов только покачал головой и стал ругать на все корки «этого проклятого Тихохода, который всегда умеет за чужой счет вылезти сухим из воды».

Ребята из первой бригады не любили Степанова и его «дипломатических методов». Осипов очень хорошо понимал, в какое тяжелое положение я поставлен, и искренне хотел мне помочь, но, как опытный работник, видел, что дело почти безнадежное. Он подтвердил слова Степанова, что «настоящий, деловой вор» ни в коем случае не полез бы в квартиру наркома.

– Прямо не знаю, как тебе помочь, друг, – говорил

Осипов. – Судя по всему, этот нумизмат от тебя не отстанет. Ничего нет хуже, чем иметь дело с коллекционерами, – это почти всегда маньяки... А тут еще какие-то динары с дырками. Будь они еще без дырок – полбеды, но с дырками – полная хана...

В этот момент к Осипову подошла секретарша и протянула ему шифровку из Одессы. Осипов прочел телеграмму, о чем-то задумался и потом с внезапно просветлевшим лицом человека, неожиданно обретшего надежду найти выход из казавшегося ранее безнадежным положения, протянул мне телеграмму.

– Прочти, старик, – сказал он, – это имеет отношений к интересующему нас вопросу. Ты родился в сорочке...

Я схватил телеграмму, дважды ее прочел, но так и понял, почему она свидетельствует, что я родился в сорочке. В телеграмме было дословно написано:

«Начальнику МУРа Емельянову. В порядке оперативной информации сообщаю, что сегодня выехал скорым в Москву в международном вагоне известный медвежатник „адмирал Нельсон“. Не исключаю возможности серьезных гастролей. „Адмирал Нельсон“ год назад освобожден досрочно от наказания согласно амнистии. Оснований к его задержанию не имеем. „Адмирал Нельсон“ проходил до революции по фамилиям Ястржембский, он же Романеску, он же Шульц.

Начальник Одесского губрозыска Николаев».

– Коля, какое это имеет отношение к динарам с дырками? – робко спросил я Осипова.

– Имеет, – весело ответил он. – Имеет, друже, и вот почему. Я хорошо знаю «адмирала Нельсона». Это круп-

нейший специалист по вскрытию стальных сейфов, работал еще в царское время, медвежатник с европейским именем, – одним словом, последний из могикан. Он – король в уголовном мире, и его слово – закон. В общем... он нам поможет... Завтра утром приходи ко мне, поедем его встречать...

– На следующее утро мы встречали на Киевском вокзале одесский скорый. Когда поезд подошел, мы остановились у международного вагона и стали поджидать «адмирала Нельсона». Он появился в соломенном канотье, с роскошным, перекинутым через руку коверкотовым плащом и солидной палкой в руке с большим слоновой кости набалдашником в виде львиной головы. «Адмирал» был уже немолод, сухощав, рыжеват, с единственным веселым, уверенным глазом, второй был закрыт черной шелковой повязкой. Его можно было принять и за преуспевающего негодянта, и за старого морского волка, и за иностранного концессионера, и за международного злодея из фильмов выпуска киностудии «Русь».

– Здорово, «адмирал»! – подошел к нему Осипов. – С благополучным прибытием в столицу.

– Николай Филиппович, какими судьбами! – весело воскликнул «адмирал» и стал трясти Осипову руку с таким видом, как будто накануне он провел бессонную ночь в ожидании этой встречи. – Давненько мы с вами не видались. Я вижу, что наши фразеры из губрозыска уже напали вам о моем приезде. Больше им нечего делать, как беспокоить занятого человека, ай-ай-ай... Я же приехал голый, как ребенок, – без багажа, без инструмента, так что они подымают шум, что, я вас спрашиваю?.. Я приехал

встряхнуться, осмотреться, прийти в себя после кичмана, так эти дураки вас беспокоят. С другой стороны, спасибо им и за это, я вас все-таки повидал...

– «Адмирал», есть серьезное дело, – перебил его Осипов. – Пойдем посидим а ресторане.

– Если пристав говорит – садитесь, как-то неудобно стоять, – так утверждали когда-то в Одессе, – улыбнулся «адмирал». – Пойдемте хлопнем по кружке пива и поговорим о жизни... А кто этот милый молодой человек? – указал он на меня.

– Это мой большой друг, – ответил Осипов. – У нас общее дело...

В ресторане, выслушав от Осипова историю динаров с дырками, «адмирал» забушевал от негодования.

– Что у вас тут делается в столице? – кричал он с пеной на губах. – Почему распустились московские ворюги, я вас спрашиваю?! Надо иметь нахальство забраться в квартиру наркома! Что, им мало нэпманов, частных контор, иностранных концессий, – так нет, они лезут прямо на советскую власть!.. Это же контрреволюция, я утверждаю это как советский человек!.. Николай Филиппович, вы знаете мое куррикулум витэ, или как это там говорят, я не очень силен в латыни, вы знаете все, и я спрашиваю: после Великой Октябрьской революции взял ли «адмирал Нельсон» на абордаж хоть один государственный или даже кооперативный сейф? Да или нет?

– Ни одного, «адмирал», – согласился Осипов. – Это факт.

– Факт? Это не факт, а вопрос мировоззрения и мое профессией де фуа, как говорят французы. Вы слышите,

молодой человек, вам это полезно знать, вы только начинаете жизнь. Мировоззрения!.. С моими руками, о которых в тысяча девятьсот тринадцатом году берлинский полицей-президент говорил на всемирном конгрессе криминалистов в Вене как о явлении выдающемся, вы слышите – он так и сказал: «Майн либе герр, даст ист вундерлихт унд артистик», – с моими руками взял ли я хоть одну сберкассу или хотя бы уездную контору Госбанка? Боже меня упаси!.. Я сказал себе так: «Семен, лучше отруби себе руки, чем взять хоть одну народную копейку!» Вот почему я возмущен до глубины души!

– О чем же мы договоримся, «адмирал»? – прервал Осипов этот поток возмущения.

«Адмирал Нельсон» очень выразительно посмотрел Осипова, потом тихо сказал:

– Вам известны мои принципы, Николай Филиппович? Короче – монеты будут, человека не будет... Ясно?

– Вполне, – ответил Осипов, вставая из-за стола и давая этим понять, что высокие договаривающиеся стороны пришли к соглашению.

Простившись с «адмиралом», записавшим на прощанье телефон Осипова и заверившим, что он немедленно кое с кем встретится, чтобы «сделать демарш и предъявить ультиматум», мы сели в машину и поехали в МУР.

– И ты веришь, что этот одесский жулик что-нибудь сделает? – уныло спросил я Николая Филипповича.

– Если только эти монеты украл человек, а не привидение, – спокойно ответил он, – то в течение максимум двух суток они будут у нас. Старик, ты не знаешь этого человека. Уже самый его приезд в Москву – событие для

уголовников, а он рассердился не на шутку. Я себе представляю, какой шухер он поднимет на малинах!.. «Адмирал Нельсон» никогда не был и никогда не станет осведомителем угрозыска – это я ручаюсь, – но если к нему обратились как к человеку – он лучше умрет, чем не сделает того, что обещал...

– Мне он показался хвастливым болтуном, – произнес я.
– Эта легенда насчет восторгов берлинского полицей-президента...

– Легенда? – сердито переспросил Осипов. – Ну так едем ко мне, я тебе покажу, что это за легенда... У этого человека действительно золотые руки...

Через полчаса я уже перелистывал пожелтевшие страницы формуляра Московской сыскной полиции, на обложке которого было написано:

«Ястржембский Казимир Станиславович, он же Романеску Жан, он же Шульц Вильгельм, – опаснейший медвежатник международного класса, гастролирует в империи и за границей, проходит по донесениям С.-Петербургской, Одесской, Московской, Ростовской-на-Дону и Нахичеванской, а также Царства Польского сыскных полиций».

Формуляр содержал многочисленные донесения, запросы и рапорты всех этих сыскных полиций, излагавших похождения неуловимого «адмирала Нельсона».

Из них особенно подробным был «меморандум» директора департамента полиции министерства внутренних дел Белецкого, адресованный «его высокопревосходительству господину министру внутренних дел Н. А. Маклакову», датированный 12 марта 1913 года и, согласно резолюции министра, в копиях разосланный начальникам

сыскных отделений полиции ряда крупнейших городов Российской империи «для сведения и руководства».

Вот что было в нем написано:

«Согласно приказанию вашего высокопревосходительства, сим докладываю о злоумышленной деятельности известного специалиста по взламыванию и расплавлению стальных сейфов одесского мещанина, проходившего под фамилией Ястржембский, Романеску, Шульц и неоднократно судившегося за совершенные им уголовно-наказуемые деяния указанного выше характера.

В текущем, как и в минувшем годах, по данным департамента полиции, ограбления и взломы банковских сейфов имели место в разных городах империи, но особого внимания заслуживают случаи в Нижнем Новгороде и Самаре.

В Нижнем Новгороде 12 августа минувшего года ночью неизвестный злоумышленник проник в помещение местного отделения Волжско-Камского банка, где и вскрыл два сейфа особой конструкции, выписанные вышеназванным банком из Лейпцига у известной фирмы по изготовлению банковских сейфов «Отто Гриль и К^о».

Как установлено полицейским дознанием, произведенным по этому делу чинами нижегородской полиции при участии чиновника для особых поручений при нижегородском губернаторе, злоумышленник находился в помещении банка не более тридцати минут, на которые самовольно отлучился с поста ночной сторож мещанин Иван Прохоров Козолуп, каковой, ввиду давности его безупречной дотоле службы в банке, а также ввиду весьма лестных о нем отзывов местной полиции, нижегородского

отделения Союза русского народа и благочинного отца Варсонофия, от всяких подозрений освобожден.

По показаниям Козолупа, он в начале второго часа ночи, видя, что городское движение затихло, прохожих нет и даже в ресторане гостиницы «Россия» погасли огни, решил на время отлучиться со своего поста, дабы напиться дома чаю, как он это нередко делал в ночное время, чтобы отогнать сон. Поскольку квартира Козолупа находилась неподалеку, он запер двери подъезда и пошел к себе, причем по дороге встретил неизвестного ему молодого человека в котелке, которому по его просьбе дал прикурить.

Когда по прошествии тридцати минут Козолуп вернулся на пост, то обнаружил подъезд уже открытым, а также открытыми стальные двери, ведущие в подвал, где хранятся банковские сейфы. Козолуп немедленно вызвал полицию, а также стал разыскивать директора банка, гласного городской думы, почетного гражданина Валентина Павловича Голощекина, какового лишь в начале пятого часа утра с трудом, да и то при содействии местного пристава, обнаружили в Канавском участке, в публичном доме, содержательницей коего является купчиха 2-й гильдии Скороходова.

Как в дальнейшем выяснилось, злоумышленник с необыкновенной ловкостью и отменным знанием дела открыл два сейфа, несмотря на то что они снабжены секретными и вполне оригинальной конструкцией замками. Похитив из упомянутых сейфов около ста тысяч рублей государственными ассигнациями, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Поскольку лейпцигская фирма «Отто Гриль и К°» вы-

дала дирекции Волжско-Камского банка фирменную гарантию, что ее сейфы, ввиду особой секретности замков, посторонними вскрыты быть не могут, г-н Голощекин немедленно уведомил о случившемся по телеграфу главу фирмы, немецкого купца Гриля, каковой в тот же день ответил телеграфно, что командирует в Нижний Новгород старшего инженера фирмы Ганса Шмельца и расходы по его выезду фирма принимает на себя. Через несколько дней названный Шмельц действительно прибыл в Нижний Новгород, детально, в присутствии директора банка и чинов полиции, осмотрел оба сейфа и публично заявил, что даже он сам, автор этой конструкции и специалист по сейфам, не сумел бы вскрыть эти сейфы в течение тридцати минут, а затратил бы на это не менее пяти часов, да и то при наличии специальных инструментов.

Затем, в частной беседе с нижегородским полицмейстером, инженер Шмельц заявил, что в случае если злоумышленник будет обнаружен полицией и понесет заслуженное наказание, то по отбытии им такового фирма «Отто Гриль и К°» охотно предложила бы указанному злоумышленнику работу на своих предприятиях на самых выгодных условиях. Что это предложение фирмы было серьезным, явствует из того факта, что инженер Шмельц даже позволил себе предложить полицмейстеру весьма ценный подарок за то, что тот примет на себя роль посредника в переговорах со злоумышленником, от какового подарка полицмейстер, разумеется, отказался, что, по крайней мере, следует из его рапорта нижегородскому губернатору.

Между тем в результате принятых местной полицией

мер удалось установить, что 13 августа на пароход «Великая княжна Татьяна» волжского пароходного общества «Кавказ и Меркурий», отправлявшийся вниз по Волге, вступил в качестве пассажира первого класса неизвестный молодой человек в котелке, отменно одетый, рыжеватый, каковой в тот же вечер в салоне первого класса принял участие в азартной картежной игре в обществе других пассажиров. Как потом выяснилось, среди играющих был известный пароходный шулер Зигмунд Пшедецкий, возвращавшийся с нижегородской ярмарки, где он выдавал себя за польского графа Ланкевича и также крупно играл в ряде игорных домов. На пароходе, заметив ряд русских и персидских купцов, возвращавшихся с ярмарки, Пшедецкий снова затеял крупную игру, в которой принял участие и упомянутый выше молодой человек в котелке.

По свидетельству лакея пароходной кухни татарина Мурзаева, обслуживавшего игроков подачей как прохладительных, так и горячительных напитков, игра шла очень крупно, на десятки тысяч, и Пшедецкий обыграл самарского купца первой гильдии известного мукомола Прохорова, а также персидских купцов Гуссейна Хаджара и Сулеймана Айрома и, кроме того, хвалынского уездного предводителя дворянства графа Кушелева и в общей сложности выиграл не менее ста тысяч рублей. Что же до молодого человека в котелке, то и он, по свидетельству Мурзаева, сильно проигрался и, расплачиваясь, вынимал из большого кожаного портфеля, с которым не расставался, деньги, причем Мурзаев заметил, что портфель набит до отказа ассигнациями.

По окончании игры, когда пассажиры разошлись по

каютам, Мурзаев, убиравший салон, услышал какой-то шум в третьей каюте и, подойдя к ее дверям, подсмотрел в замочную скважину Пшедецкого-Ланкевича и молодого человека в котелке, причем последний основательно тряс Пшедецкого за ворот и кричал: «Отдай, жулик, полвыигрыша, а то я из тебя душу выну!» – на что Пшедецкий кричал, что согласен вернуть молодому человеку лишь его проигрыш... В конце концов между ними началась драка, и молодой человек в котелке начал бить Пшедецкого спасательным кругом по голове, после чего Пшедецкий отдал молодому человеку половину всего выигрыша и тут же, захватив свой маленький саквояж, высадился на первой же глухой пристани, несмотря на позднюю ночь. Рыжий кричал ему вслед с палубы: «Теперь будешь знать, фраер, Одессу-маму! Пижон ты, а не шулер!» – и вообще очень веселился.

По прошествии нескольких дней и на следующий день после прибытия вышеупомянутого парохода «Великая княжна Татьяна» в Самару, где молодой человек в котелке высадился, там же, ночью, было произведено неизвестным злоумышленником дерзкое ограбление самарского купеческого банка, где также были вскрыты два сейфа и похищены сто пятьдесят шесть тысяч рублей. При этом, как и в Нижнем Новгороде, злоумышленник произвел вскрытие сейфов в удивительно короткий срок.

По началу полицейского дознания по этому делу было установлено, что в вечер прибытия парохода «Великая княжна Татьяна» в Самару в гостиницу «Волга» явился рыжеватый молодой человек в котелке и, предъявив паспорт на имя Казимира Ястржембского, занял номер. На

следующие сутки около трех часов ночи он вернулся из города в гостиницу с саквояжем в руке и дал коридорной Аграфене Гориной, открывшей ему дверь, пять рублей на чай. При этом, как показала на дознании Горина, он был вполне трезв, но явно утомлен.

Именно эти данные и пролили известный свет на это дело, поелику по данным харьковской сыскной полиции известный медвежатник Шульц-Романеску проходил у них под фамилией Ястржембского.

Однако по получении и проверке этих данных Шульц-Ястржембский скрылся из Самары в неизвестном направлении.

И лишь через восемь месяцев следы Шульца-Ястржембского всплыли в Берлине, откуда поступило сообщение берлинского полицей-президиума о нижеследующем, обратившем на себя внимание немецкой полиции происшествии.

В феврале текущего 1913 года в Берлине была открыта техническая выставка, на которой как германские, так и другие европейские фирмы демонстрировали свои товары. В павильоне «Банковское и торговое оборудование» ряд фирм демонстрировал новые стальные сейфы с секретными замками. В частности, демонстрировались и сейфы фирмы «Отто Гриль и К°». В целях рекламы как эта фирма, так и германская электротехническая фирма «Симменс-Шуккерт», демонстрировавшая сейфы с секретной электрической сигнализацией, объявили большой денежный приз тому из посетителей, который сумеет в первом случае вообще открыть сейф, а во втором – открыть его без того, чтобы автоматически включилась электрическая сирена.

7 февраля в присутствии многочисленной публики некий рыжеватый молодой человек в котелке подошел к администратору павильона и заявил, что сейчас он попытается открыть как сейф лейпцигской фирмы «Отто Гриль и К°», так и сейф «Симменс-Шуккерт». Его предложение было принято, и он, к вящему удивлению представителей фирм и восторгу многочисленной публики, в течение двадцати двух минут открыл оба сейфа, причем во втором случае сумел предварительно отключить секретную сигнализацию.

Ему тут же были выданы денежные призы, и он на плохом немецком языке пригласил всех присутствующих в пивную «Вагнер», где и угощал их за свой счет, а сам, довольно сильно выпив, танцевал чечетку и провозглашал тосты за город Одессу, именуя ее «Одесса ди мутер».

Между тем инженер фирмы «Отто Гриль и К°» Ганс Шмельц, упомянутый выше, позвонил в берлинскую полицию и сообщил, что способ, которым неизвестный открыл сейф, очень напоминает ему происшествие, случившееся в нижегородском отделении Волжско-Камского банка.

Тогда представители берлинского полицей-президиума спешно явились в пивную «Вагнер» и потребовали у неизвестного молодого человека предъявления документов. Он показал им русский паспорт на фамилию Ястржембского с визой на выезд за границу, данной конотопским уездным исправником. Чины берлинской полиции тем не менее предложили ему следовать за собой на предмет дальнейшего выяснения его личности, но Ястржембский от этого категорически отказался и стал просить защиты у

публики, уже основательно подвыпившей за его счет. Публика единодушно встала на его защиту и оттеснила чинов полиции, а сам Ястржембский скрылся.

Докладывая о вышеизложенном вашему высокопревосходительству, со своей стороны полагал бы необходимым войти в сношение с господином министром иностранных дел, его высокопревосходительством г-ном Сагоновым, на предмет обращения в установленном порядке к германской полиции с просьбой об обнаружении, задержании и выдаче названного Ястржембского-Шульца, как серьезного уголовного преступника.

Директор департамента полиции министерства внутренних дел, действительный статский советник С. П. Белецкий».

Из дальнейшей переписки, которая содержалась в этом архивном деле, можно было понять, что в течение почти года царское министерство внутренних дел через министерство иностранных дел связывалось с германской полицией, которая разыскивала или делала вид, что разыскивает «адмирала Нельсона», а потом разразилась война, и эта трогательная переписка прекратилась.

Был уже вечер, когда я, закончив ознакомление с этими пожелтевшими документами и списав на память наиболее интересные из них, пошел с Осиновым в кинотеатр «Арс», где теперь находится драматический театр имени Станиславского.

Взяв билеты, мы решили погулять, так как до начала сеанса еще оставалось около часа.

— Скажи, Николай, чем может кончить этот «адмирал Нельсон»? — спросил я Осипова.

– Я сам часто думаю о нем и таких, как он, – ответил Осипов. – Как тебе сказать, дружище, это очень сложный и трудный вопрос. Мы получили в наследство от прошлого довольно большой уголовный мир с его навыками, традициями, различиями, если хочешь знать, «школами», и специальностями. Сейчас, в годы нэпа, уголовщина опять получила какую-то питательную среду. Рестораны, бега, частные магазины, торговля, кабаре, сами нэпманы, наконец, – все это, конечно, в какой-то степени порождает и уголовщину. Есть еще немало старых «специалистов» – грабителей, воров, содержателей всевозможных притонов и т. п. Думаю, что большинство из них будет нами рано или поздно поймано и отправлено по назначению. Какая-то часть, вероятно, «перекуется» и начнет трудовую жизнь. Куда пойдет «адмирал», трудно сказать... Но то, что он никогда не берет из государственных и кооперативных сейфов денег, – факт... Это все-таки нюанс... А в общем: поживем – увидим...

Утро следующего дня началось с телефонного звонка секретарши С., передававшей, что тот продолжает волноваться и велел напомнить, что осталось два дня. Нельзя сказать, чтоб это сообщение привело меня в хорошее настроение. В два часа со мною связался Осипов и сообщил, что ему только что позвонил по телефону «адмирал Нельсон» и сказал, что работа кипит, но монет пока нет.

В конце дня позвонил Шевердин, и по тревоге, с которой этот добрый старик справлялся о ходе дел, я понял, что он искренне обеспокоен и считает, что, если монеты не найдутся, мне несдобровать. Я в самых общих словах доложил Шевердину, что товарищи из МУРа приняли такие-то меры, но пока результатов нет.

– Жаль, жаль, – вздохнул Шевердин, – уж очень бушует наш потерпевший... Старайтесь, розоволицый сын мой, старайтесь, а то влипнем мы с вами в историю с географией...

Нетрудно представить себе мое состояние, когда в тот же день вечером под окнами моей комнаты загудела знакомая сирена осиповского «пежо». Я пулей выскочил на улицу и еще издали увидел улыбающееся лицо моего друга, рядом с которым сидел один из самых талантливых его помощников – Николай Леонтьевич Ножницкий.

– Садись, едем! – крикнул мне Осипов. – Звонил «адмирал» и просит срочно приехать в «Культурный уголок»...

Я сел в машину, и мы помчались на улицу Горького, где в невысоком доме на углу Малого Гнездниковского, который давно уже снесен и на месте которого теперь высятся новый дом; помещалась пивная, называвшаяся «Культурный уголок» и славившаяся, однако, не столько культурой, сколько отличными вареными раками и совершенно необыкновенной вяленой воблой, подаваемыми вместе с моченым горошком к пиву.

«Адмирал Нельсон» уже поджидал нас за столиком в углу, сидя в своем отличном, очень модном костюме, с самым торжественным выражением лица.

– Добрый вечер, добрый вечер, – с достоинством протянул он. – Ну и задали вы мне работку, будь она проклята!.. Это называется – человек приехал встряхнуться и отдохнуть!.. От такого отдыха недолго и сыграть в ящик – как говорил мой покойный папа, а человека умнее его в Одессе не было и уж теперь, безусловно, не будет... Между про-

чим, он был лучший слесарь-механик в этом великом городе, и я убедился по себе, что законы наследственности, не выдумка шарлатанов... Один раз, не сойти мне с этого места...

– Нельзя ли ближе к существу дела? – перебил его Осипов. – Историю с покойным папашей вы мне рассказывали еще в тысяча девятьсот двадцать первом году...

– Пардон, забыл, ей-богу, забыл, – произнес «адмирал». – Так вот, могу и ближе к делу... Вчера я прямо с вокзала собрал кого следует и провел пленарное заседание. Я произнес такую речь, что ребята заплакали... «Проклятые гидры контрреволюции, – сказал я им, – у вас хватило совести, жлобы, кинуться на наркома и свистнуть у него какую-то вонючую и никому не нужную коллекцию монет, чтобы сократить его нужную жизнь! Из-за каких-то паршивых динаров с дырками вы отрываете члена правительства от важнейших государственных дел, деникинцы! Я бросил все свои дела в Одессе я примчался, чтобы сказать вам свое „фэ“... На Молдаванке три дня плевались узнав о вашем гнусном злодеянии, которому нет слов, махновцы!...» Я говорил полчаса, не меньше, и три раза мне подавали воду, так я волновался... И тогда встал король московских домушников – вы его знаете, Николай Филиппович...

– Сенька Барс, знаю, – произнес Осипов.

– Именно. Обливаясь горячими слезами, он поклялся, что это не его работа. Что вам много говорить?... Там были сливки Москвы, и все поклялись бросить работу, пока не найдут этих проклятых монет, из-за которых мы все опозорены... И кому, как не вам, знать, что они действительно сдержали слово...

– Это верно, – подтвердил Осипов. – За эти сутки, впервые за последние годы, не было совершено ни одной кражи...

– Что значит кражи? – обиженно спросил «адмирал». – Что значит кражи, когда сутки вообще никто не работает... Ведь пришлось мобилизовать всех фармазонов, и уличных грабителей, и кукольников, всех стоящих людей... Был ли раздет хоть один нэпман, вырвана ли хоть одна сумка у какой-нибудь шмары, вытащен ли хотя бы один бумажник? Да что говорить, когда город объявлен на осадном положении... Нам недешево обошлись эти динары с дырками!.. Может быть, вы думаете, хоть один человек спал хотя бы десять минут? Если вы это думаете, я перестану вас уважать...

– Нет, я этого не думаю, – поспешил заявить Осипов.

– Потому что умный человек!.. Скажу больше – всю ночь я сам провел на главной малине...

– В Зоологическом переулке? – улыбнулся Осипов.

– Николай Филиппович, этого я от вас не ожидал, – нахмурился «адмирал», – «адмирал Нельсон» за всю свою жизнь не завалил ни одной малины, и такие вопросы – это не по конвенции... В общем... я ничего не скажу...

– Ладно, замнем, – усмехнулся Осипов. – Продолжаем заседание...

– Продолжаем. До утра я просидел на малине, каждые полчаса прибегали люди со всех концов города, и каждый говорил: «Нет!..» В семь часов утра ни один профессор на свете не дал бы за мою жизнь медного гроша, так меня трясло от волнения... В восемь я уже был одной нотой на том свете, и сильно пахло могилой – сердце почти не

работало; пропал пульс, и Манька Блоха, хозяйка малины, рыдала, глядя на меня, и вопила: «Адмирал», миленький, неужели ты помрешь из-за каких-то динаров с дырками? Ой, что мы скажем Одессе? Как объясним, что тебя не уберегли, мне сожгут малину, «адмирал»...» Кто, вы думаете, меня спас?... Сенька Барс. Он прибежал в девять тридцать и, увидев, что я уже почти не дышу, сразу понял, что надо делать... Дело в том, что Барс – человек с недюжинным образованием, он почти закончил фельдшерскую школу в Жмеринке и, видит бог, если б не стал вором, то давно был бы профессором медицины... В общем, он с ходу ринулся в ближайшую больницу и там среди бела дня стащил из-под какого-то больного подушку с кислородом, которую принес мне... Дай ему бог здоровья – это была единственная кража, совершенная за этот ужасный день... Хорошо я отдохнул в Москве, а, Николай Филиппович?!

– Ближе к делу, «адмирал», – неумолимо произнес Осипов.

– Мы как раз к нему подходим, и сейчас я брошу якорь, – сказал «адмирал», – Когда я немного отдышался, вбежал Колька Кролик из Марьиной Рощи с таким видом, как будто он только что сорвался с кола турецкого султана или украл в трамвае линии «Б» британскую корону, и заорал во все горло. «Что ты орешь, идиот?» – спросил я, а он все продолжал кричать, пока Сенька Барс не вытряхнул из него сути дела: оказывается, урки нашли все-таки этого проклятого ворюгу, и он оказался, во-первых, не москвич, во-вторых, что еще более важно, не одессит и, в-третьих, даже не настоящий урка, а какой-то приезжий штымп из Тулы... После этого я вас спрашиваю, можно жить на этом странном свете?

– Где же монеты? – спокойно спросил Осипов, пристально глядя прямо в глаза «адмиралу».

– Как раз этот вопрос, не будучи оригиналом, я задал Кольке Кролику, – язвительно ответил «адмирал». – Монеты в Туле, куда этот штымп успел их отвезти. Теперь за ними поехала туда такая делегация, что если в этом городе останется хотя бы знаменитый оружейный завод, так горсовет может устроить торжественное заседание... Скоро их привезут сюда...

Тут даже Осипов не выдержал и вздохнул с облегчением. У меня от радости кружилась голова. Ножницкий так смеялся, что слезы текли у него по лицу.

И тут кто-то бросил камешек в окно, у которого мы сидели. «Адмирал Нельсон» моментально вскочил и, воскликнув: «Послы прибыли! Музыка играет туш!» – выбежал из пивной.

Через несколько минут он возвратился в пивную с очень торжественным видом, неся в руках довольно большой кожаный мешок с медными застежками.

– Вот они – произнес «адмирал», и его единственный глаз засверкал от сатанинской гордости. – Могу дать голову на отсечение, что, если б даже все полиции мира, совместно с участниками Венского всемирного конгресса криминалистов, на котором берлинский полицей-президент так заслуженно тепло отозвался о моих руках, приехали бы сюда, чтобы разыскать эти монеты, им бы пришлось организованно утопиться в Москве-реке от неслыханного позора... Молодой человек, – обратился он ко мне, – вы только вступаете в жизнь и глубоко мне симпатичны, смотрите, любуйтесь, запоминайте: вот на что

способны воры, когда задета их честь... Вот что такое «адмирал Нельсон» и его громадный авторитет!..

И, расстегнув застёжки, он открыл мешок, где в специальных ячейках сидели, как голуби в гнездах, монеты.

Мы стали их разглядывать. Их было около двухсот, и все они были медные, зеленые и ржавые от древности, маленькие и большие, с вычеканенными на них быками и змеями, орлами и козлами, сфинксами и журавлями.

– Прошу встать перед лицом тысячелетий, – торжественно произнес «адмирал» и действительно встал. – Видите, вот, судя по дыркам, те самые динары, из-за которых поднялся такой страшный шухер... Боже мой, какая гримаса жизни, как любил говорить одесский присяжный поверенный Николай Николаевич Шнеерзон, защищавший меня в тысяча девятьсот пятнадцатом году, когда меня в конце концов поймала сыскная полиция... Действительно, гримаса – эти монеты противно взять в руки... Из-за такой дряни лучшие люди великого города носились, как коты, нанюхавшиеся валерьянки... Стоило волноваться наркому из-за этой ржавой меди!.. Поистине, и большие люди – глупцы, как говорил философ Спиноза, хотя скорее всего, что он этого и не говорил...

«Адмирала» понесло. Опрокинув пару стопок водки и залив их большой кружкой пива, он извергал на нас потоки своего красноречия. Из вежливости – все-таки этот человек нам помог – мы его не перебивали. Осипов заметно погрузтел: он очень не любил болтовни. А на нас сыпались философские сентенции и хвастливые воспоминания старого медвежатника, лирические отступления и воровской фольклор одесской Молдаванки.

Наконец он иссяк, или, точнее, устал. Воспользовавшись паузой, мы уже хотели проститься, как «адмирал» неожиданно сказал:

– А знаете, что самое странное в этом странном деле? Впервые в жизни «адмирал Нельсон» занимался розыском вместо краж. Оказывается, это гораздо интереснее. Честное слово старого медвежатника, это были самые счастливые сутки в моей жизни...

И, внезапно отрезвев, «адмирал» посмотрел на нас печальным взглядом уже немолодого человека, неожиданно понявшего, что он зря растратил свою жизнь.

Осипов сразу встрепенулся и пристально посмотрел на «адмирала».

– Из всего, что вы нам сегодня сказали, Семей Михайлович, – серьезно произнес он, впервые так обращаясь к «адмиралу», – это самое стоящее и умное. И если, найдя эти монеты, вы еще сумеете найти и свою новую судьбу, – а это всегда возможно, если человек имеет голову, а не кочан капусты, и сердце, а не тухлое яйцо, – то я ваш верный союзник. Был бы рад сквитаться таким образом...

По тому, как сразу и густо покраснел «адмирал», я понял, что Осипов, как всегда, попал в цель. Установилось то общее молчание, которое нередко говорит больше, нежели любые слова.

«Адмирал» сидел, опустив голову, о чем-то думая. Осипов не сводил с него глаз, и в них светилось то теплое, человеческое участие, без которого, как и без веры в людей, криминалист всегда ограничен и слеп. Увы, как нередко потом мне приходилось встречать иных следователей, страдающих этой куриной слепотой и потому причинявших страдания, в которых не было нужды!..

После затянувшейся паузы «адмирал» поднял голову и тихо, почти шепотом сказал:

– Кажется, Архимед заявил, что, если ему дадут точку опоры, он может перевернуть мир... Я не Архимед, и мир перевернулся без меня... Но так как я вижу, что он перевернулся правильно, то что-то перевернулось и вы мне... Мне уже много лет, Николай Филиппович, и в мои годы трудно начинать жизнь снова. Но вы оказали мне доверие, и это тоже точка опоры, о которой мечтал Архимед... Попробую перевернуть свой старый, заскорузлый мир... Попробую расплавить тот ржавый сейф, который я таскаю в себе... Кто знает, может быть, в нем еще сохранилось что-нибудь стоящее... Может быть...

И, неожиданно встав, он, не прощаясь, выбежал из пивной.

Когда я приехал к Шевердину и рассказал обо всем, что было, старик начал так хохотать, что я за него испугался. Потом, совершенно неожиданно для меня, он очень строго сказал:

– А все-таки, голубчик, я вот тут посоветовался с товарищами, да-с, и решили мы единогласно, что придется вам предстать перед дисциплинарной коллегией губсуда... Да, именно... Пишите объяснение...

В полной растерянности я вышел из кабинета Шевердина и бросился к Снитовскому и Ласкину – первым моим наставникам. Оба были заметно расстроены. Ласкин, нехотя буркнув «здрасьте», барабанил пальцами по столу. Снитовский был холоден как лед. Кроме них в кабинете находился и помощник губернского прокурора по надзору за следствием М. В. Острогорский, высокий красивый че-

ловек со светлой пышной шевелюрой и большими серыми глазами, глядевшими на этот раз весьма строго.

– Маленькие дети – маленькие неприятности, большие дети – большие неприятности, – начал Снитовский. – Так вот, Лев Романович (никогда раньше он меня не называл по отчеству), скорблю, всей душой скорблю по поводу странного вашего поведения... Нехорошо, милостивый государь, плохо и, даже позволю себе сказать, – стыдно!.. Тому ли мы вас учили, сударь, тому ль?..

– Иван Маркович, позвольте... – пролепетал я.

– Не позволю! – стукнул Снитовский кулаком по столу. – Не позволю! Ай-ай-ай, судебный следователь сидит в пивной с каким-то рецидивистом!.. Ужас, ужас!..

– Кошмар! – поддержал его Ласкин.

– Это просто непостижимо, – процедил Острогорский.

– Когда нам Шевердин все рассказал, мы решили, что так это не пройдет, не должно пройти... Пусть вам наперед наука будет... Да, наука, как нашу корпорацию марать...

И через неделю я стоял перед большим, крытым зеленым сукном столом, за которым восседала дисциплинарная коллегия губсуда в полном своем составе и с мрачным бородатым Дегтяревым во главе.

К тому времени дорогие мои наставники успели вполне внушить мне, что я совершил великий и непростительный грех, и я теперь со всей искренностью лепетал членам дисциплинарной коллегии обо всем, что было, как было и почему. Ах, как мне было худо!..

Дегтярев слушал очень внимательно, и в его коричневых желчных глазах, как это ни странно, светилося, где-то в самой глубине, что-то ласковое и даже, кажется, веселое.

Не потому ли он так сердито жевал свою бороду и время от времени зловеще бросал:

– Рассказывай, все рассказывай, орел!.. Ишь какой ловкий!.. Хорош, нечего сказать, хорош!.. Шерлоком Холмсом захотел стать!..

Но обо всем этом я вспоминал уже потом, а тогда мне было не до размышлений, и я только очень боялся из-за волнения хоть что-нибудь утаить. Но я ничего не утаил.

Судьи совещались всего двадцать минут, но мне это показалось вечностью. И когда Дегтярев стал зачитывать решение, я с трудом, в тумане, застилавшем голову, слышал главное: что меня не увольняют с работы и что коллегия, ввиду моей молодости и искреннего раскаяния решила ограничиться устным, но строгим внушением.

И тут я – дело прошлое – заплакал, на что Дегтярев, в очень ласковом, удивительном для него тоне тихо сказал:

– Ничего, ничего, не стесняйся, поплачь, милочка, и пусть это будет твое последнее в жизни горе...

А через много лет, где-то в середине тридцатых годов, судьба снова столкнула меня с «адмиралом Нельсоном». Я работал тогда в Прокуратуре СССР в качестве начальника следственного отдела и однажды, придя в кабинет прокурора СССР И. А. Акулова, застал последнего в очень взволнованном состоянии.

– Вот, Лев Романович, полюбуйте, какое несчастье, – обратился ко мне Акулов. – Потерял я ключ от своего сейфа, через два часа мой доклад в правительстве, а все материалы в сейфе... Наш механик открыть не берется, потому что сейф сложный, с каким-то замысловатым замком... Механик говорит, что надо сутки с ним биться...

Я посмотрел на массивный стальной сейф и сразу вспомнил, что пару лет назад Осипов мне рассказывал, что «адмирал Нельсон» окончательно порвал со своим прошлым, перебрался на жительство в Москву и мирно трудится в качестве технорука одной механической артели.

— Одну минуту, Иван Алексеевич, — сказал я Акулову. — Попытаюсь вам помочь...

И я тут же позвонил Осипову, работавшему уже в МВД СССР, и рассказал ему о беде, постигшей прокурора Союза.

— Все ясно, старина, сейчас попробую разыскать Семена Михайловича и, если найду, приеду вместе с ним, — сказал Осипов. — Но я его с год не встречал, не знаю — жив ли...

Иван Алексеевич, всегда и все понимавший с полуслова, едва я положил телефонную трубку, спросил:

— Скажите, это не тот «адмирал: Нельсон», о котором вы мне рассказывали?

— Он, Иван Алексеевич.

— Ну этот, судя по всему, поможет. Старые кадры не подводят...

И Иван Алексеевич улыбнулся своей неповторимой, очень мягкой и лукавой улыбкой, которую так хорошо знали его подчиненные.

Не прошло и полчаса, как появился несколько запыхавшийся, но все еще тогда крепкий Николай Филиппович, за которым следовал чистенький, аккуратный старичок с небольшим саквояжем в руке, одноглазый, с такой же аккуратной, как и весь сам, черной повязкой над глазницей. Годы взяли свое, и «адмирала» было трудно узнать, так

постарел он за это время, и только в самой глубине его единственного глаза все еще тлел тот живой огонек, который запомнился мне с первой встречи.

Иван Алексеевич встретил «адмирала» с обычной корректностью и тактом.

— Здравствуйте, садитесь, пожалуйста. Мне говорили, что вы один из лучших... гм... механиков... Не так ли?

— В свое время так считали почти все полиции Европы, товарищ Акулов, — ответил с достоинством «адмирал». — Но ведь полиция свойственно ошибаться более чем кому-либо... Впрочем, как будто я действительно немного разбирался в сейфах... Речь идет об этой гробнице?

И он указал на злополучный сейф.

— Совершенно верно. Это, если я не ошибаюсь, немецкий?

— Да, лейпцигской работы, — ответил «адмирал», быстро оглядывая сейф. — Однако это не «прима», как говорят немцы... Это сейф фирмы «Отто Гриль и К°», и я немного знаком с ее продукцией. Мы имеем здесь двойную щеколду нержавеющей стали с внутренней пружиной и автоматическим боковым тормозом — вот здесь, слева, — который задерживает замок, если не знать секрета... А вот и самый секрет — он довольно музыкальный... Что делать — немцы любят музыку...

И «адмирал Нельсон» нажал головку одного из пяти медных болтов, которыми был заклепан замок. Головка сразу же подалась и с мелодичным звоном отошла в сторону.

— Совершенно верно, — улыбаясь произнес Акулов. — Я вижу, что полиция не всегда ошибалась. Семен Михайло-

вич – если не ошибаюсь?.. – вы действительно крупный специалист...

– Не хвалите раньше времени, а то можно сглазить, – ответил «адмирал».

– Сейчас мы подружмся с этим «немцем» как следует...

И, вытащив из саквояжа какой-то тонкий стальной прут и длинный ключ с передвигающимися бородками, «адмирал» начал совершенно бесшумно ими оперировать.

– Замки сейфов не переносят грубости, – говорил он, продолжая работать. – С ними нужно деликатно обращаться, и они, как женщины, больше ценят внимание, а не силу... Конечно, когда такая старая калоша, как я, говорит о женщинах, это может показаться смешным, но в молодости бывший «адмирал Нельсон» разбирался не только в сейфах, несмотря на то, что имел всего одни глаз... Кстати, товарищ Акулов, именно благодаря этому меня и прозвали «адмиралом Нельсоном», который тоже был одноглазым... В тысяча девятьсот пятом году я гастролировал в Амстердаме и, дело прошлое, взял там один хороший сейф... На следующий день я прочел в газетах, что через неделю, это было в октябре, в Англии будет отмечаться сто лет со дня гибели Горацио Нельсона, павшего, как вы знаете, двадцать первого октября после сражения у Трафальгарского мыса, где он разгромил франко-испанский флот... Мне захотелось отдать дань внимания тезке... Я скупил в Амстердаме уйму знаменитых голландских тюльпанов, погрузил их на пароход и выехал в Англию. Три грузовых фургона доставили мои тюльпаны на кладбище, а сам я был в новом фраке и цилиндре... Клянусь вам честью, что, ко-

гда публика увидела мои тюльпаны, на меня стали глазеть больше, чем на первого лорда адмиралтейства... И тогда я произнес речь. «Леди энд джентльмен, – сказал я. – Я имею честь и одновременно удовольствие представлять здесь неповторимую Одессу, подарившую миру столько выдающихся поэтов, музыкантов, моряков и правонарушителей. Ваш одноглазый адмирал знал свое дело, что, впрочем, свойственно многим одноглазым». Мне устроили оvation... Да, на старости нам остаются одни воспоминания, как сказал Кант, в чем я, впрочем, не уверен...

– В том, что остаются одни воспоминания, или в том, что это сказал Кант? – быстро спросил Акулов.

– Николай Филиппович вам может подтвердить, что речь идет только о втором. А в том, что, кроме воспоминаний, у меня уже давно ничего нет, уверен помимо меня и весь угрозыск.

– Верно, – произнес Осипов.

И в этот самый момент «адмирал» со словами: «Ну вот, спасибо, крошка», – распахнул сейф.

Акулов поблагодарил «адмирала» и деликатно осведомился, «сколько он должен», но «адмирал» так отчаянно замахал руками, что этот вопрос сразу отпал.

– Еще раз благодарю, Семен Михайлович, – очень серьезно произнес Акулов. – Я искренне рад, что познакомился с вами теперь, когда уже можно сказать, что вы выдержали трудный, может быть самый трудный на свете, экзамен. Я имею в виду не сейф...

– Я вас понимаю, товарищ Акулов, – тихо ответил «адмирал». – Вы имеете в виду не сейф, а того, кто его открыл... Да если говорить откровенно, я начал сдавать

этот экзамен давно — когда мы искали эти динары с дырками... И теперь я каждый год хожу в Музей имени Пушкина — там есть отдел древних монет, — гляжу на эти динары и благодарю того неизвестного и давно покойного мастера, который чеканил их столько лет тому назад. И еще больше я благодарю тех живых и известных мастеров, которые чеканят наше удивительное время... И даже перечеканивают такие стертые монеты, как я... Пусть же здравствуют и наше время, и наши люди, товарищ прокурор!..

— Позвольте пожать вашу руку! — на первый взгляд не совсем по существу, а на самом деле в прямое развитие темы произнес Акулов.

ИНСПЕКТОР МИЛИЦИИ

1

Окно моего кабинета выходило на площадь центральной усадьбы колхоза. Из него видны почта, столовая, магазин сельпо, клуб, тир и асфальтированная дорога, пересекающая станицу Бахмачеевскую, что стала местом моей первой службы.

Бросая взгляд на улицу, я почти всегда видел Сычова – моего предшественника, ушедшего с поста участкового инспектора милиции совсем не по своему желанию и теперь обслуживающего днем тир, а вечером кинопередвижку клуба. Сидя на корточках возле тира, он частенько ожидал, когда в магазине начнут продавать спиртные напитки.

Я не испытывал к Сычову никаких плохих чувств, хотя и знал, что его разжаловали и уволили. За что – мне в РОВДе³ толком не объяснили. Говорили, что он большой любитель свадеб и поминок, которые привлекали его из-за этого самого спиртного. Как относится ко мне он, я понял довольно скоро. Но об этом я еще расскажу.

Одно из первых впечатлений в Бахмачеевской – медвяный запах, волнами прокатывающийся по станице, перемежающийся со степным запахом горьковатого настоя полыни и чебреца.

³ Районный отдел внутренних дел.

В первый же день моей работы ко мне вошла Ксения Филипповна и, переставив графин на стол, отсыпала из кирзовой черной сумки на пластмассовый поддон гору крупных, сладких и ароматных жердел⁴. Бархатистые желтые плоды, с перетяжечкой посередине, словно светились изнутри. И в комнате, выкрашенной темно-защитной масляной краской, вспыхнуло солнце, зазвенели тысячи пчел.

– Угощайтесь, Дмитрий Александрович.

Я сразу почувствовал себя мальчишкой, которому посторонняя тетя невесть за какие заслуги преподнесла палочку эскимо.

– Что вы, спасибо!.. Неловко как-то...

– Какая может быть неловкость? Нынче урожай на них дюже богатый. И сушу и варенья внукам наварила, а сняла едва половину. Принесла вот, пусть полакомится кто зайдет. Вы бы сами рвали с дерева, стесняться нечего.

Дверь Ксении Филипповны Ракитиной – напротив моего кабинета. И как ни выглянешь – всегда настежь.

Добрая пожилая женщина – председатель исполкома сельсовета. Взгляд у нее нежный, ласковый. И даже с какой-то жалостинкой. Так смотрел на меня только один человек – бабушка, мать отца. И взгляд этот смущает меня до слез.

Когда я ехал в Бахмачеевскую, в колхоз имени Первой конной армии, в РОВДе сказали, что исполком сельсовета выделит мне комнату для жилья. Ракитина решила этот вопрос очень быстро. Она предложила поселиться у нее, в

⁴ Мелкий абрикос (*местн.*).

просторной, некогда многолюдной хате, в комнате с отдельным входом.

Почему-то мне все время кажется: вот-вот Ракитина подойдет, положит мне на голову свою руку, легкую, сухую и теплую, как рука бабушки, и скажет бабушкиным голосом: «Ну, Димка-невидимка, досталось тебе на орехи? А ты не серчай на своих рожателей (это об отце и матери), у них свои законы. А у нас – свои...»

Мне всегда хочется сквозь землю провалиться, потому что председатель сельисполкома в пух и прах разбивает весь запас солидности, который я с великим трудом собираю каждое утро, чтобы принести в свой кабинет вместе с тщательно выглаженной мышиного цвета формой, вычищенной фуражкой и погонами младшего лейтенанта.

Ксения Филипповна садится на стул и смотрит на меня. Ну точь-в-точь моя бабка, когда с полной тарелкой румяных пирожков, которые надулись так, словно вдохнули в себя воздух и не могут выдохнуть, пристраивалась на мою постель воскресными утрами.

Я невольно беру жерделу и надкусываю.

– Как идут дела, Дмитрий Александрович? – Ее пальцы собирают на сукне, покрывающем мой стол, мельчайшие соринки, бегают проворно и быстро.

– Спасибо, ничего.

Удивительно вкусно, черт возьми! Хочется есть и есть золотистые, тающие во рту плоды. Но я смотрю в окно и серьезно говорю:

– Я тут составил план кое-каких мероприятий. Хочу ваше мнение узнать. Надо порядок наводить...

– Что ж, – говорит Ксения Филипповна, – давайте ваш

план, посмотрим. Действительно, порядок бы навести не-плохо. — Она чуть-чуть улыбается. А я краснею.

Сычов вышел из селпо. Карман его брюк оттопырен. Я машинально взглядываю на ручные часы. Пять минут двенадцатого. Он нырнул в темную пещеру тира и растворился в ней.

Мои мысли снова переключились на магазин, потому что из него вышел длинный парень в майке и синих хлопчатобумажных штанах до щиколоток. Бутылку он нес, как гранату, за горлышко.

Парень, пригнувшись, заглянул в тир и так же провалился в темноту...

— Я у вас почти месяц и поражаюсь: не продавщица, а клад... Спиртные напитки продает, как положено, — ровно с одиннадцати.

Ракитина кивнула:

— Дюже дисциплинированная Клавка Лохова. До нее мы просто измучились. Чуть ли не каждый месяц продавцы менялись. То недостача, то излишки, то левый товар. Хорошо, напомнил, надо позвонить в райпотребсоюз, чтобы отметили ее работу. Она у нас всего полгода, а одна только благодарность от баб. Вот только мужик у нее работать не хочет. Здоровый бугай, а дома сидит. Ты бы, Дмитрий Александрович, поговорил с ним. В колхозе руки ой как нужны.

— Обязательно, — ответил я. — Сегодня же.

Честно говоря, те дни, что я служу, просто угнетали отсутствием всяких нарушений и крупных дел. Не смотреть же все время в окно?

И вот опять мелочь — тунеядец. Странно, почему Сычов не призвал к порядку этого самого Лохова.

– Я тут подумала – бандура у меня без дела стоит, – сказала Ракитина. – Возьми домой, в свою комнату, все веселей. Оформим распиской. На время.

Сначала я не понял, о чем речь.

– Радио, говорю, стоит. Мне не нужно.

Так вот о чем! У нее в кабинете красуется старый приемник «Беларусь», занимая чуть ли не полкомнаты.

– Нет, нет! – отрезал я категорически. – Вещь казенная и пусть в общественном пользовании...

– Чудак! Для красоты стоит. Я не пользуюсь. А в клубе есть.

Выручает меня телефон. Он звонит отрывисто и хрипло в комнате напротив. Никто не подходит, так как Оксана, секретарь исполкома, укатила в Москву сдавать летнюю сессию в заочный юридический институт.

Ксения Филипповна уходит.

Я облегченно вздыхаю. И машинально начинаю глотать жерделы одну за другой. Мне жалко эту женщину, потому что в Бахмачеевской она живет одна. Четверо ее детей с внуками разъехались. Она заготавливает нехитрые крестьянские гостинцы и отправляет им с любой подвернувшейся оказией. Но, с другой стороны, ее отношение ко мне, как к маленькому, начинает беспокоить меня. Не подорвет ли это мой авторитет?

Ох уж эти двадцать два года! Я бьюсь изо всех сил, чтобы походить на настоящего взрослого мужчину. Но природа меня крепко подвела. Этот младенческий румянец, ямочка на правой щеке, кадык, как зоб у курицы. Но самое большое предательство совершили по отношению ко мне мои собственные усы.

Вы можете себе представить черного, как смоль, брюнета с редкими ржавыми усами? Это, увы, я. А без них нельзя. Потому что верхняя губа у меня вздернута, как у капризной девчонки. Вот и обходишь после этого без усов. Нет, я о них давно мечтал. Пусть хоть редкие, но все же усы. Солидно...

Теперь телефон звонит у меня.

– Участковый инспектор милиции слушает, – отчеканил я.

– Забыла сказать, Дмитрий Александрович... (Я не сразу догадываюсь, что это Ксения Филипповна. Ее голос слышно не в трубке, а через дверь.) Когда вы вчера уезжали в район, к вам тут Ледешко приезжала с жалобой.

– Какая Ледешко?

– Из хутора Крученого. Я пыталась поговорить с ней, да она и слышать не хочет. Вас требует. Говорит, грамотный, разберется. – Ракитина засмеялась. – И приказать может.

– Я был на оперативном совещании в райотделе. А заявление она оставила?

– Нет. Сказала, сама еще придет.

– А какого характера жалоба?

– Насчет бычка...

В трубке смешок и замешательство. Потом:

– Вы сами разберетесь. Баба настырная. С ней посерьезней.

– Спасибо.

Через пять минут Ксения Филипповна заглянула ко мне.

– Будут спрашивать, я пошла до почты. Сашка, внучек, школу закончил. Надо поздравить.

– Конечно, Ксения Филипповна. Скажу.

Я видел, как она спустилась с крыльца и пошла на больных ногах через дорогу. И понял, почему насчет Ледешко она звонила: ей было трудно лишний раз выбираться из своей комнаты.

Трудно. Но не для внука.

...Вернулась она скоро. Я, заперев свою комнату, вышел на улицу. Закатил в тень старой груши свой новенький «Урал», еще с заводскими пупырышками на шинах, и медленно направился к магазину.

Сычов с приятелем сидели на корточках по обе стороны входа в тир. Над ними вился сизый дымок местного сада, духовитого, пахнущего сеном.

Вообще мне было странно, что многие бахмачеевцы курили самосад. Даже некоторые молодые ребята предпочитали его папиросам и сигаретам.

Сычов напряженно ждал, поздороваюсь я с ним или нет. Я поздоровался. Он медленно поднялся с корточек и протянул руку.

– Осваиваешься, младший лейтенант?

– Знакомлюсь, – ответил я.

– Ну и как, власть? – расплылся в улыбке парень в майке, тоже суя мне руку лопаточкой.

– Нормально. – Пришлось поздороваться и с ним.

Им хотелось поговорить. Но я проследовал дальше.

Станица раскинулась на двугорбом холме. Она казалась островком среди безбрежных серебряных волн степи. Аккуратные белые хатки утопали в сумбурной зелени слив, жердел, вишен. Станные деревья – перекрученные стволы, изогнутые во все стороны ветки. В палисадниках,

кое-где оперенных тополями, таилась прохлада. Но и туда, в уютную тень, проникал ветер, непрерывно сквозивший по станице. Теплый, сухой июньский ветер, настоящий на полыни, несущий пыль, пыль и пыль, от которой некуда укрыться.

В магазине тускло светила лампочка и стоял аромат хозяйственного мыла, керосина, дешевого одеколona и железа. Здесь торговали всем сразу – и хлебом, и галантереей, и книгами, и гвоздями, и даже мебелью.

Продавщица Клава, сухопарая, лет тридцати пяти, с большим ртом и глубокими, как у мужчины, складками возле уголков губ, болтала с двумя девушками. Увидев меня, она приветливо улыбнулась.

Девушки притихли. Стрельнули в меня любопытными взглядами.

Одну из них я знал. Вернее, сразу заприметил из моего окна. Она работала в клубе. В библиотеке. Стройняшка. Ладняшка. Беленькая. Теперь я впервые видел ее так близко. Бог ты мой, и бывают же такие синие глаза! Васильки во ржи...

Клава продолжала говорить. И беленькую называла Ларисой.

В магазин ворвался мальчишка лет двенадцати. Он положил на прилавок несколько монет.

– Чего тебе? – бросила продавщица, мельком взглянув на меня.

– Три пачки «Памира».

– Не дорос еще.

– Не мне. Батьке...

– Пусть батька и придет.

Парнишка стушевался. Собрал гривенники и, растерянно озираясь, вышел на улицу.

Я рассматривал допотопный трехдверный шифоньер, большой и пыльный, загородивший окна магазина.

– Берите, младший лейтенант. Недорого возьму, – сказала Лохова.

– Пока не требуется, – спокойно ответил я.

– Кур можно держать, – не унималась Клава. – На худой конец – мотоцикл...

Девушки прыснули. Я не знал, что ответить. Похлопал по дверце шкафа и сказал:

– Сколько дерева извели...

– Всю зиму можно топить! – вздохнула Лохова. – Завозят к нам то, что в городе не берут. Разве колхозники хуже городских? Им даже лучшее полагается за хлебушек...

Девушки вышли, и мы остались с продавщицей одни.

– Правильно вы говорите, – подтвердил я.

– А то! – обрадовалась Клава. – Вон, люди недовольны, думают, я товары сама выбираю...

– Неправда, люди вами довольны, товарищ Лохова, – улыбнулся я. – Всем довольны. Но есть одна загвоздочка...

– Что еще? – насторожилась Клава.

– Вы, я вижу, женщина работающая. А муж ваш...

Лицо у Клавы стало суровое. Значит, не только я говорю ей об этом.

– А что муж? – вспыхнула она. – Что вам мой Тихон сделал плохого?

– Ничего плохого, – сказал я как можно миролюбивее. – Только ведь у нас все работают. В колхозе рук не хватает.

– У вас есть жена?

– Нет, не обзавелся еще.

– Тогда другое дело, – усмехнулась она, как бы говоря, что я ее не пойму. – Может быть, он больше меня вкалывает.

– Это где же?

– Дома, вот где! И обед приготовит, и детей накормит, а у нас их трое. Приду с работы, руки отваливаются, а он на стол соберет, поухаживает.

– Несерьезно вы говорите, товарищ Лохова. Это не дело для мужчины.

– Почему же не дело? Вон жена Павла Кузьмича, парторга, кровь с молоком, а дома сидит. Павел Кузьмич мало что на работе мотается, еще и за коровой приглянет и хату сам побелит. А поглядишь – в чем только душа держится?

– Одно дело – помогать жене по хозяйству, а другое – только этим заниматься. У нас по закону все мужчины должны работать.

– У нас по закону равноправие, – отпарировала Клава. – Чи мужик деньги в дом несет, чи баба, не важно, стало быть.

– Нет, важно.

– Так что, товарищ участковый, прикажете тогда мне работу бросать? Я несогласная. Работа моя мне нравится, сами говорили, люди довольны. А какую пользу в колхозе мой Тихон принесет, еще по воде вилами писано. Уж лучше пускай дома сидит. Моей зарплаты нам хватает. И мужик он, вдобавок, такой, каждой бабе пожелаю.

Я не знал, что ей возразить. Хорошо, в это время зашла за покупками какая-то бабка.

– И нечего записывать его в тунеядцы, – закончила Клава.

– Нассонову я тоже об этом сказала. И всем скажу...

Я поспешил на улицу.

– Зеленый... – проскрипела мне вслед старуха. Я это услышал и выругался про себя. А та добавила: – Но симпатичный.

Тоже ни к чему, раз речь идет об официальном лице.

Я пошел к сельисполкому, размышляя о словах Лоховой. Действительно, придаться к ней было трудно. Рассуждала она логично. Как поступать в таких случаях? Не знаю. Но поговорить с Тихоном надо. Только с умом. Чтобы не растеряться, как вот только что в магазине. Хорошо, что девушки не присутствовали при нашем разговоре.

Я оглянулся. Лариса стояла около клуба и с откровенным любопытством смотрела в мою сторону, козырьком приложив руку ко лбу.

Интересно, Ксения Филипповна видела, что я был у Клавы? Только бы не стала расспрашивать.

...Не успел я пережить свою неудачу, как ко мне в кабинет зашла решительного вида старуха и без приглашения прочно устроилась на стуле.

– Здравсьте, товарищ начальник. Слава богу, вы теперича тут порядок наведете. Нет на них управы! – погрозила она куда-то пухлым кулачком. Потом развернула чистенький, беленький платочек и положила на стол потерянный на сгибах лист.

Документ удостоверял: колхоз заключил настоящий договор с Ледешко А. С. о том, что принадлежащий ей

бугай симментальской породы, по кличке Выстрел, находится в колхозном стаде для производства племенного молодняка, за что Ледешко А. С. положена плата...

Значит, это о ней говорила мне Ксения Филипповна.

Я внимательно слушал моего первого жалобщика.

– Видите, мы не какие-нибудь сбоку припека, а государственно оформлены, – сказала она.

– Ну, а жалоба-то у вас какая?

– Я уже тут, в этом кабинете, столько бумаги извела – пропасть. Ничего, вы разберетесь как следует. А то кое-кому крайнихино вино голову затуманило...

– Товарищ Ледешко, – строго сказал я, – изложите суть дела.

– Наизлагалась во! – провела она ребром ладони по своему горлу. – Крайнихина Бабочка – корова рази? Тьфу, а не корова! Ни молока, ни мяса...

– Кто такая Крайниха и какие претензии вы к ней имеете?

– Суседка моя, Крайнова. Завидно небось, что мой Выстрел в стаде законно, а ее коровешка без всякого права. Покалечила она моего бугая.

– Зачем гражданке Крайновой калечить быка?

– Да не она, а Бабочка, стало быть, корова ейная.

Я начал терять терпение.

– Ну и что?

– Как что? Пущай платит эту самую конфискацию.

– Компенсацию, вы хотите сказать?

– Нехай буде конписацию. Уж больно бодучая Бабочка.

– И сильно покалечила? – спросил я.

– Чуть не полбока разодрала...

Вот чертовщина, ну и задала мне бабка задачу!

– Как вы думаете, был тут злой умысел?

– А поди разберись, корова не человек. Бабочка всех без разбору калечит.

– Значит, у вашей соседки Крайневой умысла не было? Как же требовать с нее компенсацию?

– Но сам факт покалечения имеется!

– А Крайнева при чем? – Я не удержался и повысил голос.

Ледешко насупилась.

– И вы, значит, заодно с ними... – Она стала заворачивать в платочек договор с колхозом. – Ладно. В район поеду.

Еще не хватало! Представляю, какой смех будет в РОВДе. Нет, отмахнуться от старухи нельзя. Придется разбираться.

Я вздохнул.

– Хорошо. Пишите заявление.

Ледешко уселась за бумагу с явным удовольствием.

– И еще этот Чава.

– Какой Чава?

– Пастух.

– Это его имя или фамилия?

– Вроде клички.

– Клички только у животных бывают. Люди имеют имя и фамилию, – сказал я как можно строже.

– Сергей Денисов, – поспешно поправилась Ледешко. – Цыган между прочим...

– Цыгане, русские – все равны.

– И я так же думаю, товарищ начальник, – подхватила

жалобщица. – Все и должны держаться наравне. А то, например, ежели ты цыган – тебе лошадь можно иметь и без налога. Вроде бы цыгану лошадь с рождения полагается. А другим до последнего времени было так: имеешь скотину – плати налог.

– Теперь и вы можете иметь лошадь. Без налога.

– А на шо она мне?.. Так Чава этот изводит моего бугая. Сами, говорит, гоните его в стадо. А за что, спрашивается, ему колхоз денежки платит? Между прочие, их личная корова тоже в колхозном стаде.

Наконец Ледешко ушла. На душе было грустно. «Ну, Дмитрий Александрович, тебя можно поздравить с первым делом! Здесь тебе и мучительные ночи над разгадкой рокового преступления, и погоня за хитрым, коварным и опасным преступником...»

А какие мечты роились в моей голове четыре года назад! В зеленом Калининe, с трамваями, троллейбусами, с Волгой, одетой в бетонные берега.

И мечты эти начались с той набережной, в тот октябрьский вечер, когда я принимал участие в задержании преступника.

Была ночь с ворохом скрипучих осенних листьев под ногами, густая маслянистая река и таинственные фонари, легонько раскачивающиеся на ветру. По ту сторону реки уже спали дома.

Как сейчас, помню волнение, когда двое оперативников скрутили здорового, мрачного детину. Я помогал всем, чем мог. Вот где пригодился мой разряд по самбо.

Мы отвели его к серому «Москвичу».

А потом я, распираемый гордостью, шел домой из от-

деления милиции. Меня затаив дыхание слушала бабушка и все подставляла то котлеты, то хлеб, то яблоки. Мы просидели с ней на кухне часа три.

Мои однокашники мучились, какой институт выбрать. А я уже твердо знал: моя профессия – следователь. И подал заявление в МГУ на юридический факультет.

Я до сих пор уверен, что срезался из-за глупого вопроса – сколько государств в Африке. Действительно, на кой черт надо человеку знать это? Да и знал ли сам почтенный профессор МГУ? Как это можно знать, когда они, наверное, возникают каждый день, каждый час. Во всяком случае, мне так кажется, когда я читаю газеты...

Потом было два года службы в армии. Но все-таки мне удалось учиться в Москве. Только не на улице Герцена, где юрфак, а в Черкизове. Сосватал меня в школу милиции кадровик из Калининского областного управления внутренних дел, заверив, что следователем можно стать и таким путем.

...И вот я достаю новую, чистую папку, вкладываю в нее заявление Ледешко и пишу: «Дело о...»

Долго и безрезультатно мучаюсь над дальнейшей формулировкой.

И первая папка ложится в сейф пока безымянной.

Чтобы разобраться с этим делом, надо съездить на хутор Крученный, расположенный в нескольких километрах от станции.

Я посмотрел в настольный календарь, куда вносил пометки и разные записи. Так, на память. И для солидности.

Мне предстояло еще написать Алешке письмо. Это моя сестра Аленка, которую я так звал с детства.

И еще что-то будоражило меня. Да, зайти бы в библиотеку.

Но под каким предлогом?

2

Вечера здесь хорошие. Они мне понравились сразу. Нагретая за день степь прибоем накатывает на станицу теплый воздух, повсюду разлита благодать. И тишина. Ее лишь изредка нарушает сытое похрюкивание соседской свиньи в катухе⁵ или далекий перебрех собак.

Выпив полмакитры⁶ парного молока, доставляемого мне по договоренности соседкой, я усаживаюсь за круглый стол посреди комнаты, чтобы написать письмо Алешке. Ей четырнадцать, и мы крепко дружим. От нее я уже получил два письма. Надо скорее ответить. Родители тоже любят меня. Но я знаю, что им частенько не до сына. Прожили вместе двадцать три года, а до сих пор выясняют отношения. Как ни странно, связующим звеном у них была бабушка. И как только она умерла, у них начались неурядицы. Сперва меня это страшно огорчало, но потом привык. И даже затишье в доме выглядело как-то необычно. Во время семейных баталий мы с Алешкой создавали свою маленькую круговую оборону, и в наш мир никто не мог проникнуть. Как там теперь она одна?

Я вдохновенно написал две первые фразы и... запнулся. Врать не умею, а писать пока было нечего. Вернее, ничего особенного я сообщить не мог. Алешке же нужны были

⁵ Хлев (*местн.*).

⁶ Кувшин (*местн.*).

мои подвиги. Нужны были необычные дела, из которых я обязательно выхожу победителем.

На письма нужно свое вдохновение. А долг службы велел мне облачаться в форму и отправляться в клуб.

Прости меня, Алешка!

Я опять отложил письмо и, в мгновение одевшись, чинно прошествовал в клуб, провожаемый взглядами станичников, коротавших время на завалинках за лузганьем семечек.

Публика неторопливо прохаживалась возле клуба в ожидании киносеанса. Я для порядка заглянул во все закоулки. Ларисы не было.

Перед самым сеансом к крыльцу подскочил верхом на лошади молодой парень. Его чистая белая сорочка была плохо выглажена, брюки пузырились на коленях. И только сапоги сверкали зеркальным блеском.

Он чем-то сразу останавливал на себе взгляд. И когда лихо спрыгнул на землю, стало видно, как он выделяется среди ребят. Парни тоже были загорелые, тоже в белых рубашках. Но он отличался природной, более жгучей смуглотой. Густая шапка крупных кудрей, блестящие глаза и ослепительные зубы. Лед и пламень!

— Привет, Чава! — крикнул кто-то из ребят.

Цыган приветливо помахал рукой и, привязав к дереву коня, легко вбежал в клуб. Я зашел следом.

Вот, значит, каков Сергей Денисов, колхозный пастух. Мне хотелось подойти к нему и поговорить о жалобе Ледешко, но я понимал, что сейчас не время.

В фойе среди девушек не было той, которую я хотел увидеть.

Сергей Денисов тоже кого-то выискивал. Я скоро по-

терял его из виду, так как прозвенел третий звонок и зрители быстро заполнили зал.

Я устроился в углу. С первых же минут стало ясно, что в будке киномеханика что-то не ладно. Ну и портачил мой предшественник Сычов! Видать, не раз еще забегал он к Клаве в магазин.

В зале свистели, кричали, топали ногами. Экран то бледнел, то мутнел. Несколько раз зажигался свет. Женщина, сидевшая рядом со мной, не выдержала:

– Вы бы, товарищ милиционер, пошли, разобрались. Мучение-то какое за свои же деньги...

Я вышел в фойе. И обомлел: в пустом помещении сидели двое – Лариса и Чава. Они сидели молча. Но это молчание было более чем красноречивым.

В аппаратную вход шел с улицы, по крутой железной лестнице. В бетонной темной комнатухе щелкал проектор, глухо доносились из зала звуки кинокартины. На высоком табурете сидел парнишка лет пятнадцати, прильнув к окошечку в зал.

Я стоял молча, обдумывая сложившуюся ситуацию.

Значит, этот Чава приехал не ради кино, а к нашей библиотекарше? А вдруг нет? Мало ли что...

Парнишка слез с табурета и, увидев меня, вздрогнул.

– Где Сычов?

– Это самое... пошел...

Ему хотелось очень правдоподобно соврать.

– А ты кто?

– Помощник. – Он деловито открыл аппарат и стал заправлять ленту.

– Так где же Сычов?

– Отлучился. По нужде...

Разговаривать дальше было бессмысленно. Я спустился по гулкой лестнице, Возле входа в клуб дремал конь Чавы, изредка подрагивая лоснящимся крупом. Я стоял и смотрел через окно на Денисова и Ларису.

– А, младший лейтенант...

Сычов ощупывал стенку, боясь от нее оторваться.

– Нельзя же так хамски относиться к людям! – вскипел я.

– Не кричи! Ты мне в сынишки годишься.

– Я бы на вашем месте шел спать. Подобрю-поздорову!
– Это взорвалось во мне слово «сынишка».

Сычов смерил меня мутным взглядом. Что-то в нем сработало. Он взмахнул руками и, отвалившись от стены, поплыл в ночь, как подраненная ворона.

– Так-то лучше будет, – сказала возле меня тетя Мотя, уборщица клуба, она же контролер, и кивнула вверх, на аппаратную, – Володька сам лучше справится.

Что было до утра? Я написал Алешке письмо. Большое и очень нежное. Потому что мне было грустно одному под черным небом, под ветром, который дует из серебряной степи и уносится к серебряному горизонту.

3

Шесть часов утра. Вокруг – зелень, над головой синь небосвода и яркое солнце.

Особенно я не спешил. Мой железный конь, негромко пофыркивая двигателем, мягко катился по шоссе, над которым уже колыхалось зыбкое марево.

Почему-то вспомнились последние дни учебы в Москве, С ее шумными улицами, многоэтажными, домами. А здесь, в станице, тишь да благодать. Вот уж никогда бы не мог предположить, что окажусь в подобном месте. Да еще с одной звездочкой на погонах вместо двух, как у большинства курсантов, закончивших учебу вместе со мной. Где они теперь, мои однокашники? Где-то сейчас Борька Михайлов? Из-за него я очутился в Бахмачеевской. История, прямо скажем, и комическая и неприятная. Послали нас весной на плодоовощную базу. Перебирать картошку. Это в порядке вещей, как бы шефская помощь. В общем, мероприятие само по себе веселое. Поставили нас вместе с девушками из какого-то института. Конечно, шуточки, смех. Время летело незаметно. В середине дня наш офицер зачем-то отправил Михайлова с базы, и он так до конца рабочего дня и не возвратился.

А когда мы выходили с базы через проходную, охрана проверяла сумки. У меня – портфель: не носить же в руках сверток с завтраком.

Раскрываю я портфель и даже глазам своим не верю – два длинных парниковых огурца. Их еще называют китайскими. Ну, разумеется, скандал. Клянусь, что я ни при чем, а охрана еще пуще: милиция, говорят, сама должна пример показывать.

Докатилось до нашего начальства. Стыдно вспоминать, сколько я выслушал назиданий. Как еще не отчислили...

Перед самым выпускным вечером я узнал, что огурцы мне подложил в шутку Борька Михайлов. А когда ему дали поручение, он смотался с базы, забыв меня предупредить. А потом уж дело так далеко зашло, что у Борьки не хватило смелости во всем признаться.

Я, конечно, не побежал ябедничать. Распрощались мы с Михайловым уже не прежними друзьями. Очень ему было передо мной неловко.

С тех пор я терпеть не могу огурцы.

...Я глянул в зеркальце и невольно улыбнулся. Сзади покорно тащились два грузовика, не решаясь меня обогнать.

Я обернулся. Молодой парень сосредоточенно крутил баранку. Я махнул рукой – проезжай, мол. Он некоторое время не решался прибавить ходу. Не доверял. Пришлось прижаться к обочине и снова махнуть. Он слегка поддал газу и проскочил вперед.

Пропустив грузовики, я повернул на укатанную проселочную дорогу и невдалеке увидел хатки – хутор Крученый. За ним тянулась невысокая поросль дубков – полоса лесозащитных насаждений.

Хутор дугой обходил Маныч, окаймленный по берегам тугими камышами. Резвый «Урал» перемахнул мостик и затарахтел по единственной хуторской недлинной улочке.

Я проехал двор, в котором сидела... обезьяна. От неожиданности я затормозил и, заглушив мотор, попятился назад, отталкиваясь ногами от земли.

Макака (или другой породы, не знаю) сидела на утреннем солнцепеке на войлочной подстилке возле палатки с откинутым пологом. В ее старческих, слезящихся глазах стояла такая печаль, что хотелось заплакать. На обезьяне была стеганая безрукавка из ярко-красного ситца с цветочками, застегнутая на все пуговицы.

Мы посмотрели друг другу в глаза. Она, вдруг испугавшись чего-то, трусцой бросилась к крыльцу хаты и стала колотить пепельно-черными кулачками в дверь.

Та отворилась, и на улицу вышел высокий мужчина в фетровой повидавшей виды шляпе. Он слегка поклонился мне:

– Здравствуйте!

Я ответил на приветствие. Из-за его спины выглядывали две женщины – молодая и средних лет. А из палатки высыпало несколько смуглых босоногих ребятишек.

Все семейство смотрело на меня с любопытством и тревогой.

– Откуда у вас эта диковина? – спросил я. Хозяин улыбнулся и погладил обезьяну, взобравшуюся ему на руки.

– Наш приемыш. Старик, как и я. Заходите, товарищ инспектор. На чай.

Сказал он это просто и приветливо, сказал так, что мне действительно захотелось зайти к ним.

– Мне надо поговорить с Денисовым.

Он обеспокоенно поднял брови. А женщины зашушукались.

– Я Денисов.

– Нет, мне Чаву... то есть Сергея.

– Натворил он что-нибудь?

– Гражданка Ледешко вот жалуется на Крайнову. Мне надо выяснить у него кое-какие подробности.

Обе цыганки о чем-то загалдели, размахивая руками. Денисов цыкнул на них, женщины умолкли и скрылись в хате.

Глава семейства спустился с крыльца и неторопливой походкой вышел ко мне, за ворота. Дети шмыгнули за ним и тут же облепили мотоцикл.

– Если вам очень нужен Сергей, поезжайте к лесопосадкам. Он там со стадом.

Притихшая макака смотрела на меня с укоризной, поглаживая сморщенной рукой седую бороду хозяина.

Я подумал о том, что не знаю еще деревенской жизни. Следовало самому догадаться, что скотину выгоняют в поле на заре.

Я поглядел на ряды дубков, начинающиеся сразу за околицей. Завел мотоцикл. Цыган уловил мой взгляд.

– Они недалеко ушли. Нэ, ашунес⁷, – сказал он хлопчику постарше, – проводи дядю.

Мальчонка тут же побежал вперед по тропинке.

– Стой! – крикнул я. – Давай в коляску.

Тот обомлел от такой перспективы.

– Садись, садись, – подбодрил его дед и кивнул мне. – Он вас прямехонько выведет.

И мы поехали, провожаемые завистливыми взглядами черных глазенков.

Зачем я ехал к Чаве? Можно было зайти к Крайновой, поговорить с ней, свести ее с Ледешко – и дело с концом. История ведь сама по себе вздорная. Но меня тянуло к молодому цыгану любопытство. А может быть, и какое-то другое чувство? Не знаю. Но мне захотелось познакомиться с Чавой поближе.

Мы проскочили полосу насаждений и выехали на луг, где паслись коренастые темно-красные буренки, прильнув мордами к траве. Я остановился, не заглушая мотора. Пацан сиганул из коляски и помчался по траве к лошади, которую я сразу не различил среди коровьих спин.

⁷ Слушай (*цыганск.*).

И вдруг от стада отделился огромный рябой бугай.

Он приближался ко мне, задрав вздрагивающий хвост, свирепо изогнув шею и выставив вперед рога. Они у него хищно изгибались, отливая чернотой.

Бык остановился в нескольких метрах, глядя на меня застывшим, налитым кровью глазом. Я газанул, чтобы припугнуть его.

Он, оттолкнувшись от земли всеми ногами, так что из-под копыт взметнулись комья земли, бросился вперед, на меня.

Больше я не раздумывал и рванул мотоцикл с места. Сзади что-то ухнуло, затрещали, схлестнулись молодые дубки.

Со стороны, наверное, это было захватывающее зрелище. Я мчался по едва заметной тропинке, подскакивая на седле и выжимая из машины все что можно. Трава билась о полированные бока «Урала», пучками застревала между коляской и мотоциклом.

В зеркальце я видел разъяренную морду быка, преследовавшего меня чудовищными прыжками. Попадись на моем пути хоть небольшая ямка, я взлетел бы вверх и не знаю, где приземлился бы...

Мне казалось, что преследование продолжалось вечно.

Я, не сбавляя скорости, миновал хутор, проскочил мост. На меня восхищенно смотрели трое пацанов, стоявших по колено в воде.

Я заглушил мотор и подошел к берегу, поглядывая в сторону лесопосадок. Там застыл бугай, довольный, подлец, тем, что спровадил меня из своих владений.

– Купаемся? – как можно беспечнее спросил я, шаря по карманам в поисках платка.

Руки у меня дрожали.

– Вон сколько наловили! – кивнул мальчуган куда-то мне под ноги.

В камышах стояло ведро, в котором копошилось нечто зеленое. Я не сразу сообразил, что это раки, потому что видел их только красными.

– Кто из вас знает Крайневу?

Вопрос, конечно, глупый: на хуторе едва десяток домов.

– Баба Вера, что ли? – уточнил тот же пацан.

– Она самая.

– Айда, покажу.

Он вылез из воды весь в иле. Даже вокруг рта у него, как усы, темнела грязь.

Мотоцикл я повел, не заводя. Мой преследователь все еще красовался на краю хутора. Черт знает, какие у него намерения!

– Баба Вера, до вас тут пришли, – подвел меня к калитке мальчуган.

Крайнова, чистенькая старушка, стоявшая у забора, низко поклонилась:

– Здравствуйте! Заходите, милости просим. – Она ловко утерла фартуком мордочку моему провожатому, пожурив его. – Докупался! Вон, жаба ципки дала...

Пацан вывернулся из ее заботливых рук и вприпрыжку побежал на речку.

– Поговорить с вами хочу.

– Проходите до хаты.

Мы зашли во двор, отороченный нарядными, словно нарисованными, подсолнухами. Я остановился.

– Прошу в хату.

– Можно и здесь. – Я указал на завалинку, как бы давая понять, что дело у меня пустячное и разводить официальности не к чему.

– Можно и здесь, если желаете. – Она быстро обмахнула фартуком и без того чистую завалинку.

Мы присели.

– А я гадаю, что это красное промчалось по дороге? Вжик – и нету.

– Мотоцикл... – уклончиво ответил я.

– Ловко вы с им управляетесь.

Да, инструктор по мотоспорту в школе поставил бы мне сегодня высший балл.

– Жалуются на вас, – сказал я, желая переменить тему.

Сказал и улыбнулся. Потому что не знал, как говорить с этой симпатичной старушкой по такому дурацкому поводу.

– Ледешиха?

– Она.

– Была у вас? – Крайнова покачала головой. – Неужто до такого сраму упала? (Я кивнул.) Батюшки, стыд-то какой...

Старушка немного помолчала, подумала.

– Хай, – сказала она. – Сдам я свою Бабочку на заготовпункт. От греха подальше. Да и старая я стала, трудно ухаживать, сено заготавливать...

– А как же вы без молока будете?

– Для кого молоко-то?

– Для внучат...

Баба Вера кивнула на окно. И тут только я увидел, что за нами, отодвинув занавеску, наблюдает древний, сухонький старичок.

– Вот и все мои внучата...

– Нету, значит?

– Есть, как не быть. Э-эх, мил человек, кто нынче по хуторам живет? Старики да бобыли. Молодежь, она до города подалась. А нам со стариком и козы хватит. Вот куплю козочку. И молочко будет и шерсть... Значит, завтра и повезу мою Бабочку.

– Точно повезете?

– За трешку сосед свезет. Шофер.

Я почему-то очень обрадовался.

– Вера... как вас по батюшке?

– Николаевна.

– Вера Николаевна, когда сдадите свою корову, зайдите ко мне с квитанцией, ладно?

– Хай буде так, зайду.

– Вот и хорошо!

Я поднялся. Прямо гора с плеч.

– Может, вина? – предложила старушка.

– Что вы, какого вина? – воскликнул я.

– Нашего, домашнего. Сычов всегда пил да нахваливал...

Вот оно что! Ну и порядочки установил тут мой предшественник.

Я, разумеется, отказался наотрез.

Крайнова проводила меня за калитку и с уважением посмотрела на «Урал».

– Шибко резвый у вас мотоцикл. Прямо смерч какой-то.

Я невольно глянул в сторону дубков.

По дороге кто-то скакал. Я сразу понял, что это Чава, и постарался принять равнодушный, спокойный вид.

Подтянутый, ладный, стройный, Чава круто осадил своего коня и прыгнул на землю.

– Вы извините, товарищ участковый, – начал он, словно сам был виноват в этой истории. – Зверь, а не бык... Насилу воротил назад. Он, наверное, от красного цвета взбесился.

До меня теперь тоже дошло, отчего рассвирепел бугай. Дело в том, что мотоцикл в РОВДе мне выдали ярко-красного цвета. Может быть, он предназначался для нужд пожарной охраны, не знаю. Но я был рад и такому.

Да, мне дорого мог обойтись этот красный «конь».

Баба Вера, смекнув, что произошло, заторопилась в хату:

– Доброго вам здоровья, товарищ начальник! Завтра, мабуть, зайду. К обеду...

– До свидания, – кивнул я.

А Чава все еще разглядывал мой мотоцикл: все ли в порядке. Значит, и он не на шутку испугался.

– Зайдемте к нам, товарищ младший лейтенант. Дома говорить удобней.

Я вошел за ним во двор. Дети играли возле палатки. Приглядевшись к ней, я подумал, что это, наверное, шатер. Он был сшит из выдавшего вида брезента. Значит, много еще цыганского осталось в быту Денисовых...

Сергей вручил поводья молодой женщине и провел меня в хату.

– Мой отец и мать, – представил Чава пожилого цыгана и цыганку средних лет.

– Мы уже познакомились с товарищем участковым, – сказал Денисов-старший. – Присаживайтесь.

Я сел на предложенный стул и огляделся.

Честно говоря, я представлял себе убранство комнат совсем иным. Ожидал увидеть беспорядок, солому на полу, как читал в одной книжке про цыган. А здесь все было чисто, уютно: печь с полатыми; стол, покрытый цветной скатертью; буфет с фарфоровыми безделушками; железные кровати с кружевными подзорами и фотографии по стенам. Фотографий было много: небольшие любительские, от заезжих моменталистов, увеличенные портреты и заретушированные так, что родная мать не узнает, овальные, на выпуклых глянцевитых листах, подкрашенные в неправдоподобные цвета.

Что меня поразило, так это подушки. Огромные, в половину кровати, пышные, в ярких наволочках...

– У цыган богатство по подушкам определяется, – сказала мать Сергея, перехватив мой взгляд. – Чем больше подушки, тем больше денег...

– Хватит болтать, Зара! – остановил ее хозяин. – Жя шу самовари⁸.

Цыганка покорно удалилась, и остались одни мужчины.

– А вы здорово ездите на мотоцикле, – похвалил Сергей. – Я, честно говоря, испугался.

– Мог покалечить машину, – ответил я. Надо же было как-то выкручиваться...

– Мог, – подтвердил Чава. – Весной Выстрел одного волка убил. Долбал, долбал – не поймешь, где кости, где

⁸ Поставь самовар (*цыганск.*).

мясо. Всю шкуру испортил, сдавать было нечего. Сильный бугай...

– Ничего, – перебил я, – обошлось. Мотоцикл цел – это самое главное...

В то время о мотоцикле я думал столько же, сколько о прошлогоднем снеге...

– Вы по поводу Ледешихи и бабы Веры? – нетерпеливо спросил Сергей.

Вообще цыгане, несмотря на гостеприимство, вели себя настороженно, кроме хозяина – он располагал к себе уверенностью и спокойствием. Осанка у него была гордая, благородная. Есть такие пожилые люди, которых щадит старческое увядание.

– Крайнева сказала, что завтра повезет свою корову на заготпункт. Так что, думаю, вопрос уладится, – сказал я солидно.

– Вообще эта Ледешиха – дурная женщина...

– Читробуй кадэ тэпэнэс пэмануш⁹, – перебил сына Денисов. – У каждого свои заботы. Худо это или добро – судить не нам. Я часто видел таких, которые много красивых слов говорили, а сами думали только о своем кармане... Ты тоже хорош! Зачем грубишь Ледешихе? Она тебе в бабки годится.

Говорил он так, словно сидел сейчас перед ним не участковый инспектор, который приехал расследовать неприятное для его сына дело, а добрый приятель.

– Нужна она мне! – Чава сделал резкий жест рукой.

Денисов-старший повернулся ко мне: – У меня Ле-

⁹ Нельзя так говорить о людях (цыганск.).

дешко тоже была. Я ведь в нашем хуторе как бы штатный советчик и мировой судья – депутат сельского Совета. (Я взглянул на него с удивлением и любопытством, которых не мог скрыть.) Да-да, – засмеялся цыган, – сам не ведал, что на старости лет сделаюсь властью... – Он погладил бороду, усмехнулся чему-то своему и продолжал: – Ну, я сказал ей, что не стоит затевать ссору с соседями из-за чепухи. Не послушалась... А Выстрел – действительно редкий бугай. Товарищ Нассонов, председатель наш, уговаривал Ледешко продать Выстрела колхозу. Хорошие деньги предлагал. Но она уперлась. «Мне, говорит, не резон от своей выгоды отказываться...»

– А как же у вас получается – в колхозном стаде частная скотина? – спросил я.

– Вот баба Вера сдаст свою Бабочку, как вы говорите, – ответил Чава.

– Ну, а ваша корова?

Сергей смутился. Но Денисов-старший весело подмигнул:

– По благу. Как-никак своя рука в стаде. – И серьезно добавил: – А если без шуток, сами подумайте: одну частную корову куда девать?

Я кивнул головой. И подсадовал на себя за то, что поспешил выказать свою осведомленность.

– А что, эта Бабочка сильно поранила бугая? – перешел я на другое.

– Ерунда! – сказал Чава. – Похромал один день.

– Ясно, – кивнул я. – Насчет увечья быка вы можете подтвердить?

– Конечно, – ответил Сергей. – Хоть на бумаге.

– Ну этого пока не требуется, – сказал я.

– А вообще Выстрел все стадо держит вот так. – Сергей показал сжатый кулак. – Можно спать, гулять, отдыхать – все будет в порядке. Волка, а то и двух одолеет.

– Водятся?

– Были. Но давно что-то не появлялись. Теперь охотников больше, чем зверья. – Чава поднялся. – Я вам еще нужен?

– Нет. Спасибо. – Я тоже встал.

– Э, – остановил меня хозяин, – чайку попьем. Небось не завтракали?

Батюшки, еще нет и восьми. А мне казалось, что уже середина дня.

Я покорно сел. Как-никак Денисов был человеком в известном смысле своим. Сельсоветский. Помня наставления преподавателей, что надо сколачивать актив, без которого участковый да еще в деревне ни туда ни сюда, я подумал: хорошо бы привлечь себе в помощь старшего Денисова, он подошел бы.

Сергей лихо взлетел в седло и взял с места в карьер. Сегодня он казался не таким ярким и необычным, как вчера. Что в нем нашла Лариса? Необразованный парень. Пастух. И даже не в этом дело. Как он говорил: «Долбал, долбал...» Да может быть, и сама Лариса тоже не такая, какой мне кажется... Надо приглядеться получше.

...Стол быстро оброс простенькими блюдечками, тарелочками, гранеными стаканами. Зара внесла пузатый самовар, начищенный до блеска, с резными, витиевато сделанными ручками и краником. За такими вещами охотятся в городе любители старины.

Сладковато пахло дымом, горячим хлебом и све-
жесбитым сливочным маслом.

Хозяйка разрезала неправдоподобной вышины каравай
с взрывающейся под ножом корочкой.

Хозяину и мне чай налили в тонкие стаканы, болтаю-
щиеся в старинных подстаканниках, массивных, из сереб-
ра. Но Денисов наливал в блюдечко и пил из него.

Я обратил внимание, что чайные ложки, потертые и
деформированные, тоже были из серебра, старинные.

Мне пододвигали то тарелочку с кусками белого со
слезкой сливочного масла, то вазочку с вареньем.

– Я смотрю, у вас любят фотографироваться, – обра-
тился я к хозяину, прихлебывая чай.

– Это Сережка, – ответил Денисов.

– Сам фотографирует?

– Нет, – усмехнулся цыган. – Раньше, сразу после ар-
мии, он работал в райпромкомбинате, в фотоателье. Ходил
по хуторам, заказы принимал. Вот и нам настряпал.
По-свойски.

Я считал своим долгом продолжить беседу. Гость, ко-
торого угощают, должен отрабатывать харч. От этой мысли
мне стало весело. Что ж, будем отрабатывать.

– Все хочу спросить: обезьяна у вас откуда?

Хозяин снова усмехнулся:

– Зара ее нашла, пусть и расскажет.

Его жена только этого и ждала:

– Весной, когда война заканчивалась, мы где были,
Арефа?

– Не знаю, где была ты, а я был в Польше. В войсках
Второго Белорусского фронта.

– А, забыла! – Она засмеялась. – Где-то там. – Цыганка неопределенно махнула рукой. – Стали мы табором возле одной деревни. Пошли, это самое, в общем, посмотреть... Кушать же надо было. – Она бросила на меня извинительный взгляд. – Мама у меня хорошо гадала... – Зара спохватилась: все-таки представитель закона:

– Рассказывай, рассказывай. – Денисов спокойно сложил руки на коленях. Слушай, мол, младший лейтенант, у нас все открыто.

Мне все больше нравился этот человек с непривычным именем Арефа.

– Пришли в деревню, старушка навстречу бежит. «Вы, говорит, цыгане, вам все нипочем и черт не страшен». А мы ведь тоже крещеные, в церковь ходим...

– Ты про всех не говори, – сказал ей муж.

– Я про своих родителей говорю. Значит, сует нам старушка яйца, кус мяса, деньги. «Выгоните, говорит, из избы черта». Ой-ей, смех, да и только! Такого страху понарасказала. Хорошо, с нами братишка был. Вот он. – Зара показала на один из портретов, на котором был изображен человек с большими усами. – Заглянули мы в хату, а из печи выглядывает что-то черное, лохматое, глаза сверкают... Моя мать и я подхватили свои юбки и тикать... Старуха кричит: «Отдайте яйца...» А братишка не испугался, зашел в хату. И вытащил Ганса... Старый он уж теперь, все к теплу тянется. Зимой с печи не слезает, летом – с утра на солнце... Любит в степь ходить. А раньше задиристый был, ни одной собаки не пропустит...

– А почему – Ганс? – Я посмотрел через окно на обезьянку, дремавшую во дворе на своей подстилке.

– Потом мы узнали, что его держал немецкий офицер. Фрица пристукнули, а обезьянка осталась... Так и пошло – Ганс да Ганс. Мы с ним везде ходили. Интересно людям. Он вино пил.

– Неужели?

– Да. Конечно, немного, вот столечко. Хлоп – и нет рюмочки. И такой веселый делается. Сразу нам всего надают – и денег, и яиц, и колбасы. Кушать же надо было...

Я невинно спросил:

– А вы гадали?

– Как все... – смутилась цыганка. – Кушать же надо было...

– А вы сами верили в то, что говорили?

Зара засмеялась:

– Да как сказать...

– А мне скажите что-нибудь.

– Нет, неудобно... – Она снова посмотрела на мужа.

– Это ты брось! – сказал он строго.

– Отчего же, мне очень интересно, – обернулся я к нему.

– Одни говорят – гадалки обманывают, другие – все правда.

– Ерунда это, – махнул рукой Денисов.

Меня распирало любопытство:

– Я прошу, пожалуйста.

Зара снова засмеялась и, чтобы как-то обойти мою настойчивую просьбу, сказала:

– Вы молодой, симпатичный. Все ваши желания исполнятся...

...Когда я возвращался в станицу, когда проезжал по ее полудремотным улочкам, размышляя об отношениях Чавы и Ларисы, ко мне все время возвращался открытый, кра-

сивый смех Зары, ее слова: «Все ваши желания исполнятся...» Оказались бы они пророческими. Потому что мои мечты все больше и больше были заняты беленькой стройной девушкой с синими глазами...

4

Случаются в жизни светлые дни. Такой задастся прямо с утра: одаряет приятностями, легкими встречами, делами, которые тебе по душе. Радостный мотив звучит у тебя в голове, и ты бубнишь его до самого вечера.

Но бывает, что ломается весь день, одна дрянь налезает на другую, и так тошно на душе – хоть беги куда глаза глядят.

Все началось с того, что я, идя утром на работу, услышал, как две старухи, завидев меня, захихикали и стали шептаться.

Я разобрал лишь одно слово – «таредор».

И только подходя к сельсовету, понял, что прохаживались они на мой счет. Значит, тореадор... Докатилось-таки в станицу мое бегство от этого проклятого бугая. В деревне ничего не скроешь. Факт сам по себе пустячный, мелочь жизни, как говорится, но я страшно огорчился.

На заседании исполкома сельсовета я впервые так близко столкнулся с Ларисой. Мы сидели за столом друг против друга. Я смотрел на ее чуть улыбающееся лицо и думал: знает она или нет? «Наверное, знает», – промелькнуло в голове. Зачем ей тогда было бы улыбаться? И румянец на моих щеках то затухал, то разгорался с новой силой...

Заседание задерживалось. Ждали Нассонова, председателя колхоза. Для меня это было пыткой.

Председатель пришел суровый. Сел рядом с Ксенией Филипповной и стал молча вертеть в руках карандаш. Крепкий, с мощной загорелой шеей и покатыми плечами, с синевой на тяжелом подбородке...

Когда я выступал с планом мероприятий по профилактике преступности, организации дружины, работе с несовершеннолетними, ведению бесед и установлению постоянного стенда «Не проходите мимо», он только раз с любопытством посмотрел на меня. А в конце спросил:

– И много надо грошей на твои витрины?

– Стенды, – поправил я.

– Сколько? – повторил Нассонов.

– Мы прикинули, – вмешалась Ксения Филипповна, подсовывая ему листок. – Тут все указано. Не обедняешь, Геннадий Петрович.

– А ты в чужой карман не заглядывай, – добродушно огрызнулся тот, читая бумажку. – За свой держись крепче... – И, поставив в углу листка крупную подпись, сказал мне: – Зайди в бухгалтерию. Наряд отнеси Катаеву в мастерские. Заодно поговори с ним. Наш комсомольский атаман. Вы, молодые, легче договоритесь. Мне и без ваших дел – хлебать не расхлебать. Завтра из области приезжают.

– А план согласован чи не? – спросил вдруг с места парторг колхоза Павел Кузьмич.

– Я показывал председателю исполкома сельсовета товарищу Ракитиной, – ответил я.

– Э, казак, так дело не пойдет! – улыбнулся парторг. – Вот ты хочешь народную дружину организовать. Это хо-

рошо. Да ведь у нас уже организовывали, и не раз. А ничего не вышло. Не тех хлопцев подобрали, вот такая заковыка. Так что, значит, надо с партийной организацией посоветоваться, с комсомольским активом. И с другими тоже. Подскажем. Одна голова хорошо, а две лучше. Потом, в сельсовете есть постоянная комиссия по социалистической законности. Ты с ними говорил?

Я растерянно оглянулся. Присутствующие засмеялись.

— Очень резвый, — сказал кто-то. — Думает сам навести порядок.

— Товарищи, — вступилась за меня Ксения Филипповна, — товарищ Кичатов — у нас работник молодой. Здесь я промашку дала. Но в целом у него интересные предложения. Мы потом в рабочем порядке посоветуемся с кем надо и все вопросы утрясем...

Я боялся встретиться взглядом с Ларисой.

С предложением Ракитиной согласились, и заседание продолжалось. Перешли к другим вопросам. Дали слово Ларисе.

Говорила она тихо, поминутно оглядывая всех. Ее голос, высокий и мелодичный, журчал, как ручей. А в руках мелко-мелко подрагивал блокнотик с карандашом.

Слушали ее внимательно, потому что она всех заражала своим волнением.

Говорила она о том, что пропадают, исчезают всякие там старинные сабли, уздечки, макитры, кружки, сделанные народными мастерами, о том, что их следует отыскивать по хуторам, собрать и сделать в клубе нечто вроде музея.

И вдруг я подумал о том, что каждый день, утром и

вечером, пью молоко из макитры, на которой нарисован огненно-красный петух. И когда сажусь писать письмо Алешке, перед моими глазами ярким пятном будто светится задиристая, вытянувшая в крике шею птица, словно вот-вот вырвется громкое «ку-ка-реку».

Ларису поддержали. Кто-то вспомнил, что у него дома есть старинные шаровары с лампасами, у того – расписная кружка, у этого – носогрейка, оставшаяся еще от прадеда, боевые регалии с первой империалистической войны, икона с красивым окладом...

– Иконы не надо, – сказал Павел Кузьмич, – музей не церковь.

– Почему бы не собирать и редкие иконы, настоящие произведения искусства? – возразила Лариса. – Вон в Москве, в Третьяковской галерее, сколько икон работы великих русских художников...

Парторг, подумав, согласился:

– Ну если действительно великих мастеров, то можно. Только где у нас такие?

– Ясно, – подытожил Нассонов. – Не возражаем. Действуй. Собери ребят, девчат... Шукайте. Авось на Эрмитаж нащукаете.

– А шкафы, стекло? Когда нашу комнату освободите?

– И тебе нужны стенды? – отмахнулся Нассонов. – Своими силами.

– Петрович... – усовестила его Ксения Филипповна.

– Ладно, сделаю, сделаю что-нибудь...

И заговорил о том, что в воскресенье – троицын день. Надо организовать всякие мероприятия, чтобы отвлечь людей от попов и пьянства.

...И так получилось, что через час мы с Ларисой шли к колхозным мастерским, напрямик, полем с подсолнухами. Смешно было ехать к Катаеву на мотоцикле какой-то километр. Над тропкой нависали тяжелые черные лепехи подсолнечника. Их желтые лепестки устилали крепко прибитую землю.

Я отставал на полшага, чтобы видеть ее тоненькую фигурку, перетянутую по талии пояском-цепочкой.

Она обернулась:

– Значит, сопровождаете, Дмитрий Александрович?

– Тогда уж лучше «товарищ Кичатов».

– Хорошо, буду звать вас Димой. Согласны?

– Не возражаю.

Еще бы я возражал! Идем, молчим. А что дальше?

– Нужно мероприятие вы задумали, полезное... (Что за чушь я несу)?

– Вот и помогите нам. У вас мотоцикл. Бываете на хуторах.

– С удовольствием! – (Я был только в Крученом. Интересно, что она имеет в виду)? – Пожалуйста, можем поехать вместе.

– Можем, – просто согласилась она. Я забыл о «та-редоре». День цвел вокруг золотыми кокошниками подсолнухов, синел светлым небом...

Я уже не помню, что мы говорили друг другу. Но и ее, как мне показалось, очаровало поле.

Возле мастерских трое оголенных по пояс ребят, перемазанных в масле, с блестящими от пота спинами, втаскивали по стальным трубам дизельный движок в кузов грузовика.

Грузовик был мне знаком. Вчера недалеко от центральной усадьбы шофер чуть не наехал на ребенка. Я проверил тормоза. Они барахлили. Водитель Федор Колпаков дал мне слово, что на неисправной машине из гаража не выедет...

Что ж, проверим.

Мы поздоровались. Катаев был среди ребят. Он кивнул нам: подождите, мол, закончим, тогда поговорим.

Установив движок, ребята спрыгнули с кузова, убрали трубы, закрыли борт.

Из мастерских вышел шофер Федя. Он старался не смотреть на меня. По его лицу было видно, что машина в том же состоянии, что и вчера.

– Довезешь? – спросил его комсорг.

Тот что-то буркнул. Я попросил у шофера ключи.

Федя кивнул на кабину:

– Там. – И отошел в сторону, вытирая руки ветошью, всем своим видом стараясь показать, что он здесь ни при чем.

Я тронул машину, проехал немного и затормозил. Так и есть! Педаль легко дошла до упора, а грузовик продолжал двигаться. Я остановился на ручном тормозе. Подал назад. Спрыгнул на землю.

– Не довезет.

Федя молчал.

А один из парней развел руками:

– Не волнуйся, начальник. Здесь и десяти километров не будет... по степи...

– Не повезет, – отрезал я.

– Товарищ начальник... – просил парень. Катаев оборвал его:

– А ты не суйся, Егор. – И, бросив тряпку в кузов, ругнул Федю: – Дурень! Полтора часа втаскивали, пуп надрывали.

Он хотел выругаться похлеще, но, оглянувшись на Ларису, промолчал.

– Что же делать? – спросил шофер.

– Везите на другой машине, – сказал я, отряхивая ладонь о ладонь.

– Нету другой, в разъездах, – мрачно сказал Федя. – А не отвезем, председатель взгреет по первое число. – Он усмехнулся. – И вам кое-что перепадет.

– Плевать я на него хотел! – Это было, конечно, слишком, но я разозлился. Прибавьте к этому – рядом сидела Лариса и все слышала.

Федя Колпаков зашел в мастерские и вскоре вернулся насвистывая. Катаев сказал нам с Ларисой:

– Подождите. Умоюсь, поговорим. Но разговор не состоялся.

Председательский «газик», как разъяренный зверь, резко затормозил возле нас, принесся с собой клубы пыли.

Нассонов вылез из-за руля и коротко приказал шоферу:

– Езжай. Под мою ответственность. – И спокойно посмотрел на меня.

– Если хочет на год лишиться прав... – так же спокойно сказал я.

Председатель побагровел:

– У меня конвейер на пятом участке стоит, подсолнух пошел на силос... Это тебе не... – он задохнулся, – ...не с бугаями наперегонки бегать.

Представляю, какое стало у меня лицо...

– Садись за руль! – рывкнул Нассонов Феде. Тот, озираясь на нас, полез в кабину, завел мотор. Нет, сдаваться нельзя. Я подошел к шоферу.

– Дай права. (Он повиновался.) А теперь делай что хочешь.

И, положив документы в карман, пошел прочь. Сзади меня заглох мотор, хлопнула дверца, и послышался едва не плачущий голос шофера:

– Геннадий Петрович!..

Нассонов выругался. Я продолжал идти.

– Младший лейтенант...

Я остановился. Председатель махнул рукой: подойди, мол. Я вернулся.

– Пошли.

Мы зашли в мастерские. Геннадий Петрович снял трубку телефона.

– Начальника райотдела внутренних дел. Да, срочно...

Он стоял ко мне спиной, Было видно, как у него застыли желваки:

– Приветствую вас. Нассонов... Он самый.

Он говорил с моим начальством несколько минут. И я понял: председатель чувствовал, что бой проигран. Это его злило еще больше, потому что всему причиной был я, розовощекий мальчишка.

Нассонов сунул мне трубку.

– Кичатов, можно выпустить машину в рейс?

– Никак нет, товарищ майор. Совсем тормоза не работают. Лично проверял.

– А чего же Нассонов бушует?

– Не знаю.

– Ничего, пошумит, пошумит и перестанет. А вообще ты молодец, младший лейтенант. Не сдавайся.

– Слушаюсь.

– Вот так... Завтра в час – на оперативное совещание.

– Так точно. Буду, товарищ майор.

В трубке запели короткие гудки.

Ребята, молча кутившие на скамейке, вопросительно смотрели на нас. Так же смотрела Лариса.

Председатель, не сказав ни слова, вышел и сел в свой «газик». Машина круто развернулась, зло прошелестела шинами и помчалась по дороге...

– Что? – поднялся шофер.

– За правами придешь ко мне, после того как починишь машину. Я проверю...

Это была победа. Но в душу, на самое дно, опустилась горькая тяжесть оттого, что уставшие парни будут сейчас стаскивать двигатель с кузова. Потом снова втаскивать на другую машину. А где-то люди ждут и чертыхаются...

Я даже переживал за Нассонова. Получить оплеуху от молокососа...

Катаев побежал искать другую машину. Мы с Ларисой молча пошли назад по дороге.

– Неужели у вас все так строго? – спросила она.

– Надо было кричать не на меня, а на этого болвана Федю.

– Некрасиво вышло...

И окончательно померкло то чудо, возникшее там, среди золотых подсолнухов...

...А ночью, когда я уже засыпал, убаюканный шепотом листвы у моих окон, тихо скрипнула калитка, и в светлом квадрате окна появилась голова.

– Товарищ лейтенант!

Незнакомый, почти мальчишеский голос.

– Кто это?

– Я, Женя...

– Какой?

– Нассонов...

Я встал с постели, подошел к окну. От парнишки пахивало вином.

– Ну и что же тебе надо, Женя Нассонов?

На его рубашке шевелился узор – тень от листьев.

– У меня там друзья, из города. В техникуме вместе учимся. Ну, немного не хватило... А Клава говорит: если вы разрешите, она отпустит. Нам всего бутылочку... вина...

– А что отец скажет?

– Он в районе.

Парень, выходит, отца боится.

– Женя, сколько тебе лет?

– Шестнадцать. А что?

– Рано тебе, наверное, пить, а?

– Да ведь друзья...

– Отцу твоему я ничего не скажу, но только больше по ночам не тревожь людей, договорились?

Его фигура, плоская в свете месяца, тихо исчезла за забором.

И что это Клаве Лоховой вздумалось парня посылать ко мне?

Я вспомнил, что хотел зайти поговорить с ее мужем.

Надо это сделать в ближайшее время.

На следующий день я решил поближе ознакомиться с работой нашей конефермы, потому что после стычки с Нассоновым не хотелось торчать на центральной усадьбе и встречаться с ним.

Когда-то в этих краях основное богатство многих колхозов составляли лошади. Теперь лишь в двух-трех хозяйствах остались конефермы, которые обеспечивали колхозы живым тяглом.

Нассонов, приехавший в станицу в числе тридцатитысячников, почему-то решил возродить в колхозе конеферму. Купил несколько породистых кобыл и производителей, занялся скрещиванием. Сам он до того, как стал председателем, руководил заводиком безалкогольных напитков. И поэтому, по мнению Ксении Филипповны, «намешал в лошадях так, как только мог». Геннадий Петрович, видимо, лелеял тайную мечту вывести свою, нассоновскую, верховую породу, которая соперничала бы с буденовской, терской, ахалтекинской... Производя эксперименты, он никого не слушался, и часто у него возникали стычки с главным зоотехником. Зоотехник, видя, что председателя ничем не остановишь, только хватался за голову и вздыхал.

Все это рассказала Ксения Филипповна. Она была клад для меня. Колхоз знала как свои пять пальцев. Здесь родилась, здесь прожила всю жизнь. В войну и еще пять лет после председательствовала. А потом пошли председателями мужчины.

Ракитина считала конеферму нестоящей затеей, потому что «тягаться с прославленными конезаводами мы не

могли, кишка тонка», говорила она. Единственным трофеем, добытым за время существования нассоновского предприятия, была грамота областного комитета ДОСААФ за шестое место в скачках.

Я въехал на конеферму и от досады чуть не лопнул. Возле конюшен стоял председательский «газик».

Но поворачивать было поздно. Меня заметили.

Геннадий Петрович стоял, облокотившись на капот машины. Здесь же был Арефа Денисов. Вот уж кого я не ожидал увидеть!

Я подошел к ним как ни в чем не бывало. Нассонов натянуто кивнул головой. Арефа поздоровался приветливо.

Председатель жевал травинку и смотрел на небольшое выкошенное поле, на котором, как мне показалось, в беспорядке были расставлены различные препятствия: бревна, установленные крест-накрест, жерди, выкрашенные под шлагбаум и напоминающие параллельные брусья, сложенная пирамидой кирпичная стенка, невысокие ворота, рвы с водой.

По полю кружил одинокий всадник. Вот он подъехал к пирамиде, составленной из полосатых жердей, упирающихся в деревянные треугольники, и лошадь, на какую-то долю секунды задержав свой бег, легко взяла препятствие. Я видел, что оба наблюдателя остались довольны.

А всадник уже приблизился к бревенчатому заборчику. Я заметил, как Арефа напрягся, словно сам сидел в седле.

Конь плавно взлетел, вытянувшись в стремительную линию, и опустился по другую сторону ограды, задев задними ногами верхнюю жердь.

У меня у самого похолодело в груди. Нассонов досадливо крикнул.

– Ничего, бывает, – сказал Арефа. – Не научился еще Маркиз понимать шенкеля. На это время требуется. А в общем неплохо, председатель, а?

– Вот чертова девка! – ругнулся тот, довольный. – Я уже хотел его выбраковать...

– Красивый жеребец! Люблю красивых коней, – прищурил глаза Арефа.

Нассонов ткнул его в бок:

– Цыган ты все-таки, Денисов.

– Не отказываюсь.

Меня они совершенно не замечали.

– Чем черт не шутит: выпустим Маркиза на районные состязания, а? Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок...

– Побольше бы тебе, председатель, таких паршивых овец иметь... Поверь мне, редкий жеребец Маркиз.

– Злой, ох злой, шельма!

Между тем всадник приблизился к нам. Я обомлел: это была Лариса.

– Еще разочек попробуй забор, оксер и банкет! – крикнул Нассонов и покрутил в воздухе рукой.

– Шенкелей ему, шенкелей! – добавил Арефа. Лариса кивнула.

Под ней был жеребец, отливающий на солнце неправдоподобным золотисто-розовым цветом.

Я не понимаю в лошадях. Но этот жеребец мне понравился. Его небольшая голова с маленькими подвижными ушами сидела на длинной шее, изгиб которой напоминал лебединый. Ноздри нервно раздувались. Брюхо поджарое, как у оленя. А гладкая, нежная кожа с короткой блестящей шерстью была словно из шелка.

– Всем статен, только круп немного провисает, – покачал головой Нассонов.

– Не помеха. – Арефа поглаживал бороду, довольный.

Я не выдержал:

– Что за цвет?

– У лошадей не цвет, а масть. Маркиз – соловый жеребец. Ахалтекинец, – сказал Денисов. Ему, наверное, стало неловко, что председатель меня не замечает. – Злой очень. Ни один местный жокей справиться не мог. Сергей мой пробовал – не вышло. Председателя за плечо зубами цапнул. А вот библиотечарша нашла ключик к нему... Нужны были, значит, женские руки да ласка. Конь тоже подхода требует. Не всякому поддается...

Нассонов продолжал меня игнорировать. Ну и пусть!

Мы молча смотрели на Ларису, взлетающую на Маркизе над препятствиями. На этот раз у нее, кажется, все получалось гладко.

Пахло скошенной травой и конским навозом. Нассонов достал папиросы, предложил Денисову. Потом, немного помедлив, мне.

– Спасибо, не курю.

– Здоровье бережешь? – усмехнулся он.

– Почему? Просто не привык. Да и не нравится.

Они закурили.

Закончив скачку и еще некоторое время поездив шагом, Лариса приблизилась к нам. Разгоряченная, она сдувала со щеки налипшие волосы, смотрела на председателя с надеждой и ожиданием.

– Пойдет, – сказал Нассонов. – Быть по-твоему.

– Спасибо, Геннадий Петрович! – Глаза ее засияли счастливо и весело.

– Не меня благодари, его. – Нассонов ткнул пальцем в Арефу, сел в машину и, круто развернувшись, поехал с фермы.

Девушка легко соскочила с коня и подошла к нам. Денисов бережно принял у нее поводья.

– Здравствуйте, Дима, – только сейчас поздоровалась Лариса. Она была в обтягивающих ноги брюках, сапогах и мужской рубашке. – Я вас сразу заметила.

Арефа нежно проводил ладонью по блестящему, вздрагивающему крупу коня и ласково приговаривал:

– Хорошо, Маркиз, хорошо... Славный ты жеребец. Маркиз косил на него светлым глазом, перебирая белыми зубами удила. Денисов разнуздал коня.

– А как с соревнованиями, Арефа Иванович? – спросила Лариса.

– Очень хочется? – лукаво подмигнул Денисов, поднося к морде коня несколько кусочков рафинада.

Жеребец осторожно, губами, взял их с ладони человека и громко разгрыз.

– Значит, буду?

– Будешь, будешь...

Девушка закружилась на месте, хлопая в ладоши.

– Вот здорово!

Скаун прядал ушами и нервно перебирал ногами.

– Бери своего красавца. – Денисов отдал ей поводья. – Чувствительный он у тебя...

Лариса повела Маркиза в конюшню.

– С виду – не тронь, рассыплется, – кивнул на нее Арефа. – Но упорная... – Он помолчал и добавил: – У нас женщина ни за что не сядет на лошадь.

У нас – это, значит, у цыган.

– Почему?

– Обычай... Мужчинам – кони, а женщинам... – Он засмеялся. – «Выходит, любезный, тебе длинная дорога, на сердце тебе падает дама...» – Денисов продолжал улыбаться. – Вы, наверное, обиделись, что Зара не захотела вам гадать?

– Нет, что ж обижаться! – сказал я. – Просто было любопытно...

– Никто не может знать, что ждет человека. Даже цыгане. В нас никакого особого секрета нет, – продолжал Арефа. – Какой я теперь цыган? Говорю больше по-русски, живу по-русски. Ем, сплю – по-вашему. – Он спохватился. – Заговорил я вас. Дела, наверное?

– Да нет. Здесь я случайно. Так заехал...

Странно устроен мир. Арефа Денисов был мне симпатичен. А вот его сын... Не было сейчас на земле человека, которого я воспринимал болезненнее...

И как мне ни хотелось побыть с Ларисой, отвезти ее на мотоцикле в станицу, я поехал один. Чтобы Денисов ни о чем не догадался.

6

...Когда он вошел, я удивился: откуда здесь, в станице, такая модная прическа, длинные волосы, борода коротенькая, тщательно подстриженная. На вид ему – лет тридцать, не больше. Он сразу показался мне каким-то особенным. Деликатные манеры, спокойные глаза. Вот только нос его не шел к лицу, перебитый посередине, слегка приплюснутый...

Этого человека я еще не знал. В станице проживало более трех тысяч человек. Вообще-то участковый должен знать всех, на то он и участковый.

– Отец Леонтий, – представился вошедший, и я сначала не понял: чей отец? – Вы человек, я вижу, новый, удивитесь моему приходу. Но это в порядке вещей. Я всегда обращался к Сычову по поводу наших праздников.

И тут только вспыхнуло: поп! Самый настоящий. Так близко я видел священника впервые.

– Мое начальство уже снеслось с вашим. Кажется, договорились. А я вот – к вам, на нашем уровне, так сказать.

– Я... я вас слушаю. – (Как с ним разговаривать, не знаю. Товарищ отец?)..

– Простите, ваше имя, отчество?

– Дмитрий Александрович.

– У меня к вам такая просьба, Дмитрий Александрович. Как вы знаете, завтра у верующих праздник, день святой троицы. Большой праздник. К нам сюда приедет много народу из других хуторов, станиц. Сами знаете, народ не всегда ведет себя организованно. Соберутся большие толпы возле храма. А рядом шоссе. Не дай бог, драка или кто под машину попадет, все на нашу голову... В прошлом году на пасху женщину сбил автобус – меня ругали почему зря. Хотя случилось сие далеко от церкви. Так что выручайте. В смысле порядка.

Я перевернул страницу настольного календаря и крупно записал: «Св. Троица. Обеспечить порядок возле церкви».

Отец Леонтий едва заметно улыбнулся.

– Что ж, постараюсь, – сказал я.

– Договорились. – Он вынул пачку сигарет. – Вы не возражаете?

– Курите, курите.

– А вы? – Он протянул мне пачку.

Я засмеялся: в течение часа мне предлагают второй раз.

– Нет, спасибо. Я не курю. Не научился.

– Откуда сами?

– Из Калинина.

– Почти земляки. Хотя я там никогда не бывал. – Он аппетитно затянулся дымом. – Матушка, то есть супруга, оттуда.

– Как фамилия?

– Лопатина Ольга.

– Не знаю...

– Она старше вас. На Набережной улице жила.

– Я совсем в другом районе...

– Познакомитесь еще. А может быть, уже познакомились. Она здесь в участковой больнице фельдшер.

– Не обращался пока.

– И слава богу. Ну что ж, Дмитрий Александрович, рад был познакомиться. Не смею больше мешать.

Он поднялся, я тоже. Попрощались мы за руку. Крепкая у него хватка, прямо железная. Пожимая мне руку, он спросил:

– Простите, Дмитрий Александрович, вы что больше уважаете, коньячок или...

– Я не пью, – резко ответил я.

– Это похвально, – смутился почему-то батюшка. – Сычов, он больше чистенькую любил.

И только когда отец Леонтий вышел, я понял, что он

хотел меня отблагодарить. И конечно же, такой обычай завел Сычов.

Я заглянул к Ксении Филипповне. Уж больно заинтересовал меня поп. Главное – молодой.

– Как отец Леонтий к нам приехал – а это было два года назад, – все девки на него таращились. А ты не красней. Ваше дело молодое. Хуже, когда этого нет... Так вот, бабки наши шушукаться стали: нехорошо, мол, молодой поп, а попадьи нет, никак, крутит со станичными молодками? Потом Оля Лопатина приехала. Из себя невидная, тише воды, ниже травы. А святого отца в месяц к рукам прибрала... На завалинках опять гутарят: «Не мог, говорят, нашу взять. Приезжую кралю выбрал!» Не угодил, стало быть, и тут... Но живут ничего.

Меня так и тянуло спросить: а что обо мне думают? Ведь перебивают косточки, уж это точно. Но я промолчал. Придет время, она сама скажет. А Ксения Филипповна продолжала:

– Послушай, что он в прошлом году сотворил. Пришла компания. Говорят, с недалекого хутора. Будто бы дитя крестить. Завалились они гурьбой в церковь, куклу в тряпки завернули. Вышел к ним отец Леонтий обряд справлять. Бабы загалдели, а мужики норовят, значит, за царские ворота прорваться, ну есть такие в церкви... Прослышали, наверное, про дорогие оклады на иконах... И что ты думаешь? Отец Леонтий так их отходил, что еле ноги унесли. Боксер, говорят, он. Правда это или нет, но мужикам досталось крепко...

Я вспомнил его перебитый нос, железное пожатие руки и круглые бицепсы под идеально чистой и выглаженной рубашкой...

Потом пришла Ледешко. Когда она уселась на стул, так же уверенно и основательно, как при первом посещении, я молча подал ей справку Крайневой о том, что та сдала свою бедовую Бабочку на заготпункт. Истица засопела.

– Ну и что? – спросила она, сощуриив глаза.

– Как видите, корова, нанеся вам урон, понесла тяжкое наказание, – усмехнулся я.

Но старуха была настроена сурово.

– Нехай понесла. Но я-то все равно в накладе...

– Товарищ Ледешко, вы ввели меня в заблуждение. – Я медленно раскрыл ящик стола, невзначай достал чистый лист бумаги. Старуха тревожно заерзала на стуле. – Пастух Денисов показал, что и увечья-то не было. Так, пустяковая царапина.

Бумажка действовала на Ледешко магически. Прием не очень честный, но что мне оставалось делать? Поразмыслив, она сердито бросила:

– Давай назад заявление.

И уже в дверях сказала:

– Это Крайниха назло мне сдала свою телку...

Я был рад, когда она ушла. Что-то неприятное осталось в душе.

Нас учили: в любом случае сохранять спокойствие и быть справедливым. И еще – беспредельно объективным. Кто мне эти две женщины? Никто. Но почему-то приятно было вспомнить бабу Веру. Ее мягкий, южный говор, спокойную рассудительность. Не то что Ледешко, какая-то скрипучая, въедливая.

Я поймал себя на мысли: случись разбирать между ними дело посерьезней, смог ли я быть объективным? Наверное, нет.

Когда я уже садился на мотоцикл, чтобы ехать в Краснопартизанск, подошел Коля Катаев. И словно смахнул с сердца что-то тоскливое, оставленное Ледешко.

Комсорт ласково провел по боку «Урала» рукой. У него были сильные, темные от ввевшегося в кожу машинного масла руки, руки человека, имеющего дело с техникой.

— Отличная у тебя механика. Сила! Хорошо бегают. — Он сказал это будто о живом существе.

— Неплохо, — подтвердил я.

— Як тебе вот зачем — в двух словах, не задержу. Говорят, ты гитарой балуешься?

Нет, в деревне не укроешься нипочем. Я действительно привез с собой гитару. И когда по вечерам иной раз становится особенно одиноко, легонько напеваю, подыгрывая себе на ней...

— Надеюсь, никто не жалуется?

— Жалуются.

— Кто?

— Девчата... — Он подмигнул.

— Учту. — Я щелкнул зажиганием.

— Ты уж уважь их.

— Сказал, учту.

— Вот и ладно. Значит, договорились. Сегодня вечером — в клуб. — Он поглядел на меня. — При другом наряде, конечно.

— С гитарой, что ли?

— Шибко ты догадливый...

— А девчата как же? Жалуются ведь...

— Жалуются, что тихо поешь. — Коля рассмеялся. — Давай выходи на народ. Выручай! Понимаешь, Чава у нас солист. Но, говорят, заболел...

– Ты смеешься, что ли? – искренне обиделся я. – Ничего себе, скажут, участковый: от быков бегают, песенки под гитару распевает...

– А что тут смешного?

– Как-никак власть.

– Я тоже власть. Комсомольская. И гопака и русскую отплясываю за милую душу. Что я! Нассонов по большим праздникам в хоре поет. Раньше никак не могли хор собрать. А после председателя потянулись бригадиры, а за ними и другие колхозники. Так что, видишь, тебе есть с кого пример брать... Ты же не Сычов.

– И не уговаривай. – Я завел мотор.

Николай пожал плечами: смотри, мол, сам. И пошел от меня, не оглядываясь. А спина такая ссутуленная. Обиделся.

Я здорово мучился. В армии и в школе милиции я пел. Но там я был рядовой. А удобно ли офицеру появиться перед зрителями с гитарой? Хватит того, что за глаза меня называют тореадором.

Но чем больше я размышлял над предложением Катаева, тем больше сомнений вкрадывалось в душу.

И мне вдруг вспомнился Колонный зал Дома Союзов. Я впервые ходил по огромному фойе, полному света, ковров и люстр. Нас, молоденьких курсантов, привезли на встречу с композиторами.

Конферансье объявил: «Композитор Экимян». Это имя было знакомо. Мы исполняли в строю его «Марш отважных». И тут вышел... комиссар. Борька Михайлов ткнул меня в бок. Я тоже чуть рот не раскрыл от удивления. Да, композитор Экимян тогда еще был работником милиции,

занимал пост замначальника Московского областного управления внутренних дел.

После этого вечера я увлекся сочинительством. И еще под впечатлением песен Окуджавы и Высоцкого. Но в отличие от них со стихами у меня дело шло совсем плохо. И я избрал в качестве своей жертвы Есенина.

Борька Михайлов, который терпеть не мог, чтобы его кто-нибудь в чем-нибудь опередил, стал сам сочинять песни.

В один прекрасный день ему подсунули записку: «Перестань подражать этому бездарному композитору Д. А. Кичатову. Искренние доброжелатели».

Мое увлечение как рукой сняло. И я перестал терзать стихи Есенина, моего любимого поэта. И если выходил петь, то только чужие песни на чужие слова...

Так что к тому времени, когда надо было отправляться в клуб, я все-таки решился – была не была.

...Я лучше нагладил брюки от своего гражданского костюма, белую рубашку в бледно-синюю полоску (Москва, магазин «Синтетика» на Калининском проспекте), надраил черные полуботинки и зашагал в клуб с гитарой на плече.

Первый, кого я увидел, был Сычов. Он сидел на ступеньке железной лесенки, ведущей на верхотуру, в аппаратную, и курил самокрутку. Он посмотрел на меня и слегка покачал головой: вырядился, мол, фраер, да еще с гитарой.

В душе я давно уже плюнул на его настороженные, выискивающие взгляды. И прошел мимо, холодно кивнув на приветствие.

Ларисе я понравился. Это было видно сразу. И другим девочкам тоже. Они сразу зашушукались и все кидали на меня взгляды, как им казалось, исподтишка.

– Я же говорил – придет наш инспектор! – обрадовался Коля Катаев.

Значит, этот вопрос обсуждался. И серьезно.

– И я была уверена, – сказала Лариса. Интересно, что она думает обо мне? Догадывается ли, что я пришел из-за нее? По ее виду можно было предполагать, что догадывается. А может быть, мне это показалось?

Но она как будто искренне обрадовалась, что я буду петь есенинскую «Не жалею, не зову, не плачу...».

– Есенин – это хорошо, – одобрил Коля. – Задушевно...

До концерта оставалось еще много времени. Сначала колхозники должны были прослушать лекцию.

Лекция обещала быть интересной. Нассонов уговорил приехать к нам известного ученого из Москвы, академика, отдыхающего в районе. Здесь этот ученый родился, вырос, и теперь его в отпуск тянуло на родину, посидеть с удочкой на берегу Маныча, где он, наверное, еще пацаном пропадал летом целыми днями, как многие станичные ребяташки...

Геннадий Петрович послал за прославленным земляком своего шофера и обзвонил всех соседских председателей, которые прикатили разодетые и важные.

В зале было полным-полно народу. Все проходы заставили стульями, скамейками, даже кое-кто, боясь остаться без места, пришел со своей табуреткой.

Чтобы как-то отвлечься и унять волнение, охватившее меня перед предстоящим выступлением, я протиснулся в зал. Сесть мне не удалось, и я вместе со многими колхоз-

никами, для которых также не хватило места, подпирал плечом стену.

Стояла страшная духота. Женщины обмахивались платочками, мужчины поминутно отирали с лица пот. Все напряженно ждали, когда появится академик.

И вот он появился вместе с председателем и парторгом, ничем не выделяющийся внешне. Таких старичков в белых полотняных костюмах можно сколько угодно встретить летом в московских электричках.

Ему зааплодировали, словно известному киноартисту. Он удивленно окинул взглядом аудиторию, видимо не ожидая увидеть столько народу, растерянно посмотрел на Нассонова. Тот поднял руку. Хлопки постепенно смолкли...

Около меня какая-то старушка произнесла:

— Сразу видать — наш, донской казак...

Сказать по правде, ничего казачьего я в академике не узрел. Может быть, у старушки более наметанный глаз?

Геннадий Петрович не удержался и разразился небольшой речью. Он сказал, что мы удостоены высокой чести, что уважаемый академик объехал весь мир, но никогда не забывает о земляках и вот приехал, чтобы рассказать о последних достижениях в области генетики, которые должны помочь колхозникам в битве за урожай. Еще Нассонов сказал, что и у нас ведутся кое-какие эксперименты по выведению новой породы лошадей...

Старичок ученый млел от жары и ждал, когда наконец можно будет начинать лекцию.

Видимо, Павел Кузьмич незаметно одернул председателя, потому что тот неожиданно закончил и сел.

Парторг предоставил слово академику. Тот начал говорить, не вставая из-за стола. У него был негромкий, чуть с присвистом голос. Чтобы его расслышать, приходилось напрягать слух. Наступила полнейшая тишина. И когда наконец стало слышно каждое его слово, надо было напрягать ум, чтобы понять, о чем он говорит.

Академик рассказывал о механизме наследственности. То и дело в его речи слышались термины: хромосомы, мутация, рецессивный ген, доминантный ген, рибонуклеиновая кислота, ДНК...

Я видел, что Нассонов также с большим усилием заставляет себя следить за мыслью оратора. Но как он ни старался, из этого ничего не вышло. Геннадий Петрович сурово сдвинул брови и теперь зорко глядел на каждого, кто чем-либо выдавал скуку, овладевшую большинством: присутствующих.

Минут через десять академик начисто всех уморил.

То, что ряды слушателей редуют, я почувствовал прежде всего своим телом. Скоро стало легче стоять. Потом начали появляться свободные места. А оратор, словно ничего не замечая, продолжал тем же голосом вбивать в зал четкие, круглые фразы, в которых иногда все же мелькали понятные слова.

Нассонов опустил голову. Ему самому, наверное, хотелось выйти подышать свежим воздухом. Но председателю, видимо, помогала привычка высидивать длительные часы на различных заседаниях и конференциях...

Мне было неловко за академика. Ученый он, наверное, действительно очень крупный. И дернуло же Нассонова выставить на посмешище такого пожилого, заслуженного

человека. Старичок, скорее всего, по своей мягкости не решился отказаться, и вот получилась неловкость...

Когда лекция окончилась, в зале осталось десятка два слушателей. В основном – приехавшие из других колхозов гости. Им-то покидать зал было совсем неловко.

Но академик, как ни странно, совсем не обиделся. Даже наоборот. Был в отличном настроении, похвалил за внимание и тишину, с которыми его выслушали, и пожелал остаться на концерте художественной самодеятельности.

Насонов, красный как рак от жары или от стыда за станичников, разбежавшихся с лекции, усадил гостя на первый ряд, посередине. Прямо перед исполнителями.

А какой может быть в колхозном клубе зал? Конечно, небольшой. И когда я вышел с гитарой на сцену, этот самый академик оказался в каких-нибудь двух метрах от меня.

Я и без того волновался. Но тут еще больше смутился, потому что старичок ученый, водрузив на нос очки, смотрел на меня, словно школьник, попавший в цирк.

Начало получилось неуверенное. Я взял немного высоко и, как мне показалось, с грехом пополам дотянул песню до конца, горя желанием поскорее убраться со сцены.

К моему удивлению, зрители здорово хлопали. И академик. Я раскланялся, хотел было уйти. Но зал просил еще что-нибудь спеть.

Я выхватил из общей массы лица Ксении Филипповны, радостно улыбающейся мне, Клавды Лоховой, почему-то пришедшей без мужа, Ларисы...

Мое волнение поулеглось. И раз уж понравилось, почему бы действительно еще не спеть?

И вторую песню, Окуджавы, я, кажется, исполнил с вдохновением.

Совсем не понятно, почему на этот раз хлопали не очень. Может быть, Есенин нравился больше?

Я не стал дальше испытывать судьбу и удалился за кулисы. Там столкнулся нос к носу с Чавой. Он тихонько настраивал свою гитару. Мне показалось, что он слегка усмехнулся, увидев меня.

И откуда он свалился на мою голову? Коля говорил, что Чава заболел. Поэтому и просили выступить меня. Но пастух явился, несмотря на температуру...

Правда, брюки у него были мятые, сорочка простенькая, из хлопчатобумажной ткани, и гитара похуже моей, с облупившейся краской на грифе и деке. Но пел он лучше. И намного. Я-то уж знаю. Его не отпускали. Он пел одну песню за другой.

Репертуар он целиком перенял у Сличенко – «Клен ты мой опавший», «Ай да зазнобила...», «Я люблю тебя, Россия». И нашим станичникам казалось, наверное, что лучше Чавы петь не может никто. Даже тетя Мотя, билетерша клуба, восхищенно шептала:

– Ай да хлопец, ай да певун! Получше этого самого Сличенки, ей-богу...

Катаеву я ничего не сказал. Он и не догадывался, какую свинью подложил мне. Правда, за кулисами, похлопав меня по плечу, он бросил:

– Ты тоже в норме, младший лейтенант!

Это «тоже» окончательно испортило мне настроение. Лучше бы Коля вообще промолчал.

После концерта многие станичники стали расходиться по хатам. Молодые оставались на танцы.

Академик был в таком восторге, будто побывал в Большом театре. Особенно хвалил Чаву. Я находился совсем рядом и слышал, как он не мог унять своего умиления. Нассонов, все еще переживающий провал лекции, млел от похвал и чтобы еще больше удивить гостя, сообщил, что Чава всего-навсего пастух.

– Скажите-ка, – захохот старичок, качая головой, – простой пастух! А этот мальчик, который пел первым, тоже пастух?

– Нет, – замялся председатель.

– Тоже, однако, ничего. Мило... вполне мило.

Я был рад, что больше никто не слышал этого разговора.

Академик начал прощаться. Председатель стал просить его посмотреть жеребят, полученных в результате «селекционной работы, широко производимой в колхозе».

– Что вы, любезный, – отмахнулся старичок, – я в этом ничего не понимаю!

– Как? – удивился Нассонов. – Вы же, так сказать, занимаетесь проблемами наследственности... Может быть, подскажите, в каком направлении нам двигаться?

– Видите ли, дорогой товарищ Нассонов, я всю жизнь имею дело с дрозофилой. Есть такая маленькая мушка, всем известная...

– Так мы вам можем выделить целый табун для экспериментов! – вдохновенно предложил Геннадий Петрович. – Разворачивайтесь...

Академик засмеялся:

– Человеческой жизни тогда не хватит, чтобы решить самую крохотную проблему в генетике. Через сколько лет лошадь дает потомство?

– Через три-четыре...

– Вот видите. А мушка дрозофила – двадцать восемь раз в год! Это значит, что только за один год можно проследить двадцать восемь поколений модели. А чтобы такие же результаты получить с лошадью, надо прожить сто двенадцать лет. А мне бы еще хоть пяток протянуть...

Смущенный Нассонов стал нахваливать здоровье гостя. Тот еще больше развеселился. Так они и покинули клуб. Председатель пошел проводить академика до колхозного «газика», поджидавшего у самого крыльца.

Зачем я остался на танцах, сам не знаю. Наверное, почувствовал что-то. Так бывает. Где-нибудь в людном месте, в разношерстной компании ощущаешь; зреет нечто неуловимое, едва проскальзывающее настроение ссоры или драки.

А может быть, у меня начало вырабатываться профессиональное чутье?

Казалось, все идет нормально. Наши, станичные, вели себя как обычно. Стояли группками. Выходили курить. И тогда через окно были видны головы и сизый дымок над ними. Конечно, подшучивали над девчатами. Беззлобно, скорее по привычке.

А те, другие, городские, приехавшие в гости к Женьке Нассонову, вели себя настораживающе.

Я еще подумал о том, что деревенские ребята для меня уже «наши», а друзья Женьки – «чужаки».

Интересно, отпустила им Клава ночью вина? А как же! Хоть и молокосос, а Нассонов! Ну покуражилась над парнем, а в магазин, точно, сходила...

Чава не танцевал. О чем-то спорил с Колей Катаевым.

Лариса скучала, изредка поглядывая в его сторону...

Я про себя злорадствовал. Но к ней не подходил. Надо подождать. Выдержать.

И все-таки больше всех меня настораживал Женька. На меня он не смотрел. Стыдился, что ли, ночного визита?

Он задевал девчонок, подначивал своих дружков на что-то. Я тихо сказал об этом Катаеву. Он отмахнулся:

– Мерещится тебе, младший лейтенант. Женька – трус. Перед городскими пижонит...

Объявили дамский танец, и не успел я глазом моргнуть, как передо мной выросла Клава Лохова.

С досады я готов был провалиться сквозь пол. Показалось, что Лариса направлялась ко мне...

Ничего не оставалось делать, как закружиться в вальсе с нашей продавщицей. Надо сказать, что танцевала она неплохо. А по мне пусть отдала бы все ноги, но лишь бы это была другая... Та, что танцевала с Колей Катаевым. «Хоть не с Чавой», – вздохнул я, незаметно наблюдая за Ларисой.

– Эх, где мои двадцать лет! – улыбалась Клава. Одета она была красиво. Еще бы, сапожнику быть без сапог! – Ни одной танцульки не пропускала. Теперь что? Детей трое душ. С мужиком и то не можем вместе в клуб прийти. Вот и развлекаемся по очереди... Завтра его в кино отпущу...

Меня злила ее болтовня.

– Скажите, зачем вы ночью Женьку послали ко мне? Клава подняла брови:

– Неужто и вас разбудил? Вот колоброд...

– Да, пришел среди ночи. На вас сослался...

– Ну, хватит с меня! Пойду до Геннадия Петровича! –

возмутилась она. – Вы не подумайте, Дмитрий Александрович, что я действительно посылала к вам Женьку. Как он мне надоел! Уж какой раз приходит ночью за выпивкой. Я ему и говорю: пожалуйста, мол, в милицию. А он, дурной, решил, что я его к вам за разрешением, направляю...

– Но вы ему дали вина?

– Еще чего не хватало! Я из-за него не намерена голову под суд подставлять. Это ж надо!..

Она нахмурилась и больше до конца танца не разговаривала.

Я был рад отделаться от нее. И как только снова раздалась музыка, направился к Ларисе. Была не была!

И пропустил главный момент. За моей спиной гакнул сухой удар.

Женькиных дружков было человек пять. Рослые, крепкие, по всей видимости, знакомы с боксом.

Когда я подскочил к толпе, один из городских послал в нокдаун Егора, Колиного приятеля, того, что я видел в мастерских при злополучной стычке с Нассоновым.

Наши, станичные, кричали, размахивали руками. Визжали девочки.

Пятеро молодцов из города встали круговой обороной. Женька суетился, бегая то к своим, то к чужим. На него никто не обращал внимания.

Егор вскочил и снова кинулся на городских. И опять получил удар в ухо.

Я уже не помню, как очутился в самой гуще, как кричал: «Разойдитесь!» – или что-то в этом роде.

Приезжие были выпивши, это точно. Таких словами не остановишь.

Зачинщики драки не обращали на меня внимания. Я как-то сразу не сообразил, что в штатском они принимают меня просто за станичного парня.

А заваруха принимала нешутейный оборот.

Что мне оставалось делать? Я выбрал парня поздоровее и бросился к нему. Он работал кулаками, как машина. Увернувшись от ударов, я перехватил его руку и, потянув на себя, бросил через бедро. Он, видно, не ожидал такого оборота. Не успел я скрутить ему руки, как на меня навалились двое ребят, стараясь оттащить от дружка. Я почувствовал удар ниже лопатки, острый, резкий. Наверное, ногой. Это было уже слишком.

Я резко обернулся и, зажав чью-то голову, подножкой опрокинул нападающего. Он покатился по полу в ноги завизжавшим девчатам.

Ко мне подскочили станичные и оттащили черноволосого паренька, старающегося попасть в меня ногой...

Вдруг раздался неестественно громкий звук разрываемой ткани, хлопнувший, как выстрел.

То ли у Женьки заговорила совесть, и он полез на помощь станичным, а может быть, случайно оказался в свалке, но карающая десница его отца, каким-то чудом оказавшегося в клубе, схватила его за шиворот. И Нассонов-младший вывалился из лопнувшей пополам сорочки на пол. Потом в могучих руках председателя очутился гость сына, сразу сникший и присмиревший...

Мы сидели в маленькой комнатке за сценой, где обычно готовятся к выходу артисты. Нассонов, Коля Катаев, пятеро нарушителей порядка с опущенными головами, в сбившихся рубашках, и я.

Женька коленкой под зад, в прямом, а не в переносном смысле, был отправлен отцом из клуба домой.

Геннадий Петрович бросал слова коротко и резко, словно вбивал гвозди:

– Гостям мы всегда рады. И любим уважить. Но если гости ноги на стол – вот бог, а вот порог! Давайте на автобус, и чтобы духу вашего не было! Скажите спасибо – милиция у нас добрая. А то испортили бы вам характеристики...

Я вообще молчал. Изредка массировал ноющую спину.

Ребята с каждой его фразой словно становились меньше ростом.

Один из них, тот, которого я свалил первым, робко произнес:

– Мы не знали, что этот товарищ... гражданин... участковый инспектор.

– И поэтому насвинячили? – ударил кулаком по столу Нассонов. – Мотайте на автобус! Сейчас же!

Он вынул деньги и сунул одному из дружков сына. А напоследок так их обругал, что мы с Колей невольно опустили глаза.

Ребята гуськом потянулись из комнатки, прошли по притихшему клубу. Наши, станичные, провожали их уже не злыми, а скорее сочувственными взглядами... Они знали, Нассонов шутить не любит.

Когда мы остались одни, он закурил.

– Ты, Дмитрий Александрович, за Женьку не обессудь... Эх, Женька! Ох, Женька! Ну погоди...

И вышел своей крепкой, вразвалочку походкой...

...Я шел из клуба домой. Станица спала под пологом

черной ночи. У нас в Калининe нет таких ночей. Там летом далеко за полночь светится на западе полоска зари. Холодная, прозрачная.

А здесь ночь ложится на все небо, плотная, с теплыми приboями ветра, в котором особенно выделяется запах чебреца и полыни, забивающий все другие запахи...

Как далеко сейчас Калинин! Как много воды утекло с той ночи, когда мы, уже не школьники, но еще и не студенты, бродили по набережной после выпускного бала. Небо тогда не потухало всю ночь. Одна заря перешла в другую: сначала бирюзовая и холодная, потом розовая и золотая. Лица у нас были как эта заря. Наши девчонки казались феями в своих белых нарядах. В толпе спешащих на работу людей мы шли уставшие и притихшие оттого, что свершилось нечто, приобщившее нас к другому миру, миру, в котором есть раннее рабочее утро, которое мы до сих пор просыпали в своих теплых постелях...

Удивительно, прошло всего четыре года, а мне кажется, что целая вечность! Я уже был солдатом, учился в Москве, а теперь офицер в этой теплой, тихой станице...

Но тихой ли? Сегодняшний вечер в клубе мог кончиться кое для кого совсем не весело...

Такова она – моя служба. Я ее выбрал сам.

И все-таки здорово вот так возвращаться теплой ночью домой, после трудового дня. Я был на посту и в то же время как будто не был.

Интересно, как реагировала Лариса, когда я скручивал распоясавшихся ребят?

Говорят, девушкам нравятся победители...

В воскресенье, троицын день, с утра начали долдонить церковные колокола. Я никогда не знал, что из них можно выколотить такую сложную симфонию. Кто был пономарь, не знаю. Но мне показалось, что извлечь эту бурю звуков мог только сам отец Леонтий, с его сильными руками.

Я сел на мотоцикл и стал не спеша патрулировать дорогу возле церкви.

Многие дворы и дома в станице изукрасились зеленью и цветами. Травой и ветками были застелены земля, базы, веранды.

В воздухе стоял густой запах свежескошенной травы, ее сладкий, увядающий тлен.

От церкви я ехал на другой конец станицы, где недавно машина сбила старика. Там был поворот, и водители не всегда сбавляли скорость.

Так и выходили поездки: с одного горба кургана на другой, как на качелях, — вверх-вниз, вверх-вниз, до тех пор, пока не выхватил из негромкого гула толпы, направляющейся к храму, язвительный старушечий голос:

— И чего мотается, сердешный, взад-вперед? Как навоз в проруби...

Я разозлился — для их же блага стараюсь!

Вчера, на оперативном совещании, я получил инструкцию проследить за порядком на дороге и возле церкви во избежание всяких там несчастных случаев.

Я поставил свой «Урал» возле церкви и сел боком на сиденье. Отсюда шоссе далеко проглядывалось в обе стороны.

Машин почти не было. Только изредка проедет рейсовый автобус. Шоферы въезжали в станицу медленно, поминутно шипя тормозами и сигналив...

Тягуче тянулось время.

Струился ручеек благочинных старушек в белых платочках.

— Здравствуйте, товарищ начальник!

Возле меня стояла Зара в яркой цветастой юбке, пышными оборками спускающейся почти до самой земли. Улыбаясь, протянула мне руку. И, кивнув на несколько смуглых детских рожц, окружавших ее, сказала:

— Вот привезла. У нас что на хуторе? Ни людей не увидишь, ни праздника. Гостинцев куплю, в кино сходим...

Я тоже улыбался, не зная, о чем говорить и как себя вести.

— Конечно, — ответил я.

— Да, да! — подхватила Зара. — Я девчонкой любила праздники. Ох любила! Да и сейчас нравится.

И красива же была жена Арефы Денисова! Она поражала какой-то силой, яркостью, раскованностью. Черные волосы выбивались из-под цветастого платка и густо устилали плечи.

— И все ваши? — кивнул я на ребятишек.

— Все наши! — блеснула Зара ослепительно-белыми зубами. — Выбирай невесту, начальник!

— Мне еще рано, молодой, — отшутился я.

— Хорошо, подожди, Надя вырастет, — не унималась Зара. Ее глаза сверкнули озорно и насмешливо.

Она слегка подтолкнула вперед девочку лет тринадцати.

Надя смотрела на меня с детским любопытством. Тогда, в Крученом, я ее что-то не заметил. Она была действительно на редкость красива.

Но откуда у нее эти серые с зеленоватыми искорками глаза, вздернутый смуглый носик?

— Зара, что это у вашей дочки светлые глаза? — спросил я, чтобы повернуть разговор в другую сторону.

Видя мое недоумение, Зара рассмеялась:

— Это внучка Арефы. От первой семьи. А отец у Нади русский.

Надя серьезно сказала:

— Как вы.

Зара погладила девочку по голове и отошла от меня со своим семейством...

Когда церковь опустела и людская толпа растеклась по дорогам и дворам, я поехал домой.

Еще от ворот я увидел в окне на половине Ксении Филипповны накрытый стол и чьи-то знакомые мужские руки, держащие папиросу.

— Дмитрий Александрович, зайдите ко мне... — выглянула Ксения Филипповна.

Они сидели с Арефой Денисовым. На столе стояли нехитрые деревенские закуски, дымился пирог с капустой, сочились слезой крупно нарезанные свежие помидоры и огурцы, в миске лежали с большим умением сохраненные с прошлого года в погребе соленые арбузы.

Арефа поздоровался со мной, как со старым знакомым. Он взял своей смуглой рукой едва початую бутылку водки, налил в рюмку и поставил возле меня.

— Вроде бы с праздником...

– А мы, когда сами захотим, можем устроить праздник!
– засмеялась Ксения Филипповна, как бы оправдываясь и показывая, что сегодняшнее их сидение никакого отношения к троице не имеет.

– Спасибо, Арефа Иванович, но мне еще дежурить надо,
– отставил я рюмку.

– Он строгий по этой части, хоть и молодой, – подтвердила председатель сельисполкома. – Давай с тобой, Арефа. Тебе одному как-то не с руки, понимаю.

Они чокнулись. Ксения Филипповна отпила маленький глоток.

– Ешь, Дмитрий Александрович, мамка с папкой далеко, кто еще поухаживает? – Хозяйка положила мне в тарелку огромный кус пирога и овощей.

И я опять превратился в пацана с розовыми щеками и по-девчачьи вздернутой губой.

С моим приходом беседа у них расклеилась.

– Ну, товарищ начальник, – полушутя спросил Денисов, – что слышно в округе? Тихо, спокойно?

– Вроде так, – ответил я с полным ртом.

– Ну и слава богу, – кивнула Ксения Филипповна. – Праздники для милиции – самое хлопотное время, кому праздники, а кому тяжкий труд. А так у нас, кажется, спокойно...

– Вообще-то да, – подтвердил Арефа. – Если и случается что, то в основном – приезжие...

– Не скажи, – возразила Ракитина. – Свои тоже иногда отличаются. А гастролеров что-то давно не было. – Она подмигнула мне. – Это, наверное, вы хорошо работаете.

Я промолчал. В райотделе меня предупредили, что

нет-нет да и объявляются в районе сомнительные личности. Особенно по части лошадей. Да и браконьеры иногда заезжают стрелять сайгаков.

– Если что, Арефа тебе хороший помощник, – продолжала хозяйка. – Лошадиная душа.

– Люблю, ох люблю хороших коней, – согласился Денисов. – Красота в них большая... Но у нас не проживишься на этот счет. Не дадим...

Я не стал говорить на эту тему. Только сказал:

– Ваших встретил возле церкви.

Арефа покачал головой. Но не очень чтобы с большим сожалением.

– Так и тянет потолкаться... Ей бы народ посмотреть да себя показать.

– Брось, Арефа, – махнула рукой Ксения Филипповна. – С малолетства она приучена... Что я тебя хотела спросить? Да, правда, что Лариска будет от нашего колхоза скакать?

Я насторожился, но постарался не показать этого.

– А что? – вскинул брови Арефа.

– Да ничего. Втемяшилось председателю прогреметь в этом деле – и все тут.

– Хорошего скакуна едва не забраковали... очень хорошего. А девка уломала. Вот, Дмитрий Александрович видел, – взял меня за локоть Денисов. – Правда хорошо она с Маркизом управляется?

– Наверное. Я не знаток.

– Так это всякому видно. Но его зоотехник почему-то забраковал. А жеребец еще в самой силе. Пробовали в хомут запрячь – не дается. Кусает, лягается и задними и передними ногами. А Лариска Аверьянова давно к Геннадии

Петровичу пристаёт, чтобы он выделил ей транспорт для езды на дальние бригады книги развозить. У нас с транспортом не богато.

– Не богато! – усмехнулась Ракитина. – Говори уж – из рук вон плохо. Посмотри только, на какой колымаге ездит Колпаков! Давеча чуть пацана не задавил...

– Значит, нет транспорта, – продолжал Арефа. – Какую другую лошадь Нассонову жалко, ну он и предложил Маркиза, чтобы отвязаться. Помучается, мол, с ним девка и отстанет. А она, гляди ты, обуздала жеребца. Он у нее чуть ли не вальс танцует... Я, честным делом, давненько Маркиза приметил. Да не было подходящего жокея. Нассонов будто тоже доволен.

– Бог с ним, – сказала Ксения Филипповна, – чем бы дитя ни тешилось... А я бы на месте Геннадия Петровича не о лошадях, а об людях позадумалась бы. Клуб новый не мешает сладить. Да и ясли расширять пора.

– А ты была на его месте, – подтрунил Арефа. – Клуба, вспомни, вообще не было. Об яслях и говорить не приходится.

– И-эх, Арефушка! – вздохнула хозяйка. – Не те времена были. Не до жиру, быть бы живу... Макуху¹⁰ за пирожное почитали. Не дай-то господь когда-нибудь еще... Выпьешь, что ли?

– Надо будет, налью, поди, не гость, – засмеялся Арефа, но себе налил.

– Ты скажи, Зара все еще артачится? Денисов выпил рюмку и закусил помидором.

¹⁰ Жмых (местн.).

– И слышать не хочет... Но кто, Ксюша, в наши времена с родителями считается?

Я смекнул: опять про библиотекаршу.

– У вас вроде на этот счет строго...

– У вас, у нас... Все перемешалось. Нынче все одним миром мазаны.

Арефа достал старинные карманные часы на цепочке и заторопился.

– Благодарствую тебе, хозяйюшка. Спасибо за хлеб-соль.

– Посидел бы еще...

– Геннадию Петровичу обещался. Надо на конеферму. Скачки на носу.

– Помешались вы с ним, вот мой сказ. Ну ты старый пенсионный хрыч, тебе делать нечего. А он что? – покачала головой Ксения Филипповна.

– Хе-хе, старый! Зара меня на десять молодых не променяет, несмотря что старше ее на двадцать годов! – засмеялся Арефа.

– Это как знать... – поднялась хозяйка провожать гостя до порога. – Молодые-то орлы! Посмотри! – кивнула она на меня.

Арефа шутливо покачал головой:

– А кстати, мое имя в переводе на русский означает – орел. В святцах указано.

Денисов ушел. Мы долго сидели молча. Каждый думал о своем. Где-то пели. Пока еще стройно. Я ждал, когда Ксения Филипповна заговорит сама, хотя меня и мучило множество вопросов.

И она заговорила:

– С Арефой мы старые друзья. С моим Игнатом пол-

войны прошел. – Ксения Филипповна взглянула на портрет мужчины в шинели с петлицами. Такие портреты, увеличенные с маленькой фотографии с удостоверения, есть, наверное, в каждой русской семье. – На руках Арефы он и помер... После войны Арефа с молодой женой, с Зарой, приехал в Бахмачеевскую. Приехал, об Игнате рассказал. И остался тут... – Она переменяла тему: – Интересуются на станции... – И посмотрела на меня.

– Чем? – невинно спросил я.

– Разным... Женат ли, выпиваешь ли...

– А кому какое дело? – вспыхнул я. – Взятки, кажется, не беру. И вообще без году неделя...

– Да ты не кипятись... По другому это боку идет.

– Неужели людям нечего делать, как только кости перемывать?

– Поешь, Дмитрий Александрович, больно мало кушал... – Она почему-то всегда называет меня по имени и отчеству. – Ты не серчай на людей. Их понимать надо... Невест – пруд пруди, а ребята отсюда разлетаются.

Я наконец понял, в чем дело. И залился краской.

– Ну раз тебе это не в охотку, говорить не буду. Только скажу: вот приехал ты, и на милицию по-другому смотреть стали. Не то что при Сычове. Говорят, потому ли, что форма у тебя другая и не участковым уполномоченным называешься, а инспектором.

Я рассмеялся.

– А ты не смейся. Сычов-то ходил – пасмурный какой-то в смысле одежды. Синее все. Галифе. Шинелька до полу болтается. А у тебя внешность нарядная, светлая. Мышиный цвет. Благородно...

– Теперь такая у всех работников милиции.

– Ага. Перемена, стало быть, есть. Правильно люди заметили. И еще, у Сычова на погонах звезд не было...

– Старшина. Не успел дослужиться.

Ох уж эта мне звездочка! Знала бы Ксения Филипповна...

– Сычову бы не дали. Давно ведь за ним грешки наблюдались. И главное – это... – Ксения Филипповна щелкнула себя по шее. – Ну и мотоцикл тебе сразу определили. Новый. И цвет видный.

– Участок большой, – как бы оправдывался я. – Служба у нас становится все оперативнее...

«Выходит, только проклятому бугаю цвет моего мотоцикла не понравился», – подумал я про себя.

Ксения Филипповна продолжала:

– Народ, он все подмечает. Самую малую крошечку. Потому как любые перемены на нем отражаются. Что ты ему ни говори, а он прежде всего дело видит. Человек каждый день ходит в магазин, каждый день хлеб ест, еще он одежду носит, в автобусе, поезде ездит... Всякую службу несет. И женится, родит себе подобных. Небось тянется туда, где лучше. Бежит с того места, где жмут его. И очень-очень много думает, прежде чем сделать что-либо... А как же иначе быть должно?

Я спросил ее, почему она не уезжает к детям. Ведь одной жить тоскливо.

Ксения Филипповна покачала головой:

– Нет, Дмитрий Александрович, не хочу я жить в городе. Асфальт не люблю. По мне самое лучшее – по земле ходить. Хоть и не разрешают врачи, а я люблю скинуть

башмаки и босиком, босиком по двору шастать. Помню, девчонкой была, так без обуви до самых холодов бегала. По стерне. Колется, царапает, а мне все нипочем. Еще такие колючки есть – гарбузики. Ну прямо в наказание ребятишкам созданы. Напорешься, слезы из глаз, а через минуту забываешь, скачешь, як та коза. А то, что я будто одинокая, – совсем ерунда. Я здесь каждую бабу, каждого мужика знаю, их детей и детей их детей. Все как родня. Не то что в городе! Вон у дочери насмотрелась. С соседями стенка в стенку живут десять лет, каждый день видятся, а будто даже и не знакомы. «Здравствуй – до свидания» не скажут. И считают, так как бы и надо...

Я слушал Ксению Филипповну, и перед глазами у меня стояла бабушка. Она тоже жила только для других. Ее ничто не могло сломить: ни старость, ни недуги. Потому что бабушка ничего так не ценила, как людей.

Как я жалел, что ее уже нет. Она ушла из жизни не в страшные годы разрухи, голода, под немцами, а тогда, когда было тихо и спокойно в мире. Дома все спали. Ей словно захотелось открыть дверь и выйти посмотреть на безмятежную ночь, полную звезд. Ушла и не вернулась...

Про Чаву и Ларису Ксения Филипповна так ничего и не сказала. А я почти был уверен, что разговор с Арефой шел именно о них.

Деликатная душа обитала в Ксении Филипповне. Наверное, чувствовала мою настороженность и натянутость, когда я видел библиотекаршу.

...Засыпал я в этот вечер без особых забот. Я опять ощущал, что жизнь огромна и бесконечна.

Как-то бабушка сказала, что мужчине обязательно

надо, чтобы его беззаветно любила хотя бы одна женщина, будь то мать, сестра, жена или дочь... У меня сейчас есть такой человек. Это Алешка.

А потом?

Потом будет дорога, дорога через зеленую степь. С холма на холм... без конца, без края...

Я заснул.

И когда стали тарабанить в дверь и в окно, я не сразу понял, на каком нахожусь свете.

– Товарищ участковый! Товарищ милиционер! Митька Герасимов убийство может совершить!.. Помогите...

Во мне сработала армейская привычка. Я соскочил с постели, как по тревоге, и оделся в считанные секунды.

Мы бежали с пожилой женщиной, которая путалась в длинной ночной сорочке. Платок поминутно сбивался ей на плечи. Она поправляла его, забыв, однако, о том, что почти раздета.

Из ее бессвязных криков я понял: она услышала, что сосед, Дмитрий Герасимов, грозит кому-то ружьем, И пьян «до бессамочувствия». А там, в хате, дети...

Я пытался вспомнить лицо Герасимова, но перед глазами почему-то маячил Сычов...

И когда мы добрались до герасимовского двора, который обступили несколько станичников, я понял, почему мне в голову лез Сычов.

Это был тот самый молодой мужик, в белой майке и синих штанах до щиколоток, который частенько захаживал в тир, к Сычову, с бутылкой.

Я увидел его в проеме освещенного окна, в той самой майке, с двустволкой наперевес.

Он стоял посреди горницы, под самой лампой, чуть-чуть покачиваясь, с сумасшедшими, застывшими глазами...

Перед ним, всхлипывая и причитая, закрывала кого-то собой его жена. Наверное, за ее спиной прятался ребенок.

Это я увидел, подойдя вплотную к окну. Я чувствовал плечом шершавую саманную стенку и лихорадочно обдумывал, как обезоружить пьяного, находящегося в бреду горячки мужика.

Медлить было нельзя. Могло вот-вот произойти неоправимое.

Что делать? Что делать?! От напряжения у меня стучало в висках.

Митька стоял как раз напротив двери. Если я ворвусь через сени, то столкнусь с ним прямо лицом к лицу. И не известно, что взбредет ему в голову. Такие люди начисто лишены самоконтроля.

С бьющимся сердцем я обогнул хату. Теперь я видел через открытое окно Митькину спину...

— Митя, Митенька... Да что ж ты задумал, миленький? — жалобно плакала его жена. Из-под ее руки смотрело испуганное детское личико. Герасимов что-то бессвязно и грубо кричал.

Раздумывать дальше было нельзя. И прежде чем Митька обернулся, я влетел в хату, сбив с подоконника горшки с цветами.

Я кинулся к нему под ноги, когда надо мной что-то разорвалось. В нос ударил кислый, едкий запах пороха. Вокруг зазвенел железный дождь. Его капли запрыгали по комнате, по полу...

Трудно понять, откуда у пьяного взялась такая сила! Он был словно буйнопомешанный. Я боролся с ним и боялся, что мне его не одолеть. Он был похож на крепкое, жилистое дерево с торчащими во все стороны сучьями, которые надо было обязательно сложить вместе, а то они здорово колотили и мяли меня...

Потом прибежали какие-то парни, по-деловому, сосредоточенно связали веревкой дергающегося подо мной Митьку.

Я огляделся. Вся комната серебрилась алебастровой пылью, а по ней ходил бледный, худенький мальчик лет пяти, в сатиновых заплатанных трусиках, и молча собирал пятаки и гривенники.

Митька угодил в копилку, стоящую на старомодном резном буфете.

Я не знаю, почему тогда принял именно это решение.

Может быть, потому, что вид Митьки был ужасен: безумные глаза, ходившее ходуном спеленутое тело, бычье мычание?

Оброненная кем-то фраза: «Теперь до утра не успокоится»?

Наставление преподавателей, что подобных нарушителей надо немедленно изолировать?

Тень смерти, в клочья разнесшая гипсовую кошечку?

Наверное, все вместе.

Мы дотащили его в мой кабинет почти на руках. Уложили на диван с потрескавшимся дерматином, и я остался один на один с Герасимовым коротать ночь...

Это потом я вспомнил ее во всех подробностях. Во всех деталях зыбкого, полудремотного бдения. И каждая се-

кунда показалась значимой и полной смысла. Потому что эта ночь, как удар топора, разделила всю мою жизнь ровно пополам. На то, что было до и после.

Все это было потом.

А тогда я сидел за своим столом, опустив тяжелеющую голову на руки, и смотрел на Митьку, зубами вцепившегося в веревку и остекленевшими глазами уставившегося в потолок. Герасимова бил озноб. Кто-то зачем-то окатил его из ведра.

Диван под ним ходил ходуном, скрипя старческими пружинами. А потом утих.

Я был зол на Митьку. Может быть, потому, что он напомнил мне очень неприятные минуты в моей жизни.

Нет, отец никогда не бывал буйным. Наоборот, опьянение лишало его какой-либо подвижности, жестов, мимики. Он переставал общаться с этим миром. Из него уходил человек, и оставалась одна пустая оболочка.

И хотя случалось это не так уж часто, но каждый раз разлад в семье продолжался долго и шоком сковывал мать.

Она не кричала, не ругалась. Она страдала тихо и упорно, как от скрытой тяжелой болезни. И не бросалась с лихорадочной любовью на нас с Алешкой, чтобы облегчить свою боль. Она сильная, моя мать.

Я не знаю, переживал ли отец. Иногда казалось, что да, переживал. Но тогда разве можно было снова окунаться в это состояние?

Наверное, от матери у меня неприязнь к алкоголю.

Лишь одна бабушка как-то сдерживала дурное влечение отца.

Но ее не стало...

Я сидел, облокотившись на стол. У меня затекло все тело. В голову иногда заползали призрачные сновидения, но тут же улетучивались при каждом резком скрипе диванных пружин.

Герасимова снова стал бить озноб. Во мне проснулась жалость. Может, я видел в нем другого человека, моего отца? Не решаясь сбегать домой за одеялом и не найдя ничего другого под рукой, я укрыл его сложенной вдвое суконной скатертью со стола.

Часа в три он притих. Я развязал ему руки. И вздремнул сам.

Часов в пять я проснулся оттого, что он сидел на диване и смотрел прямо на меня. Взлохмаченный, с синим, отекавшим лицом.

Было уже светло. Тот час, когда серый кисель света без теней и оттенков заполняет все вокруг.

– Голова трещит, – прохрипел Митька. – Опохмелиться бы...

Я молча налил ему стакан воды из графина. Он выпил ее всю судорожными глотками. Махнул рукой и снова повалился на диван, подбирая под себя ногами короткую скатерть и сворачиваясь в калачик.

Окончательно я проснулся часов в семь. Что-то подтолкнуло меня. Я открыл глаза. Комнату самым краешком коснулось солнце. Но этого было достаточно, чтобы вся ночь улетела бог знает куда.

Я смотрел на спокойно вытянувшегося Митьку. Его ноги вылезли из-под скатерти. У меня было такое ощущение, что я врач, переживший у постели больного опасный кризис его болезни.

Я подошел к нему и потряс за плечо.

– Вставай.

Но он лежал неподвижно. Так неподвижно, что у меня у самого, казалось, остановилось сердце...

Что было потом?

Потом все было как в страшном сне, который не помнится целиком, а приходит на ум отдельными, самыми болезненными кусками. Таким и осталось у меня в памяти то утро.

Я даже поначалу не сообразил, что случилось. А когда до меня дошло, почему Герасимов так неподвижен, почему так спокойно его одутловатое лицо, я зачем-то первым делом позвонил Ксении Филипповне. И уж затем только вызвал врача.

И стали появляться люди – Ракитина, Нассонов, парторг, Катаев... и еще кто-то. Люди, имен и лиц которых я не помню, смотревшие через окно на покрытое скатертью тело.

Сколько прошло времени, пока не приехал начальник РОВДа майор Мягкенький, следователь прокуратуры и судмедэксперт, не знаю.

Помню только причитания Митькиной жены, которые отдавались в душе такой болью и безысходностью, что я был готов бежать хоть на край света, лишь бы не слышать их.

Потом мы сидели со следователем райпрокуратуры в кабинете у Ксении Филипповны. До мельчайших подробностей застряло в моей голове, как он спокойно стал заполнять протокол допроса – фамилия, имя, отчество – и время от времени сгибал и разгибал скрепку.

Я смотрел на его ровный, отчетливый почерк, отмечал про себя профессиональную неторопливость и обстоятельность, с которой он вел допрос, а в голове у меня проносилось: ну вот и полетела прахом вся моя жизнь и служба. Осталось только появиться «черному ворону», потом КПЗ, и закрутится машина...

Когда следователь закончил, в кабинете появился майор Мягкенький с судмедэкспертом. Начальник райотдела, как мне показалось, старался на меня не смотреть.

Судмедэксперт, с редкой седой шевелюрой, в коломняковом пиджаке, засыпанном пеплом и крошками табака, вертел в прокуренных пальцах потухший окурок.

– Наружных повреждений нет... По всей видимости, смерть наступила этак часа четыре с половиной назад. А сивухой до сих пор несет! Такого вскрывать – хуже нет! – Он посмотрел на меня и, усмехнувшись, покачал головой: – Ему не воды надо было, а граммов сто пятьдесят. Тогда, может быть... – Он развел руками. – Абстиненция. – Незнакомое слово камнем опустилось в сознание. – Вот тебе, бабушка, и троицын день... – закончил судмедэксперт и закурил новую папиросу.

– Что, теперь прикажешь в вытрезвителях водку держать? – хмуро произнес майор.

– И селедочку с луком, – усмехнулся следователь. Мягкенький, озабоченно вздохнув, сказал мне:

– Нечего тебе пока тут маяться. Поехали...

И мы пошли через толпу расступившихся станичников – майор, судмедэксперт и я.

Следователь остался в станице.

Я шел, никого не видя, не различая и не выделяя из общей массы.

И как хлыст по лицу, обожгли слова какой-то старушки:
– За что человека сгубили, ироды, да еще в божий день?..

Я увидел, как у майора свело скулы.

Уже в машине, на дороге, далеко от хаты сельсовета, где в моей комнате лежал утихший навсегда Герасимов, когда мимо нас промчалась машина из морга, начальник райотдела сказал в сердцах:

– Дернул же тебя черт забрать его в свой кабинет! Я ничего не ответил. Неужели и он думает, что я виноват? Но в чем? Почему смерть Митьки лежит на мне?

Может быть, я действительно сделал что-то не так? А с другой стороны, не заberi я его к себе, могло ведь случиться еще страшнее.

Вдруг подумалось, смогу ли я доказать следователю, что невиновен, поверят ли мне, если расскажу все как было?

В райотделе, в Краснопартизанске, только и говорили о ЧП в станице. Майор Мягкенький собрал руководящий состав, и они заперлись о чем-то совещаться. Я сидел в дежурной комнате, где по случаю понедельника было много народу, и меня, слава богу, никто не тревожил, и еще и еще раз перебирал в уме события ночи.

Может быть, я что-нибудь сделал Митьке, когда боролся с ним в хате? Мы катались по полу, как сцепившиеся звери, бились о ножки стола, о комод... Ведь что стоит человеческая жизнь? Попади нечаянно в висок и – крышка... У меня у самого до сих пор ныл затылок, на котором бугрилась здоровенная шишка.

От всех этих мыслей меня бросало то в жар, то в холод...

Дежурный по отделу, старший лейтенант, кидал на меня любопытные взгляды. Было видно, что ему очень хотелось расспросить меня о случившемся. Но у него не было ни одной свободной минуты. Люди шли и шли.

Неожиданно он обратился ко мне:

— Кичатов, звонила секретарь прокуратуры, просят зайти к прокурору...

Я шел в райпрокуратуру, ноги были налиты свинцом, а в сердце вдруг образовалась пустота. Сейчас мне прикажут сдать оружие, документы, ремень... Снимут погоны... Ну что ж, будь что будет...

Нашего райпрокурора я видел до этого всего один раз. Женщина лет сорока, в темном костюме, в кофточке, с накрахмаленными воротничком и манжетами, которая удивила меня своей белизной в этом краю, где непрестанно дуют ветры и от серой пыли никуда не денешься. Я всегда был вынужден носить с собой бархотку, чтобы мои туфли имели приличный вид.

В кабинете прокурора сидела посетительница лет тридцати.

Прокурор встретила меня, словно ничего не произошло. Представила молодой женщине, фамилия которой была Юрлова, попросила ее выслушать и, если понадобится, подкинуть в Бахмачеевскую.

Я машинально кивал головой и поддакивал.

Может быть, меня нагружают делом, чтобы я не болтался просто так?

Совершенно сбитый с толку, я пропустил вперед себя Юрлову, которая оказалась выше меня на полголовы, и прошел с ней в пустую приемную.

Мы сели на диван.

– В моем распоряжении всего один день. Завтра я должна уехать, – сказала она категорически. – Вы, конечно, поможете мне добраться до Бахмачеевской?

Модно одетая дама критически оглядела мою мальчишескую физиономию и погоны с одной звездочкой.

Я пожал плечами. Откуда я мог знать, что ждет меня через час.

– Ну и порядки! Только бы спихнуть человека...

– Могу проводить вас до автобуса, – спохватился я.

– Ближайший – только вечером.

– На попутной, – предложил я. – Тоже можно посодействовать.

– В грузовике? – усмехнулась она. – К сожалению... – Она показала на свое платье: – В такой одежде по нашим пыльным дорогам не разъездишься.

– И легковые иногда ходят.

Она что-то прикинула.

– Лучше подожду автобуса.

– А дело какое у вас?

Юрлова открыла удлиненную лакированную сумочку с замком под червленое серебро и достала сложенный вчетверо лист бумаги.

– Вот...

Я долго читал ее заявление. Мой мозг был не в состоянии связать какого-то Юрлова Игоря Константиновича, присылавшего ей мало денег на сына, с тем, что ждало меня впереди.

Кто же у нас в станице Юрлов?

Я с трудом сформулировал свою мысль:

– А вы сделайте как все – подайте в суд. И по исполнительному листу будете получать столько, сколько положено по закону.

– Спасибо, – сказала она. – Это мне известно.

– Он же не уклоняется... Вот если бы он уклонялся, прятался, тогда это было бы нашей обязанностью – найти его. А сумму алиментов определяет народный суд. Если вы не можете договориться...

Юрлова посмотрела на меня с удивлением. Я сам чувствовал, что произвожу, наверное, впечатление не совсем нормального человека.

– Какой суд? Что вы такое говорите? – всплеснула она руками. – Зачем мне суд? Если бы он был такой, как все...

– А какой он? – удивился я.

– Отец ваш...

Что за чертовщина, при чем тут мой отец?

– Священник...

– Отец Леонтий?!

Она кивнула.

Эта новость встряхнула меня. Я стал соображать отчетливей.

– И сколько он вам, значит, присылает?

– Не мне, – вздохнула она, – сыну... Двадцать пять.

– А получает в месяц?

– Что-то около ста пятидесяти.

– Мало присылает, действительно...

– Видите ли, он уверяет, что у них налоги какие-то другие. – Она неожиданно для меня смутилась. – Он, то есть Юрлов, писал, что получает на руки мало. Вот и попробуй разберись во всем этом...

Я с ними, церковными, никогда дела не имел. И прямо сказал об этом:

– Не знаю, как там у них с зарплатой. Давайте встретимся перед отходом автобуса. Попробую кое-что узнать.

– А где я вас буду искать? – спросила она, опять раздражаясь.

– Или здесь, или в райотделе внутренних дел. – На языке вертелось: «Может быть, в КПЗ». Но только вздохнул.

– А спросить кого?

– Кичатова.

– Запомню... – Она поднялась.

Мы расстались. А я обрадовался: слава богу, есть какое-то дело. Но куда мне обращаться, я, честно говоря, не знал. Значит, надо спросить в РОВДе. И вообще попытаться узнать, что меня ожидает.

Я пошел к майору. Совещание у него закончилось. Все разошлись. Мягкенький посоветовал:

– Загляни сначала в райфо. Там все разъяснят. Ну, а за дополнительными сведениями, если они понадобятся, можешь сходить к преподобному. Это районное начальство вашего отца Леонтия.

О ЧП – ни слова.

В приемной начальника отдела я неожиданно столкнулся с бабой Верой, той самой, у которой была корова Бабочка... Знала бы она, какие у меня неприятности!

Чистенькая, наглаженная Крайнова смиренно ожидала, когда можно будет зайти к майору. Возле нее, плечом подпирая стену, стоял подросток, угрюмо созерцая свои длинные, нескладные мосластые руки.

Крайнова, увидев меня, поклонилась:

– Здравствуйте, товарищ участковый.

Бывать в подобных учреждениях ей, видимо, приходилось не часто. И мне она обрадовалась, как своему.

– По какому делу? – спросил я. Меня обуяла жажда деятельности, единственное, что спасало от тягостных дум.

– Может быть, помощь какая-нибудь требуется?

– Благодарю. Спасибо, – еще раз поклонилась она. – Вот за горемычным пришла, – кивнула старушка на подростка. – Внучок мой, Славка.

Парнишка глянул на меня виновато из-под челки, наискось закрывавшей ему лоб.

– Набедокурил что?

– Из бегов вернули... – вздохнула баба Вера.

И тут я обратил внимание на старенький, выдавший виды рюкзак в углу приемной.

Из двери выглянул Мягкенький.

– Заходите, Вера Николаевна. И ты, Миклухо-Маклай... – поманил он паренька.

Славка, подхватив свою поклажу, двинулся вслед за бабкой.

Пропустив их к себе, майор крикнул мне вдогонку:

– Кичатов, после райфо зайди ко мне.

– Слушаюсь, товарищ майор.

Решительно, сегодня мне не дадут киснуть без дела.

С отцом Леонтием, то есть Юрловым Игорем Константиновичем, каким он являлся в миру, история действительно была непростая.

По справке, выданной церковным советом и подписанной старостой, выходило, что он получал около ста

пятидесяти рублей. Райфинотдел взимал налог почти половину этой суммы...

– Так как же с него брать алименты? – недоумевал я.

– Двадцать пять процентов, как со всех, – сказал заведующий райфо.

– Исходя из какой суммы – за вычетом налога или без?

– Как со всех – без вычета!

– Да, но у всех подходящий налог всего шесть процентов!

Начальник райфо глянул на меня поверх очков:

– А что вы за него печетесь? Он заводил детей сам, сам разводился... По одежке протягивай ножки.

– Как же получается? – горячился я. – Вы у него занимаете, допустим, семьдесят рублей в месяц и еще алименты тридцать пять рублей. И остается у него около сорока рублей. Есть же человеку надо?!

– У них много постов. – Начальник райфо придвинул к себе счета. – Великий пост в среднем сорок пять дней, петров пост – двадцать дней, успенский пост – пятнадцать дней, рождественский, он же Филиппов, – сорок дней. Итого – сто двадцать дней. Это только многодневные посты. А еще каждая среда и пятница в течение года, за исключением, правда, святок и сплошных седмиц. – Он быстро перебрасывал костяшки. – Та-ак... Еще два поста: в день воздвижения креста господня и усекновения главы Иоанна Предтечи. Почти половина года – растительная пища. Между прочим, врачи пишут, очень полезно для здоровья. Далее... Живет он, считайте, в деревне. Имеет приусадебный участок. Жена, опять же, работает. Рублей сто приносит.

– Здорово их механику знаете, – вздохнул я.

– Тридцать лет, поди, с тещей живу. И не помню, чтобы пропустила хоть один пост...

Потом я снова пошел в прокуратуру. Выяснять – так выяснять до конца.

Райпрокурор куда-то спешила.

– Церковь у нас отделена от государства, не так ли, товарищ младший лейтенант?

– Так.

– Стало быть, доходы у нее частные. Не буду говорить, трудовые или нет. Человек все-таки трудится. А с частных у нас налог большой. Тут уж ничего не поделаешь. Не бойтесь, ваш батюшка с голоду не помрет. Прихожане, помимо денег, натурой несут: яйца, молоко, сало, масло, птицу. Какие крестины или отпевание без подношений? У нас, знаете, еще многих захребетников кормят. Русский народ – он добрый...

Выходило так, что я ничем не мог помочь Юрловой. Вернее, ничего нового не узнал.

Когда я рассказал обо всем майору Мягкенькому, в первый раз за весь день лицо его посветлело.

– Постов много, говоришь?.. – улыбнулся он. – Да, здорово наш финансист подсчитал. Ну бог с ними, с попами. А тебе вот еще какое дело. На твой участок направлен проживать Вячеслав Крайнов. К бабушке, стало быть. Ты их видел...

– Так точно, товарищ майор. Крайневу я знаю. Пенсионерка. Муж ее тоже пенсионер. Коммунист...

– Постой, не долдонь. Вячеслав Крайнов был дважды задержан в поездах дальнего следования. На восток дви-

гался. В Сибирь. Романтика, понимаешь, одолела. Парнишка, еще и пятнадцати нет. В город с родителями перебрался шесть лет назад. А город на иного влияет... Один раз задержали в поезде целой компанией. Вернули родителям. Теперь – рецидив. Ну и мелкая кража. В колонию его – жалко. Испортится вконец. А украл с голодухи. Проводники на поездах, подлецы, что делают: берут у таких, как он, последнюю пятерку и езжай, куда хочешь, хоть на край света. Не думают, что у пацанов шиш в кармане остается. А ехать надо пять-шесть суток... Вот и воруют. Короче, хлопца сняли с поезда, а он назвал адрес своей бабки. Может, испугался, что отец снимет ему штаны и взгреет как следует. Родителям сообщили по телефону. Крайнову-старуху вызвали. Они промеж собой решили, чтобы этот самый Миклухо-Маклай пожил в деревне, подальше от дружков. Да и сам задержанный говорит, что хочет жить у бабки. А тебе задание – присмотреть за ним. Найди кого-нибудь постарше его, из комсомольцев. Что называется, настоящего общественного воспитателя. Чтобы занялся с ним. Потом утвердим, все как полагается. Задание ясно?

– Так точно, товарищ майор.

Уже в конце рабочего дня я встретился в РОВДе со следователем райпрокуратуры, который вернулся из Бахмачеевской. Он посмотрел на меня с нескрываемым любопытством и покачал головой:

– Повезло тебе, Кичатов. В рубашке родился... Двенадцатый калибр. С такого расстояния он разможил бы тебе голову, как перезрелый арбуз... (Я даже сначала не понял, о чем он говорит, потому что Митькина смерть как-то за-

слонила события, приведшие его в мой кабинет.) Завтра часиков в одиннадцать зайди ко мне. Продолжим разговор...

Я решил сегодня в Бахмачеевскую не возвращаться. Все равно утром надо быть здесь. Завтра же должно состояться вскрытие. Что оно покажет? А если предварительное заключение судмедэксперта, что Герасимов умер с перепоя, не подтвердится?

Но об этом не хотелось думать. Я вообще не мог уже думать и соображать. И так намотался за весь день от прокуратуры в РОВД, из РОВДа в прокуратуру...

Хотя меня и приглашали ночевать к себе сотрудники райотдела, я заказал номер в гостинице «Маныч».

Около гостиницы я встретил Юрлову.

Выслушав меня, она поблагодарила за хлопоты и больше ничего не сказала. В Бахмачеевскую ехать раздумала. Какая-то она была тихая, задумчивая и показалась мне странной.

Это же надо – тащиться за тысячу километров из Москвы, морочить голову райпрокурору, милиции, выслушать то, что сама прекрасно знала, и уехать, ничего не предприняв!

Гостиница «Маныч» еще пахла краской, мебельным лаком и бетонной сыростью.

Я купил талон на переговоры с Калинином, заказал нашу квартиру и попросил дежурную разбудить меня в десять вечера. В номере телефона не было.

Я повалился в постель, и тяжелый сон бросил меня в какую-то бездну. Я совершенно отчетливо понимал, что сплю, что вихрь образов и нелепиц мне только снится, и сознание этого мешало и раздражало.

Но и это мое полузабытье было разрушено. Кто-то прямо над ухом громко и отчетливо произнес: «Ватерлоо».

От этого слова оборвалась тягучая вереница сновидений.

Откуда, почему это слово? Кто его произнес?

В памяти возник растрепанный школьный учебник истории. Битва при Ватерлоо.

Вспомнил! Афиша на кинотеатре. Фильм «Битва при Ватерлоо».

В номере было совсем темно, одиноко, тоскливо. Только я осознал это, как постучала дежурная:

– Калинин!

В трубке отчетливо звучал взволнованный, чуть срывающийся голос Алешки:

– Димочка, Димчик! Это ты?

– Я, я.

– Как ты там?..

– Хорошо. А ты как?

– У нас все нормально. А у тебя?

– Все в порядке.

Когда истекли заказанные три минуты, я вдруг обнаружил, что ничего не узнал. И сам не рассказал ничего.

А что я мог рассказать Алешке? Так, отделался общими словами. Главное, надо было услышать родной голос. Стало легче, радостное ощущение, что мы говорили, словно побывали рядом, немного растворило тяжесть от событий прошедших суток.

Пожалуй, впервые за весь день я по-настоящему ощутил голод!

На первом этаже помещался ресторан. Тоже «Маньч».

Пять столиков. Развесистый фикус с глянцевыми листьями.

Один из столиков занимала компания молодежи, спокойной, негромко переговаривающейся, словно боящейся нарушить пустынность и тишину зала.

За другим столом сидела женщина спиной к входной двери. Устраиваться еще за один столик мне показалось неудобным. И я направился к одинокой посетительнице, вежливо спросив:

– Разрешите?

– Да, конечно. – Это была Юрлова.

Я усадившись в незатейливое меню, досадуя – получилось, будто я нарочно искал с ней встречи. И пересаживаться неприлично. Но по ее поведению я скоро понял, что она вовсе об этом не думала.

И разговор получился у нас непринужденный. Я спросил:

– Что это у вас такое меланхолическое настроение?

Она усмехнулась:

– Вас тоже нельзя назвать очень веселым... Неприятности по службе?

Что уж врать?

– В этом роде...

Когда мне принесли котлеты и чай, я уже знал, что ее зовут Соня.

Наверное, и ей и мне надо было излить кому-то душу...

– Что вы думаете делать? Будете подавать в суд? – спросил я. Она отрицательно покачала головой. – А как же?

– Будет, как было... – Юрлова достала из своей щегольской сумочки пачку дорогих сигарет, иностранную

зажигалку. – Хорошо, что вы сели ко мне. Страшно хотелось затянуться, а одной неудобно. Вы курите?

– Нет.

– Редкое явление. – Она жадно затянулась. – Думаете небось, дотошная бабенка, из-за десяти рублей в месяц тащилась в такую даль...

– Нет, скажу честно, не думаю. Не до этого.

– А вы знаете, что меня остановило? Вернее, окончательно убедило, что ничего не надо предпринимать?

– Не знаю.

– Вы.

Я уставился на нее.

– Да. У вас было такое лицо... Как бы это объяснить? Ну словно я обращаюсь по какому-то ничтожному случаю к человеку, у которого случилось большое несчастье, Простите за сравнение. Я надеюсь, что это не так?

Я вздохнул.

– Нет...

– Я не специально здесь. Была в Ростове. На соревнованиях. Ну и выкроила пару дней. Я тренер по баскетболу. Когда-то сама играла. Вот хотела съездить в Бахмачеевскую. Пожалуй, незачем...

– Вы теперь замужем?

Она улыбнулась:

– Нет. И его двадцать пять рублей, в общем-то, мне не нужны. Я хорошо зарабатываю. Часто бываю за границей. Как сами понимаете, эта проблема, – она показала на сумку, платье, – решается очень просто. Основная проблема для женщины.

– А для чего вы обращались в прокуратуру?

Юрлова засмеялась:

– Чисто женская логика... Вопреки здравому смыслу.

– Вам просто хотелось его повидать.

Соня посмотрела на меня с удивлением.

Конечно же, она принимала меня за несмышленного юнца.

– Это тоже было... Конечно, мне интересно посмотреть, какой он сейчас. Мы ведь не ругались. Все произошло без ссор и истерик. Представляете, в один прекрасный день узнаешь, что отец твоего ребенка – церковнослужитель. Дьякон или как там его...

– Вы не знали? – удивился я.

– Нет. Мне и в голову не приходило. Учились на одном курсе. В институте физкультуры в Москве. Игорь был отличный спортсмен. Серебряные перчатки области. Компанейский парень. Любил рестораны. Ухаживал за девочками. Кстати, просто не верится, что Игорь с его, мягко выражаясь, земной натурой стал священником.

Я вспомнил рассказы Ксении Филипповны. Не знаю, как сейчас, но до женитьбы на Лопатиной в станице про отца Леонтия поговаривали разное...

– Если вы знали, что он такой, как же вы?..

Юрлова улыбнулась:

– Еще радовалась, что такого парня заарканила. За ним многие охотились. Особенно первокурсницы.

Я в душе ругал себя – откуда у меня такой нравоучительный тон, казенные фразы? Можно подумать, «ба-тюшка» я, а не Юрлов.

Соседний столик опустел, и мы остались с Соней одни в зале. Официантка несколько раз прошла возле столика, явно показывая, что мы ее задерживаем.

А Юрлова продолжала:

— Мы с ним зарегистрировались. Бесшабашно. По-студенчески. Мать у него жила под Москвой, в Переделкино. Это по Киевской дороге. Он даже не познакомил нас. Потом уже я сама ее разыскала... Жили мы в общежитии. Комнату нам выделили. Он по воскресеньям отлучался, иногда в будни. Меня не брал. Потом я сообразила, что это религиозные праздники. Как-то ребята с курса поехали на лыжную прогулку в Переделкино. И заглянули в церковь, из чистого любопытства. И увидели там Игоря. Он псаломщиком был. Скандал, конечно, разразился грандиозный. Он сказал вначале, что подрабатывал. Действительно, мать у него — инвалид, на пенсии... А ему хотелось одеваться, в ресторан сходить и так далее. Конечно, дело дошло до комитета комсомола института... Его спросили: как же он совмещал религию с марксизмом? По философии у него было «отлично». А он и говорит: меня, мол, спрашивали, что думает о религии Маркс, а не я, мою точку зрения никто не спрашивал. Из комсомола его, конечно, исключили. Он не стал дожидаться, что решит деканат, и ушел из института. Поступил в духовную семинарию. Вот, собственно, и все.

— А вы? Что вы?

— А что я? Взяла академический — и к родителям в Оренбург. Потом сын родился, Костя...

— А он вас не пытался приобщить к церкви?

— Да нет, собственно. Спросил только, буду ли я всегда с ним. Смешно! В бога я не верю. Дикость это. А Костя? Поповский сын...

— И вы не осудили его?..

Я опять с неудовольствием заметил про себя, откуда у меня берутся эти стертые слова: «осудили», «приобщить»?..

Юрлова задумчиво посмотрела куда-то поверх моей головы, на цепочку огней, уходящих в тихую, засыпающую улицу Краснопартизанска.

– Как бы там ни было, а он отец Костика. Моего сына. И с этим ничего не поделаешь...

– Я не знаю, как вы считаете... Мне кажется, что он вас в чем-то предал...

Она посмотрела на меня почти с испугом.

– Он меня любил... И Костю любит, – тихо, но убежденно проговорила Соня.

– Нет-нет, я не об этом. Почему он не открылся вам до женитьбы?.. Теперь у вас проблема – сын... Что вы ему скажете?

– Не знаю... Не знаю – вот что страшно.

Официантка не выдержала:

– Вы будете еще что-нибудь заказывать? Буфет закрывается. И кухня.

Мы поднялись.

Я предложил пойти прогуляться. Город уже крепко спал. В эту тяжелую, душную ночь не хотелось думать о горячей постели, о нагретой за день комнате, и об одиночестве в гостиничном номере с запахом не обжитой еще мебели.

Мы шли по мосту, высоко взметнувшемуся над узенькой полоской неподвижной речки.

И здесь, под открытым небом, оказались вдруг еще более одиноки. Одиноки порознь. Каждый думал о своем.

Не сговариваясь, повернули к гостинице. И расстались в коридоре. Наверное, судьба нас не сведет больше никогда...

8

«Дорогая Алешка!

Ты спрашивала, как идут у меня дела? Сама знаешь, когда говоришь по телефону, все главное вылетает из головы. А дела у меня идут отлично. И вообще работой я загружен по горло. До меня здесь был один человек, который все запустил, и приходится налаживать. Сейчас готовлю большую и важную лекцию для населения, разработал и утвердил в сельисполкоме мероприятия по профилактике и предупреждению преступности. Мне тут подбросили одного подростка твоих лет, с которым надо провести большую воспитательную работу. Еще думаю организовать в колхозе секцию самбо. С утра до вечера занят. Ты не представляешь, сколько у участкового инспектора всяких забот и хлопот. И еще многое я тебе писать не могу из-за специфики моей службы. Алешка, как там наши папа энд мама? Где ты думаешь провести лето, неужели проторчишь в Калинин? И с чего ты взяла, что я влюбился? Ты еще маленькая и в этих вопросах ничего не смыслишь. Пиши мне чаще, целуй маму и папу.

Крепко обнимаю, твой Дима».

Такое вот письмо я написал своей сестренке сразу по возвращении из города. Но опустить в почтовый ящик так и не решился.

Во-первых, потому, что дела у меня шли совсем не блестяще, на душе было муторно и тревожно. Во-вторых, какой интерес сестренке читать о моих повседневных делах? Тем более, героического в них пока что мало. В-третьих, я должен был бы пригласить ее отдохнуть в Бахмачеевскую. Какая это была бы радость – побыть вместе! Но этого я не мог себе позволить. Не дай бог, до нее дойдут какие-нибудь слухи.

Вскрытие показало, что Герасимов умер с перепоя. Но следователь на допросе вел себя странно. Все было официально и сухо. И лицо его ничего не выражало. Он отпустил меня, сказав: «Разберемся». А в чем и как – не знаю.

И еще до меня дошли сведения, будто наш комсомольский секретарь ездил в Краснопартизанск. К следователю. От себя лично. Поговорить с Колей откровенно я не решился. Все ждал, сам расскажет. Но Катаев при встречах никогда не заводил разговора о своей поездке и вообще о Герасимове. Может быть, не желал огорчать?

Но самым неприятным были слухи. Ядовитые, злые, они ползли за моей спиной, как тихие, неслышные змеи. И это куда больше обезоруживало, чем прямая угроза.

Проходя по улицам станицы, я чувствовал на своей спине долгие взгляды. Кое-кто был склонен не верить следователю и заключению судмедэкспертизы. А иные прямо говорили, что, не попади Митька в ту ночь в милицию и опохмелись утром, жить бы ему да жить. Может быть, и так. Но кто мог поручиться, что, оставь я его дома, не пришлось бы хоронить его жену и сына, а самому Митьке не переживать эту трагедию и суд?

Моему начальству там, в райцентре, было легче: по-

слали рапорт по инстанции, приложили заключение – и дело с плеч.

А каково мне?

Неприятнейшим образом вел себя Сычов, мой предшественник. Со мной он здоровался насмешливо, как бы говоря всем своим видом: вот что ты наделал, сосунок. Жизнь-то человеческая и ответ за нее – не пирожки печь. При мне, мол, такого не было... Теперь он часами просиживал на корточках у дверей тира. Возле него останавливались станичники, о чем-то говорили, качали головами и поглядывали при этом через дорогу, на мои окна...

Не знаю, что бы я делал, не будь рядом Ксении Филипповны и Коли Катаева.

– Хватит киснуть, Дмитрий Александрович, – сказала мне как-то Ракитина, видя мое состояние. – Знаешь, если брать на себя все грехи нашего суетного мира, то небо с овчинку покажется. Конечно, разные несознательные элементы болтать будут. На чужой роток не накинешь платок... Но ты не поддавайся. Себя извести легче всего.

Взял меня в оборот и Коля Катаев. Мы пораскинули, кого определить Славке Крайнову в «опекуны».

– Как-то надо по-человеческому, – ерошил свой чуб комсомольский секретарь. – А то как же получается – свести его с кем-нибудь: вот, мол, тебе общественный воспитатель. И пойдет вся механика насмарку...

– Верно, – подтвердил я. – Пацан и так напуган.

– Если их подружить с Чавой, то есть с Сергеем Денисовым?

Я пожал плечами:

– А чему он его научит?

Коля рассмеялся:

– И ты туда же... Э-эх, товарищ инспектор! Пора бы людей изучить. Для тебя, если цыган, то...

– Ерунда! Я говорю об образовании Денисова. Ну, это самое, о кругозоре...

– Серега – заводной парень. Природу, животных любит. Поет, танцует...

Уж лучше бы он об этом не вспоминал. Seriously выступать против Чавы нельзя. Еще заподозрят, что из-за библиотекарки.

– Денисов, Денисов... Может быть, ты и прав.

– Конечно! – подхватил Коля. – Главное сейчас что? Увлечь чем-нибудь пацана. А образование ему школа даст. Пока лето, Крайнев может походить у Сереги подпаском...

– Пойдет он тебе, держи карман шире! Городской.

– Ты хоть раз на лошади сидел?

– Откуда? В городе-то...

– Вот именно! А я бы сейчас – только предложи. Елки-палки! До чего же красота! Особенно в ночном. Расположимся в какой-нибудь ливаде, на берегу, костер сладим. Картошку печем, байки разные травим. И чем страшнее – тем лучше... – Коля сладко причмокнул. – Эх, где ты, золотое времечко? Вот крупным деятелем стал. – Он засмеялся. – Теперь с пацанвой в ночное не поедешь. А жаль. Кстати, дорогой товарищ инспектор, ты хоть поинтересовался, из-за чего этот самый Славка бегал из города и вообще есть ли у него какая-нибудь жилка, за что можно зацепиться?

– Так, в общих чертах, – буркнул я. Хотя и успел только поговорить с парнишкой о его образовании и дальнейших

видах на учебу. И мне стало неловко перед Катаевым: выходило, что я подхожу к парню формально. Действительно, разговор у меня со Славкой вышел официальный. Ох уж эта мне официальщина!

— А знаешь, что мне Славка сказал? — продолжал Катаев. Он-то сразу почувствовал, что по-человечески с пацаном я так еще и не поговорил. — Голубятню он хотел соорудить. Очень увлекается этим делом. Построили они с дружками голубятню на крыше своего девятиэтажного дома, а их домоуправ погнал. Вид, говорит, современный портит. Вот и обидели мальцов. Я понимаю, что это был только повод для побега. А все-таки, значит, лежит у него душа к живому, к природе...

— Это надо учсть, — сказал я.

Слушая Катаева, я понял, почему колхозные ребята выбрали его своим комсомольским вожаком.

Нельзя сказать, чтобы он чем-нибудь особенно выделялся. И не самый образованный как будто, и из себя не очень видный. Даже какой-то очень обыкновенный. Но была в нем одна черта, которая покоряла сразу. Коля Катаев всегда оказывался там, где было худо и где его очень ждали.

Есть такие люди, которые умеют управляться с чужими неудачами. И не так, чтобы сразу быка за рога, переворочить всех и вся. Он умел видеть обстоятельства, неприметные на первый взгляд, нажать на добрые пружинки в человеке...

— Коль, — сказал я, — есть у меня одна мыслишка... Как ты считаешь, если попытаться увлечь ребят самбо? Конечно, кто хочет.

Коля сразу сообразил, что к чему.

– Это ты надумал после того вечера, когда Женькины дружки драку устроили?

– Верно, – признался я.

– Ты спрашиваешь, стоящее ли дело? Только предложи – я первый прибегу. Пригодится. Да и жирок порастрясти...

– Он со смехом похлопал себя по поджарому животу. – Какой у тебя разряд?

– Мастер.

– Иди ты! Вот сила... То-то ты их в клубе как котят...

– Ну, преувеличиваешь, – смутился я. – А заниматься где?

– Это сейчас просто – в школе. А когда учеба начнется, как-нибудь согласуем с директором, а он – с учебным процессом... И вообще, если у тебя такое спортивное настроение, можешь прийти на стадион. В футбол играешь?

– В школе гонял.

– Случаем, не на воротах стоял?

– Нет, защитник...

Коля окинул меня взглядом:

– Для твоей комплекции подходяще.

Так с его легкой руки я вступил в спортивное общество «Урожай». Это была отдушина в моем тогдашнем состоянии. И еще потому, что я последнее время не видел Ларису. Говорили, она мотается по бригадам на лошади. Развозит читателям книги, проводит конференции и рьяно собирает экспонаты для местного музея. Вообще я убедился, что слова у нее не расходятся с делом. И это было для меня укором. Я пока только составлял и утверждал планы. А

Лариса даже такое сотворила, что поразила редко чему удивляющихся колхозников, – научила своего Маркиза вальсировать под баян. Вот что смогли женские руки! Ох уж эти женские руки – кого захочешь выучат плясать под свою дудку.

Лето достигло своего зенита. Стояли жаркие, дремотные, зыбкие от марева дни.

Я все ждал вызова в прокуратуру, но следователь словно забыл о моем существовании. Самому же не хотелось соваться.

Работы у меня скопилось достаточно. И в ней я находил забвение от грустных размышлений.

После некоторых колебаний я все-таки пошел к мужу Клавды Лоховой. Дело, скажем прямо, не особенно приятное: я симпатизировал продавщице, и заявляться к ней домой было неловко – получалось, что я вмешиваюсь в ее личную жизнь. Но о Лохове опять напомнил Нассонов, пекущийся о каждой паре рук, так нужных в хозяйстве.

Дом Лоховых стоял на отшибе. Они купили его у молодой семьи, уехавшей в райцентр. Говорят, быстренько подремонтировали запущенную хату, привели в порядок баз, выстроили добротный забор. Было видно, что хозяева любят трудиться в саду и по хозяйству – все было ухоженное и справное.

Вдоль дорожки от калитки до самой хаты был разбит цветник. Цветы были подобраны так, что самые высокие росли позади низких, не затеняя и не заслоняя их. Меня поразили бирки с названиями, болтающиеся на вбитых в землю колышках. Для того, видимо, чтобы осенью, когда созреют семена, не смешать их, не перепутать.

Конечно, все это было сделано Тихоном, Клава вряд ли к чему прикасалась: магазин открывался с утра, а закрывался чуть ли не с поздней зарей. А кому не хочется иметь такой уютный дом? Вот она и пеклась об том, чтобы мужа не трогали.

С Тихоном Лоховым я разговаривал буквально десять минут.

По словам Нассонова выходило, что Тихон – отъявленный лентяй и лежебока, уклоняющийся от работы. А на самом деле я встретил работающего мужика, спокойного и приветливого.

Выслушав меня, он только покачал головой:

– Ну, Клавдия Никаноровна зря меня бабой представила. Рад бы пойти трудиться, да болячки не пускают.

И показал вполне официальный документ, в котором значилось, что Лохов – инвалид второй группы. Оказывается, у него было удалено одно легкое. Застарелый туберкулез...

Конечно, после такого говорить с ним о работе в колхозе было бы просто неприлично. Не корить же человека за его болезни!

Я, как полагается, извинился за визит, откозырял и даже высказал обиду, что Клава поставила меня в неловкое положение.

– Ничего, бывает, – проводил меня до калитки Тихон. – Я вас понимаю, товарищ инспектор. Что теперь Лохов? Вроде пенсионера получается. А ведь в свое время всю тайгу обошел... с геологическим рюкзаком.

Даже в такую жару у него была наглухо застегнута рубашка. С виду – крепкий, здоровый мужик. Вот не по-

везло! А Клава, наверное, стыдится его неполноценности. Мало ли что скажут люди? Сам знаю, какие любители почесать языки на чужой счет у нас имеются.

Я рассказал о нашем разговоре Нассонову. Тот покачал головой и махнул рукой, буркнув, что не может же он знать, что внутри у каждого станичника, не рентген, поди.

И еще я сказал Нассонову, что в нашем районе появилась артель шабашников, которая разъезжает по станицам и хуторам, предлагая разные услуги: кому лошадь подковать, кому лудить и паять посуду, берутся и за более сложное дело – починить жнейку, сенокосилку. Даже возят с собой горн, наковальню и другой инструмент.

Правда, в станице эта артель пока не появлялась, но возникли трое незнакомцев в галифе, в длинных пиджаках и хромовых сапогах. Кто такие, еще не знаю.

Геннадий Петрович выслушал меня довольно холодно, давая понять, что он сам с усами, и не без иронии поблагодарил за напоминание о бдительности...

Однако я не успокоился и постарался собрать сведения о вновь прибывших.

Оказалось, что эти трое, цыгане, приезжали в Бахмачевскую и раньше, всегда при деньгах, интересовались лошадьми. Родственников у них в колхозе не было.

Останавливались они обычно у Петренко. Это еще одна цыганская семья в колхозе, помимо Денисовых. Но Петренки с Денисовыми почти не общались. На мой вопрос: «Почему?» – Арефа насмешливо ответил:

– Мы простые. А они киноактеры. В картине как-то снимались. В толпе. На экране меньше секунды, а фасону на всю жизнь.

Теперь приезжие ходили по станице с Чавой. Значит, Денисовы их тоже знали. Мне хотелось поговорить с Арефой, но он с женой уехал на похороны младшего брата в станицу Альметьевскую.

Оставался Чава. Он зашел ко мне сам поговорить насчет Славки Крайнова.

Чава был веселый, довольный. Но сквозь это веселье проскальзывала озабоченность.

Внук бабы Веры оказался послушным мальчишкой, покладистым. «Может быть, опять побег задумал? – мелькнуло у меня в голове. – Усыпляет бдительность».

– А как справляется со стадом? – спросил я.

– Со стадом справляться ему нечего. Главный пастух – Выстрел. Я у него заместитель. А Славка уж и не знаю, чей заместитель...

Я слегка прощупал Чаву насчет знакомых, с которыми он несколько дней околачивался в Бахмачеевской.

– За них не беспокойся, товарищ начальник. Они до самого председателя дело имеют. Вот и сейчас поехали с ним на конеферму.

Вот почему Нассонов не особенно хотел со мной говорить о приезжих! Значит, есть у председателя с ними какие-то дела.

– Ну, раз с председателем, тогда все в порядке. – Я снова перевел разговор на подпаска: – Ну, а какое-нибудь увлечение у Вячеслава есть? Чтобы не думал снова о побеге?

– Рыболов! Готов весь мир променять на удочку.

– Хорошо, пусть удит. Сходил бы с ним на рыбалку. Сближает.

Чава задумчиво почесал щеку.

— Конечно, надо бы... Времени нет. И не очень я это люблю.

Я подавил вздох: в станицу часто наведываешься, в библиотеку, вот и времени нет.

— А вы его в свой кружок по самбо возьмите, — предложил Чава.

— Мал еще, — ответил я. — Подрастет — подумаем.

Дело в том, что в секцию самбо набралось много желающих. Коля развернул дело масштабно. После двух занятий я отобрал тринадцать ребят.

Спортзал в школе мы заполучили без всяких препятствий. Помог парторг колхоза Павел Кузьмич. Сначала мое начинание его насторожило.

— А не станут ребята после этого озоровать больше? — спросил он меня. — На практику не потянет?

— Наоборот, — сказал я. — Из таких вырастают помощники милиции. Вот в Москве дружинников обучают самбо. Даже в «Правде» писали.

— В Москве, говоришь? — покачал головой парторг. — В «Правде»?

— Да. И в «Известиях».

— Тогда добре. Только ты сперва тех, кто поактивнее, запиши в дружину. Оформи как следует. Проведи на бюро. Вот какая штука.

Так была создана в станице дружина. И теперь каждый вечер в клубе дежурило два-три человека с красными повязками.

А приезжих цыган я действительно увидел с Нассоновым. Они зашли с ним в правление колхоза. Пробыли

там довольно долго. Потом вышли и сразу уехали на городском автобусе...

Не помню, это было третье или четвертое занятие секции самбо. Как обычно, я пришел за целый час в школьный спортзал, выходявший своими высокими, почти до потолка, окнами в яблоневый сад. До прихода ребят я разминался, штудировал учебник по самбо, прикидывал план занятий.

Директор школы дал мне ключ от помещения. Но школа всегда была открыта, потому что сторож жил прямо в саду, в маленькой саманной хатке.

Уже проходя мимо окон, я заметил, что в зале кто-то есть. Подумал – наверное, кто-нибудь из моих учеников.

В зале оказался... отец Леонтий. В майке, легких спортивных брюках, обтягивающих его крепкие, мускулистые ноги. Волосы забраны под шапочку, какие бывают у пловцов.

Он смутился.

– Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Иногда захожу вот сюда. Тянет мышцы размять, что-нибудь показать, подвигать...

Он держал в руках двухпудовую гирию.

– Спорт – вещь полезная и заразительная, – ответил я, раздеваясь.

Не знаю, как он это воспринял, но стал почему-то собираться.

– Куда же вы? Продолжайте, Игорь Константинович, – остановил я его. – У меня только через час занятие...

– С меня хватит. Размялся...

Мне было неловко, все-таки потеснил человека.

На днях я играл за колхозную команду в футбол. Конечно, опять были сомнения: удобно ли мне, офицеру, гонять в трусах перед публикой? Теперь я понял – удобно. Уж если поп приходит в гимнастический зал, то уж мне...

Отец Леонтий сел на длинную узкую скамеечку. Остынуть. Я стал облачаться в свой спортивный костюм. Ему, видимо, очень хотелось поговорить.

– Я, Дмитрий Александрович, со своей стороны, всякие разговоры о кончине Герасимова пресекаю.

Это он о Митьке. Я молча пожал плечами. Отец Леонтий понял мое молчание по-своему.

– Не думайте, – продолжал он, – я знаю, что в церковь идет, пожалуй, не самая образованная часть населения... Старухи Герасимова чуть ли не в мученики записали: господь прибрал в святой День.

– Вы-то хоть знаете, кто его так напоил?

– Знаю, – вздохнул он, – наш староста.

– Вот то-то и оно!

– Я борюсь с пьянством как могу. В воскресенье целую проповедь прочитал...

– Но Герасимова-то нет... И каких дел мог натворить – страшно подумать.

Отец Леонтий покачал головой.

– Я обо всем наслышан. И сожалею. Золотые руки были у человека. Он нам электрическую лампадку сделал перед иконой. Вы заметили, наверное. На портале храма. Вот наш староста и решил его отблагодарить. – И поспешно добавил: – Конечно, я старосте все высказал...

Этот разговор был мне неприятен. Вообще все, что было связано с Герасимовым, вызывало во мне глухую боль.

– Теперь поздно говорить...

– Это верно. – Отец Леонтий натянул поверх майки полосатую тенниску. – Жаль, душа нет. Хорошо после тренировки душ Шарко. На полную мощь. По мышцам, по мышцам, как массаж...

Мне почему-то вспомнилась Соня Юрлова... И я сказал:

– Игорь Константинович, я вашу жену видел.

Он улыбнулся:

– С вашим-то здоровьем по амбулаториям ходить...

– Соню.

Я пожалел о сказанном. Он словно обо что-то споткнулся. Но очень быстро взял себя в руки. Только глаза тревожно спрашивали: что, что ты скажешь еще? Интересно, какой он найдет выход?

– Она известная... Недавно показывали по телевизору. Нашел-таки выход.

– В Краснопартизанске. – (Зачем я его испытываю?) – Хотела сюда приехать, но раздумала...

Отец Леонтий сложил в чемоданчик спортивные брюки, тапочки.

– Что ж, каждый волен поступать, как ему угодно... Но «молнию» на тенниске ему удалось застегнуть не сразу. Не слушались пальцы. Он явно медлил.

– Хотите знать, для чего она приезжала?

– Если это касается меня, да.

– По поводу алиментов.

Он вздохнул. Непонятно, с облегчением или огорченно.

– Я ей написал все как есть. Вы ведь знаете, сколько я получаю в действительности...

– Знаю. Она сказала, все останется так, как было...

Он присел, закурил. Посмотрел в окно долгим тихим взглядом. В его светлых глазах отражались зелень яблонь и оконные переплеты.

– Так мир устроен... Сколько невидимых границ придумали люди. Разумно ли это? – обернулся он ко мне.

– А вы как считаете?

– Суета губит наши лучшие силы. И возможности.

– И отношения, – добавил я.

Отец Леонтий понял, что я говорю о нем с Соней, об их маленьком сыне.

В саду, за окнами, слышались голоса. Это мои дружинники. Ребята, как обычно, потянулись к школе задолго до занятий. Вначале всегда так бывает.

Отец Леонтий вежливо попрощался. Он ушел задумчивый. И мне стало жаль его...

10

Я был рад этому утру, лазоревым сполохам, охватившим край небосвода, сырой прохладе, бьющей по ногам, тугим камышам, упруго сопротивляющимся при ходьбе. Был рад Славке Крайневу, идущему впереди с удочками и ведерком. В своей куртке неопределенного цвета и нечесанными после сна волосами он был похож на болотного жителя.

Речка текла совсем рядом. Но ее не было видно из-за

густой стены камышей. Она угадывалась по холодным струям воздуха, ощупывающим лицо, руки, шею.

Еще все спало. Где-то далеко-далеко остались Лариса, следователь райпрокуратуры, отец Леонтий.

Славка шел, поглощенный мыслями о предстоящей рыбалке.

Его нетерпение невольно передалось и мне. Я почувствовал неведомую мне раньше связь с этими камышами, недвижным воздухом, илом, устилающим дно речки, редкими перьями розовых облаков на востоке неба.

Когда я сказал Славке, что хотел бы с ним порыбачить, так как люблю это занятие (на самом деле, хотя я и родился, и вырос на Волге, но на рыбалку ходил всего один раз, кажется, в четвертом классе), он был и доволен и нет.

Доволен потому, что был большим знатоком этого тонкого дела, мог показать мне свое мастерство и утвердиться как стоящий парень. Ибо талант может покрыть иные слабости и ошибки.

Не доволен потому, что рыбак он настоящий, как говорится, фанатик, и поэтому отдавался своему увлечению с самым что ни на есть вдохновением. А вдохновение не любит свидетелей.

– На сазана ходили? – спросил он.

– Нет. У нас, в Волге, под Калошном, водятся только щуки, плотва и караси.

На самом деле, черт его знает, что водилось у нас в Волге, под Калинином, и едва ли я мог отличить плотву от карася.

Беглый внук бабы Веры усмехнулся:

– Сазан умнее иного человека... Сазан – рыба. Остальное – так, игрушки.

И он долго рассказывал мне, как умеет этот «бугай» обрезать плавником самую прочную леску, что и не заметишь, как ухитрится стянуть насадку с крючка, и скольких удочек он, Славка, лишился, пока не овладел наукой уже-ния сазана. И как... короче, это хитрющее и коварнейшее существо насмеялось над незадачливыми рыболовами как хотело, недаром его прозвали «водяной лисицей».

Словно для капризного гурмана готовил Славка подкормку и наживку своим будущим противоборцам. По его словам, в разных местах водились совершенно не схожие по вкусам едоки: одни предпочитали галушки, другие – молодую кукурузу, третьи – мелкую полусваренную картошку, четвертые – пшенную кашу, умятую с подсолнечным маслом в крутое тесто, пятые – кусочки свежей макухи, шестые – червей подлистника. Находились и такие, которые были согласны только на мясо рака...

Космонавты, наверное, так не проверяют свое снаряжение, как проверял свое Славка.

Здесь было, как он сказал, важно все: и крючки (№ 14), особо прочные, с коротким стержнем, но не грубые, не толстые, с остро отточенным жалом; крепкое, упругое удилище, удобное при вываживании. И даже привязь крючка должна быть особая, только на сазана.

У Славки было несколько мест лова. Подготавливал он их заранее и любовно. Выкосил камыши на берегу, убрал со дна коряги и зацепы и, самое главное, удил попеременно то там, то здесь.

Для меня это было непостижимой наукой.

– Пришли, – тихо сказал Славка.

Мы остановились на выкошенной среди зарослей

площадке. Возле самого берега была оставлена полоска камышей, надежно маскирующая рыболова.

Мы не разговаривали. Славка размотал удочку, насадил наживку, воткнул удилище в землю, прочно закрепив его в рогатке, торчащей из глины.

Мне он дал вторую удочку. Я, как мне показалось, сделал то же, что и он. Славка придирчиво осмотрел мою работу, кое-что подправил и уселся, подстелив под себя куртку.

Небо посветлело, но было все так же прохладно. Тихо плескалась вода, тенькая о темно-зеленые стволы камыша. Продолговатые коричневые бархатные колбаски едва заметно покачивались на длинных сочных стеблях. Время повисло в прозрачном воздухе...

Славка смотрел на спокойную гладь речки и казался невозмутимым, даже равнодушным.

Но я знал, что его нервы как бы слились с удочкой, леской и крючком, на котором насажена янтарная бусинка кукурузного зерна...

Первым клюнул чикомас. Окунек сорвался и исчез в зеленой воде. Парнишка немало, видимо, смутившись, снова застыл возле удочки. И мне показалось даже, что задремал.

Но вдруг Славка снова быстро вскочил. От меня ускользнуло то, из-за чего он вскочил.

Он схватил удилище и стал проделывать им непонятные движения. Заводил леску в одну, в другую сторону, отпускал, натягивал, до тех пор пока в воздухе не проделало дугу упругое извивающееся тело и не затрепетало у него в руке.

Паренек уверенно выдернул крючок из губы двухкилограммового сазана, судорожно обхватившего хвостом его запястье, и, насадив рыбу на кукан, бросил ее за спину, в камыши.

Сазан шуршал в листьях, открывая рот и сворачиваясь почти в круг. На сей раз довольная улыбка коснулась Славкиных губ.

И снова желтый шарик кукурузы утонул в воде.

Больше я не думал ни о чем, впился глазами в поплавок, забывая, наверное, даже моргать. Во мне проснулся азарт рыболова.

Славка вытащил второго, третьего... А мой поплавок немым укором недвижно торчал над водой, легко и пусто покачиваясь вместе с поверхностью реки.

И вот произошло *это* и у меня.

Я вскочил, вырвал удилище и резко дернул вверх. Что-то тяжелое, как камень, согнуло бамбуковый прут.

Славка, словно глухонемой, что-то показывал руками. И в его глазах было столько ужаса, будто я упускаю вынырнувшего в последний раз утопающего.

Что мне подсказало, не знаю. Я почувствовал, что бамбуковая дуга на пределе и вот-вот с треском лопнет на пучки волокон. Я отпустил немного леску, подчиняясь тому там, в воде, подчиняясь, чтобы он подумал, что выиграл и сейчас уйдет куда хочет.

– Ведите по течению и подсекайте, – не выдержав, прошептал Славка.

Я забыл, куда течение. Я не знаю, что такое подсекать, убей меня бог!

Но оно, тяжелое, мокрое, живое, все-таки пролетело над

головой, описало вокруг меня круг и шлепнулось в камыши у самой воды.

Я плюхнулся на землю животом и, выпустив удилище, хватал сазана обеими руками.

Он, словно из гуттаперчи, прыгал вокруг моих пальцев, пока я, не подавшись всем телом вперед так, что моя голова повисла над рекой, не накрыл его грудью.

Славка присел на корточки.

– Где?

– Там, – показал я под себя, боясь пошевелиться.

И тут он захохотал. По-мальчишески, безудержно, открыто, во весь голос.

Я расслабил мышцы, и на миг мое лицо окунулось в воду.

Потом я тоже засмеялся. И каждый раз при попытке встать погружался подбородком в реку.

Мой сазан был что надо! Килограмма на три!

Мы сидели на своей плешине в камышах. Взошло солнце, теплое, ласковое, большое. На кукане тяжело вздыхало полдюжины лоснящихся рыбин. И пели первые жаворонки, свечой поднимаясь в небо.

– Эх, кабы не работа! – азартно воскликнул Славка. – Пошли бы еще на другое место. Здесь теперь не клюнет.

– И так уже килограммов десять. Девать куда?

– Баба Вера найдет куда. Навялит.

Мокрый мешок с рыбой, пахнувшей холодной рекой, мы тащили по очереди. Я, конечно, хотел сам. Но Славка не желал уступать. Уже недалеко от Крученого мы сели передохнуть.

Лицо парнишки сияло. Он был готов на дальнейшие

подвиги, потому что мы были теперь на равной ноге, приобщившись к реке, к этому утру.

Я, как бы невзначай, спросил:

– В город тянет?

Славка улыбнулся: неужели не видишь сам? Разве это в городе есть? Разве в городе ты такой, какой был сегодня там, на выкошенном пятачке? И разве в городе ты не такой же чуждый природе, как его серый, маслянистый асфальт?

Но ответил он более интересно, чем я ожидал:

– Теряюсь я там. Чего-то хочется, а все не то. Наверное, потому и бегал.

– А вот ученые подсчитали, что к концу нашего столетия большинство людей будет жить в городах.

Славка лукаво посмотрел на меня:

– Но не все же?

Я вдруг подумал: а ведь действительно не все. И вообще, правы ли ученые? Может быть, человечество возьмет и разбежится из городов. Надоест ему жить среди бетонных коробок, пусть даже нарядно прибранных стеклом и сталью, надоест нюхать гарь и бензин. Ведь какая ширь вокруг! Посели каждого на четверть гектара, и еще останется ого сколько!

Я сам всегда немел от восторга, заходя в лес, и словно сбрасывал с себя ненужный хлам городской суеты.

Или здесь, в окружении степи... Тоже какая радость и тишь!

Ведь в конце концов роботы-автоматы, наверное, заменят людей у станков. Так пусть им и остается город. Этакий огромный механизм, работающий сам по себе, производящий по указке и заданию человека нужные вещи

и всякие там машины. Зачем жить среди них, при; них, когда они будут доведены до совершенства?

А управлять ими можно и на расстоянии. Если сейчас с Земли управляют луноходом, а он на другой планете...

Славка, как бы угадывая мои мысли, задумчиво сказал:

— Как только у городских свободное время и есть на чем ехать, бегут за город. В субботу, в воскресенье. А уж в отпуск — в обязательном порядке. Может, когда-нибудь сделают так: жить за городом, а в него ездить на один-два дня работать. Железные дороги вон строят и строят...

Дороги... Дороги куда-то ведут. Что-то обещают. Вот и ему обещали.

Я посмотрел на него. Интересно, успокоился ли? Может быть, опять тянет вдаль? Неизвестную, манящую...

Крайнев глядел в степь. И по нему было видно, что ему не нужно никакой дали. Она была с ним. Здесь, в степи, он был волен идти куда ему угодно. Поэтому ему теперь не нужны были те километры, которые поманили его из города.

Гарцевали, кружили по зеленому полю всадники. Я вспомнил Есенина: «Эх вы, сани! А кони, а кони!» Саней, конечно, не было. Но зрелище лошадей, лоснящихся на солнце, действительно завораживало.

Блестящие их тела вытягивались над препятствиями и пролетали над ними, словно невесомые. У меня перехватывало дыхание, когда кто-нибудь из них задевал за какое-нибудь деревянное сооружение и под всадником рушились на землю жерди. Но Нассонова, который был здесь,

на колхозном ипподроме, в своей неизменной рубашке с засученными рукавами, в кепке, с темным ободком пота на затылке, это, казалось, не пугало.

Я удивлялся председателю. Мне думалось, у него не оставалось времени даже для сна. Вечно он куда-то спешил: то вызывали на совещания, активы, конференции, то он срочно выезжал в поле, где неизменно что-либо случилось — ломался комбайн, останавливался трактор, заедало конвейер у силосной башни. И при всем этом он находил час-другой, чтобы заглянуть на конеферму. Вот что значит хобби! Выкрадывать время у сна, отдыха, дел...

Геннадий Петрович сосредоточенно глядел на своих питомцев, что-то решая в голове.

С ним был Арефа, осунувшийся, загоревший.

Они были чем-то недовольны. И в то же время довольны той суетой, которая предшествует важным событиям.

Очень скоро в районе ожидались скачки. Нассонов вытащил сюда даже парторга, который мучился на солнцепеке, переживая сухую, нещадную жару. Он тосковал в безделье. И азарт, охвативший председателя, его не трогал.

Сюда я заехал просто повидать Ларису, прослышав, что она здесь.

Два скакуна подъехали к нам одновременно: библиотekarша на Маркизе и Чава на пегом коне.

Я приветливо улыбнулся Ларисе из-за спин. Чтобы никто не заметил. Она устало ответила. Ей было не до меня. Чава вообще был сумрачный.

Нассонов что-то им выговаривал. Оба как-то безучастно слушали, придерживая разгоряченных, нетерпеливо вздрагивающих коней.

– Я тебе говорю, Сергей! – повысил голос Геннадий Петрович.

Чава странно посмотрел на него и махнул рукой:

– А что я могу сделать?

– Вот те на! – вмешался Арефа. – Ты что, не можешь перелететь плетень, чтобы не сесть на него?

Сергей зло сплюнул.

– Нэ, ашунес, ты что, с цепи сорвался? – удивился Денисов-старший.

– А, ладно! – Чава сделал резкий жест рукой и прищипил коня. – Могу еще раз.

Он развернулся и помчался в сторону поля.

Я не знаю, о чем шел разговор. Мое сознание работало в другом направлении. И оно подсказывало, что между Чавой и Ларисой происходит неладное.

– Ты отдохни, – сказал Нассонов Ларисе.

Она слабо, натянуто улыбнулась. И, тронув Маркиза, шагом направилась к конюшне.

В моей душе вспыхнула маленькая, как искра, надежда. Может быть, у них с Сергеем нелады? Действительно, уж больно разные они люди.

Она как-никак завбиблиотекой. Окончила культпросветучилище. У Сергея – едва ли семилетка за плечами. Что у них может быть общего?

Но мне вспомнился рассказ Борьки Михайлова (у него всегда были про запас различные истории, особенно об известных людях) о том, как один академик, и притом известный, женился на своем шофере – молодой и довольно интересной женщине. Но академик есть академик. Наверное, старый.

Лариса удалялась на своем золотисто-розовом скакуне, ссутуленная, жалкая, словно на узкие девичьи плечи легла непомерная тяжесть.

– Ты уж не кричи на своего, – пожурил Арефу председатель. – Устал, видать, парень.

– Устал! – отмахнулся Денисов. – Дурью мается. Какой – не знаю.

– Мне от него много не надо, – продолжал Нассонов. – Пусть только выступит. Для массовости. Вот за Маркиза я уверен. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, в районе ахнут, разрази меня гром! Я ведь тоже не сидел сложа руки. Чижова из колхоза «ХХ партсъезд», говорят, выступать не будет. Конь захромал. Мокрицы.

– На чужую беду надеяться – свою найти, – встрял молчавший до сих пор Павел Кузьмич. – Вот штука.

– Типун тебе на язык, – сплюнул председатель. – Ты мне Маркиза не сглазь! Этому коню не то что в районе, в области не найти под стать. – Он вдруг рассмеялся и ткнул Арефу в бок. – Тут у меня без тебя потеха была...

– Потеха, – усмехнулся парторг. – Еще немного – и обвели бы вокруг пальца, как школяра.

– Ничуть! Ты, Кузьмич, ври, да не завирайся. Я ведь сразу заметил неладное.

– Держи карман шире! Тебе целых три дня голову морочили! – не унимался Павел Кузьмич.

– Это еще надо посмотреть, кто кому морочил. Уж больно мне их бычок приглянулся. Походить за ним как следует – красавец будет. Наш главный зоотехник с ума сошел. Надоело Ледешихе в ножки кланяться. И где они такое сокровище раздобыли, ума не приложу? Я, предсе-

датель колхоза, не могу получить хорошего производителя! А у них – на тебе, пожалуйста!

– Это ты о моих соплеменниках? – вздохнул Арефа.

– О них. – Председатель снова рассмеялся. – погоди ужо, как-нибудь расскажу.

– Ну, ну, расскажи, – смеялся парторг и, увидев, что я сажусь на мотоцикл, спросил: – Не в Бахмачеевскую?

– Туда.

– Вот и подбросишь меня, если твоя машина выдержит.

– Выдержит, – улыбнулся я.

Парторг был мал ростом и худ, над чем непрестанно сам подтрунивал. И мы уехали с конефермы, оставив председателя и Арефу наслаждаться своими скакунами.

В Бахмачеевской у меня было дело. Давно подмывало по-настоящему заняться Сычовым. Но все не доходили руки. Он сам подтолкнул меня.

Но лучше все по порядку.

Вызов из прокуратуры грянул совершенно неожиданно, хотя я и ждал его постоянно.

Разумеется, вскочил на мотоцикл и – в Краснопартизанск. Примчался раньше положенного времени, и следовательно попросил немного обождать.

Раза два он выходил из своего кабинета, заходил в приемную прокурора и снова возвращался к себе, не обращая на меня никакого внимания. Я пытался что-то прочесть на его лице, но оно было бесстрастным, как раньше при допросах.

Ожидание становилось все более тягостным. Я был готов на все, лишь бы поскорее узнать, чем закончилось дело Герасимова.

Вспомнились первые дни в Бахмачеевской. Состояние необычности и приподнятости.

Вольная, волнующая своим простором степь. Люди простые, бесхитростные... Откровенно говоря, я мечтал служить и служить. Честно, весь отдаваясь долгу. Впереди манила служебная лестница, по которой я иду все выше и выше... По заслугам, конечно. И лет в сорок, ну пусть в сорок пять – погоны комиссара. Заслуженно, разумеется. У нас, в Калининe, я слышал, комиссар Соловьев Иван Михайлович начинал с постового... И эти мечты свои я не считал стыдными. Как любил говаривать замначальника училища: «Плох тот постовой, кто не мечтает стать комиссаром»...

Я горько усмехнулся про себя. Комиссаром... Вот погонят сейчас из милиции. А то еще хуже – под суд.

От этих тягостных раздумий засосало под ложечкой. Чтобы как-то отвлечься, я стал прохаживаться по пустому коридору, подсчитывая шаги.

И когда следователь наконец пригласил к себе, я, признаться, вошел в кабинет в состоянии полного упадка духа.

– Что я могу сказать, Кичатов? – посмотрел на меня следователь сквозь очки. Неестественно большие глаза, увеличенные сильными линзами, казалось, глядели осуждающе и недобро. У меня похолодело внутри. – Дело Дмитрия Герасимова прекращено.

Я сразу и не понял, хорошо это или плохо. И растерянно спросил:

– Ну, а я как?

Следователь удивился:

– Никак.

– Что мне делать?

– Работайте, как прежде.

Мне хотелось расцеловать его. Я забыл о том, что проторчал в прокуратуре черт знает сколько времени, чтобы услышать одну-единственную фразу, которая, как гору с плеч, сняла с меня переживания и волнения последних нескольких недель. И этот сухой, нетактичный человек показался мне в ту минуту самым приветливым, самым симпатичным из всех людей...

Не помня себя от радости, я выскочил из прокуратуры и первым делом бросился в РОВД. Мне не терпелось поделиться новостью со своими и, прежде всего, конечно, с майором Мягкеньким.

Но он уже все знал. И огорошил – на меня поступила жалоба, анонимка. Хоть и говорят, что анонимки проверять не надо, но на всякий случай все же почему-то проверяют...

По анонимке выходило, во-первых, что я веду себя несолидно, дискредитирую мундир и звание. Гоняю в одних трусах с колхозными пацанами» (это о моем участии в соревновании по футболу), «распеваю по вечерам под гитару полублатные песни» (выступление в клубе, песня Есенина), «учу ребят драться» (кружок самбо).

Все это пахло чушью и меня не трогало. О чем я и сказал майору. Задело то, что анонимщик просил «серьезно и вдумчиво разобраться и пересмотреть дело Дмитрия Герасимова».

Да, в станице еще долго не уймутся... В общем, испортили мне настроение.

– Кто так на тебя зол? – спросил Мягкенький.

– Не знаю, – ответил я, хотя знал отлично: Сычов. И Ксения Филипповна говорила, что он болтает много лишнего. Я сам обратил внимание, что сквозь его противную ухмылку и вежливые поклоны сквозят неприязнь и затаенная злоба. Наверное, мстил за свою жену.

Я с ней недавно имел неприятную беседу. Неприятную для нее и для меня. Марья Сычова работала на птицеферме. И многие птичницы почти открыто говорили, что Сычиха любит сворачивать головы колхозным курам и поджаривать их для своего мужика.

Жена моего предшественника оскалилась мне в лицо:

– Нечего нахалку шить. Нема дураков. Ты лучше свою душу от греха очисти, а потом с честными тружениками гутарь.

Я аж задохнулся от ее нахальства и дерзости.

Перед начальником РОВДа выкладываться я не стал, так как самому было противно копаться в этой дряни и не хотелось втрулять начальство. Сычов составил донос – не подкопаешься. Факты – их можно повернуть так и этак.

И вот я направился к Сычову. Но, прежде чем зайти к нему, я, не знаю зачем, осмотрел со всех сторон его фанерную «забегаловку», как теперь именовали у нас тир. Задняя сторона тира упиралась в склад магазина. Он был сработан добротно: полуметровый дувал, сложенный из гипсовых вязких блоков.

Возле дверей, как всегда, сидел на корточках мой предшественник, окруженный дружками. По случаю жары они пили из горлышка купленное в магазине пиво с вялым сазаном. Пиво, наверное, было теплое. Из бутылок торчали белые шапочки пены. Вокруг валялась рыбья чешуя и кости.

– Пострелять захотелось? – ухмыльнулся Сычов.

– Да. Боюсь, без практики разучусь.

Он двинулся в темную прохладу своего заведения. Туда же потянулись остальные, чувствуя, наверное, что пришел я неспроста. Как-никак, а развлечение.

В тире горела тусклая лампочка, на стойке лежало несколько духовых ружей с потрескавшейся краской на прикладах. Фанера за мишенью рябилась пробоинами.

Тут был и зайчик с красным кружком в лапке, и медведь, и мельница. За пять точных выстрелов по зверушкам меткий стрелок награждался призом – алебастровой копилкой в виде кошечки.

Гвоздем программы была русалка. Не знаю, чье это было изобретение, сдается мне – самого Сычова. Расположенная выше всех, она держала в руке свое сердце цвета говяжьей печени.

За пять попаданий подряд в сердце речной девы счастливцу выдавалась бутылка шампанского...

Я перепробовал все ружья. Целил во все мишени. Маленькие свинцовые снаряды с сухим стуком уходили в фанеру. Ни одна из зверушек не шевельнулась.

Сычовские собутыльники хихикали. Сам он стоял сбоку по ту сторону стойки, равнодушно подавая мне пульки. Я злился все больше и больше.

И чтобы меня окончательно доконать, Сычов пролез под стойкой, взял из моих рук ружье, зарядил и с первого выстрела заставил вертеться мельницу.

Ликованию собравшихся не было границ.

Я понимал, в чем дело. Мушки были сбиты, это точно. Чтобы пристреляться, надо было время. А я был злой...

Мой предшественник не успокоился. Он попробовал по одному разу все ружья. И непременно поражал какую-нибудь мишень. Смотри, мол, здесь никакого обмана нет, стрелять ты, братец, не умеешь, вот в чем дело.

Какой-то бес подтолкнул меня.

– Может быть, попробовать из своего?.. – сказал я, как будто обращаясь ко всем и потянувшись к кобуре. Надо было выиграть во что бы то ни стало...

В тире наступила тишина.

– Смотри... – прохрипел Сычов. Его глаза сузились. Я выстрелил, почти не целясь. Вдребезги разлетелось русалочье сердце...

На прощание я сказал Сычову:

– Шампанское можешь взять себе.

И вышел. Уже пройдя шагов десять, мне стало стыдно за свои последние слова. Надо было промолчать.

С этого дня Сычов перестал со мной здороваться.

После очередной анонимки (уверен, что опять дело рук Сычова) майор устроил мне головомойку и вклеил строгое предупреждение. Правда, устное! Сказать по чести, я еще удивился мягкости моего начальства. Что наказание по сравнению с тем, какой урок я преподавал Сычову? Я даже придумал каламбур: «Майор Мягкенький действительно бывает мягенький»...

«Здравствуй, Димчик, родной!»

Из пионерлагеря я сбежала. Ведь смешно мне ходить на прогулки в лес с малышкой, купаться и загорать по

команде. Да еще постоянно следят, чтобы далеко не ушла. А потом, надо зачем-то собирать цветочки для гербария и ловить сачком бабочек. Мама сказала, что я эгоистка, потому что думаю только о себе. Она считает, что я срываю им весь отпуск. Мама достала путевки в Палангу, это на Балтийском море. Папа сказал, что я могу пожить без них у тети Мары. Они все-таки едут в Палангу. А из лагеря в Калинин я ехала не одна, с одним мальчиком (ты его не знаешь). Так что мама зря за меня беспокоилась. Он тоже сбежал из пионерлагеря. В Калинин вот уже неделю идет дождь. Я читаю книжки. Это лучше, чем делать дурацкие гербарии. По тебе очень, очень, очень соскучилась. Ведь мы не виделись целый год! Крепко, крепко тебя целую, сильно обнимаю. Аленка. Ты не смейся, я хочу спросить у тебя одну вещь. Если тебя приглашают в кино, удобно, если ты сама платишь за билет? Я хотела заплатить, но он обиделся. О тебе спрашивала Таня из четвертого подъезда».

...Алешино письмо меня поразило. Бог ты мой! Моя сестренка влюбилась. Я попытался представить себе, как она идет с мальчиком в кино. Например, в «Звезду», что на набережной Степана Разина. Пытался и не мог. Перед глазами стояла розовощекая девчонка с толстой косой до поясницы. Она часто простужалась, и у нее распухал нос. Как картошка.

Алешка влюбилась. В Калинин дождь. Какой может быть дождь в сухое, жаркое лето, с выгорающей на солнце полянью, с жестким, скрипучим суховеем?..

Да, это там, в Калинин. С Танькой из четвертого

подъезда мы целовались летом в беседке, во дворе. И тогда тоже шел дождь. У нее на лице застыли крупные капли. Она была не то в синей, не то в стальной курточке из болоньи. Тогда я перешел в восьмой класс.

Алешке – четырнадцать... В Калининне дождь. Неужели они целовались?..

...Свидетелем этой картины я оказался случайно. Нассонов ходил по своему кабинету, размахивал правой рукой, словно рубил на полном скаку шашкой.

– Мне сцены из спектакля показывать нечего! Если бы в колхозе нашлась хоть одна душа, которую слушался бы Маркиз, я послал бы тебя к чертовой матери, разрази меня гром! Потому что не привык зависеть от бабских капризов.

В чуть приоткрытую дверь виднелся профиль Ларисы. Она теребила в руках платочек, отирая им щеки.

– То из кожи лезла – дай ей коня! Дали самого лучшего! Хорошо, хорошо, ты его приструнила и объездила. Спору нет, заслуга твоя. Чуть не на коленях просила допустить к скачкам. Допустили. Заявили тебя в заезде. Растрезвонили на весь район. И на тебе – не хочешь выступать! Какая муха тебя укусила?

– Не могу... – Девушка еще ниже склонила голову. – Кто-то ведь может вместо меня...

– Маркиз никого не подпускает к себе и на сто метров! А! Нет у меня времени и желания слезы и сопли вытирать... Не поедешь – черт с тобой! Все! Иди!

Лариса вышла из кабинета и, не глядя на меня и секретаршу, быстро прошла через приемную.

А вечером они сидели с Чавой на пустой скамейке возле

остановки автобуса. Мне показалось, что беседа их была печальна. И как будто Лариса плакала...

Я не подсматривал специально. Просто, как всегда делаю вечером, прошел по засыпающей станции.

У них решалось что-то важное. Они никого не замечали. Не обратили даже внимания на последний рейсовый автобус, унесший в своем уютном нутре несколько пассажиров в райцентр.

Что же, так и должно было случиться. Разные, разные они люди.

Мне стало жаль Ларису. Теплая жалость к ней баюкала душу. В голове вставали картины, одна желаннее другой. Мы с ней на тропинке среди золотых подсолнухов, в которых человека не видно за три шага. Как хорошо стоять тихо и смотреть друг на друга или на светлое летнее небо...

И никогда, никогда не пришлось бы ей сидеть на этой сиротливой скамейке...

Расстались они, кажется, грустно. Она пошла одна, медленно растворяясь в сумраке чуть освещенной улицы. Сергей еще посидел, потом отвязал коня, дремавшего в тени навеса автобусной остановки, и направился вслед за девушкой. Но не остановился, а проскакал мимо.

Мне очень хотелось догнать Ларису, что-то ей сказать. Но что? Что я мог сказать ей? Происшедшего между ними я не знал... А знать хотелось очень, до злобы на самого себя.

И весь следующий день, ту памятную субботу, я искал повод забежать в библиотеку.

Слава богу, повод нашелся. Как спасителя, послал мне бог Колю Катаева.

Недалеко от хутора Крученого, на небольшом бугре,

находилась могила с грубо отлитым цементным обелиском. Под ним покоились останки советских воинов, погибших в последнюю войну. Коля, Лариса и другие комсомольцы колхоза решили организовать поиск героев, узнать их имена.

Я предложил вовлечь в это мероприятие моего подопечного Славу Крайнова. Вот об этом и надо было поговорить с Ларисой.

Коля, конечно, ничего не знал. Откуда ему было знать, что произошло вчера на автобусной остановке?

– Завтра скачешь? – спросил он у Ларисы.

Она резко ответила:

– Ну что пристали? Почему это всех так интересует?

– Ты не кипятишься, – успокоил ее Коля. – А интересует потому, что честь колхоза...

– Как будто на мне свет клином сошелся. Честь колхоза! А может, я чувствую, что завалюсь? – Лариса осеклась. Наверное, поняла, что так нельзя было говорить Катаеву, человеку мягкому и доброму.

Но Коля не обиделся.

– Держись, хохол, – казаком будешь, держись, казак, – атаманом будешь, – со смехом сказал он. – А мы к тебе, ежели по-честному, зашли поговорить о другом.

– Некогда, ребята, спешу... – сказала Лариса.

– Тогда извини, зайдем в другой раз. – Коля театрально склонил голову.

– Честное слово! На конеферму надо.

– Все-таки скачешь? – подмигнул Катаев.

– Придется, – вздохнула Лариса.

– Может, подвезти? – неуверенно предложил я. – Мне как раз в ту сторону...

– Хорошо, – согласилась она, тряхнув головой.

И я вдруг отчетливо понял, что она бросает кому-то вызов. Меня это устраивало. Меня все устраивало, только бы побыть с ней вместе...

Я выбрал самый далекий путь. И ехал так медленно, что, наверное, отправься она к своему Маркизу пешком, добралась бы раньше.

По обеим сторонам дороги колосилась пшеница. Ее волны шелестели от горячего ветра.

– Дима, вы завтра будете в районе? – спросила она.

– Не знаю, – ответил я равнодушно, а сердце радостно стучало в груди.

– А я думала, вы увлекаетесь лошадьми, – разочарованно произнесла она.

– Конечно, увлекаюсь, – быстро согласился я, испугавшись переборщить в своей игре. – Знаете, я ведь всегда на службе... Какое-нибудь происшествие...

– Да, вам нелегко, – подтвердила она.

Я был благодарен ей за то, что она умолчала о Герасимове и все же сказала об этой истории. Тактично и сочувственно...

– Люди не всегда понимают.

– Кому надо, понимают, – сказала Лариса. – Девчата за вас горой...

Для меня это было ново. Видя мое смущение, Лариса сказала:

– Вас это удивляет?

– Не думал об этом.

Она испытующе посмотрела на меня:

– Все девчонки мне уши прожужжали про вас...

Мне стало тоскливо. Потому что она говорила об этом с каким-то равнодушием.

– Интересно, кто? – Я тоже решил играть в равнодушие.

– Многие...

И чтобы не говорить свое, я прочел на память Есенина:

Не жалею, не зову, не плачу.

Все пройдет, как с белых яблонь дым...

– Я тоже люблю Есенина, – сказала Лариса.

Мы выскочили на бугор. Поле осталось позади. Уже видны были конюшни.

– Я скоро буду возвращаться. Заехать? – спросил я.

– Спасибо, Дима. Обратно я верхом. Возьму Маркиза на ночь к себе. Чтобы утром не тащиться за десять километров. И своим ходом – в район.

Она вылезла из коляски мотоцикла.

– Дима, приезжайте завтра на скачки, а? Поболее за меня.

– Постараюсь, – сказал я и поехал дальше.

Я долго не оборачивался. Но все же не удержался.

Лариса смотрела мне вслед, затенив ладонью глаза от солнца.

Я сделал крюк по степи и вернулся другой дорогой в станицу.

...Вечером она проехала по Бахмачеевской на своем красавце. Бабки провожали взглядами ее стройную фигуру, обтянутую жокейской формой, и качали вслед головами. Не знаю, одобрительно ли. Мужчины обсуждали коня. Маркиз был чудо! Вечером, в свете зари, он словно

светился розовым и шел красиво и гордо, переступая тонкими ногами, словно знал себе цену. Ничего не скажешь – Маркиз!

Чава зачем-то тоже был на центральной усадьбе. Расфуфыренный, в выходной рубашке и сапогах. Его ремень был отделан серебряными украшениями. Чава был с цыганом, одним из тех трех, которые имели какое-то дело к Насонову, но дело не получилось, над чем подтрунивал парторг Павел Кузьмич.

А я все раздумывал и раздумывал над словами Ларисы и ее поведением там, среди желтого моря хлебов, и совершенно не понимал, играла она со мной или нет.

Не хочет ли заставить и меня, как Маркиза, плясать под свою дудку?

Нет, что-то было в ней искреннее. Неуверенность. И непонятная для меня раздвоенность.

Что ж, поживем – увидим.

13

В ту ночь над Бахмачеевской дул астраханец – жаркий суховей, не остывший даже под утро. Покачивались сквозь духоту звезды. И воскресенье началось с утомительного марева.

Проснулся я поздно. Тяжелая голова с трудом решала проблему: ехать ли в район на скачки или закатиться на хутор и махнуть со Славкой на сазанов. Помнится, он говорил, что их можно брать и днем, если место подкормленное. У моего подопечного наверняка такое место припасено. В конце концов пускай мы ничего не поймем, зато

какая благодать погрузить разгоряченное тело в прохладу реки...

И повод показать Ларисе, что я к ней ничего не питаю. Говорят, это действует...

Я надел гражданские брюки и легкую рубашку с короткими рукавами, которые были приготовлены еще с вечера. В результате внутренней борьбы с самим собой я решил все-таки ехать в район. На самом деле я знал, что поеду именно туда. Речка была, так сказать, блажь, игра в поддавки.

Только я оделся, как хлопнула калитка, и в мою комнату стремительно вошел Нассонов. От него пахло бензином, горячим металлом автомобиля.

Он сел на стул и жестко, властно сказал:

– Собирайся поскорей! Случилась какая-то чертовщина.

Вот так, в светло-серых брюках и рубашке с короткими рукавами, я сел рядом с ним в «газик». И мы поехали. Я сразу увидел, что в Крученый.

– Накаркал-таки Кузьмич, накаркал! – Председатель зло ударил по баранке кулаком.

Из его рассказа, пересыпанного крепкими выражениями, я узнал, что в район приехали все наши наездники, кроме Ларисы. Сам Нассонов с Арефой ночевали нынче в Краснопартизанске. И как только увидел, что нет Маркиза и Ларисы, помчался в станицу. Бабка Настя, у которой жила Лариса, подслеповатая, тугая на ухо старушка, ничего толком сказать не могла. Ночью ей как будто мерещилось, что пес, такой же старый, как его хозяйка, «брехал, словно кто чужой приходил». А Ларисы не было. Не было и

Маркиза, которого она с вечера привязала на базу. Лишь только уздечка и седло Маркиза лежали в ее комнате на скамейке.

— А почему в Крученый? — удивился я. Нассонов промышляет нечто нечленораздельное. — Ведь Чава тоже должен скакать. Разве он не в районе?

— Нет. Не должен был. Его кобыла растянула ногу. Ах, Кузьмич, право слово, накликать несчастье...

— Но почему все-таки в Крученый?

Нассонов резко осадил машину у дома Арефы. Навстречу поспешно вышли встревоженная Зара и черноглазые внуки Денисова.

Из-под крыльца печально и испуганно глядел Ганс в своей цветастой безрукавке.

— Лариса приходила. Ушла. Куда — не знаю.

— Пешая? — спросил Нассонов. Вообще спрашивал только он. Я молчал.

— Да, да, — кивнула Зара. — Пешком.

— Значит, без коня?

— Без коня.

— А когда?

— Чуть светало.

— Где Сергей?

— Как где? Со стадом, наверное.

— Он дома ночевал сегодня?

— Нет. Не ночевал. Как уехал под вечер с Васькой в станицу, так и появился только утром.

Мы с Нассоновым переглянулись.

— А где был ночью? — спросил председатель.

— Сказывал, у Петриченко. Утром прискакал. Забежал в хату и снова умчался как угорелый...

– А Аверьянова Лариса когда приходила? – не выдержал я.

– Еще до того, как Сергей приезжал.

Нассонов мрачно уставился в землю. На его лбу застыли морщины. Он пытался связать все события, происшедшие утром.

– Так зачем же она приходила?

– Почему мне знать? Сергея спрашивала. Я сказала, как вам. Она и ушла.

Я заметил, все, что касалось Ларисы, вызывало у Денисовой раздражение...

Мы поехали к лесопосадкам. Оставив машину на опушке, вошли в ряды далеко просматривающихся дубков.

Коровы стояли, лежали в тени деревьев. На всякий случай я обошел Выстрела стороной. Он не обратил на нас никакого внимания. Наверное, потому, что на этот раз я был без мотоцикла.

Славка Крайнов лежал в траве, что-то громко насвистывая. Он так был увлечен этим занятием, что не заметил, как мы подошли.

Парнишка испугался, когда над ним выросли две фигуры.

– Сегодня я выгнал стадо сам. Тетя Зара сказала, что Сергей где-то заночевал. Потом пришла эта, как ее, Ларка. Чуть не плачет. Говорит, конь пропал какой-то. Царь или буржуй, что ли... Сергея спрашивала. Я ей говорю, что он вот-вот подъедет. Так и раньше бывало: если я вывожу стадо сам, он попозже приезжает. Ждать она не стала. Ушла...

– В Куличовку, наверное, – как бы про себя отметил председатель. – Там Петриченко живет...

– Ага, – кивнул Славка. – Зазря она пошла, потому что Сергей скоро подъехал. Я ему все рассказал. Он развернулся – и галопом. Крикнул что-то: не то «стереги», не то «подожди». А может быть, «скажи»... Вот и все.

– Когда это было? – спросил я.

– Не знаю точно. Часов в пять.

Поехали мы в Куличовку. Петриченки – это другая цыганская семья в нашем колхозе, про которых Арефа сказал, что они «киноартисты».

Петриченко, колхозный кузнец, сообщил, что ни Сергей, ни Васька (цыган, с которым Чава накануне прохладился в Бахмачеевской) у него ночью не были. Утром, часов в шесть, была Лариса. Ушла. Скорей всего, на автобус...

– Вот тебе и задачка, милиция! – сказал Нассонов, когда мы сели в машину. – Э-эх, поеду, обрадую Арефу...

– Зачем вы так сразу, Геннадий Петрович? – сказал я. – Дело пока неясно.

– Вот и выясняй. – Он с ожесточением надавил на стартер и рванул вперед так, что «газик» взвыл всеми шестеренками.

Нассонов ссадил меня в Бахмачеевской и покатил в район.

На землю светила тысяча солнц, плава в зыбкие струи горячий, осязаемый буквально всеми клетками тела воздух.

Станица словно вымерла, будто все живое спряталось глубоко под землю, задавленное душной атмосферой.

Было около двенадцати. Я зашел в свою комнату в

сельсовете, выпил залпом стакан воды из графина. Уже потом, когда выпил, почувствовал ее отвратительно-теплый вкус.

На улицу больно смотреть – белое, раскаленное пространство, белые горячие стены хат, серая тень под деревьями.

Дела еще, собственно, никакого не было заведено, но я все же решил кое-что проверить. А так как я не имел следственного чемодана, то сунул в карман подвернувшийся под руку лупу, рулетку, перочинный нож, мягкую кисточку, бумагу и направился к дому бабки Насти.

Старая, перекошенная калитка устало проскрипела ржавыми петлями.

На базу никого. Только из-под кустов у забора, словно выброшенное тряпье, выглядывала спина разомлевшего пса. Он покоился в тяжелой дреме и даже не шевельнулся.

Я заглянул в плотно закрытое окно. И отпрянул. Мы столкнулись глаза в глаза с Ларисой. С бьющимся сердцем я поднялся на крыльцо и постучал.

Она открыла, отстранилась, пропуская меня в хату. В комнате было прохладней, чем на дворе. Я огляделся. Седло и уздечка лежали на лавке.

– Вы тоже ездили на хутор? – спросила девушка, опускаясь на кровать. Единственный стул в комнате был пододвинут мне. Я молча кивнул. – Садись, Дима.

Бедная Лариса! Синие запятые залегли под глазами, возле уголков губ обозначились печальные морщинки.

– Что произошло? – спросил я, не зная, куда девать руки.

– Нассонов уехал в район?

– Да... Ты хоть объясни толком.

– Я ничего не знаю. Ничего.

– Где Маркиз?

– Что ты пристал: объясни да объясни! Я сама хочу, чтобы мне объяснили... – Она закрыла лицо ладонями и заплакала.

Скрипнули половицы, у двери сухо и надтреснуто прозвучал старческий кашель.

На пороге стояла старуха, сложив руки под грудью и беззвучно двигая провалившимся ртом. Она прошамкала:

– Куда отлучишься, кликни. Я запру дверь...

– Хорошо, баба Настя, хорошо... Вы идите, прилягте. – Лариса вытерла щеки и вздохнула.

– Пойми, дело нешуточное. Не старая тряпка – породистый жеребец, – снова заговорил я.

– Что ты от меня-то хочешь? – Она уже, кажется, взяла себя в руки.

– Я хочу тебе помочь;

– Ты и Нассонов сразу решили, что это Сергей.

Я протестующе поднял руки.

– Стой... Нассонов прилетел как угорелый. «Едем», – говорит. Ей-богу, я даже был не одетый. И зачем мы ездили в Крученый, не знаю. Не вижу логики.

– И все-таки перво-наперво – туда.

– А ты?

Лариса замолчала, прикусив губу.

– Давай не будем злиться друг на друга, а спокойно, по-человечески поговорим, – предложил я.

Она задумалась. Встряхнула головой.

– Ладно. Маркиз был привязан вон там. – Она подня-

лась, подошла к окну. Я встал сзади нее. – Видишь, еще сено осталось?

– Выйдем во двор.

– Зачем?

– Вот тоже... Что я отсюда увижу?

Мы вышли во двор.

Под старым, покосившимся навесом, в яслях из рас-трескавшихся досок лежало разворошенное сено. Я обошел ясли. Земля во многих местах хранила отпечатки лоша-диных подков. Они подходили к тыну, беспорядочно за-пятнав сухую глину. Ограда была мне по грудь.

– Он был крепко привязан?

– Нормально.

– Чем? Веревкой?

– Нет. На нем была обротка.

– Что это такое?

– Ну, уздечка, только без удил....

– Ясно.

Я вынул лупу. Это все-таки производит впечатление. Солидно. Тщательно оглядел следы возле ограды. Они ни о чем не говорили мне.

– А калитка?

– Ворота заперла. На щеколду.

Вся, ну буквально вся земля в следах копыт.

– Что он, мяч гонял по двору, что ли?

– Вечером я его пустила. Он ходил, все осматривался, обнюхивал. Как собачонка. А привязала его на ночь.

Я упорно продолжал разглядывать землю в лупу, хотя чувствовал, что это занятие становится глупым.

Пес, видимо, сильно линял. Весь двор был усыпан

клочками рыже-серой собачьей шерсти. Я глянул под кусты. Собака продолжала спать, выставив наружу хребет в свалявшейся грязной шерсти. Во мне шевельнулось безгливое чувство.

– Когда пропал Маркиз?

– Не знаю. В начале четвертого будто кто-то подтолкнул меня. Я вскочила, глянула в окно. Еще было темно. Луна как раз освещала навес. И обмерла – нет Маркиза.

– А дальше?

– Ну, выскочила... Нет, и все.

– Подожди. Может быть, тебя разбудил скрип ворот, чьи-то шаги?

– Нет, нет! Было совершенно тихо.

– А ворота?

– Заперты.

– И ты сразу пошла на хутор?

Она глянула мне в глаза почти с ненавистью. Но я решил не отступать. В конце концов сейчас я находился при исполнении служебных обязанностей. И личные чувства надо было отместить.

– Почему ты пошла прежде всего в Крученый? Ты ведь пошла пешком. Среди ночи...

– Я не хочу ни перед кем отчитываться! Мне надоело, надоело! Все лезут, шушукаются...

Вот тебе и тихая Лариса! Передо мной стояла вся напружинившаяся рысь.

– Меня не интересуют никакие разговоры и сплетни, – сказал я как можно спокойнее и холодней. – Сейчас я говорю только о фактах. И если кто бросил какие-то подозрения на Сергея, то это прежде всего ты сама...

Она открыла рот, намереваясь, видимо, высказать мне в лицо гневные слова. Задохнулась. Несколько раз судорожно глотнула воздух и тихо произнесла:

– Я думала, вернее, предположила, что он подшутил надо мной... – Она умоляюще посмотрела на меня. – Ну бывает ведь такое? Могла я так подумать?

– Могла, – согласился я. – Он что, заходил вечером?

Она мотнула головой и резко ответила:

– Он сюда никогда не заходил. Бабка Настя строго-настрого приказала никого сюда не водить.

Я отвел глаза в сторону. И пошел к калитке. Внимательно осмотрел дорожку, ведущую к хате. Лариса покорно следовала за мной.

– Бабка Настя говорила, что собака беспокоилась.

Лариса махнула рукой:

– Дурной он, старый. На лягушек лает. Они ночью прыгают по двору. В погреб лезут.

– Сергей тебе что-нибудь говорил... ну, насчет Маркиза?

Опять – сузившиеся глаза.

– Нет. Маркиз его не интересовал.

Я потоптался на месте.

– Ладно. Пойду. Ты будешь дома?

– А что?

– Так, на всякий случай.

– Не бойся, не сбегу... Или тоже хочешь запереть меня в кабинете, как Митьку?

Ее слова обожгли меня. Но я промолчал.

Как бывает в жизни – дело прекращено, бумаги сложены в архив, а для людей оно еще не закрыто. Оно живет в

разговорах, в памяти, нет-нет да и выскакивает наружу, чтобы ужалить в больное место.

Она повернулась и пошла в хату. Я пошел к калитке, все еще рыская глазами по земле. Надеялся что-нибудь узреть. Осторожно, чтобы не скрипнула, поднял конец калитки. И, уже выйдя со двора, почувствовал, что мой мозг что-то зафиксировал.

Я вернулся во двор. Глянул под ноги.

Около дорожки, ведущей к крыльцу, валялся окурок самокрутки. Такие сигарки из местного самосада по сложившейся традиции курят многие станичники.

Я осторожно поднял окурок с земли, аккуратно положил его в кулечек из чистой бумаги.

Уже у себя в кабинете, пряча эту улику в сейф, я подумывал о том, что осмотр надо было производить с понятиями. Это было упущением. Серьезным упущением.

Что же дальше? Искать Чаву? А кто такой Вася, что был с ним? Сплошные загадки.

Первым делом я вскочил на мотоцикл и поехал в сторону райцентра. Следовало бы предположить, что рано утром два всадника, один на соловом жеребце (на Маркизе, скорее всего, был Вася), другой на пегой кобыле проследовали по дороге. Кто мог быть в это время на шоссе? Я огляделся.

Асфальтовая лента, исходившая на солнце масляным потом, уползала в безбрежную степь. Глупости! Кому придет в голову сидеть в воскресенье утром на дороге?

Я остановился. С какой стати конокрад поедет в райцентр? В людное место. Тем более, Чаву знал, что в Краснопартизанске Нассонов, Арефа... Допустим, Василий

поехал один. Скорее всего, это так. Потому что Сергей появился в Крученом после того, как Маркиз уже исчез. Но он предупредил Василия, чтоб не ехал в город. Они, значит, договорились встретиться позже, где-нибудь подальше от Бахмачеевской, райцентра и вообще от колхоза.

Я поехал в противоположную сторону. Промчался через станицу и устремился дальше.

В лицо бил горячий ветер. Небо выжгли солнечные лучи. Только далеко, на северо-западе, как мираж, зарождались едва приметные кипы облаков, словно присыпанные снизу остывшим серым пеплом.

Я проехал километров двадцать, прежде чем понял совершеннейшую глупость своего поведения.

Какой дурак погонит Маркиза по дороге, когда вокруг вольная степь? Шуруй себе напрямки в любую сторону через серебристые волны, уходящие к горизонту на юг, на север, на запад и на восток...

Да, соображал я туго. Видимо, от жары.

Воротившись в Бахмачеевскую, я заехал домой к парторгу. Это надо было сделать в первую очередь, узнать, что свело с Нассоновым трех приезжих, среди которых находился и Вася.

Павел Кузьмич лежал на диване, в длинных, до колен, трусах, майке-сетке с рукавами, и читал газету.

Он сел на диване, скрестив свои сухопарые, в толстых жилах вен ноги, выслушал внимательно и прежде всего сходил в погреб за арьяном¹¹, хотя его жена, дородная румяная женщина, как мне казалось, без дела торчала в другой комнате за телевизором.

¹¹ Молочный квас (*местн.*).

Правильно говорила Клава Лохова, баловал свою супругу парторг.

– Ну, дела, – покачал головой Павел Кузьмич, ставя на стол две запотевшие макитры. – Вот так штука! Я всегда говорил Петровичу, что хитростью никогда не возьмешь... Боком выйдет. А он крутил с этими приезжими. Вот штука! А ты выпей арьяну. Парит сегодня. Грозе быть, это точно. Малаша, – крикнул он жене, – может, попьешь?

Его жена что-то пробурчала. Отказалась.

Я припал к кувшину. Арьян был на удивление холодный, ядреный. Прошибал до дрожи.

– Хорош, а?

– Отличный!

– Они ему предлагали за Маркиза полуторагодовалого бычка и кобылу.

– Как за Маркиза? – удивился я. – Нассонов на него ставку делает.

– Сперва председатель хотел отдать Маркиза в табун. Конь никому не поддавался – и все тут. Теперь у Петровича на всю жизнь памятка на плече. Здорово куснул. Если бы не Лариска, бегать бы сейчас Маркизу на вольных хлебах в степи.

– Подождите. Когда они сговаривались с Геннадием Петровичем: до того, как он решил выставить Маркиза на скачки, или после?

– То-то и оно, что все это в единое время решалось. Арефа стоял на том, что конь первостатейный. Тут Лариса подвернулась. Эти трое в другой раз приезжают. Ну, Петрович стал крутить. Сказал мне: не Маркиза, так другого коня можно предложить. Короче, хитрил. А бычок у них

породистый. Хороший бычок. Может быть, они и столковались бы. Не на Маркиза, предположим, на другого коня. Отмочили они, брат, такую штуку, что Нассонов их погнал. Привели бычка и кобылу. С виду – кобыла как кобыла. Резвая. Дюже резвая. На месте не стоит, танцует. Они-то, приезжие, думали – раз-два и обтяпали! Жаль, конечно, что Арефы в это время не было. Брата он уехал хоронить. Штука какая: брат у него младше, а помер. Вот что творится. Младшие теперь раньше уходят. Кабы знать, где упасть, так соломки бы припасть... Та-ак. Значит, Арефы не было, он-то всю эту лошадиную механику знает. Но Петрович, тут ему зачесть надо, смекнул, что дело неладное. Скачет кобыла, словно в цирке. Те трое, особенно этот Васька, торопят: на поезд, мол, надо успеть... Председатель говорит, подождем. Проходит время. Кобыла все тише, тише. Уж еле ходит. Ну они сами усекли, что номер лопнул. На отступную. Разводят руками: мол, сами не понимаем, отчего кобыла скисла. Может, травы объелась какой. – Павел Кузьмич медленно допил арьян, вытер белые усы пены и закончил: – Они, гляди, напоили лошадь водкой. Придумать же надо такую штуку! Хмель вышел – вот и скуксилась. О чем потом они говорили, не знаю. Погнал их Нассонов. Ты же знаешь его: решил – точка. Катись подобру-поздорову.

– Это он умеет, – подтвердил я.

– Крутой, ох крутой! Но приглянулся покупателям Маркиз. Со слезами уезжали. А что? Красивое существо Маркиз... Тот самый Василий больше всех горевал, что дело не выгорело. Вот штука какая. Отобедаешь с нами, Дмитрий Александрович? Я быстренько на стол соберу...

Я вежливо отказался.

Когда я выходил из дому, до меня донесся голос его жены:

– Паша, похлопотал бы ты насчет обеда. В животе со-сет.

Я еще раз подивился, как это он дал сесть себе на шею этой пышущей здоровьем женщине. На работе Павел Кузьмич был строг и требователен. А тут смотри-ка...

В свою хату я забежал тогда, когда по небу прокатили гремющую бочку с камнями.

Громада тяжелых туч, отливающих вороньим крылом, напирала и напирала, пока не покрыла землю свинцовыми сумерками.

Застыла степь, ожидая и томясь в предчувствии грозы.

Скорей, скорей бы хлынул сверкающий, бушующий поток, размыл, развеял гнетущую, невыносимую духоту.

Я распахнул окно. Там, в стороне хутора Крученого, небо было чистое, снопы солнечных лучей заливали степь. Грозовой фронт шел полосами. Лишь бы он не миновал станицу.

В соседнем дворе гремели ведрами, кастрюлями. Их спешно ставили под водостоки – запастись дождевой водой для мытья и стирки. В здешних колодцах и водопроводе вода отдавала железом, была жесткой и неприятной на вкус.

И вот гроза грянула. После того как пробежали, прошумели волны шквала, сорвав с деревьев слабые, мелкие плоды, словно производя ревизию в будущем урожае, выбраковав все недостойное и ничтожное.

А потом косые струи хлестали по земле, по листьям, то

затихая, то расходясь с новой силой. Я полной грудью вдыхал прохладную свежесть, смешанную с мельчайшей водяной пылью. Хотелось, как в детстве, выскочить во двор босиком и плясать, плясать, бегать по лужам и потокам, давя тысячи пузырей, вспыхивающих на поверхности воды, покрывшей землю.

Гроза прошла быстро. Но так свирепо и отчаянно, словно хотела смыть станицу с лица земли.

А утром солнце осветило помятые, перепутанные, но чисто вымытые кроны деревьев. От земли пошел пар. Жара немного отступила.

По шоссе грузовики везли помидоры, огурцы, арбузы, дыни. Одна из машин остановилась совсем рядом с сельсоветом. Шофер побежал в магазин, видимо, за куревом. И в мое открытое окно потянуло тонким, душным ароматом дынь. Первые дыни – колхозницы. Небольшие, круглые, со светло-желтой потрескавшейся кожицей...

С утра ко мне на минуту забежал Нассонов. Колючий, злой и мрачный. Он произнес, словно приказал:

– Найди мне Маркиза, живого или мертвого!

Я ничего не сказал ему. Если жеребца украли – одно дело, а если просто сбежал куда-нибудь, то пусть Нассонов и ищет сам. Никакого заявления я не получал и основания для возбуждения дела не имел.

А командовать мною я не позволю. Какое мне дело, что у председателя скверное настроение?

Я уже знал, что наши с треском провалились на вчерашних скачках. Над председателем смеялись, потому что вышло так, будто он натрепался понапрасну.

С кем мне было тяжело встречаться, так это с Арефой.

Но я был от этого избавлен. Денисов-старший поехал куда-то повидаться со своими соплеменниками, разведать о сыне. «По своим каналам», как сказал Нассонов.

15

О моих подозрениях и улике, которая хранилась в сейфе, я Геннадию Петровичу не сказал. Рано еще. Я ведь отлично знал, что Чава курит самосад...

Лариса взяла отгул и на работу не выходила. Сидела дома. Ни с кем не хотела разговаривать. Понятное дело — крах отношений с любимым человеком. Во всей этой истории я намеревался проявить максимум тактичности, сдержанности и объективности. А дальше посмотрим.

Чава как в воду канул. Зара уже ходила к Ксении Филипповне. И была почему-то спокойна, даже усмехалась. Мне это показалось подозрительным. Уж не посвящена ли она в намерения сына? Но и с ней я не хотел говорить. Надо сначала порастрасти станичников. Уж наверняка кому-нибудь не спалось в душную субботнюю ночь. Обязательно найдется хоть один человек, вставший рано, до зари, по своим крестьянским заботам. Я хотел пойти поговорить с соседями бабы Насти, но ко мне заглянул Федя Колпаков, колхозный шофер.

— Наверное, у тебя на сберкнижке тысячи, коли ты столько времени не работал.

— Как не работал? Работал. — Федя, разодетый не по будням, расселся на стуле нога на ногу, с папироской в зубах. — Слесарил.

— Машину отремонтировал? Тормоза...

– Не знаю. Ухожу из колхоза. Так что можешь мне вернуть права с чистой совестью. Не будет ездить на твоём участке шофер Федя Колпаков.

Я вынул из сейфа права. Развернул. Шофер третьего класса.

– И куда же ты теперь, Федя Колпаков, шофер третьего класса?

– В город. А первый класс получить не задача. Книжку почитать, кое-что выучить. – Он небрежно сунул права в карман. – Еще буду министра какого-нибудь возить. А что такое шофер министра? Ближе, чем первый заместитель даже. Роднее, может быть, чем жена.

– Министры, Федя, в Москве живут. А там прописка нужна, строго очень.

– Знаем, – загадочно усмехнулся парень. – Для кого строго, а для кого...

– Женился на столичной, что ли?

– Моя дорожка тебе не подойдет. Ты человек казенный, без приказа несамостоятельный. И специальности рабочей нету.

– Я не рвусь. Мне здесь нравится.

– Оно, конечно, кто любит арбуз, а кто – свиной хрящ.

После его ухода я задумался, почему из станицы уезжала молодежь. Кадровик из Калининского облуправления внутренних дел тоже жаловался, что в области не хватает колхозников.

Может быть, у нас, в Калининe, климат не тот? Долгая зима, осенние и весенние распутицы. А тут? Теплынь больше полугода, фрукты и всякая зелень так и прет из богатой земли.

Но, с другой стороны, я знал, что Коле Катаеву предлагали переехать в Ростов на крупный завод. И он не поехал. Говорит, любит землю, ее запахи, ее чистоту и привольность степей.

Если призадуматься, мне тоже становилась дорога наша станица. Ее неспешная, но трудовая жизнь, чистенькие, выбеленные хатки, полынная даль. Правда, Бахмачеевская была довольно мала.

– Какая станица, одно название! – воскликнула Ксения Филипповна, когда я сказал ей об этом. – Вот до немцев тут действительно много народу жило. Война растрясла Бахмачеевскую. Считай, заново все пришлось ставить. Церковь, пожалуй, осталась нетронутой. С сотню хат. Кабы не было тут колхозной власти – хутор хутором. Я вот Петровичу все твержу: стройся, стройся пошибче. Текут люди отсюда, особенно молодежь.

– Неужели он сам не понимает?

– Понимает, наверное. Конечно, строиться – дело дорогое. Но без людей все равно хуже. Надо сейчас поджаться, пояс потуже затянуть, но задержать парней и девок на земле. Земля человеческим теплом держится. Руками человека. Как сойдет с нее человек, бурьян да чертополох разрастется. Яблоню оставь без присмотра, она через несколько лет в дичка превратится. Вот так... – И без всякого перехода вдруг сказала: – А Зара ведь больше печется, как бы Лариса Аверьянова не стала ее невесткой.

Это уже интересно.

– Может быть, Денисова знает, где ее сын? – поинтересовался я, показывая, что весь мой интерес только профессиональный.

– Нет, не знает.

– А чего она радуется? Сын пропал. Его подозревают в конокрадстве...

– Уж прямо и конокрад! – покачала головой Ксения Филипповна. – А что уехал – мало ли? Для их народа – дело привычное... Вольный дух... Заре что? Лишь бы он подальше от Лариски. Я уверена, Арефа приедет с известиями, где болтается парень. У них, у цыган, беспроволочный телеграф. Что, где с кем происходит, тут же разносится от одного к другому.

– Чем Аверьянова не нравится Заре? – спросил я как можно равнодушной.

– Образованней и культурней Сергея. Вот в чем дело. О цыганах думают, ветреный народ, распутный. Ан нет. Семья у них крепкая. И вообще они держатся друг, за друга. Оттого, наверное, что их мало, а нас много. Не то что мы. Иной раз готовы соседа за мешок картошки продать. А Зара ведь нагоревалась. Ты у них был, сам видел. Полинка, старшая дочь Арефы от первого брака, ушла от мужа. Русского. Он стал изменять ей. Она, недолга, собрала ребятшек – и к отцу. Как ни худо без мужика, а в обиде жить не желает. Зара и смекнула: что Сергея ждет? Аверьянова, выходит, учить его будет, помыкать, как ей взбредет в голову – так и ворочайся. А там, глядишь, первая страсть пройдет, еще бросит его. Вот как Зара думает. Ну и еще обычаи всякие. Например, цыганке грех на коня сесть. А брюки надеть – и не скажи! Лариска по всем статьям не подходит. Если в семье мужик не голова, не может, как надо, образумить кнутом – дело пропащее. Неужто Аверьянова даст себя держать в подчинении?

Я вдруг так живо представил себе, как Сергей замахивается на Ларису, что вздрогнул, будто на моем теле остался горящий рубец от кнута.

– Арефа что, бьет Зару? – спросил я.

– Не за что. Хотя... – Ксения Филипповна улыбнулась.

– Потешная история. Я ведь сама, грешница, оскрамилась тоже. Так и быть, расскажу. Лет пятнадцать назад или двенадцать, точно не помню. С трикотажем тогда плохо было. А тут подвернулась кофточка. Конечно, с рук. Зара присоветовала. Одна ее знакомая приехала из Прибалтики... Тут вскоре в область на совещание пять человек из колхоза вызвали. У всех кофточки одинаковые, с одних рук куплены. Форсим, задаемся. У городских нету такой красы. И надо было случиться... Как полагается, в областном театре – торжественное закрытие совещания, а после – концерт. Начальство большое. Из ЦК даже кто-то. Мы из гостиницы пешком пошли. А тут дождь. Не очень чтобы сильный. Чуть замочил. Гляжу я на своих бабенок, матушки мои! Как узоры были яркие на кофточках, с них прямо полосами краска и потекла. Юбки, чулки, туфли – все как у ...клоуна. А они на меня пальцем показывают. Я-то, не лучше. Смех и грех. Им ничего, могут в гостинице отсидеться. А мне – в президиум. Не оправдаешься. Что делать, хоть Лазаря пой. Воротились в номер. Не говорю уже, что на прохожих стыдились глаза поднять. И главное – переодеться не во что... Собрали с миру по нитке: у одной юбку, у другой чулки, у третьей туфли. Одним словом, нарядили меня. Едва успела к началу. Воротилась в станицу. Бабы мои, конечно, растрезвонили. Ну, до Арефы дошло. Поучил он Зару, ох поучил. Другого раза, правда, не

припомню. Не знаю, имела Зара с этого дела процент или нет, не знаю. Только после этого Арефа отваживает от наших мест своих нечестных соплеменников.

Из этого разговора я вынес одно: у Ларисы с Сергеем все было куда серьезней, чем я предполагал. Значит, моим союзником невольно оказывалась Зара.

Сейчас, видимо, разыгрывалось основное действие в отношениях Ларисы и Чавы. Возможно, это был разрыв. Если бы...

Официально дело о пропаже Маркиза еще заведено не было, но я решил на свой страх и риск провести проверку кое-каких фактов.

Прежде всего – окуроч, найденный во дворе Ларисы. На обгоревшем клочке бумаги можно было явственно различить три буквы крупного газетного шрифта «ЕЛЯ», оканчивающиеся кавычками. И цифру 21. Тут гадать долго не приходилось – бумагу для самокрутки оторвали от «Недели». Цифра 21 означала порядковый номер выпуска. Значит, этот номер относился к началу июня.

Таким образом, следовало выяснить, кто в Бахмачеевской получает «Неделю».

Я отправился в библиотеку. По случаю болезни Ларисы там управлялась одна Раиса Семеновна, пенсионерка, проработавшая библиотекарем более двадцати лет и даже теперь частенько приходившая помогать девушке. Я как-то разговаривал с Раисой Семеновной. У меня сложилось странное впечатление. Книги она любила до самозабвения. Оборванный корешок или вырванную страницу воспри-

нимала как рану на своем теле. Но само чтение, видимо, ее не очень увлекало, хотя биографии писателей знала отлично. Это можно было почувствовать, когда мы заспорили о Хемингуэе. Его жизнь, по ее словам, куда интереснее произведений. Мне показалось, что Раиса Семеновна прочла только «Старик и море».

У меня же никогда не было интереса к биографиям писателей, за что приходилось страдать в школе. Учительница так оценивала мои ответы: «Знание произведений – „отлично“, знание жизни и идейно-художественных взглядов автора – тройка с большой натяжкой. Так и быть, Кичатов, ставлю „хорошо“. Но в следующий раз прошу обратить внимание на идейно-художественные взгляды писателя. Ведь это самое главное. Без этого вы заблудитесь в океане, который называется литературой. Вы не сможете дать должной оценки своим чувствам я определить идейно-эмоциональное воздействие того или иного произведения на вас».

В девятом классе я решил убедить учительницу, что умею определять это самое воздействие, и в сочинении на тему «Почему я люблю Маяковского» попытался доказать, – «Почему я не люблю Маяковского».

Уже название моей работы вызвало бурю гнева учительницы. Она поставила мне жирную двойку, несмотря на то, что грамматическая ошибка была всего одна. Эта история докатилась до районо. И там заварилась каша. Тогда моим сочинением занялись в облоно. Спасло меня, что кто-то вспомнил определение Ленина, которое он дал творчеству поэта. Я доказывал почти то же самое. Оценку за сочинение изменили, и я перешел в десятый класс без

переекзаменовки. На мое счастье, учительница уехала в другой город, и на следующий год в школе я имел по литературе хроническую пятерку. Новый учитель ценил любовь к литературе, а не к биографиям...

Всего этого я, конечно, Раисе Семеновне не сказал: у нее сложились свои твердые убеждения. Помимо общественной работы в библиотеке, она который год была уполномоченным по подписке на газеты и журналы. И, разумеется, точно знала, кто что получает в станице.

Когда я зашел, Раиса Семеновна с грустью показала на небольшую комнату библиотеки, заваленную, помимо книг, коробками, глиняной и деревянной посудой, разной утварью, которую уже успели собрать Лариса и ее актив для музея.

– Вот как мы относимся к полезному и нужному начинанию! – со вздохом произнесла библиотечкарь–общественница. – Хоть жалобу пиши в районный отдел культуры. Да стыдно. Выходит, сами на себя жалуемся.

– При мне же Нассонов обещал на заседании исполкома сельсовета выделить комнату. Не выделил?

– Что значит выделить? Освободить! Это наша комната. Законная. Да никак не займем. Летом в ней доверху мешки с удобрениями. Только увезут удобрения, тут же складывают жмых. Кончается жмых, глядишь – концентраты подоспели, хранить негде. Опять к нам, в библиотеку.

– А председатель?

– Накричал на Ларису так, что девушка расплакалась. Вот мы и отучаем людей проявлять инициативу. Недаром говорят – не проявляй инициативу, а то отдуваться придется тебе же...

Я спросил у нее, кто из бахмачеевцев выписывает «Неделю».

– Подписались бы многие, да лимит маленький. Всего два экземпляра. Один получает Нассонов, другой – Раки-тина.

– И все?

– Мы получаем в библиотеку один экземпляр. Но это по другому лимиту...

То, что Ксения Филипповна получает «Неделю», я знал. Она всегда предлагала ее мне почитать. И журнал «Советы депутатов трудящихся». Значит, работы мне не очень много. Моя хозяйка исключается. Остается председатель колхоза и библиотечная подшивка.

Раиса Семеновна достала пухлую папку с номерами за этот год. И по мере того, как я ее листал, лицо пенсионерки все больше хмурилось. Не хватало по крайней мере пяти газет. В том числе – двадцать первого номера.

Библиотекарь-общественница сокрушенно вздыхала:

– Наверное, Лариса Владимировна забыла подшить. – Раиса Семеновна просмотрела все полки с журналами и газетами, ящики письменного стола, но недостающих номеров нигде не было. – Странно, Лариса Владимировна – такой аккуратный человек... Я помню, она как-то брала «Неделю» домой. Наверное, забыла принести... Сами понимаете, молодость. А так она энергичная, начитанная, хорошо знает работу... – Она словно давала характеристику Ларисы официальному лицу.

Я подумал, что у Ларисы газету мог попросить Чава. И использовать на самокрутки. Он, как многие здешние ку-ряки, предпочитал самосад.

Мы разговорились с общественной библиотекаршей о том, много ли читают в Бахмачеевской. Она пододвинула мне деревянный ящик с абонементными карточками.

Я выбрал наугад абонемент Коли Катаева. Она вся была испещрена названиями книг: «Теоретическая механика», «Применение пластмасс в тракторном машиностроении», «Основы расчетов упругих оболочек»... Оказывается, наш секретарь прочно теоретически подкован.

– Вы на обороте посмотрите, – подсказала Раиса Семеновна, заглядывая через плечо. – Товарищ Катаев ведь еще и комсомольский вожак.

Я перевернул карточку: «Марш ударных бригад», «Товарищ комсомол», «Комсомольцы идут в атаку»...

Порывшись в ящике, я натолкнулся на фамилию «Самсонова». Так это же хозяйка Ларисы, бабка Настя!

Я поднял глаза на Раису Семеновну. Та скромно потупилась: вот, мол, какие у нас дела, даже старухи читают.

Интересно, чем увлекается бабка Настя? «Беседы о религии. Блуждающие души», «В век искушений». Но одна книга заставила меня прямо-таки поразиться: «Эволюция современного католицизма»... Я пристально посмотрел на библиотекаршу-общественницу. Раиса Семеновна невозмутимо сказала:

– У каждого свои вкусы...

И все-таки во мне зародилось какое-то сомнение, хотя я знал, что Ларисина хозяйка действительно в церковь не ходит и никаких обрядов не справляет...

Вечером того же дня я зашел к председателю. Мне повезло. Вся семья сидела у телевизора. Сам хозяин потягивал пиво. Редкий случай, что его никуда не вызвали – ни в

поле, ни в район. Пиво в станице считалось роскошью. Завозили его сюда раз в месяц, а то и реже. Но председатель, бывая в районе, всегда заезжал на вокзал, где доставал свой любимый напиток в вагонах-ресторанах проходящих поездов. Пиво он пил смачно, с наслаждением, закусывая твердой, как дерево, вяленой таранкой.

Женька прятал от меня глаза: стыдился происшествия в клубе. А может быть, опасался, что расскажу отцу о его ночных визитах в магазин к Клаве, за вином...

Геннадий Петрович дома был помягче в обращении. Поначалу он подумал, что мой визит вызван каким-нибудь ЧП. Но, узнав, что я хочу просмотреть номера «Недели» за этот год, обрадовался: свободный вечер, значит, ему не испортили.

Чтобы долго не объяснять, пришлось сочинить, что меня интересует шахматный отдел. А в библиотеке часть утеряна.

— Знал, к кому идешь, — гордо сказал председатель, доставая подшитые номера газеты. — А за другие года не надо? У меня все, до одной. С самого основания «Недели». Внуки спасибо скажут. — Он показал на внушительную стопку переплетенных подшивок, сложенных на нижней полке стеллажа.

— Мне за этот год.

— Можешь взять домой, — предложил Нассонов. — Только, чур, с возвратом. Хочется, чтобы, так сказать, было полное собрание сочинений... Иногда перелистываю. Интересно. Как меняются времена, люди. А представляешь, каково будет читать моему внуку? Или правнуку, а?

До читающего внука ему еще было далеко. До правнука

– тем более. Женьке, старшему ребенку в семье, шел шестнадцатый год. Но меня чем-то умилила забота Геннадия Петровича о своих потомках. Я вспомнил, с каким интересом рассматривал у своего школьного товарища (это было в шестом классе) подшивку «Нивы» за 1908 год. Больше всего поражали автомобили и самолеты тех времен. А что скажут о нашем времени через шестьдесят лет? Тоже, наверное, будут удивляться. Нашей примитивности. Нашим спутникам, луноходу «ТУ-144». А ведь сейчас они кажутся верхом возможного...

В те далекие годы будущего уже никто не будет смотреть на лошадь как на средство передвижения. Лошади останутся в цирке, на поле ипподрома. Или в зоопарке. Если останутся вообще. Ведь уже почти исчезли в этих краях верблюды. А говорят, еще после войны их было много. На них косили, возили грузы. Устраивались даже верблюжьих бега...

И какое оно будет, будущее? Неужели и тогда сохранится преступность, а значит, милиция, исправительные лагеря?

Нет. Я не мог себе представить этого. Люди будущего были для меня непостижимыми в своей учености, мудрости и чистоте.

Но, с другой стороны, сто лет назад человечество, наверное, думало о нас, что мы будем совершенны...

Так я рассуждал, шагая от Нассонова по утихающей станции с подшивкой «Недели».

Перелистав газеты, я нашел там двадцать первый номер. Целехонький и невредимый. И зародившееся было ранее предположение – вдруг Женька или его дружки, тут же рассыпалось в прах.

На всякий случай постучался на половину Ксении Филипповны. Она еще не ложилась и предложила мне самому порыться в кипе журналов и газет, наваленных в тумбочке под стареньким телевизором, который я и не упомяну, когда включался.

Двадцать первый номер «Недели» был также на месте. Все листы до одного целы.

Значит, на самокрутку пошел экземпляр, взятый из библиотеки. Но ведь мог быть и такой случай – кто-нибудь купил газету в городе.

17

Я узнал, что Лариса Аверьянова уехала в район. И еще: вернулся Арефа Денисов, так и не выяснив, где сын.

Арефу я сам не видел. Ксения Филипповна сказала, что старый цыган встревожен.

А Лариса как будто бы взяла направление из нашей амбулатории в районную больницу.

Болезнь библиотекарки меня огорчила совершенно искренне. Надо бы узнать, что с девушкой. К сожалению, еще не был знаком с Ольгой Лопатиной, землячкой моей. Опять преграда – матушка попадья. Надо бы зайти к Юрловым. Да, зайдешь к ним, и Сычов первый пустит слух, что я дружу с поповской семьей. Все же я решил заглянуть к Юрловым. Нельзя же, на всех оглядываться! Вот отец Леонтий, он не опасался меня, не боялся, что скажут верующие. С другой стороны, все жители станицы – на моем участке. И поп тоже. И если побываю у него дома, ничего страшного. Поболтаем с моей землячкой о Калинине. Может быть, отыщутся общие знакомые...

Но я узнал, что матушка тоже укатила в райцентр, в больницу. Сказал это сам отец Леонтий, которого я снова застал в спортзале. Он бодрился, а я чувствовал, что его гнетет какая-то печаль, которой он хотел бы с кем-нибудь поделиться, однако не смел. То ли ему было стыдно, то ли печаль такая горькая, что боялся он, как бы излишняя не перешли край. По его всегда спокойным, чуть-чуть насмешливым глазам было видно: худо пришлось отцу Леонтию, так худо, что скрывать нет сил.

Он все-таки сдержался. Не открылся.

Мои ребята осваивали борьбу на удивление хорошо. Этому помогло, вероятно, что по телевизору показывали передачу «А ну-ка, парни!». Там в программу состязаний входило самбо. Поговаривали, что у нас в районе тоже будет проводиться такой же конкурс. Я уже давал упражнения на выполнение трудных подсечек, бросков, рычагов, захватов и зацепов.

Раза два на занятия приходил парторг Павел Кузьмич. Он молча сидел на скамеечке, говорил свое: «Вот такая штука!» – и уходил, кажется, довольный.

И еще один человек стал присутствовать на занятиях. Тяжело вздыхая, бросая на меня умоляющие, жалостливые взгляды. Люба Коробова. Крепкая, коренастая девушка с конопатым, обветренным лицом.

Но не мог же я организовать женскую группу... из одного человека. Да и не было у нас женщины-тренера.

Но Люба продолжала приходить в спортзал и наблюдала за тренировками ребят.

О ней я вспомнил тогда, когда меня в свой кабинет вызвал Нассонов.

О Маркизе председатель ничего не спросил, потому что знал обо всем не хуже меня. Смотрел он на это дело мрачно и всем видом показывал, что я ни на что не гожусь.

– Не хочется сор из избы выносить, – сказал председатель, – но что поделаешь... Надо одного-другого припугнуть, чтобы остальным неповадно было. Совсем замучил меня завптицефермой. Вишь как обнаглели, яйца тянут, будто из своего курятника. Мне не с руки. Председатель... Ты задержи кого-нибудь с поличным, взгрей... В общем, учить тебя нечего, сам знаешь. Только не очень-то круто. Припугни только. Смекаешь? Я усмехнулся:

– Смекаю... Красиво ли будет засаду устраивать? Может, еще с пистолетом?

Нассонов крякнул:

– А дружина твоя на что?

– Дружина не моя, общественная, колхозная.

– Давай не будем считаться. Спусти ребятам директиву, направь, так сказать.

В общем, такая перспектива мне не нравилась, – быть пугалом. Если серьезно какие нарушения – лучше действовать строго, по закону. Но злить председателя не хотелось. И так наши отношения были не сахар.

Не откладывая в долгий ящик, я поговорил с Любой Коробовой. Она была польщена доверием. Назвала двух ребят из дружины, с которыми хотела бы провести операцию на ферме.

Я не возражал. Только попросил все выдержать в строжайшей тайне. Хотя и понимал, что в деревне это почти невозможно.

Ко всем этим не очень приятным делам прибавилось

еще одно – опять пришла с жалобой Ледешиха. Хуторские ребятишки залезли к ней в сад и обообрали яблоно-скороспелку.

– Не пришла бы, товарищ начальник, было бы это через месяц. Яблок тогда – завались. А это скороспелка. Не трогала ни яблочка. Все берегла для снохи. Сын пишет, хвораю она шибко. На Севере живут. У них витаминов каких-то не хватает. Аккурат собиралась не сегодня-завтра посылочку отправить. Это все Славка Крайнев пацанов настроил, анархист. Сам верховодил. В отместку мне за Бабочку. – Ледешиха принялась платочком вытирать глаза.

Мне стало жалко ее. Одно дело – неурядицы между взрослыми, другое – когда встречаются ребята. И братья за них по-настоящему тоже как-то неловко. Не составлять же протокол из-за яблок...

Глядя на вконец расстроенную пожилую женщину, я понял, что, в сущности, она очень одинокий человек. Вся ее ершистость, хваткость идет оттого, что трудно ей, уже совсем немолодой, в одиночку, со своей старостью и болезнями, добывать хлеб насущный.

Я пообещал ей, что приеду в Крученный и наведу порядок.

Где-то глубоко в душе затаилась обида на Славку Крайнева. Цацкаешься с ним как с писаной торбой. А он фортели выкидывает. А шишки на меня.

Но больше всего занимал мой ум Маркиз. Если его украли и я не распутаю этот клубок, грош мне цена.

Прежде всего злило то, что здесь, в станице, я не смог по-настоящему провести следствие. Первым делом надо было бы пустить по следу служебно-розыскную собаку.

Лошадь не птица, по земле ходит. Ищейка могла бы сразу вывести на правильный путь. Я этого не сделал. И время теперь упущено безвозвратно.

Ехать объясняться с Арефой и его женой – прямо нож в сердце. Любое мое действие оценивалось и обсуждалось на всех завалинках. Обидеть Денисовых ничего не стоило. Я ждал: может быть, Арефа придет сам. Но он не появлялся.

И я отправился в Краснопартизанск посоветоваться с замначальника. Он выслушал меня внимательно.

– Раз письменного заявления нет, дела пока не заводи. Но проверь. С одной стороны, хорошо, что ты стараешься, – сказал он. – Если все-таки действительно кража, дай знать. Возбудим дело. Следователя подключим.

– В деревне надо осмотрительней. Все друг у друга на виду. Это не город.

– Правильно. Но ведь и на селе встречаются нарушения. И какие!

– А все-таки тише.

Зам усмехнулся.

– Ты говоришь, тише... Не помнишь, в «Известиях» писали о банде подростков в Саратовской области? В районном центре. Пацаны пятнадцати-шестнадцати лет совершили семь убийств! Эта «городская романтика», в кавычках, конечно, и в деревню проникает. Вот так. А если ты, как черт лаdana, будешь бояться кого-нибудь ненароком обидеть, – туго придется. Такая у нас специальность: мало в ней привлекательного. Насчет служебной собаки ты сплеховал. Надо было позвонить нам. Прислали бы. Теперь поздно, конечно. Но ты не отчаивайся. Первым делом – ищи Сергея Денисова. Надо будет – объявим розыск. И девушку расспроси поподробней.

Я вышел от замначальника райотдела раздосадованный на самого себя. Как ему объяснишь, что труднее всего мне разговаривать с Ларисой?

В маленьком узком коридорчике я столкнулся с... Борькой Михайловым. Даже сначала не узнал его. Он был в штатском.

– Борис!

Михайлов протянул мне руку:

– Здорово, Димка! – И посмотрел: забыл я про злополучные огурцы или нет.

Я все-таки рад был его видеть.

– Где ты, что? – торопился я узнать о его делах. Борька потрепал меня по плечу:

– Подожди, Кича, мне тут с твоим начальством встретиться надо. Время есть?

– Есть.

– Поговорим после.

Мы зашли в приемную к Мягкенькому. Борька бесцеремонно прошел к начальнику. Я отметил про себя, что у него появилась начальственная осанка.

Через минуту из своего кабинета выскочил майор.

– Здравствуй, Кичатов. Ты ко мне?

– Нет.

– Погляди на улице замполита. Пусть срочно зайдет.

И тут же скрылся у себя.

Я диву давался: неужели это Борька заставил так суетиться майора?

Замполита искал и дежурный.

Я зашел к начальнику сообщить, что замполит только что уехал по делу. Меня распирало любопытство: как себя ведет мой дружок?

– Ладно, – сказал Мягкенький. – Можете идти.

Борька сидел за столом майора и накручивал телефон.

– Значит, у вас служит? – кивнул он в мою сторону. Я немного задержался.

– Участковый. – Майор на всякий случай улыбнулся. – Знакомые?

– Еще бы. Однокашники, – солидно ответил Михайлов. Это он мне как бы протекцию делал. – Что-то я его на Доске почета не обнаружил... Как, а?.. – подмигнул он.

Ну и ну! Разговаривает, словно генерал.

– До почета, положим, не дослужился, – почесал мочку уха начальник РОВДа, – а вот выговор чуть не схлопотал. В духовом тире устроил пальбу из боевого оружия.

Борька засмеялся:

– В училище за ним такого не замечалось. Одни благодарности...

Я вышел на улицу. Завел свой «Урал». Но ехать раздумал. Хотелось потрепаться с Михайловым. Как-никак однокашники.

Во дворе милиции стояла запыленная серенькая «Волга» из УВД области. За рулем – пожилой водитель. Тоже в штатском. Наверное, дожидался Борьку.

Что же, подожду и я. Времени у меня сколько угодно. Я намеревался зайти в больницу к Ларисе. Никуда она не убежит.

Михайлов появился довольно скоро.

– Где тут у вас можно пожрать? Понимаешь, трястись три часа до города на пустой желудок – не фонтан. Кстати, поболтаем. Поехали со мной. – Он открыл дверцу машины.

– Тут два шага, – сказал я, слезая с мотоцикла.

– Пешком так пешком. – Борька нагнулся в окошко: – Захарыч, столоваться пойдешь?

– Дотерплю, – ответил водитель. – Моя язва не переносит общепит.

Мы зашли в «Маныч».

– Ну рассказывай, – попросил Михайлов, изучая меню.

– Зря ты про какие-то благодарности приплел, – покачал я головой.

Борька удивленно уставился на меня.

– Я ж тебе цену набивал, Кича! Главное, показать, что мы на короткой ноге, что ты мой кореш. Усекаешь?

– А ты кто такой? – спросил я прямо.

– А ты не знаешь? Старший инспектор областного уголовного розыска. Как, звучит? – И посмотрел, какой эффект произвели его слова.

– Ну и что? – пожал я плечами.

Борька присвистнул:

– Ну если для тебя ничего...

– Прикажешь теперь перед тобой вытягиваться? – усмехнулся я.

Борька замялся.

– Ладно, кончай. Что лопать будем?

– Котлеты и борщ. Самое испытанное, – буркнул я. Может быть, зря я на него накинулся? Михайлов – хват-парень. Знает, как давить на начальство.

Нам принесли темно-бураковый борщ с кусками жирного, разваренного мяса.

– Везет тебе, – примирительно сказал я. – В рубашке родился, что ли?

– Как и ты, голенький, – ответил Борька. – Только я не

открываю двери лбом. Что это ты за перестрелку устроил?

– Так, проучил одного шмаровоза. Строчит на меня анонимки.

Он покачал головой:

– Ну и что, проучил?

– Проучил.

– Ты себя проучил.

– И себя тоже, – согласился я. – Теперь ученый.

Борька махнул рукой:

– Такая наука могла плохо кончиться. Вот что, Кича, хочешь, похлопочу за тебя? Много не обещаю, но чем черт не шутит. Может быть, переведут в город. В городе легче. Затеряешься среди людей, и никто на тебя пальцем тыкать не будет.

– Это ты хочешь огурцы замолить? – улыбнулся я. Боб смутился:

– При чем здесь они? Просто по дружбе.

– Спасибо на том. Но в городе тоже сволочей навалом.

– Если их искать на свою голову, то конечно. Так похлопотать?

– Нет. Посмотрю, куда судьба вывезет.

Он покрутил пальцем около виска:

– Ты всегда, Кича, витал в облаках... Какая судьба, где судьба? Как сам повернешь, так и повернется. Кстати, жениться не думаешь?

– Нет.

– Не зарекайся.

– Ты что, уже?

Борька замялся:

– Вроде бы. Почти.

- Не понимаю. Да или нет?
- Все равно когда-нибудь надо...
- Не темни. Расписался?

Он вздохнул, словно признавался в каком-то проступке:

- На днях распишемся. Папаша торопит.
- Ее папаша?
- Ее. Как раз загсами ведает. Зампред.
- Горисполкома?

Михайлов виновато поправил:

- Облисполкома.
- Теперь все понятно... – протянул я, наслаждаясь Борькиным смущением.

– Ты не думай... В областное управление я устроился до всего этого. Сам...

– Я и не думаю. Только теперь тебе прямая дорога в министерство. Ну и зазнаешься ты, брат, не подойдешь – не подъедешь.

– Кича, не издевайся.

– Ладно, ладно. Не буду. Почему в штатском? – спросил я. – Звание скрываешь, не устраивают три звездочки, хочешь одну побольше?

– Работа такая.

– Понятно. Если не секрет, зачем приехал?

– Для тебя не секрет. Ты должен знать. Понимаешь, ищем одного особо опасного преступника. По делу об убийстве инкассатора. – Михайлов достал из кармана карточку. – Фоторобот. – На меня глядело тяжелое, угрюмое лицо, заросшее бородой до самых глаз. Было что-то мертвое в этом изображении.

– Мы уже проверяли у себя, – сказал я, возвращая снимок. – А как это все было?

– Не знаешь?

– Откуда? Это ведь давно, кажется, случилось. Еще Сычов занимался проверкой в станице.

– Месяца четыре назад. Ехала машина с инкассатором из аэропорта. Крупную сумму везли. Около четырехсот тысяч. А там есть узкое место на дороге. И когда машина с инкассатором подъехала к этому месту, прямо посреди шоссе стоит микроавтобус «УАЗик». Ни проехать, ни обогнуть. Шофер с «УАЗика» возится с колесом. Водитель, что инкассатора вез, вылез, подошел к нему. Тот говорит: «Помоги». И только шофер с инкассаторской машины нагнулся, чтобы посмотреть, в чем дело, водитель автобуса его ключом по голове и в кювет. Решил, наверное, что насмерть. Что там дальше произошло, судить трудно. Но наши ребята оказались на высоте. Как сам понимаешь, погоня, стрельба. Шофер микроавтобуса в перестрелке был убит. Открыли автобус, а в нем, помимо водителя, – мертвый инкассатор. А деньги как в воду канули. Но вот в чем дело. Инкассатор был убит двумя выстрелами в грудь. Из другого пистолета, не того, что нашли у водителя автобуса. И еще. Шофер, везший инкассатора, остался жив. Он вспомнил, что, когда вышел из своей машины посмотреть, что с «УАЗиком», к инкассатору подошел какой-то мужчина с бородой. По этим показаниям и составили фоторобот. Предполагается, что он убил инкассатора, перетащил его вместе с напарником в автобус. Но где он вылез из «УАЗика», как исчез с деньгами, не известно. Следствие считает, что преступник скрывается где-то здесь, в Краснопартизанском районе. Четыре месяца бьемся. Проверили, перепроверили. До сих пор впустую. Так что ты, пожалуйста, у себя в Баха...

– В Бахмачеевской, – подсказал я.

– Получше посмотри.

– Проверю.

Когда мы подходили к воротам милиции, он сказал:

– Не забывай друзей. Будешь в городе – заглядывай. Если что надо, звони. В управление. Или домой.

И дал мне свои телефоны. Служебный и домашний. Телефон квартиры будущего тестя.

Уже усевшись рядом с шофером, он подозвал меня к машине:

– Ваш майор, кажется, ничего. Я изредка буду позванивать. Так, между прочим. Как, мол, мой кореш...

– Зачем? Возьмет и выкинет что-нибудь назло. Борька задумался. Потом мотнул головой:

– Не выкинет. Какая ему от этого польза?

– Брось. Пусть будет все как есть...

– Дело твое. Я хотел как лучше...

Что бы там ни было, а эта встреча меня встряхнула. Давно меня не называли Кичей.

Райбольница состояла из двух длинных хат, стоящих друг к другу под прямым углом.

Маленький двор, огороженный железной оградой, был чисто выметен и полит. Под редкой тенью прозрачных, тонких верб стояло несколько деревянных скамеек – крашенные доски на врытых в землю столбиках. Распахнутые настежь окна глядели в вербный садик бельмами затянутых марлей проемов. Несколько стариков грелись на солнышке,

одетые в одинаковые, вылинявшие от стирки пижамы.

В приемном покое сказали, что свидания – с трех до семи. Было два часа. Но если мне спешно, разрешение дает главврач.

Главврач спросил, по личному или по делу. Я, поколебавшись, ответил:

– По личному.

Он пристально посмотрел на меня. Как-то странно хмыкнул:

– Что так не терпится?

– Служба...

– Разве что служба... – Он вздохнул и еще раз просмотрел меня взглядом. – Значит, нет времени?

– К сожалению... – ответил я, смутившись.

– Ну-ну. – Он крикнул санитарке, чтобы та попросила Аверьянову выйти во двор.

Я поблагодарил и направился к двери. Главврач сказал:

– Пожалуйста, поприветливее с больной...

– Конечно, – поспешил я ответить. И, не удержавшись, спросил: – А что?

Он пожал плечами – какой, мол, недогадливый: больных надо беречь от волнений...

Лариса встретила меня тревожными глазами.

– Здравствуй, – сказал я как можно приветливей.

– Здравствуй, Дима. Садись. – А глаза ее спрашивали: «Ты с хорошими вестями или с плохими?».

– Я тут по делам разным, и время как раз свободное... Решил проведать. Что у тебя?

– Так, нервы, говорят. – Она последний раз взглянула мне в глаза: «Больше ничего?»

– На днях заходил в библиотеку. Взял кое-что почитать. Раиса Семеновна отлично справляется. Ты, значит, не волнуйся. Выздоровливай.

– Спасибо, постараюсь... – ответила она.

– Геннадий-то Петрович каков?

– Что? Что Геннадий Петрович? – переспросила она. И я понял, что для нее не существует сейчас Геннадий Петрович и вообще этот мир далек от нее, потому что главное – нечто другое. Но что это другое? Может быть, Чава?..

– Комнату так и не отдал. Для музея.

– Ничего не поделаешь... У тебя как?

– Нормально. Славка Крайнов отмочил: к Ледешко в сад залезли, яблоню обчистили.

– Да?

– Она, понимаешь, сохраняла для снохи... Больная у нее сноха... Скороспелка... Это я о яблоне.

– Нехорошо получилось. Ты что, в Крученом недавно был? – И снова вопрошающий взгляд.

– Нет... Теперь, конечно, надо съездить. Намылить пацану холку...

Вдруг Лариса спросила, решив, наверное, разрубить мучающую ее неизвестность:

– Маркиза не нашли?

– Нет.

Не нашли Маркиза, значит, и его, Чаву... Глаза у нее, как мне показалось, потухли. Я не знал, о чем разговаривать.

Не сидеть же просто так и хлопать глазами. И чтобы не молчать, сказал:

– Бабка Настя твоя – молодец. И ее, значит, коснулся научно-технический прогресс...

Лариса покачала головой:

– С чего ты взял?

– Читает много. По атеизму...

– Кто? – удивилась Лариса.

– Да твоя хозяйка, Самсонова.

Девушка рассмеялась:

– Она малограмотная. Ты бы посмотрел, как она заявление пишет. О смысле только догадаться можно.

– Как же так? В ее абонементной карточке даже такая мудреная книга записана: «Эволюция современного католицизма»...

Лариса вздохнула:

– Это Раиса Семеновна меня оберегает. Заботится. Вот и записывает всем в карточки липу. Говорит: учили, мол, вас, да не тому. Главное в нашем деле – отчетность. Показателей – не счесть. У нас как: выполнишь план по оборачиваемости книгофонда, требуют провести работу по научно-технической литературе. Проведем. Опять что-нибудь новое – по экономике и управлению. Не успеем разделаться, – по сельскому хозяйству. Недавно из райотдела культуры приезжали. Ругали меня. Раиса Семеновна, значит, решила «подтянуть» показатели. Чтобы в районе успокоились.

– Но неужели там идиоты?

– Зачем? В районе знают. Но ведь им тоже надо составлять отчет для области... На что не пойдешь ради галочки...

– Ох уж это «для галочки»! – вздохнул я.

Меня самого недавно пропесочили в РОВДе. Кто-то подсчитал, что с тех пор, как в Бахмачеевской инспектором

стал я, число нарушений возросло. Выходит, Сычов просто-напросто многое скрывал. Во всяком случае, поговаривали, что самогонщикам в станице жилось до меня вольготней. Дружина бездействовала. Да и как ему было следить за порядком, когда у него самого рыльце в пушку!.. Выходит, писать обо всем добросовестно не следует? Ведь на основании моих справок начальство составляет отчеты для области, а область – для республики. И если все эти отчеты писать по системе Раисы Семеновны или Сычова, то можно себе представить, сколько липы тогда течет вверх!

Но кому это надо? Кто заинтересован в этой глупости? Самое смешное – никто! Никому такое надувательство пользы не приносит. Скорее всего – вред. И если подсчитать хорошенько, вред немалый...

И я, почему-то вспомнив по ассоциации, рассказал Ларисе о случае, приключившемся с прокурором нашего района. Касательно этой самой липы. И если бы сам не услышал об этом из уст райпрокурора на совещании, просто не поверил бы.

Прокурор у нас, как я уже говорил, женщина. Ее пригласили от общества «Знание» прочитать лекцию в техникуме. Лекцию предполагалось оплатить. Райпрокурор взяла путевку в правлении общества и поехала в условленный день к студентам. Но по какой-то причине аудитория не собралась. Райпрокурор оставила путевку в дирекции техникума, договорившись, что приедет в другой раз, когда студенты будут более свободны.

Опять назначили день, но в этот раз был занят лектор. Тут подошли летние каникулы, студенты разъехались по

домам. Через некоторое время в прокуратуру звонит председатель районного отделения общества «Знание» и просит нашего прокурора прийти за гонораром. Та удивилась и сказала, что вышло недоразумение: лекцию она не прочла. Председатель подивился еще больше и процитировал отзыв дирекции техникума, где говорилось, что «лекция была прочитана на высоком идейно-профессиональном уровне и неоднократно прерывалась аплодисментами».

– И что прокурор? – спросила Лариса.

– Просто рассказала, как было дело.

– И все?

– Все.

– Я бы на ее месте привлекла руководство техникума к ответственности.

– Тогда и тебя надо привлечь. Да и меня, наверное... И вообще ввести в Уголовный кодекс статью «За липу»...

– И правильно, – улыбнулась Лариса. – Поуменьшилось бы всяких отчетов. Боялись бы попасть под эту статью.

За разговором она оживилась, и, когда пошла провожать меня до выхода, я чувствовал: ей хотелось бы еще поболтать.

– Скучно здесь? – спросил я.

– Не театр, конечно. Особенно по вечерам. Понаслушаешься всякого. Здесь говорят только о болезнях. Люди все одинаковые. Как в бане. Ни рангов, ни постов. Все откровеннее. И такое встретишь, прямо не верится.

Прощаясь, она задержала мою руку:

– Спасибо, Дима. Поговорили с тобой – прямо легче на душе стало.

Я не знаю, что и ответил. Радостно колотилось сердце. И только за воротами вспомнил – так с ней о деле и не поговорил. Язык не повернулся. Да, товарищ младший лейтенант, когда ты научишься сдерживать свои чувства? Но как это сделать?

...Помня разговор с Ларисой о Раисе Семеновне, я еще раз забежал в библиотеку. Взял свою абонементную карточку. И не мог сдержать улыбки. В нее было записано: «Советское бюджетное право», «Правовая кибернетика», «Мировое государство: иллюзия или реальность?»...

Эти книги я и в руках не держал. Но Раисе Семеновне ничего не сказал. Зачем обижать старушку? Намерения у нее были благие...

Я обогнул Крученный, оставил в кустах «Урал» и теперь уже пешком отправился искать стадо.

Жарило вовсю. Я расстегнул ворот рубашки, сдвинул козырек на самый лоб, чтобы он хоть немного прикрыл глаза от слепящего солнца.

Коровы были на водопое. Стоя по колено в воде, они сгрудились вдоль берега реки, припав к воде застывшими, полусонными мордами.

Славка, сидя по-турецки в жидкой тени прибрежных кустов, хлопотал над маленьким костерком из сухих прутьев ракитника. Над прозрачным пламенем, совершенно не дававшим дыма, кипела вода в помятой алюминиевой кастрюльке с дужкой.

– Здравсьте, Дмитрий Александрович. Как раз к чаю

подросли, – приветствовал меня подпасок. В его голосе я уловил едва проскальзывавшую тревогу.

– Пекло такое, а ты – чай... – сказал я, устраиваясь на мягкой песчаной земле подальше от огня.

– Наоборот. Сырой водой в такую жару не напьешься. А крепкий чай – за милую душу. – Он порылся в сумке от противогаза, достал фунтик из газетной бумаги и высыпал в кипяток заварку. Вода вспенилась, окрасилась в коричневый цвет. Славка подцепил дужку кнутовищем и снял чай с огня. – Сергей приучил.

Он вынул из котомки несколько крупных картофелин, сваренных в мундире, два больших, с кулак, помидора, яйца, хлеб, соль и разложил на чистой белой тряпице. В дешевом металлическом портсигаре он держал леденцы, слипшиеся от теплоты.

Парнишка налил чай в единственную кружку и протянул мне:

– Пейте. Кушайте. Это бабка Вера меня снаряжает.

От еды я отказался. Прихлебывая терпкий горьковатый напиток, я смотрел, как Славка не спеша, с аппетитом разделяется со своим завтраком. Кожа на его лице, шее и руках загорела, нос облупился.

Он был совсем еще пацан, и в нем, наверное, бродили всяческие мысли и желания, в которых он вряд ли отдавал, себе отчет. Что я мог ему сказать, как образумить, объяснить цену человеческих поступков, их истинную значимость? Разве он поймет, что в детской своей непосредственности, пристрастии к обыкновенным мальчишеским подвигам, как, например, набеги на чужой сад, можно действительно нанести кому-то урон и обиду, какую нанесли они Ледешко?

Я в его годы был таким же. И с ватагой сорванцов-одногодков отмачивал еще штуки похлеще.

Мне вспомнилась в Калининне пожарная команда. На заднем дворе пожарники развели и любовно ухаживали за грушевым садом. Кто-то из них, наверное, был садоводом-любителем, потому что груши были отменно хороши на вкус. Может быть, они казались такими, потому что запретный плод сладок.

И что мы, ребята, делали? Как только созревал урожай, звонили вечером из телефона-автомата по 01, называя одну из самых отдаленных окраин города, и, подождав, пока ярко-красные машины, дико вопя сиреной, не вылетали одна за другой из гаража, бандой дикарей набрасывались на увешанные грушами деревья.

Позже, когда я ходил в дружинниках, эту историю рассказал подполковник милиции, тот самый, что сосватал меня в училище. Мальчишеская уловка, оказывается, поставила руководство пожарной охраны в неловкое положение. Они решили проанализировать, как и почему на сентябрь падает самое большое количество ложных вызовов. Из Москвы приехал научный сотрудник, составлял разные социологические, метеорологические, демографические и всякие другие графики...

Секрет раскрылся через несколько лет, когда другая, сменившая нас группа «налетчиков» была снята с деревьев пожарниками.

К тому времени научный сотрудник уже успел на основе своих исследований написать и защитить кандидатскую диссертацию...

Обо всем этом я, естественно, Славке не рассказал. Уж очень мало поучительного было в этой истории.

Я подождал, пока подпасок поел, завернул остатки еды в тряпицу и положил в сумку.

– Теперь тебе, наверное, поспать не мешает? – спросил я.

– Перемогу. Да и плохо на такой жаре. Голова будет дурная.

По его глазам было видно, что вздремнул бы он с удовольствием.

– Стадо не разбежится?

– Не-е. Выстрел при нем – бояться нечего.

– Так его слушаются? – удивился я.

– Еще бы! Чуть корова отстанет или потянется в сторону, он рога в бок – и все. Первое время думал, хана пришла буренке. Злющий бугай! Бьет куда попало, не смотря. Но пока обходилось. Раз, правда, долго одна корова хромала. Вон та, Ромашка. – Подпасок указал на темно-бурую корову с белой звездой на лбу. – Боялся, сляжет. Отошла. Зато теперь помнит хорошо, как ее проучили. Смирная стала. А как-то Выстрела увезли к ветеринару. Вот тогда я намучился – страсть! Я их кнутом, палкой, а им хоть бы хны! Что им кнут, после рогов и зубов Выстрела? Разбежались по степи, ищи-свищи. Дотемна искал. Кое-как пригнал домой. Трех нету. Что делать? Беда! Взял фонарик и опять в степь. Где искать? Куда податься? Пошукал, полазил, следы как будто ведут к старице, к той, где пацаны кувшинки рвут и раков ловят. Пошел по следам... Кругом темнота, ни души. Только лягушки орут вовсю.

– Дрейфил?

– Было маленько. Перепугался я уже потом. Страху натерпелся на всю жизнь. Подхожу к старице, освещаю

фонариком – какие-то подозрительные бугры. Не успел я разглядеть, как они на меня бросились. Орут, топчут. Как сообразил, не знаю, кинулся к воде. И с размаху мордой вил. Фонарик погас. Встал я, вытряхнул воду. Хорошо, загорелся. Не шибко намок. Направил свет на берег. Точно – мои телушки. Набычились, головы к земле пригнули, глазами сверкают. Я их по именам называю, ласково, нежно, языком цокаю, а они словно сбесились. Бьют передними ногами, чисто лошади. Стою я в воде, от злости и досады плакать хочется, а они как хищники какие-то, не признают меня.

Я улыбнулся. Славка тоже.

– Это теперь смешно. Тогда я их, наверное, час уговаривал. Ноги окоченели. Думаю, еще какой водяной схватит...

– Неужели веришь в эту чушь?

Славка почесал затылок:

– Да не верю. А ночью все-таки боязно. Наслушаешься всякого. Говорят, щуки бывают огромные. Людей утягивают.

– Водятся?

– Есть. Но небольшие. Я их не люблю. Костей много. Бабе Вере нравятся.

– А чем кончилось с коровами?

– Утихомирились. Смотрю, хвосты опустили, подошли к воде, на меня смотрят. Я потихонечку вышел. Протянул руку. Они – мордами в ладонь. Признали. Повел я их в Крученый. Они все вздрагивали, к каждому шороху прислушивались...

Коровы легли в кустах. Дремали, равномерно поводя

челюстями и лениво отмахиваясь хвостами от слепней. Трудно было представить этих мирных животных в роли разъяренных хищников...

– И еще какая манера, – продолжал подпасок, выливая в кружку остатки чая и протягивая мне. – Как увидят какую зверушку – хомяка или суслика, – прямо с ума сходят. Хвост трубой – и бегут за ней сломя голову. Зверек нырнет в нору – и был таков. А за лисой несутся по степи всем стадом... Попадешься на пути – растопчут. Зачем она, лиса эта, сдалась им, не знаю...

– Дикий инстинкт, наверное, просыпается, – предположил я.

– Так ведь они ж травку едят, сено!

– Стадный инстинкт защиты от врага. Когда они еще бизонами или там зубрами были, не знаю...

– Чудно, – покачал головой Славка. – Они вон какие громадные, а тут лиса, суслик...

– Загадка природы.

– Верно. Их не спросишь. Не разгадаешь.

– Ну да. Узнают же, например, о звездах, которые находятся за миллионы и миллионы километров? Познают и это.

– Познают, наверное...

– Тебе-то хочется узнать?

Славка задумался.

– А можно ли?

– Если учиться, наблюдать, читать. Ты читаешь много?

– Читаю, – ответил он неопределенно.

Я растянулся под кустиком ракиты и, прищурившись, смотрел на небо сквозь красноватые гибкие прутья.

– Конечно, мало читаю, – вздохнул паренек. – Книжки все пошли неинтересные. Баба Вера привезла из района целую охапку. Читаешь, а там глупость какая-то. Такой-то парень пошел к такому-то. В городе, конечно. Больше про Москву пишут. Пошли они в кино. Встретили третьего пацана. После кино пошли домой... Тоска смертная. Вот одну книжку стоящую я читал. Когда в городе жил. Вот не знаю только, чем кончилось. В ней описывается, как один дяденька отправился на Север, к волкам. Это не у нас было, в Канаде. И как он сдружился с волками, и они его не трогали. Здорово написано! Я после этого к волкам по-другому отношусь. Выходит, они полезные, волки. Питались только больными оленями, чтобы те других оленей не заразили и не рожали слабых, больных детей. Жалко, книга оборвана была, может, до половины. Хочется дочитать... А вы не читали?

– Нет, не читал.

Я прикрыл глаза, чтобы отдохнули от солнечного света. Тихий шелест кустов, плеск реки убаюкивали.

– Я бы сам хотел поехать на Север, к волкам, – продолжал подпасок. – Проверить...

– Здесь ведь тоже есть волки.

– Не то, – цокнул языком Славка. – Волки, которые водятся в степи, злые. Они скотину изводят без разбора. Корова ведь не дикий олень. Жирная, не убежит.

Я подивился здравым рассуждениям паренька.

– Так это ты, значит, на Север бегал? – спросил я. – К волкам?

– На Севере вообще диких зверей много... – Он нашел камешек и запустил в реку.

– Школу надо заканчивать. Поехал бы в сельскохозяйственный институт. Или в техникум. – Я поднялся. Даже сквозь закрытые веки пробивалась слепящая белизна небосвода. Перед глазами стояла красная, раскаленная пелена...

– Пошел бы... – буркнул Славка. – С моим батей пойдемь...

– А что?

– Говорил, сделает из меня человека. – Он усмехнулся. – Как вспомню – противно. Тошно на душе.

– Не понимаю.

– Он слесарем работает в ЖЭКе. Краны там всякие, батареи, унитазы... – Парнишка сплюнул. – Все меня таскал с собой. В деревне как? Помогают друг другу. Баба Вера сказывала, что весной заболела и огород ей соседи вскопали. Просто так. А в городе – за все гони монету...

Я видел, что Славка действительно задумывался о человеческих взаимоотношениях. Его больше тянуло к деревенской простоте и отзывчивости. И городскую меркантильность он не понимал. Меня самого воротило, когда люди меряли все на деньги: дружбу, работу, любовь.

Вспомнился рассказ одного отцовского приятеля, который по долгу службы бывает за границей. Там он непосредственно встречается с владельцами крупных предприятий: что ни на есть с классическими капиталистами. И вот что он наблюдал. У одного такого денежного туза попросили закурить. Он, конечно, спокойно предлагает сигарету. Попросивший закурить тут же отдает мелкую монету – стоимость сигареты. И этот человек, который может запросто купить что угодно – огромный самолет, целый

остров, даже маленькую страну, – как ни в чем не бывало кладет в карман монетку.

– Отец подвернет гайку – целковый, – продолжал Славка. – Ерунду какую переставит – пятерка. А потом хвастает: олухи, мол, крану цена рубль с полтиной, а хозяева трешку переплатят и еще рады, благодарят... Не могу я так. Вон и Сергей такой.

– Какой? – насторожился я.

– Не нравится ему ходить по людям, рубли сшибать. Он ведь до того, как пастухом стал, в фотоателье работал. Ходил по хуторам. Брал заказы на увеличение фотокарточек. Сам фотографировал. Вернее, только щелкал. Пленку ему заряжали в ателье. Халтурщики. Лишь бы нахапать побольше... Он рассказывал, а я вспоминал, как отец водил меня по квартирам. У отца дело, правда, побойчей. Подходней. Но ведь тоже противно...

– Конечно, веселого мало, – согласился я. – Значит, Слава, одна у тебя дорога – учиться.

– Верно, – вздохнул парнишка. – А меня возьмут?

– Это от тебя зависит. Вот ты Сергея уважаешь...

– Уважаю, – убежденно сказал подпасок.

– Это хорошо, конечно. Но если бы у него еще какая-нибудь специальность была...

– Кому-то и стадо ведь надо пасти...

– Скоро, наверное, все пастухи будут со средним образованием. Или придумают какую-нибудь механику взамен тебя с Сергеем и Выстрела. Уже сейчас электропастухи есть...

– Это только в книжках пишут. А Сергей интересуется кое-чем. Все время «Неделю» таскал. Там про всякое пишут, интересно.

«Неделя»! Чава, значит, брал у Ларисы газету. И кое-какие номера не возвращал. По-свойски. Может быть, и тот номер?

– Слава, ты, кажется, всех ребят знаешь?

– Ну... – промычал он, почуяв, что заговорил я об этом неспроста.

– Поучил бы мальчишек уму-разуму. Жалуются хуторские...

– А что? – попытался он состроить невинное выражение на своем бесхитростном лице.

– Не знаешь? – усмехнулся я.

– Нет...

– Человека обидели. Крепко. (Славка стал смотреть на своих коров.) Ведь не подумали, что у него, может быть, горе. (Мальчуган испуганно посмотрел на меня.) У Ледешко обобрали яблоню.

– К нам тоже на баштан лазают за кавунами. Баба Вера на них метку ставит, букву «К». Думает, поможет. Все равно таскают.

– Приятно ей?

– Подумаешь, – махнул он рукой, – три-четыре кавуна! Не обеднеет...

– Считаешь, пустяки? (Славка промолчал.) А если Ледешко эти яблоки для больного берегла? Сейчас яблок мало, сам знаешь. Только скороспелки.

– Кто же это у нее заболел? – спросил паренек.

– Жена сына, сноха. – Я посмотрел ему в глаза. – Это правда. На Севере она. Витамины нужны...

Славка потупился. Такой оборот дела заставил его задуматься.

Больше про яблоки я ему ничего не говорил.

...Через два дня у меня была Ледешко.

– Выхожу раненько утром скотину кормить. Гляжу, у самого крыльца что-то темнеется... Не поверите, товарищ начальник, яблоки мне возвратили. Может, даже больше, чем взяли. Усовестились, значит, пацаны... Я с почты. Послала сыну посылку. – Ледешко сияла. Не знаю, отчего. Оттого ли, что правда восторжествовала, или ей было приятно раскаяние Славки и его попытка замолить свою вину, что тронуло сердце сварливой женщины. – И что еще, товарищ лейтенант, кавун большой приперли...

– А на нем буква «К»? – не удержался я, улыбнувшись.

– Действительно, буковка была, – удивилась старуха. – А вы откуда знаете?

– Милиция все знает, – сказал я загадочно. Окончание этой истории я узнал позже. Оказывается, ущерб Ледешихи был возмещен за счет яблок из личного сада кузнеца Петриченко. Пацаны под руководством, конечно, Славки на сей раз устроили набег в соседний хутор, в Куличовку, подальше от своих сельчан. В общем, сделали хорошее...

Правду говорят: дорога в ад вымощена благими намерениями.

Теперь пострадавших было двое: Ледешко и колхозный кузнец.

«Димчик, дорогой!»

Я живу у тети Мары. Мама с папой в своей Паланге. Погода там плохая, холодно. Папа пишет, что с удовольствием сбежал бы, но маме жалко денег, отданных за

путевки. Я их очень жду. Тетя Мара держит меня в „ежовых рукавицах“ и говорит, что никогда больше не возьмет на себя „такой ответственности за судьбу невесты на выданье“. А мы с тобой думали, что она современная и своя. Она в восемь часов загоняет меня домой. В кино я могу ходить только на утренние сеансы. На них идут не все картины. При маме и папе я смотрела все. Пусть только поскорей приедут наши предки! С тетей Марой я и разговаривать не буду. Видишь, какие на самом деле люди? Я теперь поняла, что говорят они одно, а ведут себя иной раз по-другому. Конечно, хорошие встречаются. Почему ты не пишешь? Я за тебя волнуюсь. Недавно прочитала в газете, что один милиционер задержал опасного преступника, но сам при этом был смертельно ранен. Ему после смерти дали орден. Димочка, ты всегда ходи с наганом. И попроси себе собаку. Таковую, как Мухтар. Они налетают на преступников первые и часто спасают милиционеров. Если тебе не выдадут собаку, я напишу Юрию Никулину и попрошу, чтобы он помог мне достать овчарку. В крайнем случае, попрошу у дяди Феди. У их овчарки щенки. Ты его вырастишь и научишь. Ответь на мое письмо сразу. Ты там все-таки один, и мне тебя жалко.

Крепко тебя целую. Аленка».

Не подозревая, Алешка выболтала в своем письме многое. Я был один, а она, выходит, не одна. Первая любовь. Я завидовал своей сестренке. Представляю, какой натиск выдерживает тетя Мара, наша старинная приятельница и сослуживица мамы. Она и так всего боится в жизни. А тут Алешка – упрямая, своенравная. Отец ее

всегда баловал. Бабушка говаривала: «Вырастишь на свою голову. А от прыткой козы ни забор, ни забор...»

Но откуда эти страхи за меня? Любовь... Она, видимо, вообще делает человека мудрее.

Стало быть, сестричка впервые по-настоящему задумалась о людях. Лишь бы у нее все хорошо получилось. Первое чувство, как колея: ляжет правильно, потом всегда будет выходить красиво. Очень бы мне хотелось посмотреть на того, из-за которого Алешка воюет с бедной тетей Марой и о ком, наверное, думает засыпая.

Да, как ни верти – грустно. Бегут, значит, годы, детство уплывает все дальше и дальше, с бабушкиными румяными пирожками, с безмятежными воскресными утрами, с ожиданиями праздников и взрослой жизни, наполненной свободой и свершениями всех желаний...

На Алешкино письмо я не успел ответить. События завертели меня, дни заполнились делами, дорогами, людьми.

Помнится, в тот день, когда я получил от сестры письмо, я готовился к моей первой лекции в клубе. О профилактике преступности. Это была моя первая лекция в жизни. До этого я бывал только слушателем. Теперь будут слушать меня. Коля Катаев решил обставить ее по-солидному. Сначала он все раскритиковал.

– Ну кто придет в клуб, если прочтет тему твоей беседы? Мудрено и пусто звучит для наших колхозников: «Общественный прогресс и правопорядок». Лично я не пошел бы. Лучше козла забить.

Я обиделся:

– Заголовок из «Правды». Умнее нас с тобой писали люди...

– Так то «Правда»! Всесоюзное направление дает. С научной небось базой. Наверное, профессор какой-нибудь?

– Профессор, – кивнул я. – Даже два.

– Вот видишь. Давай что-нибудь попроще. Чтобы зазывало и суть показывало.

– «Алкоголь – твой враг!» – предложил я.

Коля рассмеялся:

– А врага, скажут, уничтожать надо. Кто больше уничтожит, тот герой!..

– Значит, о борьбе с алкоголизмом не следует? Нехорошо, комсорг, получается. Поп вон, говорят, такой проповедью разразился...

– Чудак, человек! Надо, не спору. Но чтоб люди прочли на доске название и захотели прийти послушать.

– Для этого танцы организывают до и после... – мрачно отпарировал я.

– И танцы будут, и выступление приезжих артистов.

– Каких это еще артистов?

– Ансамбль цыган. В прошлом году были. Хорошие песни и музыку выдадут.

– Совместить хочешь?

– А почему бы и нет? Пора сейчас жаркая. Люди и в колхозе и у себя трудятся. Но и отдохнуть же надо!

Долго мучались мы с проклятым названием. Все же нашли. Вернее – Коля. «Отправляясь в дорогу, что надо выбросить в первую очередь?»

– Дорога – это, значит, путь к коммунизму, – пояснил Коля. – А выбросить надо алкоголизм, тунеядство, воровство. Да мало ли всяких пороков?

Объявление расклеили в станице. И оно, говорят, озадачило. Озадачило – значит, заинтересовало.

Домой я в этот день не ходил. Сидел в служебном кабинете над своими записями и цитатами до самого вечера, обложенный книгами и журналами. И чем ближе подходил назначенный час, тем сильнее меня охватывало волнение. Не хотелось, чтобы получилось как у академика. Если опять начнут расходиться, провалюсь со стыда. Ему-то что! Он-то, ученый, уехал, и станичники забыли о нем. Мне же здесь жить и служить.

Уже надо было идти в клуб, а мне все казалось, что фактов и цифр еще мало. Буквально на ходу я внес в рукопись несколько поправок и дополнений. В авторучке, как это случается при спешке, кончились чернила. И когда я заправлял ее, выпачкал пальцы. Мыть руки не оставалось времени. Я кое-как обтер их бумагой и поспешил в клуб с тайной надеждой, что моя лекция произведет большой эффект и искоренит зеленого змия в Бахмачеевской и ее окрестностях...

У щита с объявлением толпилась группа станичников. Я намеренно задержался послушать, что говорят.

— Это что, для туристов лекция? — спрашивал у окружающих какой-то старик.

— Для альпинистов, — ответил один из парней. — Как раз для тебя, дед Касьян.

Дед Касьян крякнул, расправил усы:

— Ить придумали у нас альпинизму разводиться... Мне на полати без помощи не забраться... Старуху зову.

Вокруг засмеялись. Я поспешил ретироваться в клуб. В зале набралось много народу, хотя по телевизору в очередной раз показывали «Адьютант его превосходительства». Пустых мест почти не было. Я, честно говоря, был

приятно удивлен и прохаживался по фойе, поглядывая на часы. Тетя Мотя, уборщица, она же билетерша, сообщила мне, довольная:

– Не беспокойтесь, Дмитрий Александрович, будут сидеть до конца как миленькие.

– Хорошо, – кивнул я, не вдаваясь в смысл ее слов. – Постараюсь...

– Теперь старайся не старайся, не разбегутся.

– Это почему же? – спросил я, почуяв подвох.

– Военная хитрость. Я всем говорила, что после лекции перерыва не будет. Кто опоздает к вашему выступлению, на цыган не пущу... А кому охота свои трудовые деньги на ветер выбрасывать?

Я бы на нее, наверное, здорово накричал. Хорошо, как раз подоспел Коля.

– Павел Кузьмич не будет. Извинялся. Надо срочно в шестую бригаду. Так что пошли. Пора. – И потащил за кулисы, чтобы появиться, как президиум, со сцены.

Во мне все клокотало.

– Идиотизм! Это же обман! Отменяй лекцию!

Катаев опешил:

– Ты что, белены объелся?

Мы стояли в комнатке за сценой, где когда-то Нассонов при нас распекал дружков своего сына.

– Быть довеском к каким-то заезжим халтурщикам не желаю!

– Постой. Во-первых, они не халтурщики, а такие же трудяги, как и мы с тобой... Во-вторых, объясни толком, что с тобой?

Я объяснил. Коля почесал затылок:

– Ай да тетя Мотя! Стратег! Я сам дивлюсь, никогда на лекции столько народу не приваливало...

– Дура она, а не стратег. Если всякий будет пользоваться своим положением...

– В дальнейшем этот передовой опыт надо использовать! – засмеялся Коля, хлопая меня по плечу. – Не кипятись. Я ей скажу. Хочешь, выговора добьюсь?

– Ей твой выговор что козе баян, – буркнул я. Ничего не оставалось делать, как положиться на судьбу и свое красноречие.

Мы вышли на авансцену. Коля, из-за отсутствия другого начальства, сел за стол под зеленым сукном.

– Товарищи! – начал я, запинаясь от волнения. – Во-первых, хочу устранить недоразумение, вышедшее не по инициативе и не по указанию организаторов нашей беседы. Лекция сама по себе, а выступление артистов, за которое вы заплатили деньги, само по себе. Так что, если у кого нет желания слушать меня, тот может независимо от этого прийти на концерт после лекции.

По залу прошел шумок. Послышались голоса:

– Сразу бы так и сказали!

– Ничего, посидим ужо.

– Валяй, может, ума прибавится...

– Это была личная инициатива тети Моти, – уточнил с улыбкой Коля. И добавил: – Она, как вы знаете, генеральный директор клуба.

– Заставь дурака богу молиться... – откликнулись в задних рядах со смешком.

Но никто не ушел. Я решил начать не по бумаге. Тем более, первую страницу знал наизусть – переписывал раз пять.

Глядя прямо перед собой, я выпалил ее слово в слово. О том, что в капиталистических странах с каждым годом растет число алкоголиков, наркоманов, а также количество преступлений, часто сопутствующих этому пороку.

— А у нас? — раздался чей-то голос.

— У нас количество людей, потребляющих спиртные напитки, с каждым годом все уменьшается, так же как снижается преступность, — ответил я. На этот вопрос у меня был ответ в лекции. Но значительно позже. И теперь вся стройная система полетела к черту.

Я чувствовал, как на моем лбу выступили капли пота, и достал платок. Мои пальцы оставили на нем явственные чернильные пятна. Если теперь вытереть им лицо, чернила перейдут на него. Покомкав платок в руках, я сунул его обратно в карман.

Наизусть продолжать я уже не мог. И пока отыскивал место, на котором остановился, мысленно кляня перебившего меня вопросом, в зале поднялся шумок.

Строки перед моими глазами плясали, путались, я совершенно растерялся. Найдя наконец фразу, нужную мне, я уткнулся в бумагу и стал шпарить, не поднимая глаз на аудиторию.

И полетели слова о том, что алкоголизм — наследие прошлого, что преступность сократилась бы наполовину, если бы люди перестали совсем потреблять горячительные напитки, что опьянение недопустимо для советского человека и чуждо его моральному облику. Круглые фразы, с законченными формулировками. Когда я дошел до влияния алкоголя на распад семьи и брака, я поднял глаза.

Меня слушало от силы человек десять. Я посмотрел на

Колю. Он напряженно вглядывался в шевелящиеся ряды голов, словно гипнотизировал, чтобы сидели спокойно. Аудитория частью дремала, частью перешептывалась, делилась станичными новостями, перекидывалась шуточками.

Мой голос сник. Я вдруг вырвал из общей массы седую шевелюру Арефы Денисова. Он смотрел на меня печально и, как мне показалось, переживал за меня, за ту неловкость, которая назревала неотвратно.

Коля Катаев не выдержал и постучал карандашом по графину. Но этот тупой звон, вконец лишивший меня уверенности, только на минуту утихомирил станичников.

Когда я дошел до фактов, которые, по моему мнению, должны были заставить задуматься и охоть слушателей (действие алкоголя на животных, на человека и печальные, даже трагические последствия этого), появились первые дезертиры. Они, пригибаясь, потихоньку пробирались к выходу. Дело окончательно проваливалось...

Я понял: надо спасать положение. Но как? Факты и цифры для них – пустая арифметика, абстракция, так же как и те истерты, читанные-перечитанные и слышанные-переслышанные фразы, которые я пачками выписал из книжек, брошюр и которые теперь не доходили до них. Доконала меня спокойная реплика:

– Для чего же ее, растлительницу и совратительницу, продают, горькую-то? Пистолеты-наганы вон не продают...

Я споткнулся и стал. Как израсходовавшая горючее машина, окончившая свой бег по инерции...

Пропади пропадом тот час, когда я затеял всю эту историю!

– Рассчитывают на возрастающую сознательность народа... – ответил я с пафосом. И мой голос потонул в громе смеха.

– Пусти козла в огород! – ухнула какая-то женщина, тербя своего соседа, по всей видимости, мужа, за жидкий чуб. – Будет сосать, пока за вихор не оттащишь. Запретить ее!

– Прокуратурой запретить! Все женщины спасибо скажут!

– Ишь, все! – усмехнулся один из мужиков. – Нонче вы похлеще нашего прикладываетесь... Вовсю используете равноправие...

Мужичка дружно поддержали. Кто искренне, кто из озорства.

Я, честно говоря, обрадовался передышке. И Коля Катаев понял, что надо накалить обстановку. Он не стучал по графину, с улыбкой смотрел в зал.

Что вопрос всех волновал, это чувствовалось. Всех задевал крепко.

...Порыв мой был честный. Это был действительно порыв, в котором искренность, разум, наболевшее вырывались единым дыханием словно одна фраза, которую долго ищешь, пригоняя мысли и слова в четкий пучок чувства.

– Мне повезло, – сказал я тихо и кажется взволнованно, когда страсти, бушевавшие в моих слушателях, почти улеглись. – Мне повезло, что мой отец не погиб на войне. Это хорошо, когда у тебя есть отец.

Я вдруг увидел, что простые слова, обыденные и мои, совсем отличные от тех, которые я только что тарабанил с

чужих страниц, заставили зал умолкнуть. И удивиться их простоте.

– И какая глупость, какая, черт возьми, жестокость по отношению к своему сыну оставить его сиротой в наше время. Вы знаете, о ком я говорю. Умирают от болезни, от старости, от несчастного случая, в конце концов геройски, на посту. Но от водки!..

Я захлебнулся волнением, перехватило горло. Заскрипели стулья: люди невольно оглядывались, ища вдову Герасимова. Но ее не было. И они знали, что ее нет. Что она не ходит ни в кино, ни на концерты. Высматривали так, на всякий случай.

– Я знаю, – звучал мой голос в полной тишине, – что до сих пор в станице шушукаются. Обвиняют во всем меня. Но вы поставьте себя на мое место. Представьте себе, что могло получиться, не изолируй я Герасимова в ту злополучную ночь. Что могло произойти с его женой, ребенком? Что бы вы говорили тогда?

– Правильно сделал! – вылетела из зала реплика. – Перестрелял бы, это точно...

Я уже не думал о том, что надо говорить. Меня слушали. Внимательно и сочувственно.

– Скажу откровенно: впервые видел смерть. И вы поймите, каково мне? Это первый год моей работы.

– Как не понять!.. – раздался все тот же голос. И я был благодарен этому человеку, хотя не мог разглядеть, кто он.
– Правильно говоришь. И делаешь...

Речь моя потекла спокойней. Теперь не надо было читать по бумажке. Особенно все оживились, когда я сказал, что пора кончать с самогоноварением, что сейчас не буду

называть фамилий, но приму все меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Многие, как по команде, обернулись на тетю Мотю, сидевшую на стуле у входной двери. В станице отлично знали, что она большой мастер в этом деле...

Лекцию я закончил неожиданно для многих. Четверо-стишьем Хайяма:

*Запрет вина – закон, считающийся с тем,
Кем пьется, что, когда и много ли и с кем.
Когда соблюдены все эти оговорки,
Пить – признак мудрости, а не порок совсем...*

– Ну ты чудак человек, – смеялся Коля Катаев, когда мы шли с ним через артистическую комнату после лекции. – Начал за упокой, а кончил во здравие!

В комнате налаживали реквизит и настраивали гитары приезжие артисты в ярких атласных одеждах.

– С чего ты взял? – удивился я, еще не успокоившись от волнения и пощипывая ус – жест, появившийся у меня совсем недавно.

– Как это ты сказал... «Пить – признак мудрости, а не порок совсем...» Это наши запомнят, запомнят!

– Не я сказал, а Хайям, – поправил я.

– Все равно, – смеялся Коля.

– Так ведь почти все это делают! Хотя бы по праздникам. Но надо же с умом, красиво...

– Постой, а ты действительно в рот не берешь? – спросил вдруг Коля.

– Нет.

– И никогда не пробовал?

– Почему же, пробовал. В Москве. Поступал в МГУ. На спор выпил бутылку водки.

Коля сочувственно покачал головой:

– Драло? Отдавал концы?

– Совершенно нормально. Как будто ни в одном глазу. Смеяться хотелось... Прутья железные гнуть...

Катаев недоверчиво посмотрел на меня:

– И все?

– Все.

– Не заливаешь?

– Что ты пристал?.. – разозлился я.

– А сейчас почему не потребляешь?

– А зачем?

Коля задумался. Тряхнул головой и засмеялся:

– Действительно, зачем?

И потащил меня слушать артистов. Сидели мы недалеко от Арефы и Зары, и я больше наблюдал за ними, чем смотрел на сцену.

В коротком – перерыве между моей лекцией и концертом мне показалось, что Денисов хотел подойти поговорить. Но меня окружили дружинники, нахваливая мое выступление. Я отшучивался, краснел и теребил свой ус.

После концерта, который покорила бахмачеевцев, я намеренно задержался.

Станичники, довольные, растекались группками по тихим улочкам, а хуторских Коля организовал развезти на машине.

Придумано было здорово. И я уверен, что сделал это он не из-за приезжих артистов.

Перед тем как залезть в машину, Арефа все-таки подошел ко мне и спросил:

– От Ксюши есть известия?

Ксения Филипповна уехала в область на семинар.

– Пока нет, – ответил я.

Конечно, не за этим только обратился Арефа. Он постоял, помолчал.

– Будешь завтра у себя?

– Конечно! Заходите, Арефа Иванович.

Денисов кивнул, хотел еще что-то сказать, но махнул рукой.

– Ладно... Завтра.

Ему, видно, надо было сообщить что-то важное. И тяжелое для него, Арефы. Что ж, хорошо, он первый решил обратиться ко мне.

Но почему я сказал ему, что после обеда? И вообще, понятие рабочего дня было у меня очень растяжимо. В первую же неделю я повесил в своей комнате объявление о часах работы и приема. Я долго колебался, когда написать перерыв.

– Пиши перерыв с часу до двух, как у Клавы, – посоветовала Ксения Филипповна. И с усмешкой добавила: – А вообще, у нас в деревне перерыв с десяти до четырех, если удастся, конечно.

– Дня? – спросил я.

– Кто ж днем почивает, Дмитрий Александрович, – усмехнулась Ракитина.

Ее горькую усмешку я понял потом. Меня беспокоили днем и ночью, в будни и в праздники, начальство и колхозники.

В какой раз позавидовал Борьке Михайлову: в городе все стоит на своих местах, железный порядок службы никто не нарушает, и в свободное время ты сам себе хозяин.

И все-таки, почему я сказал Арефе, чтобы он пришел после обеда?

Вот. Решил с утра заняться пропажей Маркиза по всем правилам. Как-никак, а скакуна оценивали в тысячу рублей. И если его украли, в общем, дело что ни на есть самое уголовное.

21

Калитка во двор бабки Насти была отворена настежь. Облезлый кабысдох с утра уже спал под кустами, выставив на солнце свой костлявый хребет.

Я на всякий случай легонько стукнул в окно Ларисы. Ее не было. Еще в больнице...

Я вошел в открытую дверь сеней, нарочито громко стуча по полу:

– Разрешите?

Проскрипели половицы, и из своей комнаты выглянула хозяйка.

– Ее нету, нету ее, – замахала она сухой, скрюченной старостью рукой.

Баба Настя, как все глухие, старалась говорить громче обычного.

– Знаю! – тоже почти прокричал я. – К вам пришел, баба Настя.

Она не удивилась.

– Проходи, – засуетилась старушка, трогая на ходу

подушку и покрывало на железной кровати, шитво, оставленное на простом, некрашеном столе, одергивая на окнах занавески...

Возле печки стояла еще лежанка, застланная чище и наряднее, чем кровать. Поверх пестрой накидки из розового муравчатого ситчика лежала выстиранная и выглаженная сатиновая мужская рубашка. Так кладут одежду для сына или мужа в праздничное утро...

В комнате было чисто. Я предполагал иначе. Наверное, из-за неопрятного пса.

Но особенно выделялся угол с лежанкой. Он словно светился чистотой, уютом и уходом.

Бабка Настя молча следила за тем, как я оглядываю хату.

— К Октябрьским собираюсь побелить. Чтоб как у всех... — прошамкала она, словно оправдываясь.

С первых дней пребывания в станице я заметил, что здесь, на юге, любили чистоту. В какие бы дома я ни заходил, везде отмечал это. Даже в мазанках, которых было довольно много в Бахмачеевской, почти каждое воскресенье хозяева перетирали полы красной глиной с навозом. Надо сказать, что от земляного пола в таком климате куда прохладнее, чем от деревянного.

Чтобы поддержать разговор, я кивнул:

— Это правильно. Когда в хате красиво, на душе светлей.

— Не для себя, — махнула рукой старуха.

— Понимаю, — сказал я.

Лариска, значит, скрашивает ей жизнь. Что ж, пожалуй, она правильно сделала, что поселилась у бабки Насти. Старая да молодая...

– Вы в ту ночь ничего не заметили подозрительного? – спросил я.

– Это когда конь сбег?

– Да, когда пропал конь.

Бабка Настя, прикрыв сухонькой рукой рот, смотрела сквозь меня, сосредоточенно перебирая в своей памяти события прошедших дней. Наверное, они у нее спутались в голове, и она боялась сказать что-нибудь не то.

– Может, кто посторонний приходил? – подсказал я.

– Да нет, товарищ начальник. Мы живем тихо. Гостей не бывает...

– Значит, в доме были только вы и Лариса, ваша личка?

– Да, только свои: Лариса, я и Анатолий.

– А кто такой Анатолий?

– Сын мой. Младшенький...

Я удивился: почему девушка никогда мне не говорила, что у бабки Насти есть сын?

– А сколько вашему сыну лет?

– Пятнадцатый нынче будет, – ласково сказала старушка.

На вид бабке Насте – лет шестьдесят восемь. Но в деревне женщины выглядят куда старше, чем в городе. И все же... Угроздило же ее родить под старость! Что ж, бывает. Сестра моей бабушки последнего ребенка родила в сорок девять лет. Мы с моим дядей почти одногодки... Представляю, как бабке Насте трудно его растить. Сама еле ходит.

– А где ваш сын? – спросил я.

– Бегаёт, наверное. Может, на речку подался с паца-

нами. Их дело такое – шустрить да баловаться. Придет с улицы, переоденется, – показала она на рубаху на лежанке. – Они, пацаны, хуже порося: чем лужа грязнее, тем милее...

Надо будет поговорить с Анатолием. Мальчишки – народ приметливый. Но почему я раньше его не видел? Правда, хата бабы Насти на самой околице. Далеко от сельсовета.

– Так, может быть, вы все-таки вспомните? – опять спросил я, чувствуя бесполезность нашего разговора.

– Да что вспоминать? Нечего, милок, – ответила Самсонова, как бы извиняясь. – Разве что пес брехал? Так он каждую ночь брешет. С чего брешет – не знаю. Привыкла я. Не замечаю. А так ничего приметного не было. Ты уж у Ларисы спроси. Она молодая. Память лучше....

– Придется, – вздохнул я. – Сын ваш скоро придет?

– Кто его знает? Може до вечера не забежит.

– А кушать?

– Куда там! Это у них на последнем месте. Ежели и запросит живот пищи, они на бахчу, на огороды. Помидоров, морковки и огурцов так натрескаются, что от обеда отказываются...

– Это верно. Ну я пойду, – поднялся я.

Бабка Настя суетливо последовала за мной в сени.

– Не слыхал, Ларису скоро выпишут?

– Не слыхал, – ответил я.

– Все проведать ее собираюсь. А как хлопца оставишь? Ему и постирать надо, и накормить...

– Я, может, еще зайду. Поговорю с Анатолием.

– Милости просим, заходи. – Старушка тихо улыбалась

чему-то своему, расправляя своими скрюченными пальцами складки на длинной сатиновой юбке...

Я поспешил к себе, так как должен был зайти Арефа Денисов.

Честно говоря, мне не верилось, что он и Зара не знают, где сын. Я вспомнил разговоры Ксении Филипповны о «беспроволочном телеграфе».

Если Сергей причастен к исчезновению Маркиза, какой смысл родителям выдавать своего сына? С другой стороны, если Чава действительно пропал (о чем они имели достаточно времени разузнать), почему Зара не обращается с просьбой начать его розыски?

Скорее всего, Денисов-старший кое-что знает. И знает неприятное. Поэтому и колеблется: открываться мне или нет. Закон законом, но родное дитя дороже...

Время тянулось медленно. Я нет-нет да и поглядывал в окно, не появится ли высокая фигура Денисова?

От раздумий оторвала меня Оксана – секретарь исполкома сельсовета. Она уже вернулась из Москвы, сдав очередную сессию во Всесоюзном юридическом заочном институте. Насколько мы сошлись с Ксенией Филипповной, настолько не симпатизировали друг другу с ее секретарем.

– К телефону, – бесцеремонно ворвалась она ко мне. – И побыстрее... Междугородняя...

– Успеется, – сухо ответил я, закрывая на ключ сейф и недоумевая, кто бы мог мне звонить, да еще на номер сельсовета. Борька Михайлов? Родители?

Может быть, Лариса? От этой мысли вспотели ладони. Но она рядом, в районе. Линия местная...

Оксана с презрением смотрела, как я не спеша прошел к ней в приемную и взял трубку.

Бог ты мой, конечно, Ксения Филипповна! Кто же еще?

– Как дела, Дмитрий Александрович?

– Идут, спасибо. – От неожиданности я не знал, что и говорить.

– А я звонила Оксане по нашей сельсоветской работе, дай, думаю, с тобой покалякаю... Нас тут задержат еще. Семинар, понимаешь. Век живи, век учись, а все дураком помирать придется. Алло, ты слышишь?

– Слышу, слышу.

– Молчишь что?

– Новенького нет, – замялся я.

– Совсем нет?

– Как будто нет.

– Аверьянова из больницы вернулась?

– Нет еще.

В трубке некоторое время молчали.

– А Серега Денисов объявился?

– Нет, – ответил я глухо.

– Вот бродяга, – усмехнулась Ксения Филипповна. – Я тут с твоим дружкой познакомилась. Он теперь стал родственником моего земляка.

– Михайлов, что ли? – обрадовался я. – Борька?

– Он самый. Солидный у тебя друг, с башкой. Мы о тебе все вспоминали...

– Привет ему передайте, – попросил я.

– В обязательном порядке.

В наш разговор влезла телефонистка:

– Ваше время истекло. Прошу закончить разговор.

– Уже кончаем, милая, – откликнулась Ксения Филипповна и быстро произнесла: – Встретишь Арефу или Зару, поклоны от меня.

Я не успел ответить. Нас разъединили.

Этот телефонный разговор меня удивил. И не только потому, что касался клубка дел и событий, засевших в моем мозгу и в моей душе.

Было все-таки удивительно каждый раз ощущать и слышать человека, так заинтересованного в людях, в их проявлениях и поступках.

Передавая через меня привет семье Денисовых, что она хотела этим сказать? От чего меня предостерегала?

Я и сам ведь не спешил с выводами, не торопил события. Может быть, даже излишне медлил.

И вообще для меня всегда мучителен окончательный выбор, окончательное решение. И даже тогда, когда я на что-либо все-таки решаюсь, потом еще долго сомнения и неуверенность истязают меня. Все время кажется, что для решительного действия надо было еще многое узнать, многое учесть, до чего я не дошел, не докопался. И это неучтенное представлялось главным.

Для Ксении Филипповны существовали прежде всего простые и ясные состояния: смерть и рождение, спокойствие и беда, бедность и обеспеченность, здоровье и хворь, честность и воровство, любовь и ненависть. Опираясь на них, она довольно точно охватывала сущность явления, сущность человека. А все остальное было блажью или шелухой. И, признаться, меня очень смущало, когда Ксения Филипповна смеялась над слухами и разговорами о том, что исчезновение Маркиза – дело рук Чавы. Может быть, она была все-таки необъективной?

Я терялся в догадках, чем вызвано поведение Ракитиной. А Арефа все не ехал и не ехал, и меня самого тянуло сесть на мотоцикл и отправиться на хутор. Не поехал я единственно из-за того, что мы могли разминуться.

Потом к сельсовету подкатила грузовая машина – старый колхозный «ГАЗ-53». В ее кузове шумели, горлалили женщины. Я подошел к окну, чтобы лучше разглядеть, что происходит. Брань все разгоралась, и я увидел, что на землю через борт кто-то старается стащить Сычову, с красным от злости лицом.

– Товарищ Кичатов, Дмитрий Александрович! – громко крикнули с улицы.

Я узнал одну из моих помощниц – Любу Коробову. Пришлось выйти. Люба вместе с двумя ребятами-дружинниками держала за руки жену моего предшественника, поливавшую их отменной руганью.

– Вот, задержали с поличным! – сказала Люба.

– Породистая несушка! Зараз полсотни яиц снесла! – крикнула одна из женщин, стоящих в кузове.

Вокруг засмеялись.

Опять Сычовы, пропади они пропадом! Ну и семейка!

– У-у, кирпичная! – зашипела задержанная на Любу Коробову, стараясь высвободить руку. – Рожа ни на что не гожа, так подалась к парням в дружину. Тьфу, пугало огородное!

Люба залилась краской. Только кончик носа и мочки ушей побелели от обиды.

– Сычова, прекратите ругаться! – строго сказал я.

– Чего она хватает! – огрызнулась та. – Пусть у завфермы спросит – мои это яйца, на трудодни...

– Врет, – перебила дружинница, – ворованные.

– Ах ты, шалава степная! – заорала Сычова.

– Прекратить! – рявкнул я. – Вы, гражданка Сычова, не имеете права оскорблять представителя власти.

– В гробу мы видали таких представительниц...

Ребята, помогавшие Коробовой, смущенно молчали.

То ли боялись злого языка Сычихи, то ли им было стыдно связываться с женщиной.

– Пройдемте, – кивнул я на дверь сельсовета. – Разберемся в спокойной обстановке.

– Пусти, говорю! – рванулась снова Сычова.

– Отпустите ее, Люба... Она сама пойдет, – спокойно сказал я.

Сычова, освободившись от дружинников, пошла к дверям, широко расставляя руки. Тут я только заметил, что на кофте у нее застыли желтые подтеки.

Вместе с нами в комнату милиции набилось еще человек шесть колхозниц, ехавших в машине.

– Садитесь, – предложил я всем.

Станичники расположились, кто на стульях, кто на диване. Лишь одна Сычова потопталась на месте, но не села.

– Не может она сесть, – хихикнула одна из колхозниц.

– Почему? – строго спросил я.

– Боится, что яйца раздавит, – не унималась колхозница под смешки присутствующих.

– Отставить шуточки, – остановил я их и спросил у Любы: – Расскажите, как все произошло. С чем вы ее задержали?

– С яйцами, – ответила девушка.

– Где они?

– Под кофтой, – сказала девушка. – А вы отвернитесь, Дмитрий Александрович... И вы, ребята, что уставились?

– Пошли, выйдем, – предложил я дружинникам.

Мы вышли в коридорчик. Парни хихикали, перемигивались. Я видел, что им очень хотелось бы поскорее отсюда удрать. В станице их теперь засмеют: с бабой связались, да еще при каких обстоятельствах.

– Можно! – крикнула Люба.

На столе, на газете, высилась внушительная горка яиц, грязных, в курином помете. Несколько штук было раздавлено. Белая скорлупа заляпана белком и желтком.

Нарушительница сидела на диванчике, запахивая кофту, чтобы скрыть желтые разводы.

– Сорок четыре – это же надо ухитриться!

– Мне их выписали на трудодни, – мрачно твердила Сычова. – Спросите у завфермой.

– А почему тогда вы прятали их за пазухой? – спросил я.

– Не прятала. Сумку дома забыла... – отвечала она уже не так уверенно.

– Гражданка Сычова, давайте лучше начистоту. Вы эти яйца украли?

Она посмотрела на меня с ненавистью.

– Я спрашиваю, – повторил я.

– Не буду я тебе отвечать. Как бы ни сказала, все равно в каталажку меня отвезешь.

– Если надо будет, отвезу.

– Это тебе как маслом по сердцу, – ухмыльнулась она. – Погоди, мы на тебя управу найдем...

– Давайте не «тыкать», – сказал я, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться.

– Завидуешь, – не унималась Сычова, – завидуешь, что у моего мужа был авторитет, а у тебя нету... Девок в свою компанию тащишь! – Она указала на Любу. – Знаем, для чего ты с ней в физкультурном зале запираешься...

Люба Коробова смотрела на нее, расширив глаза.

– Сычова, не забывайтесь! – задохнулся я.

– Я тебе отвод даю. Имею право! – вдруг закричала она во весь голос. – Отвод даю! Граждане, товарищи, он меня специально засадить хочет! Интерес у него есть... – Протянула она руки к присутствующим: – По закону он не имеет права, Митьку извел...

– Маша, Маша, не лезь в бутылку, – загомонили разом колхозницы.

– Напортишь себе!

– Так накадишь, что святых задымишь...

– Опамятуйся, дура!

– Все, поговорили! – сказал я громко. В комнате наступила тишина. – Будем составлять протокол.

Крик Сычовой сменился рыданиями. И пока женщины успокаивали ее и отпаивали водой, я стал выяснять у Любы, как все произошло.

Дружинники, оказывается, караулили несколько дней. Все больше утром и вечером, после окончания работы птичниц. Но впустую. Несколько работниц попались с яйцами. Но это был пустяк: два-три яйца всего.

А сегодня днем идут они по дороге от птицефермы. Люба сразу приметила, что впереди шагает Сычова. Да как-то не так. Руки неестественно растопыривает. Нагнали они ее, нарочно разговорились. Сычова все старалась отстать. Тут как раз проезжала машина с колхозниками в

центральную усадьбу. Ребята остановили ее. Сычовой ничего не оставалось делать, как полезть с ними в кузов. Пробралась она к кабине, стала держаться за борт. И уже около самой Бахмачеевской шофер остановился почему-то, а затем резко рванул вперед. Ну, она привалилась грудью к кабине. И потекла из кофты яичница...

Мы составили протокол, все честь по чести. На всякий случай я позвонил на птицеферму. Конечно, яйца оказались ворованными.

Я колебался, что делать с задержанной. Пугнуть – как советовал Нассонов? Таковую не запугаешь. Сколько раз сходило с рук. Еще больше обнаглеет. Наказать? Предлагаю, какую бучу поднимет ее муженек!

Я прошел в кабинет Ксении Филипповны и позвонил председателю.

Он попыхтел в трубку, побрякал. И спросил:

– Значит, много шуму наделал?

– При чем здесь шум? Хищение налицо. Вы бы слышали, как она крыла всех.

– От этого, положим, не умирают, – усмехнулся Геннадий Петрович, сам любивший крепкое словцо. – А вот воровство пресекать пора. Скажи, как это она ухитрилась столько яиц в пазуху упрятать?

– Ухитрилась, – сухо сказал я.

– Коммерсантка. – Он помолчал. – А зачем, собственно, ты звонишь мне?

– Ваше ведь задание выполнял, – в свою очередь усмехнулся я.

– Выношу благодарность перед строем.

– Спасибо.

Я медлил. Чувствовалось, что Нассонов тоже не хотел заводить дело далеко. Он откуда-то пронюхал, что Сычов слал на меня анонимки... Сычов лягается больно.

– Повезу в райотдел, – сказал я.

– Как знаешь, – неуверенно проговорил председатель. – У тебя на руках законы.

Я положил трубку, досадуя на самого себя. Вот опять моя неуверенность! Ведь знал же, что разговор будет именно таким... Надо везти в райотдел. Так будет лучше.

Сычова села в коляску присмирившая. Я взял с собой Коробову, и мы покатали в город.

Стояло золотое лето, обремененное густым разнотравьем, уставшее от жары и хлопот родить плоды. Степь выгорела. Ее желтые просторы недвижимым ковром пролегли под солнцем. Ветер не тревожил сухую полынь.

Природа, казалось, дремала в послеобеденном полусне. Все ее звуки, все запахи выветрились. Только звенели шины по размягченному асфальту, мягко урчал двигатель, да резко пахло бензином и жирной духотой гудрона. В суматохе я забыл про Арефу и ругал себя, что никого не предупредил задержать его: наверняка оборочусь за троечку часов.

В Бахмачеевском меня отчитал майор:

– Составил протокол, и пусть себе гуляет, пока проведешь расследование...

Я растерялся:

– Хотел, чтобы здесь. Объективнее... Скажут, что пристрастен, – оправдывался я.

Мягкенький недовольно хмыкнул:

– Тебе поручили участок, стало быть, доверяют. Ежели

по каждому случаю к нам будут возить со всего района нарушителей, нам и двести человек не хватит штата в РОВДе. Закон знаешь?

– Так точно, – уныло ответил я.

– Так выполняй его строго. А то действительно кое-кому даешь повод...

Он замолчал. И я понял, что Мягкенький давно догадался, что автор анонимок на меня – Сычов.

– Что прикажете? – спросил я.

– Что прикажу? Отпусти Сычову. Сам отлично знаешь, что расследованию она не помешает.

– Слушаюсь...

– И еще лучше – отвези сам назад. По-деликатному. Вежливость, она в нашем деле не помеха. Непрístupней и крепче выглядеть всегда будешь.

Вышел я от начальника как ошпаренный. Сычова, не в шутку перепугавшись, опрометью метнулась из РОВДа, когда ей сказали, что она свободна. Домой ехать со мной отказалась. Рада была, что отпустили.

Я позвонил на Бахмачеевскую. Оксана ответила, что Арефа был и, не дождавшись, уехал домой. Жаль.

Когда я немного успокоился после выговора начальства, меня захлестнула мысль: рядом Лариса. В двух минутах ходьбы от милиции.

Мы вышли с Любой Коробовой на улицу.

– Домой? – спросила она. И я почувствовал, что ей хочется потолкаться в магазинах. Жалко было упускать подвернувшуюся оказию.

– Знаешь, Люба, у меня тут еще одно небольшое дельце. Ты пока походи по магазинам, посмотри, а через часок двинем.

Уговаривать ее не пришлось. Она тут же исчезла в универмаге.

Первым делом я смотался на рынок. Купил самый большой арбуз. Хотел еще было прихватить помидоров, но постеснялся: уж этого добра, наверное, хватает.

Лариса мне обрадовалась. Она достала где-то нож и алюминиевую миску. Мы устроились в глубине садика. Возле каждой скамейки стояло ведро для корок, потому что теперь к больным приходили обязательно с арбузами.

– Ты любишь арбуз с черным хлебом? – спросила девушка.

– Не знаю. Не пробовал.

– Постой, принесу хлеба.

Она снова побежала в комнату.

Я был озадачен. Вела она себя так, будто ничего не было – ни Чавы, ни Маркиза. Мы сидели как хорошие, близкие друзья, над нами ласково светило солнце, добираясь до земли сквозь жидкие ветви верб.

– Здорово с хлебом, правда? – спросила Лариса.

– Действительно, – подтвердил я.

– Это я здесь научилась, в колхозе.

– И давно ты здесь?

– Второй год. Сразу после культпросветучилища.

– А библиотека – по призванию?

Она засмеялась:

– У тебя милиция – по призванию?

– Почти...

Лариса недоверчиво усмехнулась.

– Ну и у меня, значит, почти... Все девчонки хотят быть актрисами и чтоб обязательно знаменитыми, а становятся библиотекарями, учительницами, швеями...

– Ты тоже хотела быть артисткой?

– А ты думаешь!

– Одного хотения мало. Надо много уметь. Я в «Советском экране» читал, как нелегко сниматься в кино.

Лариса тряхнула головой:

– Ерунда! Это кому как повезет. Я серьезно готовилась. Плавала, бегала на стадионе, ходила на ипподром. А в цирковое училище не прошла. Срезалась. Ты бы видел, какие девчонки прошли по конкурсу! Бездари... Не думай, что хвалюсь. Я два года пыталась. Не повезло... Ревела как дура. Но ничего не поделаешь! Пришлось пойти в культпросветучилище.

– Я тоже поступал в МГУ. На юридический.

– Ну и как?

– Как видишь! – засмеялся я. – Следователь по особо важным делам...

– Ты еще можешь продвинуться... – Она с грустью посмотрела куда-то вдаль.

– А ты?

– Тю-ю!

Меня рассмешило ее восклицание, которое я часто слышал в Бахмачеевской.

– А Маркиз действительно хороший конь? – осторожно спросил я.

– Отличный! – сразу отозвалась она. – Представляешь, как бы он смотрелся на манеже, в цирке? Ты цирк любишь?

– Люблю. Акробатов, зверей. И клоунов. В Москве все собирался сходить в новый цирк, что на проспекте Вернадского. Куда там! Никак не мог достать билет...

– Пишут, красивый цирк.

– Еще бы! Наверное, манеж раз в десять больше, чем в старых.

Лариса ткнула в меня пальцем и рассмеялась.

– Ты чего? – удивился я.

– Чудак! Все, ну все манежи в мире одного размера – тринадцать метров.

– Иди ты!

– Вот тебе и иди. Стандарт.

– Это что же, как хоккейное поле?

– Оно тоже всегда одинаковых размеров?

– Всегда.

– И цирковые манежи тоже. Это повелось с первого цирка во Франции. Был такой наездник – Франкони. Он жену и сына Наполеона учил верховой езде. Как называют в цирке – «школе». Его цирк назывался «Олимпийский». Оттуда и пошли эти тринадцать метров.

Я прикинул расстояние.

– Не много.

– Достаточно. В старое время на обыкновенном манеже разыгрывали грандиозные пантомимы, с водой, фонтанами, лодками. Места хватало.

– Когда это, в старое?

– В прошлом веке. И в начале этого.

Мы не съели и половины арбуза, а уж больше не могли.

– Хочешь еще? – предложил я.

– Лопну. Ты хочешь – режь.

– Во! – провел я рукой по горлу. – Где бы руки помыть? Липнут.

– Пойдем.

Она подвела меня к водопроводной колонке. Когда

Лариса держала рычаг, а я мыл руки, девушка тихо сказала:
– Смотри.

Из палаты вышел отец Леонтий, держа под руку свою жену. У Лопатиной в руках был небольшой узелок. Отец Леонтий чему-то улыбался.

Проходя мимо нас, супруги задержались.

– Лара, я там в тумбочке оставила расческу и бигуди. Пользуйся, – сказала Лопатина.

– Хорошо, Оля. Вообще-то я тоже скоро...

– Здравствуйте, – вежливо поклонился отец Леонтий.

– Приветствую, – ответил я.

– Познакомься, Оля. Дмитрий Александрович, твой земляк.

Оля протянула мне руку. Я показал свои мокрые. Она улыбнулась.

– Я знала, что вы из Калинина. Зашли бы к нам как-нибудь? А то даже не раскланиваемся.

– Зайду, – пообещал я. – Обязательно.

– Заходите действительно. – Отец Леонтий весело посмотрел на меня. И еще раз повторил – Заходите. – Он что-то хотел добавить, но, потоптавшись, только кивнул: – До свидания. Ждем.

Мы вернулись на скамейку.

– Дима, скажи честно, ты по делу ко мне или просто поведать? – неожиданно спросила Лариса.

– Вообще-то поговорить надо, – вздохнул я.

– Ты молодец.

– Это почему?

– Противно, когда врут. Ну давай спрашивай.

– Пойми меня правильно, – неуверенно начал я, – ни-

кого никогда не интересовало бы то, что происходило у вас в последние дни с Сергеем... – Я посмотрел на нее, какая будет реакция.

– Продолжай, – кивнула она.

– Лучше ведь от тебя узнать, чем говорить с кем-то, – оправдывался я.

– Это верно, – сказала Лариса. – Только я уверена, что это не имеет отношения к Маркизу.

– У вас ведь вышла какая-то ссора?

– Но при чем здесь лошадь?

– А при том: скакуном очень интересовались приезжие. Очень! В том числе и некий Васька. А Сергей крутился последние два дня с этим Васькой. Водой не разольешь.

Лариса нахмурилась.

– Ты знаешь, что Нассонов хотел выгодно обменять Маркиза? – спросил я.

– Знаю. Но опять же при чем здесь Сергей?

– Как ты думаешь, сколько стоит Маркиз?

– Ну восемьсот – девятьсот.

– Председатель оценивает в тысячу.

Она усмехнулась:

– То он хотел в табун его забраковать, а теперь – тысяча! Вообще этот Нассонов...

– Оставим Нассонова в покое, – напирал я. – Что говорил тебе Сергей по поводу Маркиза?

Лариса склонила голову набок, как бы взвешивая, что можно говорить, а чего не следует.

– Видишь ли, Маркиз никому не давался. Кусал, брыкался. И когда я обратилась к Нассонову насчет транспорта для поездок по хуторам, он дал Маркиза. Лошадей я люблю

с детства. Потому и стремилась в цирковую школу. А Сережка поначалу испугался за меня... Он ведь первый пытался объездить Маркиза. Не получилось.

– Но ведь у тебя получилось?

– Да, сама не знаю, чем угодила Маркизу.

– Понравилась, наверное.

– Может быть.

– Хорошо, я это понимаю. Но почему ты вдруг не захотела участвовать в скачках?

– Сергей был против.

– Почему?

– «Почему, почему»... Потому что боялся, наверное.

– Так мы выяснили: с Маркизом ты отлично поладила! – сказал я нетерпеливо.

– Маркиз был резвее его кобылы... Может быть, не хотел осрамиться.

– Понятно. Странные они люди. Всю жизнь целыми семьями проводили в пути, на лошадях, а считают зазорным, если женщина сядет на коня. Неужели так у многих народов?

– Нет, такого больше не знаю. Вон в Средней Азии женщины веками были под паранджой, в гаремах, и то у них есть спортивная игра «Кыз-Куу». Это значит – «Догони девушку».

– Что это за игра?

– Парень должен нагнать девушку на коне.

– И что тогда?

– Если догонит, получает поцелуй.

– А если не догонит?

– Девушка на обратном пути нагоняет такого неудачника и наказывает плеткой.

– Интересно, – сказал я. А сам подумал, что Ларису я бы догнал во что бы то ни стало. Но я не умею ездить на лошади! Ничего, научился бы... – Все-таки странно. Цыгане – народ вольный, и такой предрассудок...

– У нас тоже много предрассудков. Черная кошка, число тринадцать, сидеть перед дорогой.

– Что ж, верно. А почему же вы поссорились?

– Дима, честное слово, это совсем-совсем другое.

– Давай предположим, – поднял я руку, – ему не хочется, чтобы ты скакала на Маркизе...

– Опять ты за свое...

– Не перебивай, – попросил я. – Скажи честно, мог он угнать его?

Лариса молча опустила голову.

– Может, не с преступной целью? – попробовал я смягчить вопрос.

Она подняла на меня умоляющие глаза и тихо сказала:

– Давай больше не будем говорить ни о Маркизе, ни о Сергее...

Я вздохнул.

Разговор оказался бесплодным.

– Почему ты никогда не говорила, что у бабки Насти есть сын? – спросил я после некоторого молчания.

Лариса печально вздохнула:

– Нет у нее сына. Одинокая она.

– Как нет? – удивился я.

– Нет. Было два. Один погиб на фронте, другой – нечаянно подорвался на mine.

– Постой, постой. А Толик? Я же сам видел, она ему рубашку приготовила...

– Вот-вот. Это какой-то ужас! Она разговаривает с ним, спать укладывает, зовет обедать, рассказывает ему что-то... Понимаешь, ей кажется, что он живой.

– Значит, она того?..

– Самое удивительное, что бабка Настя во всем другом совершенно нормальная. Добрая, заботливая.

– И все-таки... Каждый день слышать, как разговаривают с мертвым. – Я вспомнил наш разговор с Самсоновой. По спине поползли мурашки.

– Привыкла. Теперь не замечаю.

– И когда же это случилось с ее сыном?

– В сорок третьем. Мальчишки возвращались с речки, с Маныча. Толик наскочил на мину. Ему было четырнадцать лет.

...Мы возвращались с Любой домой в конце рабочего дня. У меня все не шел из головы разговор с Ларисой.

Почти тридцать лет прошло с окончания войны. Но эхо до сих пор доносит до нас ее отголоски. Я видел инвалидов Великой Отечественной – без руки, без ноги, слепых, со страшными ранами. Но рана, которую носит в себе тихая баба Настя, потрясла меня больше всего.

Бедная старушка... Может быть, ее нереальная реальность – ее спасение? Может быть, она помогала ей вставать каждое утро, чтобы прожить день? Наверное, это была единственная надежда, единственное возможное ощущение в жизни. И отними у нее его, все рухнуло бы, разбилось, и осталась эта настоящая реальность, в которой бедная бабка Настя наверняка не смогла бы жить...

От этих раздумий оторвала меня Люба Коробова.

– Дмитрий Александрович! – прокричала она из коляски, перекрывая шум мотоцикла и встречный ветер. – Отпустите меня из дружины!

– Почему? – крикнул я.

– Слышали, что Сычиха про меня плела? При всех...

– Не обращай внимания.

– Не она одна. И другие, я знаю.

– Уйдешь, будут говорить, что правда это... Дескать, застыдилась.

– Вы так думаете?

– Так.

Километра через три она опять:

– Все равно не нужно это.

– Ты о чем?

– Дружинников, говорю, не нужно. Я в «Литературке» читала, как один врач, которого обвинили в трусости, когда он не стал связываться с хулиганами, сказал, что это дело милиции...

– Я не читал. Есть такие люди – моя хата с краю.

– Нет, дело не в этом. Он, этот врач, объяснил так: когда он делает операцию, то никому не позволяет ему помогать. Можно напортить. Так же и в борьбе с преступниками и хулиганами. Тоже пусть занимаются люди, имеющие соответствующую профессию.

– Наверное, что-то не так.

– Так. Именно так, – повторила Люба.

– Дружины нужны. Конечно, для определенных целей. Они ведь не подменяют собой милицию...

Наша беседа оборвалась. Разговаривать при езде было очень трудно.

Я подумал, может быть, тот врач кое в чем прав. Взять хотя бы задержание преступника. Столкнись, например, Люба Коробова с вооруженным бандитом, он же ее в два счета отправит на тот свет. Что в этом хорошего заведомо гробить человека?

В школе милиции нам говорили, что было одно время, когда милицию резко сократили, уповая на отряды дружинников. Из этого ничего хорошего не вышло. Профессия наша как у всех – недоучки и самодеятельность вредят делу. А с другой стороны, я ведь не мог бы со всем справиться один. Просто времени и рук не хватило бы. И с основной работой, и со многим другим. Сычиха, Славка Крайнов, порядок в клубе, праздничные гуляния... Лучше не перечислять. Нет, без дружины нельзя.

– Домой? – спросил я у Любы возле церкви, маяком возвышающейся на окраине Бахмачеевской.

– Я сама дойду, спасибо.

– Сиди.

Я проехал мимо своего дома, сельсовета в другой конец станицы.

– Насчет дружины не отступай, – сказал я девушке на прощание. – В жизни может пригодиться...

Скорее домой! Раздеться, окатиться водой из умывальника. Сочинить глазунью из пяти яиц с салом и с помидорами. И макитру молока!

Навстречу мне с завалинки вскочила заплаканная Зара.

– Дмитрий Александрович, Дмитрий Александрович...

– Она захлебнулась слезами.

– Что случилось?

- Ой, чоро чаво, чоро чаво¹²!
- Что-нибудь с Сергеем?
- Бедный сын мой! Убили его! Коройовав¹³, это Васька!
- Она подняла руки к небу и погрозила кому-то. – А дел те марел три годи¹⁴!
- Зара, я же не понимаю по-вашему!
- Кровь... Я сама видела кровь! Чоро чаво!
- Где кровь?
- Там, там... Славка нашел.

Я развернул мотоцикл, посадил в коляску причитающую на своем языке Зару и с бешеной скоростью помчался в Крученный.

А что, оказывается, случилось? Славка выгнал сегодня стадо в степь, километров семь от хутора. В полдень, расположившись на отдых во время водопоя, он наткнулся на засохшую лужу крови.

Парнишка испугался – и бегом к Денисовым. Его страх можно было понять. Таинственное исчезновение Сергея, слухи, расползающиеся по колхозу, пропажа Маркиза...

Предусмотрительный пацан воткнул на том месте палку с белой тряпицей, и мы приехали туда, не блуждая.

Возле палки лежала Славкина сумка от противогаза. Значит, он был где-то рядом.

Я попросил Зару оставаться в стороне, а сам подошел к злополучному месту.

Метрах в пяти от неглубокого ручья на сухой твердой земле, в розетке сломанных, перекореженных веток ра-

¹² Бедный мальчик (*цыганск.*).

¹³ Ослепнуть мне (*цыганск.*).

¹⁴ Проклятие на твою голову (*цыганск.*).

китника, темнела засохшая кровь. И сохранилась она после того воскресенья только потому, что ливень обошел хутор стороной. На сломанных и частью потоптанных ветках тоже темнела кровь.

Я тщательно осмотрел место вокруг. Но здесь прошло стадо. Коровьи копыта заследили весь берег. Может быть, какая-то из буренок и поломала ненароком куст, под которым виднелась кровь.

Полазив на четвереньках, я все-таки обнаружил след подкованного лошадиного копыта, у самой воды. Я снял ботинки, засучил брюки и стал бродить по мелкому, неширокому ручью, особенно тщательно оглядывая противоположный берег. Но он густо зарос камышом и осокой. Толстая мягкая дернина не сохранила ничего такого, на что стоило бы обратить внимание. Я спугнул несколько лягушек, стремглав нырнувших в воду, и порезал пальцы об острые, зазубренные края осоки.

Оставив свои тщетные попытки, я вылез из воды, обулся.

Зара смотрела на меня с надеждой и страхом. Она начинала меня злить. Стоило разводить панику! Ведь это могла быть кровь какого-нибудь грызуна, забитого хищной птицей, или, что тоже вероятно, одной из буренок, которую за непослушание наказал рогами Выстрел...

– Что вы себе выдумываете ужасы? – спросил я с раздражением, высасывая кровь из тонких, бисерных порезов на руке.

– Сергей... Где Сергей? Нету его... – Зара готова была опять запричитать.

– Успокойтесь, Зара! С чего вы взяли, что вашего сына убили?

– У Васьки Дратенко вся семья бешеная. Отца ножом зарезали на праздник.

– Но ведь его зарезали, не он.

– Васькин отец всегда лез в драку. Сам ножом размахивал. Несколько человек покалечил...

– А какие претензии были у Дратенко к Сергею?

– Откуда я знаю? Оба горячие, друг другу не уступят.

– Вы хорошо знаете этого Дратенко?

– Конечно.

Я сел боком на сиденье мотоцикла. Солнце уже склонялось к горизонту, заливая степь розовыми, подернутыми вечерней дымкой лучами. Далеко, на серебристо-желтом ковре полыни, двигались по направлению к нам две человеческие фигурки.

– Это не Славка? – указал я на них.

– Он. С Арефой... – кивнула Зара.

– Что они делают?

– Ищут, – печально сказала женщина, вытирая мокрые, воспаленные глаза.

– Зара, возьмите себя в руки. Что вы на самом деле? (Она вздохнула. Вышел всхлип.) Лучше вспомните, о чем они говорили. Не вышло ли какой ссоры?

– Васька все о коне сокрушался. Маркиз, кажется?

– Есть такой, – подтвердил я. Маркиз! Опять Маркиз.

– Уговаривал что-то.

– Что именно?

– Я спросила Сергея, чего он пристаёт. А Сергей ответил, что это не мое дело.

– Ругались они?

– Громко говорили. Помню, Васька сказал Сергею: «Ты что, не хочешь пару сотен заработать?»

– А Чава? – Я поправился: – А Сергей?
– Чаво, чоро чаво... Он сказал Ваське, что тот дурак.
– Так и сказал?
– Конечно!
– А Васька?
– Васька сказал: «Ты сам дурак».
– И поругались?
– Нет, зачем? Не поругались. Смеялись...
– Не понимаю я, Зара. Откуда у вас эти страшные подозрения?

– Они в ту субботу все шушукались. Васька его опять чего-то уговаривал. А Сергей говорит: «Ничего не выйдет». А Васька сказал: «Тогда я пойду один. А ты, говорит, соси лапу»...

– Как?

– Лапу, говорит, соси.

– А дальше?

– Я хотела их накормить. Сергей злой такой, вообще он был очень сердитый последнее время. Нехорошо выругался. «Ты, говорит, не подслушивай». А Ваське сказал: «Ладно, пойду. А то застукают тебя, несдобровать. Я знаю все ходы и выходы». И уехали в станицу. Боюсь я этого Васьки. У него в кнутовище плетки спрятан нож. С виду не заметно.

Арефа со Славкой были уже недалеко. Они увидели нас и прибавили ходу. Зара молчала. Я обдумывал ее слова.

Выходило, что Дратенко явно подбивал Сергея на какую-то махинацию. Чава сопротивлялся упорно, но в субботу, накануне скачек, кажется, сдался. Что его прельстило? Неужели двести рублей, что обещал Васька? Но это

была заведомая авантюра. Первое же подозрение падало на Дратенко и на Чаву как на его сообщника. С другой стороны, похищение Маркиза лишало Ларису возможности заниматься конным спортом, чего добивался Сергей. Нассонов отрезает обычно раз и навсегда. Но когда Маркиз очутился в руках у парней, может быть, Чава опомнился. Или у него вообще не входило в намерения красть коня по-настоящему, а Дратенко настаивал умыкнуть совсем. Между ними вспыхнула ссора, потом драка, Васька захватил нож и...

– Зара, у Сергея деньги с собой были?

– В воскресенье утром, когда он забежал домой, это было после прихода Ларисы, взял деньги.

– У вас?

– Нет. У него свои есть. На мотоцикл копил.

– Сколько он взял?

– Не знаю. Его деньги, я не интересовалась.

Но зачем Сергею понадобились деньги? Скорее всего, на дорогу. Вряд ли он собирался что-нибудь покупать.

Подошли Арефа и подпасок.

Денисов устал от быстрой ходьбы, от тревоги, которая залегла в его глубоких морщинах на лбу, щеках и возле губ.

Он поздоровался со мной и обернулся, как бы говоря, степь большая, трава густая, разве что-нибудь найдешь?

Славка скромно стоял в стороне.

– Извините, Арефа Иванович, что не дождался вас.

– Ничего, понимаю, – кивнул он. – Мне Оксана сказала. Хотел к вам завтра опять... Ну что вы скажете?

– Не знаю. Стадо прошло... Слава, вы с Сергеем здесь раньше бывали?

– Бывали, конечно. Тут удобно телушкам пить.

– По следам подковы, конечно, ничего не определишь... – размышлял я вслух.

– Вообще-то можно, – неуверенно сказал Арефа. Я подвел его к берегу, указал на след.

Арефа присел на корточки и долго рассматривал мою находку.

– Нет, – решительно поднялся он. – Ничего сказать не могу.

– Ладно. Двинем до хутора. Там и потолкуем, – предложил я. – Кстати, вы расскажете свое дело.

Арефа еще больше ссутулился и обреченно согласился. ...Мы зашли к Денисовым. Во дворе весело потрескивал костер. Едко пахло горячей зеленью. Из шатра доносился детский смех и возня.

Около шатра располагался маленький шалаш, составленный конусом, заваленный одеялами, матрацами и дубовыми ветками. Сквозь темную зелень пробивался белый пар, ленивыми клочьями оседая на землю.

Из шалаша показалась раскрасневшаяся дочь Арефы, Полина, с карапузом, завернутым в полотенце.

– Баня у нас сегодня, – сказал Арефа. – Никогда такой не видели?

– Нет, – признался я.

– Баня по-цыгански. – Арефа подвел меня к шалашику. – Лазня называется.

Пламя костра лизало небольшие валуны с побелевшими боками.

Арефа отодвинул старое одеяло, которое прикрывало вход в лазню. На меня пахнуло распаренной листвой, горячим дыханием раскаленного пляжа.

Внутри лавки стояло корыто, ведро с водой, лежали по краям белые сухие камни.

Денисов зачерпнул горсть воды и плеснул на камень. Он зашипел, исходя паром.

– Как в русской парной...

– А это? – указал я на шатер, который давно вызывал у меня любопытство.

– Две семьи в хате. Тесно. Да и детям на воздухе здоровее. Полина, – сказал он дочери, – скоро ночь на дворе, а ты все возишься.

– Кончаю, дадору¹⁵. Последнего купаю, – откликнулась Полина, подталкивая в лавку смущенного мальчугана.

– О баро девла¹⁶! – горестно вздохнул о чем-то своем Арефа и пригласил меня в хату.

Мы присели за стол. Тут же к нам пристроилась Зара.

– Собери на стол! – строго приказал Арефа.

Зара мигом исчезла из комнаты.

Я понял, что разговор он затевает неприятный для себя.

Хозяин положил перед собой пачку папирос, спички. Закурил.

– Не нравится мне вся эта история, – начал он, несколько раз глубоко затянувшись. – И потом, я знаю: что вам надо, вы всегда найдете. – Арефа встал, подошел к тумбочке, пошарил в ней и, сев на место, положил на стол свернутый в клубок кожаный ремешок вроде уздечки.

– Это обротка...

В комнату заглянула жена.

¹⁵ Отец (*цыганск.*).

¹⁶ Великий боже! (*цыганск.*).

– Здесь накрывать или в кухне?

– Закрой дверь! – Арефа стукнул по столу кулаком и что-то сердито сказал по-цыгански.

Зара скрылась.

Старый цыган сидел некоторое время, прикрыв рукой глаза. Я тоже молчал.

– Это обротка, – повторил Денисов, – Маркиза. – Голос его звучал глухо. – Я не могу поверить, что Сергей украл или там помогал Ваське Дратенко или кому-либо еще... Я его не учил этому. Сам никогда не был конокрадом. Был цыганом, настоящим таборским цыганом, но не воровал... Обротку я нашел случайно, в чулане. Три дня тому назад.

– Вы уверены, что это именно та обротка?

– Еще бы, – усмехнулся Денисов. – Сам делал...

– Как она сюда попала?

– Если бы знать, почему она в моей хате... О, лучше бы не знать... Лариса говорила мне, что Маркиз исчез вместе с оброткой... – Арефа замолчал, ожидая, что я скажу.

– Арефа Иванович, вы понимаете, что такая улика... Мне было жаль, искренне жаль этого человека. Он сидел опершись на руку и казался бесконечно усталым и еще больше постаревшим. Чем я мог бы его утешить? Обстоятельства сложились не в пользу Сергея. И еще я подумал: пришел бы ко мне с оброткой Арефа, не всколыхни сегодня его находка Славки?

Арефа, словно угадав мои мысли, сказал:

– Я приезжал к тебе именно по этому поводу. Мне кажется, парень запутался. Я вижу, ему чего-то хочется... Молодой, сил много. Самолюбивый. Обида какая-то глохнет. На меня, на мать, на судьбу. Сейчас в жизни много

соблазнов. Кажется, что все легко добывается. Ты в армии служил?

– Служил.

– И он тоже. Там его и избаловали. Смешно, конечно, но так получилось. Меня армия такому научила, не дай бог вам, молодым. Научила убивать. Я шесть лет под ружьем провел. Из них почти четыре – воевал. Всю войну. Сергей прямехонько угодил в армейский ансамбль. Какая это служба? Одна лафа.

Я подумал о том, что в армии мне тоже жилось припеваючи. Сплошные спортивные сборы, разъезды по стране, летние и зимние спортлагеря. Был я рядовой, а жил лучше иного командира. Знал: соревнования в части – Кичатов, всесоюзные – опять же Кичатов. Я ездил по стране, а служба шла, появлялись значки, нашивки и другие награды. А теперь, даром что офицер, но со всех сторон в подчинении. Под моим началом никого, зато надо мной начальства не сосчитать: от начальника РОВДа до министра включительно.

– Что для солдатика хорошо, для настоящего артиста совсем пшик, – продолжал Арефа. – Вернулся он после службы, повертел носом и укатил в Москву. Захотелось, видишь ли, прогреметь на всю Россию... Телепередач, кино нагляделся, возмечтал вторым Сличенко стать. На худой конец Васильевым. Ну что в «Неуловимых мстителях» снимался. Помыкался, помыкался, а как зима ударила, приехал общипанной курицей. Рассказал как-то, потом уже, что сунулся было в «Ромэн», в цыганский театр. Там сразу сказали, что для театра надо образование иметь, институт сначала пройти. С тех пор, наверное, и обиделся

Сергей. О колхозе и слышать не хотел. Нашел себе занятие – ходить по хатам, портреты делать. А в этой конторе ба-рыги оказались. Оформляли без квитанций, жульничали... Короче, бросил он это дело. Я ему ничего не говорил. За-хотелось стать табунщиком.

Пошел к Нассонову. Тот ему лошадь дал, но для того, чтобы коров пасти. Не знаю, может, и это ему надоело? Чувствую, парень не смирился. Рвется его душа куда-то. Зачем-то стал деньги собирать. Говорит, на мотоцикл. Я знаю, его в табор сманивали. Кочевать. Свобода! – Арефа невесело усмехнулся. – И вот на тебе... Неужели дока-тился?

Я слушал его исповедь и не знал, что и говорить. Он был искренен. Искренен-то искренен, но почему-то сразу не прибежал ко мне, когда нашел обротку Маркиза. Со-мневался?..

– Я вас понимаю, – сказал я. – Но скажите, что вы хо-тели бы от меня услышать?

Он удивился, пожал плечами.

– Ничего.

Наверное, обиделся Арефа. Я не хотел этого. Видимо, чего-то не понял. Теперь оправдываться трудно. И лучше говорить правду.

– Арефа Иванович, я должен поехать, доложить начальству. Все очень серьезно. Придется возбуждать уголовное дело. Мне неприятно говорить вам это, но пока все улики говорят против вашего сына. Моя задача – со-брать их как можно больше, а также и те, которые дока-зывают его непричастность к пропаже лошади.

Я видел, что раню его в самое больное. Он, пересилив

слова, которые, наверное, рвались наружу, произнес посиневшими губами:

– Хорошо, что этим занимаешься ты... Спасибо всевышнему! – Я раскрыл было рот, чтобы сказать дежурную фразу о службе, о долге и тому подобное, но Арефа остановил меня жестом: – Ты меня не понял. Я хочу тебе помочь. Если ты веришь мне.

Я на секунду колебался с ответом. Но этого мгновения было достаточно.

– Ладно, – горько вздохнул Денисов. – Я все равно прошу тебя... Найти Василия легче со мной. Хотя бы из этой выгоды...

– Арефа Иванович, не подумайте, что я вам не доверяю. В его черных, совсем еще молодых глазах блеснул острый, колющий огонек:

– Я не думаю. – Но его слова прозвучали; знаю, что не доверяешь.

Меня это подстегнуло.

– Мы будем искать вместе, – твердо пообещал я. – И начнем очень скоро.

...На всякий случай на следующий день с двумя понятыми я побывал на том месте, где Славка обнаружил под ракитником засохшую кровь, которую надо было взять для анализа.

Осмотрели местность, составили протокол. И я поехал в район.

С вещественной уликой меня направили в местную лабораторию. А насчет участия Арефы в поисках Маркиза и сына пришлось выдержать в РОВДе настоящий бой. И все же в конце концов Мягкенький сказал свое «добро». Майор и на этот раз оправдал свою фамилию...

Ужинал я поздно, когда на Бахмачеевскую опустилась ночная тишина, с редким запоздалым мычанием коров, с монотонным далеким лаем одинокой собачонки, который еще больше подчеркивал глубокий сон станицы.

Оглушительно громко в этой тишине зашкворчало на сковородке сало, которое я нарезал крупными кусками, потом залил яйцами и посыпал сверху зеленым луком.

Но ел я, скорее, автоматически, хотя проголодался изрядно, а аромат моей стряпни заставил бы схватиться за вилку и сытого.

Не знаю, как кому, а мне в эти часы думалось легче. Ничто не отвлекало внимания, оживали воспоминания, выстраивалась какая-то мысль, свободная от дневной ежеминутной надобности что-то предпринимать, решать, делать. И если я додумывался до чего-нибудь стоящего, так только вечером, перед сном.

Дома, в Калинине, я любил перед сном читать в постели. С маминой точки зрения, это было вредно для глаз. И только. У бабушки на этот счет была своя философия. Она говорила, что на ночь нельзя читать дурные книги. Они приносят плохие сновидения. Еще бабушка считала, что нельзя есть с чтивом в руках (что я также любил), потому что бессмысленное поедание пищи вредит желудку, который якобы в зависимости от того, что ты в это время думаешь, вырабатывает нужные соки.

Смешная она была, моя бабушка. Ей казалось, что в мире все связано между собой: числа месяцев, дни недели, солнце, погода, животные, люди... Если встать на ее по-

зиции, то надо было бы послать ко всем чертям самолеты, автомобили, телефоны, телевизоры и всякую другую машинерию цивилизации, которая все перепутала и перемешала. Она считала ее виновником того, что нынешнее поколение хандрит, скучает, дурит и устает куда чаще и сильнее, чем в старое время. И вообще молодые помирают раньше стариков.

Но сама очень любила телевизор. Когда я поддел ее, она серьезно ответила:

– Я, грешная, тоже, поди, человек. А человек первый же и враг себе. Он сам себе все и портит.

Вот и Арефа считает, что Сергей сам портит себе жизнь. Ибо обижается на свою судьбу, которая послала ему вполне вольготное житье за спиной родителей и прочие радости, выданные бесплатно молодостью. Ему легко. Я бы к этому еще прибавил Ларису... Действительно, девушка она что надо. Во всех отношениях. А может быть, это мне только кажется?

Что же толкнуло парня на авантюру с Маркизом? Поступил ведь так Чава неспроста.

Итак, надо разобраться. Возьмем обротку. Основную непреложную улику. Как она попала в дом Денисовых?

Возможно, ее оставил впопыхах сам Сергей, когда заезжал в воскресенье рано утром за деньгами. Он надел на Маркиза уздечку, а обротку, ставшую ненужной, забыл дома. Но это неосмотрительно. Очень. Парень он смысленный. Бросить обротку в чулане своего дома – нет, такое бы он не сделал. Разве что в состоянии крайнего возбуждения. Горяч уж больно.

А может быть, обротку подбросили, чтобы подозрение

пало на Чаву? Арефа и Зара да и все в их семье, не помнят, чтобы к ним заходил кто-нибудь, кого можно заподозрить. С другой стороны, могли и забыть. Времени прошло достаточно.

Оборотка оброткой. Еще есть окурок. Он, скорее всего, принадлежит Чаве. Двадцать первый номер «Недели» взяла из библиотеки Лариса. Она давала читать газету Чаве. Несколько номеров он не вернул. В том числе первый номер за июнь. Наконец само его исчезновение сразу после того, как было обнаружено, что жеребец исчез.

Значит, основания подозревать Чаву есть. Убедительно для начала. Пойдем дальше. Вопрос номер два: Сергей действовал один или с Дратенко?

Наверное с Дратенко. Васька имел виды на жеребца. Ради этого он и приезжал к нам в колхоз. Предлагал Сергею двести рублей и уговаривал его. Опять же – исчезновение Дратенко. Логично.

Вопрос номер три: кто из них играл какую роль?

Первую – скорее всего, приезжий. Он, как говорится, держал в руках главный пакет акций. Вдохновлял и финансировал предприятие.

Дальше. Вот это дальше и есть самое основное.

Допустим, они украли Маркиза. Им предстоит прежде всего уладить дела между собой. Если все решается благополучно, Дратенко заполучает коня, Чаву – свою долю денег. Они могли уехать вместе, но могли и разъехаться в разные стороны... Чаву, по словам Арефы, сманивали кочевать с табором. Он забежал домой, прихватил накопленные им деньги и был таков.

Ну, а кровь под кустом ракиты? Может быть, не договорились дружки-конокрады?

Арефа ездил по своим знакомым цыганам. Никто тревогу по поводу исчезновения Дратенко не поднимает. Но где находятся оба парня, никто не знает.

Вместе кочуют? Может быть, все может быть... Даже и то, что ни Дратенко, ни Чава не имели никакого отношения к событиям той ночи, когда пропал жеребец. Вдруг кто-то другой, выждав удобное время, увел коня, рассчитав, что обстоятельства замаскируют его преступление. Или он даже и не думал об этих обстоятельствах, они сами ему помогли.

Потом мне в голову пришла еще одна мысль. Что, если Маркиз просто сбежал? Сбежал в степь, где прибил к какому-нибудь табуну из другого колхоза. А я тут ломаю голову, что-то выдумываю, подозреваю людей, которые понятия не имеют, где сейчас злополучный конь.

Но обротка? Желание Дратенко заполучить коня? Этого ведь не сбросишь со счетов. Я устал от своих размышлений. Надо переходить к делу. Надо искать. И почему иногда чистая хрустящая постель кажется самым лучшим благом, какое есть в мире?

Назавтра мой ярко-красный «Урал» с полным баком бензина, с новым маслом в картере, с надраенными, сверкающими на солнце боками мчал нас по дороге, запруженной караванами машин. По области шли колонны с первым хлебом нового урожая.

Арефа сидел в коляске. Когда он утром явился ко мне, я едва сдержал улыбку: новая фетровая шляпа, длинный

пиджак послевоенной моды, ухарское галифе, сапоги и яркая, рассыпанным горошком по красному полю, рубашка, подпоясанная и выглядывающая из-под пиджака. Но что самое замечательное, так это жилет в двойную полоску, с брелком и цепочкой от карманных часов через весь живот.

Классический цыган, которых показывают у нас в исторических фильмах. Где он успел раздобыть этот наряд, не представляю.

Каково же мы выглядим? Цыганский барон и современный офицер милиции со стильной прической. Волосы у меня за последнее время отросли, и теперь я мало чем отличался от отца Леонтия. Только без бороды.

Арефа заметил мою улыбку:

– Удивляешься? Можно еще встретить цыгана, одетого и почище. В шароварах, в лохматой шапке...

Ну что ж, если ему так хочется, почему бы и нет? Своего рода камуфляж.

Его вид несколько развеселил меня. И все-таки в дорогу я отправился с испорченным настроением... В последнюю минуту забежал Коля Катаев и устроил мне разгон. Как сказал он, не только по своей инициативе, но и по просьбе парторга Павла Кузьмича.

Парторгу, оказывается, понравилась моя игра на левом фланге защиты нашей команды. Я пропустил уже два матча. А впереди кубковая встреча с нашим вечным соперником – командой колхоза «XX партсъезд». Надо прийти на тренировку.

«Понимаешь, Дима, никто тебя за уши не тянул. Но если уж взялся за гуж, не говори, что не дуж...»

Ушел он очень недовольный.

Но и это не все. Мой кружок по самбо три раза уже занимался без меня. Слава богу, Коля, кажется, об этом не знал.

Мне от этого было не легче. Хотя я и поручал вести занятия Егору Козлову, способному, крепкому парню, который с большой охотой приобщался к самбо после того, как ему досталось в клубе от дружков Женьки Нассонова.

Я дал себе слово, что, как только развяжусь с этой историей, наверстаю в футболе и в занятиях кружка...

– Хлеба, хлеба-то сколько! – покачал головой Арефа.

Пока двигались по шоссе, Денисов мягко покачивался в коляске, – ехать было удобно. Но как только мы свернули на грунтовую дорогу, мой спутник сразу ощутил все ее прелести. Грузовики разбили ее основательно, и мотоцикл пошел трястись по кочкам и выбоинам, расплескивая по сторонам тяжелую пыль, которая густым шлейфом тянулась за нами и обрушивалась клубами, когда приходилось притормаживать. Скоро яркий, пестрый наряд Арефы поблек, стал одинакового серого цвета. Особенно пострадала шляпа, в мягкий ворс которой набилось столько пыли, что при резких толчках с ее полей на плечи Денисова срывались небольшие пылевые струйки.

Я удивлялся, как его шляпа еще не улетела в придорожные кусты.

На сегодня у нас точно установлен маршрут – крупная станция Альметьевская. Отправились мы туда по предложению Денисова.

В Альметьевской до войны существовала контора «Заготконь». В нее съезжались колхозные и частные вла-

дельцы лошадей, чтобы совершить куплю-продажу или обмен. Контора эта давно уже упразднена, но в Альметьевскую по старинке еще приезжали люди, желавшие приобрести или сбыть коня. Конечно, там бывали и такие дельцы, как Васька Дратенко.

В станице жило оседло несколько цыганских семей, в том числе семья недавно умершего брата Арефы. Конечно, глупо предполагать, что конокрады выставляли на торг Маркиза в Альметьевской. Это все равно что нести в коммиссионный магазин украденные у продавца часы.

Но в Альметьевской были друзья и родственники Арефы. К ним часто приезжали гости, через которых можно было узнать о Дратенко или Сергее, если бы те где-нибудь объявились.

Отправься я в станицу один, ничего не узнал бы. Прав был Арефа, говоря, что без него мне было бы трудно искать Ваську и Сергея.

Альметьевская по сравнению с Бахмачеевской выглядела настоящим городом. Много двухэтажных домов, асфальтированные улицы, парикмахерские, большая баня.

На окраине, возле рынка, возвышалось здание завода, над огромной трубой стоял столб темного маслянистого дыма.

Хаток с завалинками и палисадниками, с соломенными крышами было не много.

К такой вот хате мы и подъехали.

Арефа сразу как-то изменился. В нем появилась вроде бы и подтянутость, но и что-то согнуло его, страдальческая сеть морщин легла на лоб. Это понятно. Совсем недавно он подъезжал к этому дому, чтобы увидеть своего младшего брата, покоящегося в гробу.

По замусоренному, давно не метенному двору стайками бродили куры и с любопытством посматривали на нас, склоняя головы набок.

– О чоро Андрей! – вздохнул, оглядываясь, Арефа. Сразу было заметно, что хозяйство осталось без требовательного хозяйского присмотра.

Из хаты вышел черноволосый мальчик, румяный и толстый, с початком вареной кукурузы в руках.

– Неужели тебе трудно загнать птицу в загородку? – крикнул на него Арефа. – Виноградник поклюют.

– А что? – лениво огрызнулся тот.

– Мать бы пожалел. – Арефа легонько шлепнул его по затылку. – Ну давай побыстрее...

Было видно, что кричать особенно Денисов на этого увальня не хотел. Жалел мальчишку. Сирота.

Паренек, не выпуская из рук початка, лениво затрусил по двору, сгоняя кур в отведенный для них закуток.

Арефа мялся. Я почувствовал, что ему хотелось войти в дом одному, без посторонних. Тем более – без милиционера.

– Сбегай за матерью! – приказал он племяннику, когда тот наконец справился с птицей.

Мальчик, продолжая грызть кукурузу, двинулся со двора.

– Попьем чайку? – предложил Арефа. А весь его вид и взгляд говорили обратное.

– Спасибо за приглашение, но, я думаю, вам лучше поговорить со снохой с глазу на глаз. По-свойски. Я только могу помешать.

– Что же, верно, – быстро согласился Денисов. Он не-

много подумал. – Но ты возвращайся поскорей. Обязательно. Перекусим.

– Час вам хватит? – спросил я.

– За милую душу.

– Если, конечно, надо, я могу погодить...

– Хватит, хватит, – махнул рукой Арефа. И, похлопав себя по животу, добавил: – Ему годить не прикажешь. Ты, значит, помни – Мирикло, сноха моя, что-нибудь сообрази.

Я отъехал от двора, ругая себя за недогадливость. Вообще появляться здесь в форме было глупо. Уж где-где, а в деревне языки работают неутомимо... Но Арефа тоже хорош. Мог предупредить. Или опять шпилька? Догадайся, мол, сам. Иди разбери этого Арефу...

Все же, что ни говори, деликатный он человек. И приглашение его было деликатным. И в то же время настойчивым. Может, и нет никакой хитрости у него за душой?

...Лейтенант, дежурный Альметьевского РОВДа, ничего не знал о моем приезде, хотя Мягкенький заказал вчера при мне телефонный разговор с местной милицией.

Лейтенант что-то писал, и ему было не до меня.

– Может быть, начальство в курсе?

– Зам у себя. А начальник в отпуске. Что тебя занесло в такую даль?

Дежурный был вряд ли старше меня. Мог бы отнестись и повнимательней.

– Парней двух разыскиваю, – небрежно бросил я. – Пропала лошадь... Цыгане, они...

Он вскинул на меня глаза и, испуганно оглянувшись, тихо проговорил:

– Ты тут потише. Капитан наш как раз из них, из цыган, будет...

Я покраснел. Вечно попадаю в неловкое положение с этой моей несдержанностью. Хорошо, что в дежурке больше никого не было.

После такого конфуза я шел к капитану весьма пристыженный. Савченко, так звали лысеющего, средних лет капитана, встретил меня сдержанно, как подобает по ранжиру.

Мягкенький говорил именно с ним.

– Ладно, – подытожил зам, когда я, краснея и сбиваясь, изложил ему цель приезда. – Спали вы, товарищи, долго. Много воды утекло... Знаете, сколько людей проезжает через Альметьевскую? Сотни и даже тысячи! Н-да, сладко почивали... – Он задумался. – Вообще таких что-то не припомню. Мы этих аферистов знаем всех. А тот Сергей Денисов, случаем, не родственник нашего Денисова? Который помер недавно?

– Племянник, – подтвердил я.

– Скажи-ка! Как будто семья примерная. Отец его там у вас, кажется, в правлении колхоза?

– В сельсовете, – сказал я, – депутат.

– Смотри-ка, – усмехнулся Савченко. – Как это получается? Не уследил, выходит?

Мне стало обидно за Арефу. Через каких-нибудь полчаса я буду сидеть с ним за одним столом, пить обязательный для гостей чай...

– Мы считаем... В основном интересуется лошадьми Дратенко...

– Вы считаете, – снова усмехнулся капитан и набрал

номер. – Степа, зайди. – Он положил трубку, потер руки, глядя в окно. – Пошел хлеб. Теперь ни сна, ни отдыха... Всех почти разогнал по колхозам.

В комнату вошел коренастый, лет шестидесяти, сильно припадающий на одну ногу мужчина в штатском. Он ежеминутно поправлял широкой пятерней прямые волосы, падавшие на глаза, и с угрюмым любопытством бросал на меня взгляды.

– Степа, тут товарищ из Краснопартизанска. Не припомнишь такого Дратенко? Специалист по лошадям?

Степа, которого мне капитан так и не представил, сильно выставляя вперед челюсть, просто ответил:

– Знаю. – И, обернувшись ко мне, спросил: – Васька?

– Так точно, товарищ... – Я вопросительно посмотрел на него, ожидая, что мне хотя бы скажут его звание или должность. Но я так и не был в это посвящен.

– Что он у вас натворил? – смотрел на меня в упор Степа, опираясь сильной рукой на стул.

– Разыскиваем, – неопределенно ответил я.

– На блины хотите пригласить? – без тени юмора спросил Степа.

– Подозревается в краже породистого скакуна.

– Давно увели лошадку-то?

– В июле...

– Да, в июле Дратенко тут был. На линейке, запряженной двумя лошадьми.

Я сообщил подробные приметы Маркиза. Степа, подумав, сказал:

– Одного коня я помню. Вороной. А другой, врать не буду, не знаю. Кажется, светлый.

– Дратенко один был или с кем-нибудь?

– Их несколько сидело на линейке. Прокатались по станице лихо, почти не задерживаясь...

Вот и все сведения, какие я получил в Альметьевском РОВДе.

Но меня так заинтересовала личность Степы, что я справился о нем у дежурного. После моего долгого визита к замначальника лейтенант стал словоохотливее.

– Степан Гаврилович – сила! Всех лошадей и лошади-ников знает в области. Что там в области, думаю, по всему югу, до самого Кавказа. Лихой, говорят, кавалерист был. В отряде самого Огнева воевал...

– А кто такой Огнев? – спросил я.

– Ты Огнева не знаешь?

– Не знаю, – честно признался я. Лейтенант покачал головой:

– Про выстрел с «Авроры» знаешь?

– Это каждый школьник знает.

– Правильно. А мало кому известно, что орудием, которое произвело этот выстрел, командовал Огнев Евдоким Павлович. Из соседней станицы Пролетарской. После уж, в гражданскую, он сюда вернулся. Командовал отрядом под началом Пархоменко. Погиб как герой. Так вот, наш Степан Гаврилович в отряде Огнева начинал. В Отечественную получил ранение. Демобилизовался и пошел в милицию. Еще вопросы есть?

...Через час мы сидели с Арефой в хате вдовы Андрея Денисова. Признаться, кочки меня изрядно порастрясли, и разыгрался волчий аппетит. Все мои помыслы были обращены к кухне, где хлопотала Мирикля. Я спросил Арефу,

чем это так привлек его соотечественников Маркиз. Жеребца ведь выбраковали зоотехники колхоза.

– Маркиза выбраковали из производителей, – пояснил старый цыган. – А конь красивый. Это у нас почитается в первую очередь. Цыган выбирает коня, как невесту. Чтобы самому было приятно и другие сказали, что красив. Маркиз – видный. Благородный статью. А без осанки и конь – корова. Правда, есть и у него свои недостатки: злой, заносчивый. Только ты никому об этом не говори, – шутливо сказал Арефа.

– Почему?

– У нас, у цыган, самым большим грехом считалось выдать, какой есть скрытый изъян в лошади. Особенно покупателю. За это в старое время били. Крепко били. И владелец лошади и другие. Все били. Вообще предательство не любили. Что знаешь, держи при себе...

– А если убийство? Молчать ведь – преступление.

Арефа пожал плечами:

– Конечно, это так... Но в старое время донести за убийство промеж себя тоже считалось позорным. Судили своим судом. По справедливости.

– Убивали? – спросил я.

– Зачем? – удивился Арефа. – Смысл какой? Убийства случались в основном по пьяной драке. Или из-за ревности. А рассуждали так: к чему еще одного убивать, сирот плодить и еще одну вдову оставлять? Виновный должен был откупиться деньгами. В зависимости от состояния и нужды осиротевшей семьи. Что касается ревности – здесь посторонние не судьи. Кто может оценить меру любви? Измена, может, похлеще, чем другое, бьет.

– Постойте, постойте. Но это же сокрытие преступления! – не удержался я.

– Да, да, а как же! – быстро согласился Арефа. Но было видно, что к этому вопросу он относится по-своему. Он лукаво улыбнулся и добавил: – То ж в старое время... Другие нравы. Цыган со всех сторон бесправными держали. Они уже с рождения числились как бы в преступниках. Цыган – значит, вор, обманщик, махинатор... Ну, а если еще свои своего выдавать властям стали бы, как смотреть друг другу в глаза?

Я задумался над его словами. В них была своя горькая правда.

На столе легонько посвистывал самовар. Серебряный. Точная копия с того, что имелся у Арефы, «Баташов».

Мирикло, вдова Андрея, в темном кружевном платке, безмолвно появлялась в комнате и так же тихо уходила на кухню, откуда доносился запах мокрого птичьего пера и вареной курицы.

Интересно, для кого задумано это почетное угощение? И вообще прилично ли мне, представителю закона, который ведет в настоящее время официальную проверку, сидеть за одним столом с отцом предполагаемого преступника и вести непринужденную беседу, ожидая угощения с его стороны?

Странное дело, но мне казалось, что я просто в гостях.

– Тяжело ей, – сказал Арефа, когда его сноха в очередной раз что-то поставила на стол и вышла. – Любой бабе в ее годах тяжело остаться без хозяина. Это уж все. Вдовство на всю остальную жизнь.

– Конечно, – согласился я, – потерять кормильца...

– Не это самое страшное, – вздохнул Арефа. – Мирикло себя прокормит. – Он усмехнулся. – И еще любого мужика в придачу. Шьет на фабрике и дома. У нас в старое время, сам понимаешь, – его глаза опять сверкнули лукавинкой, – жена должна была кормить мужа. Станет где-нибудь табор, мужики остаются, а женщины с дочками идут в село или город те мангу – это, значит, по-нашему: побираться, добывать пропитание, деньги... Не принесет жена ничего, кнута схлопочет обязательно.

– Ничего себе, положение! Это здоровых-то мужиков кормить. Мало того, что женщины унижались, выпрашивали подаяние, так еще кнут зарабатывали.

– Зарабатывали. И еще как! У русских как было в старое время? Мужик, напившись, бил жену. Но случалось, иная баба так отхаживала муженька за все обиды, не приведи господь. У нас же женщина никогда не имеет права поднять на мужа руку. Что там поднять руку – сказать наперекор. Какой бы ни был – пьяный или трезвый, урод или красавец, нищий или богатый, – ты ему не прекословь. Чуть что не так – кнут...

Я усмехнулся про себя: хоть Арефа и депутат сельсовета, а своя кровь, видимо, говорит.

– Несправедливо. Значит, мужчины кнутом оправдывали свое тунеядство?

– Почему тунеядство? У мужиков свое дело было. Муж ценился за умение достать хорошего коня, с лихвой продать его, выгодный обмен совершить. Не можешь этого – копейки за тебя не дадут в базарный день. Другое дело, если умеешь ловко дела делать да если при этом песни голосисто поешь, отплясываешь лихо да обнимаешь жарко

– нет тебе цены. Не знаю, как другое, а за песни ты бы у нас сошел высоко...

Я все ждал, когда Арефа заговорит о самом главном. Есть ли какие вести о беглецах? Но Денисов словно забыл о цели нашего приезда.

Мы сидели, попивая чай, мирно беседуя. Потом тихая Мирикло поставила на стол раздувшуюся, с растопыренными в разные стороны ногами, исходившую сладковатым паром и жиром курицу.

И мы управлялись с ней за разговорами ни о чем и снова пили чай с вареньем и покупным печеньем.

Мирикло относилась ко мне настороженно и, видимо получив от Арефы наказ, в беседу нашу не встревала.

Покончили с едой. Хозяйка вышла с грязной посудой. И вдруг Денисов сказал:

– Васька Дратенко не сегодня-завтра должен быть в Юромске. Надо туда подаваться.

Я поразился: битый час болтать о пустяках и даже намека не подать, что получено такое известие.

Может быть, Арефа – единомышленник моей бабушки: во время еды надо думать только о еде, а дело – в свою очередь.

Юромск – три часа езды на поезде из областного центра.

– Помчались в город! – предложил я.

Арефа посмотрел на мою форму. Почесал за ухом.

– Больно мы с тобой заметные. Выходит, сначала домой...

Я прикинул – теряем сутки. Это в лучшем случае. Потому что возвращаться сегодня на мотоцикле в Бахмаче-

евскую мне не улыбалось. Арефа тоже не мальчик. Тогда и завтра день потеряем.

Обидно, до города каких-нибудь тридцать километров. Полчаса езды.

У меня возник план.

В конце концов неужели Борька Михайлов не одолжит на время какие-нибудь брюки и пиджак? В крайнем случае – куртку. Сам ведь в корешах лез.

Мы расстались с Арефой. Он решил заночевать в Альметьевской. Я поехал в город. Договорились с Денисовым встретиться там утром на вокзале.

24

Я настолько уже привык к одноэтажной станичной жизни, что когда въехал в областной центр, с его высокими современными зданиями, шумом и звоном вечерних улиц, голубых от неона и затухающей синей зари, то почувствовал себя Гулливером, попавшим в страну великанов.

После влажной прохлады степной вечерней дороги город пахнул на меня жаром перегретого за день асфальта, сухим воздухом, пропитанным испарениями бензина и выхлопных тазов.

В глазах зарябили окна домов, вывески магазинов, световая реклама, небо переплелось проводами троллейбусов, трамваев, засветились тревожные огни светофоров.

Я даже поначалу растерялся, очутившись в потоке автомобилей, беспощадно и жестоко прокладывающих себе путь на перекрестках. Мне казалось, что улица слишком тесная и слишком велик риск вот так мчаться и мчаться наперегонки, не давая себе ни минуты покоя.

Во мне еще жила ширь степи, пустота ее дорог, на которых не было необходимости завоевывать время и полосу продвижения...

По Ворошиловградскому проспекту, главной улице города, гуляло много народу. Просто неправдоподобно много. Словно людей специально свезли сюда и заставили ходить взад-вперед, забегать и выбегать из дверей магазинов, быстро пересекать улицу прямо перед радиаторами машин.

Я почувствовал себя муравьем, очутившимся среди большого леса.

И только когда я услышал в трубке телефона-автомата Борькин голос, ощущение одиночества прошло.

– Кича! Ты откуда?

– Долго объяснять. Мне нужны штаны и пиджак. Куртка тоже сойдет.

Михайлов хмыкнул:

– Ты что, голый?

– В форме, как полагается, и на мотоцикле...

– Ладно, разберемся. Жми ко мне. Ты где сейчас? (Я сказал.) Это прямо у нас под носом. Через три дома.

Я еще раз подивился: ловкач Михайлов, устроился в таком городе, прямо в центре. Да ведь это квартира тестя... Но устроиться зятем зампреда облисполкома тоже надо уметь.

Борька открыл сам. В легком шерстяном спортивном костюме, с белой полосой вдоль рукавов, он провел меня через пустой чистый паркетный коридор в небольшую светлую комнату, которая казалась совершенно не обставленной, но в то же время здесь было все: где сесть, где

лечь и даже имелись ненужные для обихода вещи – полочки с безделушками, подставки, цветы.

В моей хате стояла кровать, стол со стульями, платяной шкаф, но выглядела она так, будто полна мебели.

Борька указал на кресло. Я сел в него с большой опаской – как бы не запачкать светло-зеленую обивку. Я весь был пропитан пылью. Мне даже казалось, что она осела у меня внутри.

Честно говоря, обстановка меня смущала. Я отвык от современного городского уюта.

Но усталость взяла свое. Я поудобней устроился в кресле, тело расслабилось. И тут только дали о себе знать те километры, которые я отмахал за рулем. Они заныли в руках и ногах, замельтешили в мозгу бесконечной чередой поворотов, спусков, выбоин, кочек и подъемов...

Михайлов положил на низкий журнальный импортный столик пачку сигарет и диковинную зажигалку в виде кувшинчика.

– Закуришь? (Я отрицательно мотнул головой.) Скажи-ка! До сих пор не начал. А я много курю. Работа нервная. Вообще обязанностей много...

Я почувствовал, что здесь, дома, Борька какой-то другой. При встрече в Краснопартизанске он выглядел прямо-таки рубакой – все нипочем.

– Может быть, женатая жизнь заедает? – усмехнулся я.

Михайлов солидно ответил:

– Этим я доволен. Сам видишь – полный порядок. – Борька небрежно обвел комнату рукой.

Порядок порядком, но провел к себе втихаря, никому не представил. Даже не спросит, хочу ли я есть. Мне-то не

надо, потому что я еще сыт после прекрасного угощения Мирикло, но хотя бы ради приличия поинтересовался.

– Давай ближе к делу, – сказал я. – Мне надо завтра ехать в Юромск. В штатском. Смекаешь?

Что-то в нем все-таки заговорило.

– Постой. Сразу к делу... Я же знаю – наверное, шамать хочешь. Про себя небось ругаешься. Тут какая история: жинка вот-вот должна прийти. Теща-то дома, но я еще, сам понимаешь...

– Я сыт во!

Мой однокашник кисло произнес:

– Вот, обиделся! Ей-богу, Светка придет, сядем как надо. С коньячком, с хорошей колбаской...

– Иди ты к черту! Не хочу я.

– По глазам вижу, что хочешь. Ехать из своей Бахмачевской...

– Я из Альметьевской. Наугощался там – будь здоров.

Борька испытующе посмотрел на меня:

– Не врешь?

– С чего это ты стал такой мнительный? В конце концов дай сказать...

– Говори, – тяжело вздохнул он.

Я понял, что он извиняется за свое присутствие здесь. Потому что я всегда знал о его честолюбии. И, достигнув своей мечты, он почувствовал себя в чем-то неуверенным. Ну что ж, поделом тебе, Борька Михайлов. Если тебя здесь затирают – сам виноват. А если ты принижаешься по своей воле – виноват вдвойне.

– Найти человека! Это не так просто, как тебе кажется! – воскликнул мой дружок, когда я рассказал ему о своих делах.

– Сам знаю.

– Знаешь, знаешь... По делу об убийстве инкассатора какой месяц ищем, и не только мы. Вся милиция Советского Союза! А ты сам решил. Чепуха какая-то.

– Я делаю ставку на Арефу.

Михайлов недоверчиво пощелкал языком:

– Это надо продумать. А вдруг надует тебя твой цыганский Иван Сусанин?

– Какой ему смысл?

– У тебя расчет только на доверие, но...

– Не только, – перебил я его. – Денисов сам хочет найти сына. Хочет помочь ему осознать свою вину. Понимаешь, облегчить его участь, если тот виноват, конечно...

– А ты сомневаешься в этом?

– Всякое может быть...

– Ах, все-таки сомневаешься? Это уже совсем неплохо, Кича. Прогресс.

– Брось трепаться.

– Я не треплюсь. Я радуюсь. – Борька небрежно закурил. – И вообще неплохо бы тебе новые монографии почитать. По криминалистике, судебной психологии...

– Классиков русской литературы – Пушкина, Гоголя... Ты, Борька, индюк.

Все-таки разозлил меня.

– Давай, трави дальше. – Он это сказал, как многоопытный профессор зазнавшемуся ученику.

Я приготовился поддеть его. Помешали. Кто-то пришел. Я понял, что жена.

Борька вскочил с кресла, едва не опрокинув столик. Он выбежал в коридор, не сказав ни слова.

И через минуту в двери появилась его виноватая физиономия.

– Вот, Светик, тот самый Дима.

А его жена была простая девчонка. Не большая и не маленькая, лицо не очень приметное, все в конопушках и ямочках.

– Тот самый Дима, – повторила она, – из Бахмачеевской?

– Точно, – сказал я.

– Как там моя подружка Люба Коробова?

Я, стараясь не выдать своего удивления тем, что Света не только знает Любу, но и дружит с ней, рассказал о Любиных «боевых заслугах».

– Это похоже на Любку. Хоть она и младше меня, а всегда верховодила. Мы ведь из Бахмачеевской. Я там не была уже лет пять...

Теперь мне стало ясно, откуда Ксения Филипповна хорошо знает эту семью. Но ведь надо же было случиться, чтобы Борис женился на девчонке из Бахмачеевской. Поистине мир тесен.

Света спохватилась.

– Ты гостя накормил? – строго спросила она мужа.

– Умолял. Отказывается. Правда, Кича, умолял?

– Умолял, – подтвердил я.

– Ты с дороги?

Ого! Сразу на «ты». Мне это понравилось.

– С дороги, но есть не хочу, честное слово!

– На кухню, на кухню. – Она без дальнейших церемоний буквально вытолкнула нас на кухню.

Света пошла переодеться. Мы остались одни.

Борька как-то лихорадочно ставил на стол тарелки, рюмки, резал хлеб, колбасу...

– Работа в городе – одно, а у меня – совершенно другое, – продолжал я незаконченный разговор. – Когда ты в городе начинаешь какое-нибудь дело, то перед тобой возникают люди, которых ты видишь впервые. Что ты о них знаешь? Ничего.

– Это как знать, – многозначительно усмехнулся Михайлов.

– Не перебивай. А я в колхозе знаю каждого как облупленного.

– За три месяца? – усмехнулся Борька, доставая бутылку коньяка с небольшим количеством жидкости, почти на самом донышке.

– Я говорю о Денисовых. Понял? Так спрашивается, знаю я Арефу или нет, когда вижу его почти каждый день, бываю у него дома, ем с ним за одним столом?

– Ты смотри, – предупредил он меня строго, – подловят они тебя, погоришь. Не такие еще попадались на удочку. Вот у нас...

Он замолчал. Потому что пришла Света, В белом брючном костюме.

– Давай, Кича, прекратим на профессиональные темы... Не всем это интересно.

– Интересно, – сказала его жена и, взглянув на стол, прикусила палец.

Борька как-то сжался, словно ожидая выговора.

Но Света ничего не сказала. Она спокойно убрала бутылку в навесной шкафчик и достала другую, нераспечатанную.

– Мы тут сами, понимаешь, хозяйничаем... – Михайлов стал зачем-то двигать тарелочки, вилки, ножи...

– Садись. Вам, мужчинам, доверять нельзя.

Ну и молодчина! Получил Борька по мозгам. Мне все больше нравились ее конопушки и ямочки.

Ну что же, Михайлов! Укатали сивку крутые горки. Вернее, сам ты себя укатал.

Света распахнула холодильник, и на стол повалились овощи, фрукты, какие-то баночки, свертки, тарелочки с аппетитной и привлекательной едой.

Я уверен, что потом, когда они останутся одни, она ему выдаст. И поделом.

Я всегда подозревал, что за ухарским, нахрапистым поведением Борьки скрывается что-то другое. А это, оказывается, трусость. Мелковато...

Значит, он боится этого дома. Боится, потому что чувствует себя обязанным.

Мне стало жалко его. Я был рад видеть Борьку. Так всегда радуешься своему дому, в котором прожил детство, каким бы неказистым он ни был...

– Я разогрею голубцы, а вы пока закусывайте.

Михайлов разлил коньяк по рюмкам.

– Постой, постой, – замахал я руками. – Я же за рулем.

– Одну рюмочку. За встречу.

– Не хватало еще, чтобы меня застукали гаишники.

Красиво будет выглядеть – пьяный участковый...

– Ерунда! Все в наших руках.

– Тебе куда-то еще ехать? – Света навалила мне полную тарелку всякой всячины.

– В гостиницу. Кстати, Боря, раз уж все в ваших руках, организуй мне где-нибудь койку...

– Это запросто! – Он живо поднялся.

– Как, тебе негде ночевать? – Света удивленно посмотрела на меня, потом на своего мужа.

– Я же говорю – запросто! Даром, что ли, милиция?

– Подождите, Борис Иванович. – Видимо, так Света обращалась к мужу, когда бывала недовольна им. – Вы, значит, не предложили Диме остаться у нас?

– Откуда я знаю, какие у него планы? Светик, у нас дела. Дела государственной важности. Не все мы можем говорить...

Борька выкручивался, как мог. Он пялил на меня глаза, чтобы я поддержал его.

Но мне страшно хотелось позлить его. И я молчал. Интересно, как он справится со своим положением?

Борька нерешительно сел. Взялся за рюмку.

– Ну давай. Если останешься, можешь, между прочим, выпить.

Хитрец, хочет свалить решение этого вопроса на меня. Не выйдет.

– Мне завтра рано вставать. Все равно будет запах, – спокойно сказал я.

Михайлов, крякнув от досады, одним глотком опрокинул в рот рюмку. Света об этом больше не заикалась, думая, что вопрос решен, и я останусь.

Остаться я не думал. Ни в коем случае. Я никогда ни у кого не оставался ночевать. Может быть, это предрассудок, но так приучила бабушка. Она всегда говорила отцу: хоть ползком, мол, но добираться до своего дома, до своей постели.

Гостиница – это как бы свой дом, не чужой...

Борька тыкал вилкой в тарелку и на меня не глядел. Ладно, помурыжу его еще минут двадцать и отчалою.

Прозвучал дверной звонок. Михайлов вскочил со стула.

— Боря, сиди спокойно. Мама откроет, — сказала его жена.

Из коридора донесся мужской голос. В доме произошло какое-то движение. И сразу почувствовалось, что пришел хозяин.

Он пришел, видимо, не один. Чей-то знакомый голос. Или мне показалось?

А в кухню уже входила... Ксения Филипповна, раскланиваясь со Светой и Борькой.

— Тю-ю, — расставила она руки, увидев меня. — Вот так встреча!

И это бахмачеевское восклицание, ее доброе спокойное лицо и знакомая раскачивающаяся походка внесли в комнату что-то родное; стало тепло и уютно на душе, словно я перенесся за тысячу километров, в Калинин, в нашу маленькую кухню, где всегда собиралась в тихие дружные дни вся наша семья...

Борькин тесть шумно уселся за стол, потирая руки.

— Может, в гостиную перейдем? — захлопотала его жена, на которую очень была похожа Света.

— В кухне вкуснее, — отозвался глава семьи и указал на меня. — Это, как я понимаю, тот самый Дима?

— Он, Афанасий Михалыч, — подхватила Ксения Филипповна.

— Будем знакомы. Вот, понимаешь, Зоя Васильевна, мать Светланы и теща Бориса. Я, как видишь, папаша. — Он подмигнул дочке. — Молодежь наша больно культурная, не считает нужным представлять.

– Папа, неужели ты не наговорился на совещании? – добродушно отпарировала Света.

– Наговорились, что верно, то верно. Мать, поухаживай за нами. Соловья баснями не кормят. – Он потянулся за бутылкой, налил коньяку в рюмки, поспешно поставленные перед ним и Ксенией Филипповной Зоей Васильевной. – И не поят... Молодежь, присоединяйтесь!

Борька с готовностью потянулся к нему чокаться.

– А Дима?

– Я за рулем, – отказался я.

– Что ж, правильно. Что это будет, если сама же милиция будет нарушать законы? – Афанасий Михайлович галантно чокнулся с Ксенией Филипповной. – Давай, председатель, запьем усталость...

– Ну и настырный ты, Афанасий Михалыч, – хохотнула Ксения Филипповна. – Мало, что затянул домой. Теперь спаиваешь.

– Не оставлять же тебя без ужина по милости наших говорунов.

За столом было легко и весело. Даже Борька вел себя свободней. Это, наверное, объяснялось коньяком. Афанасий Михайлович снова наполнил рюмки.

– Гостю не жалея да погуще лей. Борь, давай. И ты, Филипповна, еще одну. Дима, я смотрю, ты и не ешь совсем...

– Спасибо. Честное слово, недавно из-за стола.

– Вот угодил! Сытого гостя хорошо потчевать, – засмеялся он. – Выгодный ты гость...

Ксения Филипповна покраснела. И все поглядывала в мою сторону. Не терпелось расспросить про станичные новости.

– Эх, мать, – продолжал балагурить хозяин, похлопывая по плечу жену, – гляжу я, дети наши выросли, пора нам с тобой на покой. Оставим им квартиру, поедem в Бахмачевскую свой век доживать. Купим хатку, будем фрукты разводить, пчел заведем.

– Так многие говорят, – подцепила его Ксения Филипповна. – Но город крепко держит, как клещами.

– Это как сказать, – покачал головой хозяин. – Вот кончится этот срок, ни за что не останусь в исполкоме. Надо молодым давать дорогу. Потом, Ксюша, поговорим... Ты, Дима, – снова обратился он ко мне, – значит, с Ксенией Филипповной воюешь?

– Уж сразу и воюет! У нас все полубовно. Живем – работаем душа в душу...

– Поутихомирилась? Стареешь, значит, – шутливо подытожил Афанасий Михайлович. – Лет двадцать пять назад к тебе не подъедешь, не подойдешь...

– Время такое было, – вздохнула Ксения Филипповна. – Что человек стоил? Вот и приходилось драться. Ты вспомни, тоже не очень-то ласковые песни пел...

– Было, было. И нас не жаловали. – Афанасий Михайлович покачал головой. – Я часто вспоминаю, как тебя едва не упекли. Страшно подумать, за килограмм зерна... А баба Вера жива?

– Крайнева? Жива. Нам бы с тобой такое здоровье.

– Помню, крепкая женщина была. А что с Ксюшей произошло? – Хозяин рассказывал как бы всем, но почему-то больше смотрел на меня. – Вызвали ее на бюро райкома. Меня только-только секретарем избрали. А вызвали почему? Поступили сигналы, что она разрешает

колхозникам колоски, ну после уборки остаются, собирать и брать себе... Ксения Филипповна ввалилась в райком в телогрейке, в сапогах, с кнутом. Сразу видно – себя в обиду не даст. И своих колхозников. Докладывает о ней представитель НКВД. И предлагает – под арест. Без всяких. Ей бы покаяться, в ножки поклониться, так нет! Рвет и мечет. Ну, думаю, пропала землячка. Не сносить головы... Гляди-ка, обошлось. Отделалась выговором. Но и тот скоро сняли.

– Обошлось! – проворчала Ксения Филипповна. – Не встрянь ты, прямо с бюро и потопала бы по этапу. Сам ведь на вид заработал...

– Ладно, ладно, – отмахнулся Афанасий Михайлович. – Ты себя и отстояла. Но, в общем, мы дружили.

– Тю-ю! – рассмеялась Ксения Филипповна. – Дружили! Первый с меня семь шкур и спускал. Земляк, называется...

– Как со всех, – развел руками хозяин дома. – Ни на шкуру больше...

Скоро Ракитина заторопилась в гостиницу. Я наклонился к Борьке:

– Вот что, Борь, сделай мне гостиницу. Я действительно поеду. Кстати, Ксению Филипповну подвезу.

Он вздохнул, покосился на Свету.

– Не останешься, значит?

– Нет. Не в своей тарелке... Не привык я у чужих...

Мы поднялись, прошли в коридор, к телефону. Борька действительно устроил мне место в два счета. Потом повел в свою комнату и выбрал подходящую одежду. Я переоделся, а свою форму повесил у него в шкафу.

– Вот что, – сказал он на прощание, – прямо с утра приезжай ко мне в управление. Потолкуем о твоей поездке.

– Хорошо, – улыбнулся я. Если ему нравится, пусть считает себя моим наставником.

...Мы сидели с Ксенией Филипповной в маленьком холле гостиницы под колкими шуршащими листьями развесистой пальмы.

Администратор дремала за своей стеклянной конторкой, тикали настенные часы, спал за окном город.

Во мне, наверное, говорила усталость, обида на самого себя за то, что не могу одним махом разделаться с уймой мелких дел, не могу справиться со всеми обязанностями, которые навалены на меня и которые я сам на себя навалил.

Ракитина поняла это по-своему.

– Конечно, трудно, – согласилась Ксения Филипповна, когда я выговорился до конца. – Было бы легко, зачем тебе сидеть тогда на своем месте? Упразднили бы вас давно. Отчаиваешься ты попусту, скажу я тебе. С твоей колокольни действительно выходит, что вокруг одни беспорядки и творятся. Эх, мил ты человек, Дмитрий Александрович! Смолоду тебе приходится заниматься этой человеческой непристроенностью и разными отклонениями. Ведь так можно веру в хорошее потерять. Ой, не сломаться бы тебе по неопытности, не уверовать бы, что все люди – воры, проходимцы и жулики. А если бы ты в артисты вышел? Подавай тебе одни аплодисменты, цветы и прочую благодарность? И воспринимал бы ты всех людей по тому, хлопают тебе или нет. Но скажу тебе, всем трудно хорошо свое дело делать. И даже им, артистам, приходится иной раз ой как несладко! Сколько я их на своем веку переви-

дала, скольких мучений их насмотрелась! Мотаются по месяцу-два в автобусах, в холод и слякоть, из колхоза в колхоз. Ты думаешь, везде их апартаменты ждут с накрахмаленными салфетками и люкс-номерами? Иной раз переночевать негде, куска хлеба перехватить некогда. А им киснуть нельзя. Ел ли артист, спал ли – никого не касается. От него всегда требуется хорошее настроение, улыбка во весь рот. Вот ты говоришь, что у нас в деревне не то, что в городе: любое дело неделями тянется. Верно. Не спорю. Но видел бы ты нашу станицу лет этак двадцать пять назад. Батюшки! Нынешнее раем покажется, если сравнить. А будет еще лучше, честное слово! Вот Афанасий Михалыч то времечко вспоминал. Не переживи я все это сама, никогда бы не поверила. И мне тоже приходилось туго. Требовала от людей почти невозможного. Один раз пожалела Крайневу, так сам слышал – едва за решетку не села. Сколько раз приходилось прятать доброту и жалость подальше от сердца. Случалось понапрасну обижать человека. Не по злему умыслу и незнанию, а потому, что каждый старался свое горе спрятать. Как-то в году сорок четвертом я так напустилась на Настю Самсонову, ну, у которой Лариска Аверьянова живет, за то, что та не вышла на работу. Осрамила перед всеми колхозниками. А как узнала, что в этот день ей, оказывается, пришло извещение, что старший сын погиб, места себе не находила. И показать свою слабость нельзя. А ночью, чтоб никто не видел, пришла к ней прощения просить. Наревелись мы с ней... Что и говорить – хлебнули горя. Если вспоминать все, что пережито, осталось бы лишь волком выть. Нет, жизнь пошла дальше. И радость какая-то пришла.

– Тогда была война, – сказал я. – А теперь мирное время. Я вот в книжках читал да и родители рассказывали, что в то время люди по-настоящему отдавали себя. И на фронте, и в тылу.

– Не все, – ответила Ксения Филипповна. – Человек во всякое время показывает, что он за птица. Думаешь, мало мародеров было, что нагрели руки на общем горе? Всякое встречалось. Так же как и нынче. Есть люди кривые, есть и прямые. Ведь из нашей станицы вышло немало таких, которые высоко летают. Вот Афанасий Михалыч – уважаемый человек во всей области. У моей соседки сын – маршал. Один из станичников за границей в нашем посольстве большой чин занимает. Как видишь, не важно, где ты родился и когда, важно, что у тебя в голове и здесь, на сердце. Да, вспомнила кстати, – она тихо рассмеялась, – Федю Колпакова помнишь?

– Нашего шофера, что ли?

– Его. Встретила на днях тут.

– Он ведь, кажется, в Москву собирался?

– Наверное, уже там. Встретила его на проспекте Ворошилова под руку с дамочкой. Глазам не верю – Федька это или нет. Баки до самой шеи, не то пиджак, не то пальто, с вздернутыми плечами. Представляет он мне дамочку. Законная, мол, супруга. Москвичка. А эта супруга лет на двадцать старше Федьки.

– Может быть, любовь? – Я улыбнулся, вспомнив наш последний разговор с Колпаковым. Вот, значит, какой он избрал путь к должности шофера министра.

– Конечно, любовь. А как же! – смеется Ксения Филипповна. Стенные часы пробили три раза. – Ну, засиде-

лись с тобой до петухов, – поднялась Ракитина. – Скажу я тебе напоследок. В любом деле можно потерять голову и изувечиться в добром. В твоём деле это проще всего. Так что расти в себе крепость и не бойся проявлять молодость. Доверяйся душе, доверяйся первому порыву. Ошибешься – не беда. Зачерствеешь – тогда дело непоправимое.

25

Утром я встал, когда мои соседи по номеру ещё спали. Тихо прибрал кровать, умылся, оделся в Борькин костюм, попрощался с дежурной и заглянул к Ксении Филипповне. Она ушла ещё раньше.

Завтракая горячим чаем и сосисками, я клевал носом, потому что совершенно не выспался и чувствовал себя разбитым.

Только проехав с ветерком по ещё прохладным улицам города, я кое-как пришел в себя. Ночь без сновидений не оставила во мне никакого следа. словно я совсем не спал, а лишь на минуту забылся на скрипучей гостиничной койке.

Во мне ещё жил ночной разговор с Ксенией Филипповной. Не то чтобы он совсем развеял переживания, но, в общем-то, облегчил душу.

Борька располагался в просторном кабинете, отделанном линкрустом, с ковровой дорожкой. И хотя в нём был ещё один письменный стол, всё равно шикарно.

– Привет! – встретил меня Михайлов, выбритый и свежий. – Какой у тебя, значит, план операции?

– Не знаю. Всё будет видно в Юромске.

– Как бог пошлет?

– Вот именно.

– А я бы первым делом...

– Постой, Боб. Первым делом помоги организовать два места до Юромска. А там я уж как-нибудь справлюсь.

– Эх, Кича, Кича... Погубит тебя деревня. В наш век научно-технического прогресса нужно мыслить по-научному. – Он уже снял было телефонную трубку, но в это время в комнату стремительно вошел мужчина лет сорока в форме работника прокуратуры. На петлицах – майорская звездочка.

– Знакомьтесь, – представил меня Борька. – Мой одноклассник. Кичатов. Участковый инспектор из Бахмачеевской.

– Родионов, – протянул руку тот и тут же опустил на стул. – Боря, не сносить нам с тобой головы!

– Будем живы – не помрем, – улыбнулся Михайлов. Это он бодрился передо мной.

– Сейчас от комиссара. Акилев... – Родионов покрутил в руках крышечку от чернильницы. – Завтра прибывает зампрокурора республики. (Борька присвистнул.) Будем живы или нет, еще не известно... – Майор повернулся ко мне. – Вы у себя тщательно провели проверку по делу об убийстве инкассатора?

– Проверяли. Еще до меня – я ведь всего три месяца – прежний участковый проверял. Вообще присматриваюсь ко всем проезжающим и временно прибывающим...

Родионов задумался.

– Крутимся мы вокруг вашего района, а воз и ныне там – все впустую.

– Я же предлагал получше прощупать Альметьевский, –

сказал Борька. – Нет, словно свет клином сошелся на Краснопартизанском районе.

– По всем статьям выходит Краснопартизанский. А преступник словно сквозь землю провалился. Прокурор области заявил мне: «Не справляетесь, так и скажите». Будем, мол, просить помощи у Москвы. Понимаете, куда загнул?

– Понимаю, – ответил Михайлов. – В конце концов выше себя не прыгнешь. Если бы что-нибудь успокаивающее сказать... Подкинули бы вы какую-нибудь новую идею...

– Какую?

– Хотя бы насчет Альметьевской.

– Самообман, – отмахнулся Родионов. – Альметьевская ни при чем. По запаху чую – преступник в Краснопартизанском. – Майор поднялся. – Короче, Боря, к одиннадцати комиссар приглашает всю нашу группу.

– Перед смертью не надышишься, – засмеялся Борька. – Надо бы перед совещанием тактику продумать...

– Какая тактика! Все как на ладони. А воз и ныне там. Родионов вышел.

– Что, зампрокурора едет? – спросил я.

– Будет снимать стружку с комиссара. А комиссар – с нас. Родионова жалко. Вообще он опытный следователь из следственного отдела прокуратуры области. Временно переселился к нам, чтобы поближе быть, так сказать, к жизни. Действительно, что следователь без нас, оперативников, а? – Борька хлопнул меня по спине.

– Я не оперативник. Я участковый. А значит, и следователь и опер одновременно, – отшутился я.

– И все равно на нас все держится! – Он посмотрел на часы. – Кича, прости, дела заедают. Пойдем, я попрошу, чтобы на вокзал позвонили. – Борька в шутку погрозил мне пальцем: – Порты береги как зеницу ока.

– Залог у тебя дома, в шкафу, – отпарировал я. Арефа поджидал меня на вокзале. На всякий случай даже занял очередь в кассу. Но стоять нам не пришлось: места для нас оставили по звонку из управления.

Наш поезд отправлялся после обеда, и мы без толку просидели полдня в зале ожидания. А когда до отхода остался час, засосало под ложечкой. Я предложил перед дорогой основательно заправиться. Ничего из этого не вышло – в ресторане была очередь.

Я по привычке хотел пройти прямо в дверь, но вспомнил, что без формы. Вообще-то пользоваться своим положением было не в моих правилах, но моральным оправданием могло служить то, что я находился как-никак при исполнении служебных обязанностей. Теперь я был в штатском. Надо было предъявлять документы, объяснять... Короче, мы сели в вагон голодные. Купе нам отвели двухместное, возле проводников, которые с любопытством поглядывали на живописную внешность моего спутника. И чтобы никого не смущать и не привлекать к себе внимания, Денисов, не дожидаясь отправления, завалился на верхнюю полку. Сколько я ни уговаривал его занять нижнюю, Арефа не соглашался, уверяя, что наверху ему будет спокойней. Он расстелил постель и повалился на нее без простыней и наволочки, скинув с себя только сапоги и шляпу. То ли пожалел рубль, то ли по старой кочевой привычке.

Арефа заснул прежде, чем тронулся поезд. Он при-

знался, что нынче плохо спал. Давала знать о себе вчерашняя дорога, волнение и неизвестность. Я сам был не прочь завалиться на боковую. Но меня мучил голод и будоражила вокзальная суэта.

Я сидел на жестком теплом сиденье, пахнущем клеенкой, и, как мальчишка, с любопытством смотрел на перрон. Признаюсь, меня всегда завораживали вокзалы, аэропорты, их толчея, особое состояние ожидания. Ожидание чего-то необычного и нового, хотя мне приходилось много ездить и летать на спортивные соревнования.

Поезд тронулся неожиданно и мягко. Замелькали лица, станционные здания, привокзальные улицы, тихие и замкнутые в себе, прячущиеся за прокопченную зелень деревьев от шума и гари железной дороги...

Наш состав выскочил на мост, четко забарабанивший крестообразными перекладинами. Внизу промелькнула баржа, загруженная выше бортов полосатыми арбузами. Мы вырвались в пригород с суровым индустриальным пейзажем. Мимо поплыли темные от шлака, железа и отходов огороженные пространства, без людей и растительности.

Я вышел в коридор. С другой стороны – такая же безрадостная картина. Она поразила меня еще тогда, когда я ехал с назначением в Краснопартизанский район.

Чтобы не терять времени попусту, я решил сходить в вагон-ресторан, поесть, а потом прилечь поспать. Не известно, что нас ожидает в Юромске, может быть, придется ехать дальше, по следам Васьки Дратенко.

В ресторане только заканчивались приготовления. Де-вушка, в белом накрахмаленном кокошнике, расставляла

по столам стаканчики с салфетками и приборами.

Предупредив, что придется порядком подождать, она исчезла в кухне. Я пристроился у двери, спиной к остальным столикам.

За окном мелькали бахчи, сады, поля подсолнечника. Знакомая картина приятно ласкала глаз. Поблекшая зелень позднего лета, море подсолнухов и плавный перестук колес. На какое-то время я забыл, куда и зачем еду, успокоенный движением, плавным ходом поезда и предчувствием новых встреч...

Из этого созерцательного состояния меня вывел голос, раздавшийся сзади:

— Прежде всего сто пятьдесят и бутылочку пива. Пиво холодное?

— Откуда холодное? Только загрузили в холодильник, — ответила официантка. — А закуску?

Мне очень хотелось повернуться. Знакомый голос...

— Помидорчиков.

— Нету... Шпроты, селедка, винегрет.

— Милая, вокруг тонны свежих овощей...

— Мы получаем продукты в Москве.

Я не выдержал и повернулся. Официантка предложила мне:

— А вы, товарищ, пересели бы к этому товарищу. А то, если каждый будет занимать отдельный стол...

Мне во весь рот улыбался отец Леонтий.

— Дмитрий Александрович, вот встреча! Вы никого не ждете?

— Нет.

— Пересаживайтесь.

– Давайте лучше ко мне. В уголке уютней...

Сказать честно, меня не очень обрадовала перспектива сидеть с попом в ресторане. Ведь может кто-нибудь случайно оказаться в поезде из бахмачеевских. Что подумают?

Батюшка выглядел иначе, чем дома, в станице. Укоротил волосы, приоделся в модный легкий костюм. Впрочем, я тоже в другом обличье. В штатском.

Не замечая моего официально-вежливого лица, отец Леонтий захватил с собой ворох свежих газет и перебрался за мой столик.

– Значит, триста граммов... – с серьезным видом записала официантка.

– Вам сказали, сто пятьдесят, – поправил я.

– Нет, – запротестовал отец Леонтий, – за встречу и... проводы. Сделайте одолжение, а? (Я наотрез отказался.) Несите триста. На всякий случай... – кивнул он официантке.

Девушка уплыла в кухню.

Мой собеседник долго смотрел мне в глаза, потом неожиданно расплылся в улыбке:

– Не бойтесь, Дмитрий Александрович, вы сидите не с отцом Леонтием, а просто с Игорем Юрловым. Был батюшка, да весь вышел...

Я удивился и не мог этого скрыть. Вспомнилась наша последняя встреча в больнице в Краснопартизанске. Бог почему он так упорно звал меня в гости. И еще что-то хотел сказать там, в школьном спортивном зале, но так и не решился.

Я смешался: поздравлять его или, наоборот, сочувствовать? Может быть, разжаловали?

– А теперь куда? – спросил я.

– Куда Макар телят не гонял, в Норильск. Буду детишек к спорту приобщать.

– Зачем же так далеко?

– Почетная ссылка, – засмеялся он. – Добровольная.

– А супруга?

– В купе. Отдыхает...

Официантка поставила перед нами выпивку и закуску.

– Не откажете? – поднял графинчик Игорь. Отказываться теперь было не очень прилично. И вообще я в конце концов взрослый, самостоятельный человек.

– Столько событий. Отказать трудно...

– Это другой разговор! – обрадовался Юрлов, наполняя рюмки. – Это же надо, все вокруг ломится от свежих овощей, а тут шпроты, колбаса, винегрет. Может, сбегать в купе, принести помидоры?

– Не стоит. – Я поднял рюмку. – Скажу честно, не знаю, поздравлять вас или нет.

– Давай на «ты».

– Давай. Так как же?

– Я и сам не знаю. Наверное, к лучшему.

Водка обожгла горло, перехватило дыхание, Игорь быстро налил в фужер пива и протянул мне. Оно было теплое и кисловатое, но смыло острый вкус во рту.

– С непривычки противно, – оправдывался я, вытирая слезы.

– Запьем горечь жизни горечью горькой, – усмехнулся он. – Намотался я за эти дни, набегался. Переход из одного состояния в другое как-никак...

– Сам решил?

– Жизнь решила... Конечно, преподобный в районе нос воротил. Получается, дезертир. Но, кажется, уладилось.

– Нового батюшку прислали?

– Нет. Кадров не хватает. Временно за меня будет об-служивать приход староста. Начальство наше не очень обрадовалось, но отпустило с миром.

По ногам у меня разлилась теплота. Мышцы расслабились и стали безвольными. Напряжение последних дней отпустило, и захотелось болтать и слушать чью-нибудь болтовню.

– Я давно хотел с тобой поговорить, но сам понимаешь... – сказал я, совершенно не заботясь, как Игорь это воспримет.

– И я, – просто признался Юрлов. – Ты спортсмен, я спортсмен. – Он засмеялся.

Мы выпили еще по одной.

– Хороши спортсмены, пьем, почти не закусывая.

– Тренеры, – подмигнул он. И вдруг заявил без всякого перехода: – Дурак я! Никто меня из института не гнал. Был бы у меня сейчас диплом, все веселее. Диплом – он ведь ни пить, ни есть не просит, верно?

– Верно, – подтвердил я.

– Из комсомола меня, конечно, правильно попросили. А из института не просили. Честное слово, сам ушел. С четвертого курса!

– Знаю, – кивнул я.

– Ты все знаешь, – грустно сказал Игорь.

– Нет, не все. Например, что вы с Ольгой решили махнуть на Север.

Он засмеялся:

– Как это осталось в секрете для станицы, сам поражаюсь. У меня в Норильске приятель – директор спортивной школы. Однокашник. Я ему давно написал. Так, на всякий случай. Думал, даже не ответит! И к моему удивлению, сразу получил вот такое послание! Пишет, город отличный. Заработать можно, Подъемные выслал, квартиру обещает. Неудобно говорить о деньгах, но мне, Дима, этот вопрос поперек горла стоит. Хочется встать на ноги, Ольгу одеть, родить и растить сына и не думать о копейке. Вы все, наверное, думали, теплое местечко у отца Леонтия! Тысячей я не нажил в Бахмачеевской, поверь. Как вспомню эти несчастные трешки, рубли, стыдно становится. И не брать – обидишь. Да и в район к преподобному ехать с пустыми руками нельзя.

– Что же, я тебя понимаю, материальный вопрос очень важен, хотя мы и боимся его затрагивать.

Игорь болезненно поморщился.

– Не понял ты меня, Дима. Не понял... – Он стал смотреть в окно.

Я чувствовал, что хмелею. Не опьянел, нет, просто я мог говорить о чем угодно, спорить и вообще резать правду-матку в глаза.

– Понял я тебя, – возразил я. – Правда, не был в твоей шкуре. Мне жалованья хватает вот так: холостяк да и тратиться в деревне не на что. Но содержать семью, платить алименты...

Игорь молча разлил водку, потом тихо сказал:

– В мае я получил от Костика, от сына, письмо. Он спрашивал, действительно ли я поп. Его класс приняли в пионеры. А вопрос о Костике отложили. До выяснения... –

Игорь залпом выпил свою рюмку и в упор посмотрел на меня. – До сих пор я ему не мог ответить. Понимаешь?

– Понимаю.

Он снова поднял рюмку:

– Давай за моего сына!

– За Костика! – чокнулся я с ним.

– За Костика и за второго сына... – У меня от удивления расширились глаза. Он засмеялся. – Понимаешь, у нас с Олей будет ребенок!

Мы выпили. Мне на какое-то мгновение показалось, что он намеренно настраивает себя на приподнятый, веселый лад. Решение, принятое им, далось Игорю, видимо, нелегко... В нем еще происходила какая-то борьба. Он, человек далеко не глупый, понимал, что, сделав только первый шаг в своем новом качестве, должен будет многое пересмотреть, многое в себе изменить. Может быть, его тревожило, как отразятся годы, проведенные под сенью церкви, на его дальнейшей жизни. Может быть, есть сомнения... Но на другую чашу весов положено очень многое: ребенок, открытое, прямое общение с Костиком. И не только с Костиком. Со всеми людьми. А главное – любимая работа!

– Кто сказал Костику, что ты священник? – спросил я.

– Свет не без «добрых» людей... – горько усмехнулся Юрлов. И по этой усмешке стало ясно, что ему вовсе не так весело, как он пытается представить...

В ресторане было много народу, но мы не обращали ни на кого внимания.

– Ты говоришь так, будто жалеешь, что уехал. Прости за откровенность.

– Что значит – жалею? Меня и из Бахмачеевской не гнали. – Мой собеседник нахмурился. – Ты думаешь, все так просто?

– А что, если ты порвал с верой – дело одно, а если, только сменил работу – другое...

Я видел, что задел его за живое. Но Игорь не обиделся, не отгородился от меня. Он некоторое время сосредоточенно вертел в руках фужер, потом твердо сказал:

– Порвал. И все об этом! Лучше поговорим о спорте. Поверишь, иной раз смотрел по телевизору соревнования по боксу, аж плакать хотелось. Вспоминал, как пахнут новые кожаные перчатки, вымытый пол в спортзале. Даже вкус крови во рту и то дорогим казался. Это дело – мое! Дело, понимаешь? Десятка два пацанов, слабеньких, неуверенных в себе... А ты учишь их спокойно смотреть на противника. Учишь их не бояться, учишь быть мужчиной. Да что тебе рассказывать!.. Ты сам, наверное, такой же. Закажем еще?

– Смотри сам. На меня больше не рассчитывай...

– Ты прав. Хватит. Как говорил Пифагор: «Никто не должен преступать меры ни в пище, ни в питье»... Впрочем, что тебя учить, – рассмеялся он, – ты ведь в этом вопросе разбираешься не хуже моего. «Запрет вина – закон, считающийся с тем, кем пьется, что, когда и много ли и с кем...»

Правильно сказал Коля Катаев после моей лекции: слова Хайяма станичники запомнят.

– Игорь, а ведь, ты осведомлен получше меня.

– Не говори. Только священнику исповедуются добровольно.

– В своих слабостях, а не преступлениях...

Наш полушутливый спор оборвался. Юрлов поднялся и кому-то помахал рукой.

Я обернулся. Оля Лопатина стояла в другом конце вагона-ресторана, выискивая мужа. Увидев нас, она заулыбалась и подошла к столику.

– Приятного аппетита! Вот не ожидала, что попутчиком будет кто-нибудь из Бахмачеевской.

– Только до Юромска, – ответил я. – Садитесь к нам.

– Отдохнула, лапушка? – ласково спросил Игорь. При появлении жены он засветился нежностью.

– Жарко спать. Все смотрю в окошко и смотрю. Не верится, что мы уже едем...

– Есть хочешь?

– Ни капельки. – Она показала глазами на графинчик. – Приобщились?

– А как же! Посошок на дорогу. Пива выпьешь? – Игорь взялся за бутылку.

– Налей немного. Что-то ты трезвый, я смотрю. Правда, Дмитрий Александрович немного покраснелся.

– Всего по сто пятьдесят, – сказал я. – Но голова уже кругом...

Оля засмеялась.

– С такой-то дозы? Не поверю.

– Честное слово! Я ведь непривычный.

– Ну все равно, с вашим здоровьем и комплекцией...

– Дело в привычке. Как себя человек натренирует, – засмеялся Игорь. – Какой-нибудь мужичок с ноготок выпьет бочку, и ничего. А другой верзила со ста граммов пьянеет.

– Медициной установлено, что отравляющее действие алкоголя прямо пропорционально весу человека. Если сразу выпить столько, что на килограмм веса придется грамм спирта, человек может умереть...

– Заинька, какой дурак будет пить залпом столько водки! Пьют же постепенно.

– Это и спасает... – подхватила Оля.

– Вот именно. Но мы ведь говорили о степени опьянения, а она зависит от индивидуальности.

– И все равно, медицина считает, что опьянение также зависит и от веса пьющего.

– Она ошибается, – мягко возразил Юрлов.

– Медицина никогда не ошибается!

– Эраре гуманум эст, Человеку свойственно ошибаться. А врачи – люди.

– Не будем брать частные случаи. Речь идет о науке, – повысила голос Оля.

Назревала размолвка. Чтобы примирить супругов, я сказал:

– В жизни встречается столько отклонений, что все их трудно предвидеть.

– Патология, конечно, бывает. Медики такими случаями тоже занимаются. Но подавляющая масса людей нормальна...

– Может быть, наоборот? – поддразнивал ее Игорь. – Патология – нормальна, а нормальность – патологична?

– Ты, как всегда, хочешь быть оригинальным.

С одной стороны, меня забавлял их спор. Если раньше представлялось, что семейная жизнь Игоря была чем-то необыкновенным в силу его положения, то сейчас я видел,

что они простая супружеская пара, со своими неурядицами, соперничеством. Это делало их отношения понятными и человеческими. Но, с другой стороны, я опасался, как бы их перепалка не перешла в ссору. Не хотелось, чтобы наша первая и, может быть, последняя откровенная беседа закончилась плохо.

— Ребята, бог с ней. Оставим медицину в покое, — предложил я.

— Оставим, — с удовольствием согласился Игорь.

— Тем более, ты в ней мало смыслишь, — торжествующе закончила Оля.

— Не спорю.

— И спорить нечего. — Оля всем видом показывала, что победа осталась за ней. — Игорь вот всегда возмущался, — обратилась она ко мне, — что жена парторга Павла Кузьмича, здоровая женщина, ничего дома не делает. Они были нашими соседями. А я говорю, значит, у нее что-то не в порядке. Нам ведь, врачам, виднее. Поговорила я с ней. Маланья Яковлевна призналась, что в последнее время ей действительно все труднее что-нибудь делать. Я посоветовала прийти в амбулаторию, И что вы думаете — щитовидная железа. Ей, оказывается, и раньше предлагали операцию. Боится, А люди ничего не знают и болтают всякое...

— Признаться, я думал так же, как Игорь, — сознался я. — Оказывается, по внешности судить нельзя. Взять еще, например, Лохова. Крепыш, каких мало. А у человека одно легкое и туберкулез...

Лопатина округлила глаза:

— Это муж Клавки-продавщицы?

– Он.

– Кто вам сказал, что у него одно легкое?

– Сам и сказал. У него справка есть. Инвалид второй группы...

Оля пожала плечами:

– Глупость какая-то. Я его слушала. Легкие как у быка. Без одного легкого сразу узнать можно.

– А рентгеном проверяли?

– Он не обращался, – сказала Оля.

Я задумался. Действительно, какая-то неувязка. И если у него туберкулез, то как же его жене разрешают работать в продовольственном магазине?

– Он разве не состоял у вас на учете?

– Конечно, нет.

– Может быть, в районе, в тубдиспансере? – допытывался я.

– Что вы, мы таких больных знаем наперечет. Они на особом учете. Их обязательно посылают в закрытый санаторий, регулярно обследуют. Кроме всего прочего, они опасны для окружающих.

– Постойте, а когда вы его слушали? Он сам к вам в амбулаторию пришел?

– Нет. Случайно получилось. Он как-то чинил крышу и сорвался. Как голова целая осталась, не представляю. Верно, здоров, как бугай. Клавка прибежала ко мне, кричит: Тихон разбился. Я помню, успела схватить чемоданчик и бегом к ней. Тихон действительно сидит у хаты в полусознании. Клавдия его водой окатила. Я первым делом сердце прослушала, легкие. Дала понюхать нашатыря. Уложила в постель и сказала, чтобы пришел на рентген. Может, тре-

щинка какая. Он так и не пришел. Я решила, что обошлось. Здоровый он, ничего не скажешь. Другой бы богу душу отдал...

– А легкие?

– Я же говорю – здоровее не бывает.

Хмель у меня из головы улетучился вмиг. Я вспомнил Лохова, его здоровые лапищи с короткими пальцами, походку носками внутрь. Меня самого тогда поразило, что у такого человека может быть всего одно легкое, да и то гнилое. Да, тут что-то не то. Паспорт я не смотрел. Поверил на слово. Положился на сычевскую проверку. Теперь мне подумалось, что Клава была чересчур уж приветлива. Неспроста.

Неужели Лохов – это... На фотороботе у преступника была борода. Бороду, правда, легко сбрить.

Надо срочно позвонить Борьке Михайлову.

Игорь и Оля с удивлением наблюдали за мной. Я попытался рассмеяться как можно беспечнее.

– А бог с ним, с Лоховым! Что вам теперь? О Бахмачеевской и думать забудете, наверное.

– Э, нет. – Игорь обнял жену за плечи. – Бахмачеевская – это великая станица. Она соединила нас с Оленькой... Что и говорить, перевернула всю жизнь. Верно, лапушка? – Игорь лбом потерся о ее волосы.

– Отец Леонтий, люди же смотрят, – шутливо отстранилась она.

– Ну вот что, ребята, – поднялся я, – мне требуется поспать пару часов, как воздух.

– Дима, Дмитрий Александрович, заходите к нам в купе, – пригласила Оля.

– Постараюсь, – ответил я. – На всякий случай – счастливого пути и много-много радости. И напишите.

– Я напишу, – серьезно сказал Игорь. – Жаль, не успели поближе сойтись в Бахмачеевской. Интересный ты парень...

– Так не только ты считаешь. – Оля выразительно посмотрела на меня.

– Что же, правильно, – подтвердил ее муж.

– Дмитрий Александрович знает, о ком я говорю... Конечно же, речь шла о Ларисе.

Я глупо улыбался и не знал, что делать. С официанткой рассчитался, с Юрловым вроде бы попрощался и стою, как дурак, жду чего-то...

– Понимаешь, Игорь, мы лежали с Ларисой в больнице, ну с той библиотечаршей...

– Как же, помню.

– Чудная девчонка! – Оля словно рассказывала мужу, но я понял, что ее слова предназначались мне. И только мне. – Спрашивает меня Лариса: можно ли любить двоих?

– Как это? – удивился Игорь.

– Вот так. Двоих одновременно.

Юрлов обернулся ко мне:

– Чушь какая-то, правда? У женщин иногда бывает... – Он рассмеялся. – Любить двоих!

– Ты вообще о всех женщинах невысокого мнения! – вспыхнула Оля.

– Действительно, – смеялся Игорь. – О всех, кроме одной. Или ты хочешь, чтобы я обожал всех?

Я не знал, радоваться тому, что сказала Оля, или нет? Но мое сердце било в литавры...

– Она хорошая, чистая девушка, – сказала Оля и почему-то мне подмигнула. – Можно кое-кому позавидовать...

Я еще раз попрощался с супругами и побежал в свой вагон, прямо в купе к проводникам.

– До Юромска следует без остановки, – ответил на мой вопрос проводник. – Теперь поезда несутся как угорелые. Раньше, например, останавливался в Будаеве. Гусей выносили, арбузы соленые... Нынче ни гусей тебе, ни арбузов. – Проводник удрученно вздохнул. – Как на самолете. Ни людей не увидишь, ни товару. Я вот в Среднюю Азию еще ездил. В Ташкент. Там на каждой станции свой особый смысл был. В Темуре дыни покупали, здоровенные, в пуд весом. Пахучие, сладкие! В Аральске – копченого леща, балык выносили. Подъезжаешь к Оренбургу – курей вареных, картошечку с луком и соленые огурчики. – Он еще раз вздохнул. – Охо! Техника, скорость! Все как будто о людях думаем, экономим человеческое время. А всю эту прелесть зачеркиваем. Подумаешь, сократили путь на несколько часов, Спроси у любого пассажира, хотел бы он отведать будаевских гусей или там аральского балычка? Еще как! Нет, мчимся, мчимся. Куда, спрашивается, спешим? На кладбище? Так все равно там будем... А тебе что купить надо на станции или телеграмму послать?

– А так просто интересуюсь.

– Потерпи до Юромска. Скушно, стало быть?

– Малость.

Проводник подмигнул:

– А с тобой едет не родственник? – Это он про Арефу.

– Нет, – сказал я.

– Подозрительный. Одежда необычная...

– Артист. В кино снимается. Обживает костюм.

– Да, да, да, да, – зацокал языком проводник. – Думаю, где его видел? Я, между прочим, так и решил...

Я зашел в свое купе. Арефа спал на спине, подложив под голову руки. Мне ничего не оставалось делать, как самому завалиться на свою лежанку.

26

Проснулся я с тяжелой, смурной головой и отвратительным привкусом во рту.

Арефа, словно поджидая, когда я открою глаза, тут же выглянул с верхней полки.

– Через час Юромск.

Ему, наверное, было скучно одному, и теперь он обрадовался. Я сел, взял со столика стакан с чаем. Остывший. Молодец, Арефа, позаботился.

– Знаете, кого я встретил в вагоне-ресторане? Отца Леонтия.

– Я слышал, будто он уезжает от нас. – Денисов спустился, присел рядом.

– Уже едет.

– С ним, значит?.. – подмигнул Арефа.

– Да, обмыли. – Я потер лоб, виски. – Голова как неродная.

Арефа вынул из-под сиденья бутылку пива и поставил на столик.

– Выпей. Полегчает...

– Не-е, – отмахнулся я.

– Не бойся. Это единственное лекарство. – Он сам от-

купорил бутылку и налил пиво в стакан из-под чая. — Зачем мучиться?

Я стал цедить пиво.

Солнце, большое и багровое, мчалось параллельно поезду на размытом горизонте, чиркая по верхушкам столбов.

— Арефа Иванович, вы уверены, что мы застанем Дра-тенко?

— Застанем, — кивнул Денисов. — Он свадьбу затевает. В Юромске и будет играть. Приглашения разослал...

Неужели у Васьки чиста совесть, если он спокойно готовится к свадьбе, да еще всех известил об этом? Или так сумел спрятать концы, что ему плевать на всех и вся?

— А чем он занимается?

— Говорят, большой делец. — Арефа закурил, видимо размышляя, стоит ли откровенничать. — Я, правда, точно не знаю, но будто зимой он возит на Север фрукты с Кавказа, летом промышляет скотиной, лошадьми в основном... Да мало ли можно найти выгодных занятий? Как говорится, у каждого Гришки свои делишки.

— А попасться не боится? Это ведь до поры до времени.

— Пока не попадался.

— Не понимаю таких людей. Мне кажется, риск себя не оправдывает. Честное дело всегда надежней, с какой стороны ни подойти...

— Таких, как Васька, трудно приучить к нормальному труду. С малолетства к махинациям приучен. Отец его занимался спекуляцией. Старший брат...

— Арефа Иванович, а почему о цыганах такая молва? — перебил я его.

Он задумался.

– Да как тебе сказать? С одной стороны – трудяги, умельцы, которые даже при королевских дворах в Европе славились. Были настоящие, всемирные музыканты, но находились и дельцы. У нас даже есть легенда, почему цыгане такими были. Не слышал?

– Нет, не слышал.

После некоторой паузы Денисов начал рассказывать:

– Случилось это бог знает когда. Решил всемогущий Иисус наделить людей ремеслами. Ну и послал за цыганом святого Петра. Тот искал цыгана недолго, потому что цыган лежал в своей халупе, на краю села, лежал прямо на земляном полу, на соломе, и гонял с живота мух. «Что ты делаешь, морэ?» «Морэ» – по-нашему, значит, цыган. А цыган отвечает: «Я пока без ремесла, вот и гоняю мух». Петр говорит ему, что, мол, поспеши к богу, тот как раз раздаст всякие подходящие занятия. Цыган, разумеется, и не чешется. «Мне не к спеху, – говорит он. – Вот придет моя жена из деревни, может, чем-нибудь поживится, принесет поесть, я и тебя попотчую. А куда я не могу уйти из дому». И начал песенку напевать, чтобы не скучно было. Святой Петр, конечно же, ждать не стал, дел у него было предостаточно, не одни ведь цыгане жили на земле, всем ремесла нужны. А может быть, ему песня не понравилась. Оставил он цыгана в халупе гонять мух. Так лежал цыган весь день, весь вечер. Уже ночь на дворе, а жены все нет и нет. В животе у него пусто и тоскливо. Жена вернулась в полночь да еще с пустыми руками. Так и легли спать с пустым брюхом. И как это полагается у настоящих ромов, то есть цыган, проспали до следующего вечера. Проснулся цыган и думает: а ведь к богу надо наведаться, наверное,

приберег какую-нибудь выгодную профессию. Разбудил он жену, стряхнул с нее солому, чтобы поприличней выглядела, и отправились они наверх, предстать пред святые очи. Петр подвел их к богу, а тот, к удивлению цыган, говорит: «Бедный цыган, раздал я ремесла все до одного. Ничего тебе не осталось. Но раз уж ты все-таки пожаловал ко мне, я тебя не оставлю без занятия. Пробавляйся-ка ты кражей, а жена твоя – гаданием. Вы, я слышал, и прежде этим занимались». Вот так будто и получилось, что цыган считают бесчестными, дразнят и ругают, потому что не захотели они перечить богу...

Арефа замолчал.

– Невеселая сказка, – сказал я.

– Невеселая...

– Странно. Обычно народы сочиняют о себе красивые легенды. Богатырей разных, чудеса, смелых и добрых героев.

– И у нас такие есть.

– А эта очень критическая. Прямо сатира народная.

Арефа улыбнулся.

– Лучше самим себя ругать, чем другим позволять. И еще как-то оправдываться надо было. А бог чем нехорош?

– Это верно. Где вы эту байку слышали?

– От матери. Она работящая была. И отец дельный человек был. До революции извоз держал под Псковом. Имел с десятков лошадей, подводы, занимался гужевыми перевозками. Сам за кучера, братья и сыновья с ним. Семья у нас немалая росла. Жили оседло. Помнится, все дома работали. Хозяйство требовало рук. Сами ковали лошадей, чинили подводы. Шорничали, лечили скотину. Не скрою,

жили не бедно. От той жизни у меня самовар остался из чистого серебра и дюжина ложек. Такой же самовар и брату достался. Ты видел у Мирикло. А потом много разного случилось. Отец умер, хозяйство распалось. Сыновья и братья разбрелись кто куда, Я многое перепробовал в жизни. В шорниках ходил, в кузнецах, в лудильщиках. Но меня больше к животным тянуло. Потом война. Сначала финская. Не успел я демобилизоваться, как Отечественная. В ней семью потерял. Только Полина осталась в живых. Чудом. Но что я приобрел на фронте, так это настоящего друга. Муж Ксюши Ракитиной, Игнат. Бывает такое, встретишь человека и у тебя вся жизнь изменится. Славный Игнат был. Добрый, справедливый. Надо же, чтобы бог соединил такую пару – его и Ксюшу. Я вот с тобой сейчас сижу, беседую, а на самом деле жить должен был он. Может быть, мою пулю на себя принял. В разведке это случилось. Попали в засаду. Он первый заметил фрицев. И как толкнет меня в овраг, а сам не успел. Подстрелили. Я его и схоронил. Вот этими руками закрыл глаза. Закончилась война, дома у меня нет, семьи – тоже. Кто я? Вольный цыган. Подался в Бахмачеевскую. Ксюша мне ведь словно родная сестра стала. Работал на конеферме. Ох, трудное было время! Трудодней много, а хлеба нет. Я тогда на Заре женился. Дети пошли. Потом отыскал Полину. А жрать нечего. Зара меня все подбивала кочевать. Думаю, была не была, хуже не будет. А тут табор проходил мимо. Ну, сманили. Конечно, я не красная девица, которая побежит, только помани. Но если бы я с самого начала рос от земли, наверное, вытерпел бы, не ушел. А когда в пятьдесят шестом вышел указ об оседлости, вернулся в колхоз... А зачем я тебе все это рассказываю? – спохватился Арефа.

– Рассказывайте, пожалуйста. Интересно.

– Между прочим, – закончил Арефа, – мой средний брат в Ленинграде преподает в институте. Кандидат наук.

– Значит, легенда ваша не соответствует действительности?

– Время другое.

В дверь заглянул проводник.

– Не помешал?

– Нет, входите, – предложил Арефа. Проводник с почтением протиснулся в купе, не спуская глаз с Денисова.

– Я, товарищ, с вашего позволения, стаканчики... Может, еще чайку?

– Как, Дмитрий Александрович?

– После пива не хочется.

– Я могу еще сбегать за пивом, – с готовностью откликнулся проводник. – Только вы успеете? Скоро Юромск.

– Спасибо, не надо, – отказался я.

Проводник, продолжая глазами есть Арефу, нехотя удалился. Уж больно ему хотелось пообщаться с «артистом».

– Очень вежливый, – сказал Арефа, когда тот тщательно и аккуратно закрыл за собой дверь. – Все спрашивал, удобно ли я устроился. К чему бы это?

– Культура...

Меня разбирал смех, но я ничего Арефе не сказал.

Голова у меня действительно прошла, и все-таки я решил к спиртному больше не прикасаться.

Поезд застучал на стрелках, задергался. Пути стали раздваиваться и побежали рядом, пересекаясь и множась. Зашипели тормоза.

Когда мы сошли на перрон, я попросил Арефу подождать на вокзале и буквально бегом направился в комнату линейной милиции.

В управлении Михайлова не было. Пришлось звонить домой. Взяла трубку Света. Она мне обрадовалась. Сообщила, что Ксения Филипповна завтра возвращается в станицу. И еще сказала, что хочет сама съездить в Бахмачевскую. Если удастся уговорить мужа немного отдохнуть. Я не стал говорить ей о том, что, возможно, еще сегодня Борьке придется отправиться туда.

– Соскучился, Кича? – спросил мой приятель, взяв трубку. – Откуда?

– Из Юромска.

– С приездом!

– Слушай, у меня нет времени. Проверьте в Бахмачевской Лохова. – Я продиктовал фамилию по буквам.

– Почему именно его?

– Да чушь какая-то получается. У него справка на инвалидность. В ней указано: одно легкое и туберкулез, В действительности – оба легких на месте.

– Ты что, из Юромска это разглядел?

– Да, в подзорную трубу. А если без шуток, нашего врача в поезде встретил. (Борька молчал.) Ты слышишь?

– Слышу. Большие вы деятели с Сычовым, скажу я тебе. А если промахнемся?

– Извинитесь.

– Ладно, Кича.

Юромск. Честное слово, если я снова попаду в него, то не узнаю!

Мы сели в автобус и ехали, ехали по зеленым улицам, пустым и тихим, с двухэтажными кирпичными домами, в которых светились желтым светом узенькие, низкие окошки. Желтые фонари прятались в кронах деревьев. Потом дома исчезли, и автобус переваливался через пустые холмы и снова окунался в бледный свет уличного освещения.

Вдруг ни с того ни с сего возник посреди дороги монастырь. Он протянулся на добрые четверть километра. За его стеной монолитной кладки красного кирпича возвышались храмы и казарменного вида постройки. За монастырем город нырнул под обрыв и засиял бледными огнями, зыбко отражаясь в излучине реки. И людей я совсем не помню. Уж больно широкие пространства занял этот городок, заблудившийся среди холмов, среди не то парков, не то рощ и пустырей.

Остановки четыре мы вообще ехали в пустом автобусе. Водитель, молоденький парень, развлекался радиоприемником, гремевшим на полную мощь. Машина, дребезжа всеми своими частями, вдруг остановилась, и шофер, с треском опустив окошечко, ведущее в салон, прокричал:

– Слезай, конечная!

И мы вышли в прохладную темную зелень кривой улочки, карабкающейся по кособокому.

Мы шли, оглохшие от густой тишины, слегка пошатываясь после стремительной езды на поезде и автобусе,

всматриваясь в запутанные номера на разномастных оградах частных домов.

Арефа растерялся. Он бросал на меня извиняющиеся взгляды, и мне передалась его растерянность. У нас были все шансы остаться на ночь без крыши над головой. Правда, всегда можно добраться до ближайшего отделения милиции. Но где оно, это отделение, и кто нам покажет путь? У меня было такое ощущение, что город вымер. И вообще здесь когда-нибудь жили люди? Мы уперлись в тупик.

– Странно, – сказал Арефа. – Тут должен был быть магазин...

– Но нет даже и продпалатки, – пошутил я.

Пришлось возвращаться и сворачивать в переулок.

Сколько времени продолжались наши поиски, я не помню. Вся затея с погоней за Васькой и Чавой стала казаться до того неумной и пустой, что я едва не сказал об этом своему спутнику. А может быть, Арефа дурачит меня и, как утка, оберегая своих птенцов, отводит от них охотника?

Мы опять куда-то свернули. У Денисова вырвался вздох облегчения. Место было ему знакомо. Он попросил подождать меня возле какого-то дома, вошел во двор и быстро вернулся, сообщив:

– Это, оказывается, совсем рядом.

Через несколько шагов нас осветили сзади автомобильные фары. Пришлось посторониться. Мягко урча мотором, переваливался по разбитой, заросшей травой колее «Москвич».

Арефа проводил его взглядом и вдруг крикнул;

– Эй, морэ!

Машина стала как вкопанная, и из нее выглянула удивленная физиономия водителя.

– О, баро девла! – воскликнул шофер, взглядевшись в Денисова. – Арефа!

Арефа шагнул к «Москвичу».

– Здравствуй, Василий. А я, черт возьми, заблудился. Битый час плутаем...

Дратенко открыл заднюю дверцу:

– Вот молодец, что приехал! А где Зара?

– Не могла.

– Жаль-жаль.

Денисов полез на сиденье и пригласил меня. Машина была новая, резко пахла краской, кожей и пластмассой, легко покачивалась от работы двигателя. Щиток с приборами уютно светился лампочками. Дратенко тронул. Свет от фар поплыл по изумрудной траве.

– Как внуки? – спросил Василий.

– Спасибо, живы-здоровы.

– Ну и слава богу! – Дратенко обернулся и подмигнул мне: – Ром?

Я не понял.

– Нет, русский, – ответил за меня Арефа. – Сережкин приятель.

«Да, – подумал я, – ничего себе приятель».

– Ты знаешь, на днях Сергей был. Что с ним такое?

– А что? – невольно воскликнул Арефа. Я сдал ему руку, чтобы он не сказал ничего лишнего.

– Сумасшедший какой-то! Набросился на меня. Где, говорит, лошадь?

– Давно был? – глухо спросил Денисов. От волнения он охрип.

– Три дня назад. Смешной человек! Зачем мне красть лошадь? Я, как и Остап Бендер, уважаю уголовный кодекс. – Дратенко засмеялся. – В наше время можно заработать честным трудом. А все эти цыганские штучки-дрючки с лошадьми пора сдать в музей.

Я чуть было не напомнил ему, как они пытались провести Нассонова, напоив кобылу водкой, Но вовремя сдержался. Вообще мне надо пока делать вид, что мое дело – сторона. Пусть потрудится Арефа.

Денисов уже успокоился. Главное, Чава был жив и невредим.

Мы остановились у высокого, глухого забора. Ворота для автомобиля поставили, видимо, совсем недавно и еще не успели покрасить.

Дратенко сам отворил их, завел машину во двор и пригласил нас в темный дом, открыв входную дверь, запертую на несколько замков.

– Мать у невесты, – словно оправдывался он. – Вы же знаете, что такое цыганская свадьба! Хлопот полон рот.

Он провел нас через сени в комнату и щелкнул выключателем.

Я зажмурился от яркого света. Комната была заставлена мебелью, набита дорогими вещами. Было видно, что эта полированная, позолоченная, граненая, бархатная и шелковая радость доставляла владельцу прямо-таки животное удовольствие. Он ждал от нас восхищения, в крайнем случае – одобрения. Но мы расположились на низком диване с деревянными полированными подлокотниками,

покрытом толстым ковром, и молчали, занятые своими мыслями...

Дратенко сел возле стола, небрежно положив руку на плюшевую скатерть, явно огорченный тем, что мы не похвалили его дом.

– Куда уехал Сергей? – спросил Арефа.

– Чуриковых искать. Мы с ними у вас были.

– Не припомню таких... – сказал Арефа.

– Да знаете вы их! – нетерпеливо махнул рукой Дратенко. – Григорий и Петро. Братья.

Арефа задумался, силясь вспомнить.

– У Гришки лицо щербатое. После оспы.

– Вспомнил. Далеко они?

– Завтра будут на свадьбе. У них и справится о Сергее. А жеребец не нашелся?

– Обязательно будут? – спросил Денисов, не ответив на его вопрос.

– Прибегут. Большие любители выпить и закусить. – Василий обнажил в улыбке свои крепкие, желтые зубы. – Согласился бы ваш председатель, сейчас бы радовался. Такого бычка упустил! Мы его в соседний колхоз продали, «ХХ партсъезд». Довольны.

Я поражался: неужели Дратенко так здорово умеет притворяться? Или он и впрямь непричастен ко всей этой истории с Маркизом?

Арефа тоже был озадачен его поведением.

– Послушай, Василий, где вы провели ту ночь с Сергеем? – спросил он напрямик. Я хотел дать ему какой-нибудь знак, что так вести разговор не следует. Но Денисов на меня не смотрел.

– В соседнем хуторе, – небрежно ответил хозяин дома.

– Э, зачем врать! – покачал головой Арефа. – У Петриченко вы не были.

– Правильно, не были. А что, там одни Петриченки живут? – Ваську этот разговор смутил. Он старался отвести от Арефы глаза. Денисов это чувствовал. – Дорогой Арефа, давай поговорим о чем-нибудь другом. Ты мой гость. – Он посмотрел на меня и поправился: – Вы мои гости. Завтра свадьба... Погуляем, повеселимся...

Денисов некоторое время сидел молча, что-то обдумывая. Потом тряхнул головой;

– Ты прав.

– Вот и хорошо! – поднялся Дратенко, радостный, словно у него гора свалилась с плеч. – Сергея мы отыщем. Завтра столько народу будет, обязательно узнаем, где твой сын. Закусим чем бог послал? Правда, всухомятку. – Он развел руками. – Матери нету...

Васька пошел на кухню, мурлыкая под нос.

– Арефа Иванович, мне кажется, надо его прижать, – поспешно стал я шептать Денисову. – Насчет Куличовки он, кажется, врет.

– Подожди, подожди, Дмитрий Александрович, – остановил меня Арефа, задумчиво глядя перед собой. – Мы с ним еще потолкуем. Закусим, ты спокойно иди спать. Договорились?

Что мне оставалось делать? Инициатива была в руках Арефы.

– Идет, – сказал я, вздыхая.

Закусили мы холодной курицей, жареной домашней колбасой, солеными помидорами. Дратенко открыл бу-

тылку коньяку. Чтобы не вызвать подозрений у хозяина, мне пришлось выпить рюмочки две. Уж лучше не зарекайся! Совесть будет спокойней...

Дратенко определил меня в небольшую комнату на мягкой старомодной кровати с панцирной сеткой.

Я попытался разобрать негромкий разговор, доносившийся из соседней комнаты, но говорили по-цыгански.

Ругнув в душе Арефу за его поведение и себя за то, что клюнул на его предложение искать Сергея вместе, я решил спать. Утро вечера мудренее. В голове, легкой от коньяка, застучали серебряными молоточками рельсы, со всех сторон меня обступили разворачивающиеся веером кукурузные и подсолнечные поля, мелькающие за окном поезда, закачались лица Игоря, Ольги, Бориса, Ксении Филипповны. И в пламени заката встало лицо Ларисы...

Я понял, почему день, скрывшийся за юромскими холмами, не хотел уходить от меня, почему играли и жили во мне его теплые лучи и солнечные краски...

Во мне воскресла надежда, напоенная горячими ветрами степи, жаркими запахами чебреца, полыни и жердел.

Я перебирал в уме каждое слово, сказанное Олей Лопатиной, и в душу вливалась радость.

В голове возникли все наши встречи с Ларисой.

Я снова и снова переживал их. И теперь уже жизнь не казалась мне вереницей неудач и огорчений. В нее входили светлые, полные смысла перспективы.

А следствие, по всем признакам, неуклонно катится в тупик. Ну и черт с ним! Могу я хоть немного забыться?

Я уснул мертвым сном.

*Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос.
Нерадостно и нелегко мне
Покинуть тебя пришлось...*

Эти строчки Есенина вспомнились мне еще во сне, наверное, от негромкого, ритмичного позванивания в оконное стекло ветки с яблоками. Я проснулся, смотрел на красные, созревшие плоды на фоне чистого голубого неба, а это четверостишие повторялось и повторялось само собой, и продолжение я никак не мог припомнить.

В комнатке было прохладно, и когда в дверь заглянул умытый, причесанный Арефа, приглашая меня к завтраку, я без особой охоты вылез из теплой постели.

Завтракали мы с Арефой одни. Василий с утра умчался на своем «Москвиче» к невесте, где предстояли последние, самые суежливые хлопоты перед свадьбой.

– Сдается мне, Васька тут ни при чем, – сказал Арефа за завтраком. – В ту ночь они были в Куличовке. – Я ему вопросов не задавал. Что толку? Они все, сговорившись, могут в два счета обвести меня вокруг пальца. Пиши, Кичатов, твоя затея провалилась. Придется в Бахмачеевской начинать все сначала. Живет там приятель Василия Филипп. Василий его на чем-то надул. Тот Филипп грозился при случае холку ему намылить. Васька решил с ним помириться и взял с собой моего телка. Сергей выпил лишку, спать завалился. А Васька, значит, устроился в другой комнате. Утром вышел – Сергея нет. Он скорей на

автобус, чтобы на поезд успеть. Билет у него был. В Сальск. Как это у вас – версия? Считай, версия насчет Дратенко отпадает. Остались Сергей и еще братья Чуриковы, Петро и Григорий.

У меня было много вопросов и сомнений. Но, выезжая из Бахмачеевской, мы как бы договорились, что наш союз основан на полном доверии и искренности. Признаться, я ему доверял все меньше и меньше. Потому что он действовал, не советуясь со мной... И если слова Дратенко он принял на веру – это его личное дело... Мое молчание Арефа истолковал по-своему, Решил, что я одобряю его действия. Что ж, пусть будет так. Пора кончать этот спектакль...

Пришла мать Дратенко, смуглая, словно обожженная на углях старушка, быстрая, шустрая и говорливая. Глаза у нее сверкали, как у молодой.

Я постарался поскорее увести Арефу, потому что она буквально заговорила его. Мы оставили ее дома переодеться в праздничное платье и поспешили в дом невесты.

– Мамаша Василия такая темная, черноглазая, а у него почему-то голубые глаза, – спросил я у Денисова.

– Василий – приемыш. Не наших кровей.

– Не цыган?

Арефа улыбнулся:

– Он любого цыгана за пояс заткнет... – И серьезно добавил: – Мальчонкой едва живого подобрали. Наверное, родители под немцами погибли.

– Когда это было?

– В сорок первом...

– И кто он, откуда, не известно?

– Кто? Человек...

Солнце сияло вовсю, шел одиннадцатый час, но утренняя прохлада позднего лета еще стойко держалась под деревьями и в траве.

У меня в голове навязчиво повторялись есенинские стихи, и я все еще переживал размышления ночи... Мне очень хотелось сейчас очутиться в Бахмачеевской, пройти по площади центральной усадьбы колхоза, заглянуть в библиотеку, Лариса, наверное, уже вернулась. Мне казалось, что я уехал из дому давным-давно, целую вечность.

У невесты во дворе – дым коромыслом.

Вдоль забора сколочен длинный стол, уходящий за дом. Женщины хлопотали у большой русской печи и возле костров, на которых кипели огромные черные, прокопченные котлы. Сновали туда-сюда детишки, выполняя разные мелкие поручения; ржали кони, привязанные прямо на улице.

Какой-то парень с всклоченной шевелюрой, с окровавленными по локти руками кричал хриплым, срывающимся голосом и размахивал внушительным мясницким ножом.

На широкой деревянной софе высилась гора выпотрошенных и ошипанных кур и уток, алели большие ломти говядины. Все это быстро исчезало в котлах и в печи.

Я сам постепенно заражался всеобщим возбуждением. Что бы там ни было, хоть посмотрю на цыганскую свадьбу.

Народ прибывал прямо на глазах.

Улица была запружена автомашинами, мотоциклами, двуколками, лошадьми. Со всей округи сбежалась пацанва. Она облепила забор и во все глаза смотрела на разнаряженных гостей.

Арефа отвел меня в сторонку.

– Давай присядем.

Мы нашли укромное местечко и устроились на толстом бревне. Я чувствовал, что Денисова тянет поболтать со знакомыми, которые при встрече с ним выражали бурную радость. Но он не решался оставить меня одного.

Мы томились на своем бревне, разглядывали гостей и в основном молчали. У меня все время рвался с языка один вопрос к Арефе. Я сдерживался, сдерживался, но все-таки спросил. Тем более, случай был вполне подходящий.

– Арефа Иванович, почему вы против женитьбы Сергея?

Он покачал головой.

– Это кто тебе сказал?

– Слышал...

– Я в его годы уже разошелся с женой. Вернее, она от меня ушла. – Он засмеялся. – Ушла, и я ничего не мог поделать. Мучился, как дитя, оторванное от мамки. Мне было восемнадцать лет. Мы прожили три года.

– Так это вы, значит...

– Да, да, я женился в пятнадцать лет. Жена – на шесть лет старше меня. Но я ее очень любил. Чуть не помешался. В нашем народе рано женились. Можно сказать – детьми... Это теперь считается рано. Потому как сперва надо закончить образование, там, глядишь, – армия. Хлеб насущный нынче зарабатывается какой-то специальностью. А она требует учебы. Еще положение нужно, крыша над головой, хозяйство. А в таборе мы были вольными птицами. Что найдем, то и поклюем. Никакой специальности, места обжитого не надо. И женись себе, когда за-

хочется... С этой стороны я не против женитьбы Сергея. Какая никакая, а крыша у него есть. Я имею в виду мою хату. Потеснились бы первое время. Помог бы ему свое хозяйство наладить. А на хлеб он зарабатывает хотя бы и в нынешней должности. Но выбор с умом надо делать...

– Значит, вы выбор его не одобряете?

– А ты сам, Дмитрий Александрович, небось удивлялся: как это образованная девушка водится с неотесанным парнем. Скажи, думал?

Он не назвал имени Ларисы, но отлично знал, что я прекрасно понимаю его.

– Образование – дело наживное. В наше время не хочешь, за уши затаянут куда-нибудь учиться.

– Не всякий, кто прошел учебу, уже человек. Много у нас еще для формальности делается. И вообще говорю: Сережка – мой сын, но ведь я его знаю. Тесать его еще надо и строгать... и учить. Потом посмотрим. Может быть, она его и подстегнула бы, но на таких началах им было бы очень трудно... Не хочется, чтобы сразу комом пошло. Зара моя, та ни в какую и слышать о ней не хочет. Вплоть до того, что, говорит, копейки не даст. Деньжата у Зары есть. Копит. Думает, может, вдовой останется. Но я ей этой радости не доставлю. – Арефа улыбнулся, обнажив свои крепкие белые зубы. – Конечно, дошло бы дело до свадьбы, я бы с Зарой не советовался...

Почему все-таки Арефа избегал называть имя Ларисы? Может быть, догадывался о моих чувствах?

Вдруг с улицы послышался шум и радостные выкрики. Грянули гитары и хор нестройных голосов... Мы с Арефой подались ближе к калитке, которую обступили гости.

К воротам подъехала тачанка, на рессорах, усталая ковром. Коренная лошадь смотрела прямо вперед, пристяжные воротили от нее лоснящиеся, вычищенные морды в стороны. Прямо как на картинке. В их гривы были вплетены ленты и цветы.

Еще сильнее зазвенели струны, и человеческая толпа расступилась коридором, пропуская молодых в сопровождении дружков жениха и невесты.

Васька был в дорогом черном костюме, отлично сидевшем на нем, лакированных туфлях.

А невеста! Невеста была ослепительно красива. Белое платье, воздушная фата и черные прямые волосы, обрамляющие смуглое лицо.

Я вспомнил свое впечатление, когда впервые увидел Чаву. Лед и пламень! Такое же ощущение родилось у меня при виде новобрачной. Она была значительно моложе Василия. Я глядел на ее раскосые, черные до синевы глаза, нежный румянец, пробивающийся сквозь смуглоту щек, длинную шею с завитушками около маленьких, аккуратных ушей и не мог оторвать глаз.

— Не чайори¹⁷, а цветок! — не удержался Арефа. Он так же, как и я, не мог налюбоваться ее красотой.

Молодых осыпали мелкими монетками, конфетами и цветами. Они прошли в глубь двора, где им отвели место под ярким ковром, развешенным на двух деревьях. Арефу, как почетного гостя, тянули сесть поближе к ним, но я украдкой шепнул, что хорошо бы устроиться возле выхода. Мы расположились у самой калитки в окружении молодых, очень шумных и суетливых ребят.

¹⁷ Девушка (цыганск.).

Я пригляделся к пирующей публике. В основном она была одета по-современному, особенно молодежь. Многие женщины нарядились в длинные, широченные юбки, спускающиеся до земли многоэтажными оборками, в шелковые кофты и платки, на шее и руках сверкали украшения. Пожилые цыгане были в сапогах, галифе, жилетах.

То, что происходило во главе стола, докатывалось до нас с веселым шумом и шуточками. Цыганская речь мешалась с русской.

Что-то прокричали около молодых, и все схватились за рюмки.

– Что? – тихо переспросил я у Арефы.

– За новобрачных, – сказал Денисов. Молоденький парень, в красной рубашке навыпуск, рассмеялся и, показывая на меня пальцем, сказал:

– Гаджо¹⁸... – Он смолк под осуждающим взглядом Арефы и потянулся ко мне со своей рюмкой.

Денисов незаметно толкнул меня: чокнись, мол, хотя бы для виду. Пришлось чокнуться и немного отпить. Хорошо, наши соседи мало обращали внимания на других и дружно работали челюстями и руками, отрывая от птицы и мяса изрядные куски.

Веселье разгоралось. По двору сновали девушки, меняли пустые бутылки на полные, разносили угощение. Это было в основном мясо – птица, говядина, баранина. И все большими кусками, жареное и вареное.

На середину двора, свободную от столов и стульев, вышли парень и девушка. У парня в руках была гитара. Девушка придерживала за концы нарядную шаль.

¹⁸ Не цыган (цыганск.).

Гости хмельно закричали, подбадривая их. Переливчатый лад гитары пропел грустно и задумчиво. Девушка взяла низкую ноту, и все вокруг смолкло.

Арефа обернулся к ним и застыл с отрешенной улыбкой на лице. И сидел так, пока песня не кончилась. Гости опять закричали, захлопали, отчаянно жестикулируя и распалаясь. На пустой пяточок выскочило несколько новых певцов, а парень, продолжая наигрывать, стал обходить с девушкой гостей, которые давали им деньги.

– Обычай, – пояснил мне Арефа. – Для молодых.

Я подумал, что Васька, наверное, мог бы купить с потрохами всю эту публику и, может быть, пол-улицы в придачу...

В кругу танцующих появился пожилой цыган. Грянули бубны, гитары заиграли ритмичную веселую плясовую. Все захлопали в такт музыки.

– Отец невесты, – шепнул мне Арефа.

Тесть Васьки Дратенко, с шапкой курчавых седых волос, отплясывал так лихо, что буквально заразил всех своей удалью и азартом.

Он подскочил к нам и крикнул Денисову;

– Эй, пуро ром¹⁹! Покажем молодым!

Арефа вскочил с места, махнул рукой:

– А, была не была!

И тоже пустился в пляс. Я успел заметить на лацкане пиджака отца невесты три медали ВДНХ – две золотые и одну серебряную. И вообще у многих немолодых цыган здесь, на свадьбе, имелись боевые ордена и медали. Они носили их с гордостью.

¹⁹ Старый цыган (*цыганск.*).

Здорово плясали два цыгана! Они втащили в круг мать Дратенко, и та, распустив руками богатую шаль, плавно пошла по двору, мелко подергивая плечами...

Арефа вернулся на место возбужденный и счастливый.

— Ну как? — спросил он, опрокидывая в рот рюмку вина.
— Есть еще порох в пороховницах?

— Есть, Арефа Иванович, есть! Прямо как птица! — похвалил я его.

— А ты знаешь, мы, цыгане, когда-то были птицами. — Он улыбнулся своей лучезарной улыбкой. Давно я не видел такой улыбки на его лице. — Так говорится в одной нашей легенде. — Он вдруг зачем-то толкнул меня в бок.

Я оглянулся. Возле меня, раскланиваясь в танце, приглашала выйти в круг молодая цыганочка в нарядном современном платье-миди.

Я растерялся. Приложил руку к груди, как бы говоря, что не танцую. Девушка мягко, но настойчиво положила свою руку на мое запястье.

— Иди, иди! Такая чайори приглашает! — подтолкнул меня Арефа.

И я пошел. Что я выделял руками и ногами, не знаю. Просто присматривался к другим танцующим и пытался им подражать. К счастью, на пятачке было столько народу, что на мои танцевальные упражнения не обращали внимания.

— Ром? — спросила девушка.

Я уже знал, что это означает, и покачал головой.

— Гаджо.

Она засмеялась. Славная была девчонка. Просто прелесть. Честное слово, глядя на нее, я совершенно забыл о

том, зачем мы здесь, забыл свои обиды и недовольство Арефой... И когда все повалили за стол выпить за очередной тост, я уже знал, что она учительница, родственница невесты, и что меня заприметила сразу... А кому, черт возьми, не понравится, если такая девушка скажет комплимент?

Арефа многозначительно подмигнул, когда я опустился рядом:

— Прямо настоящий цыган! Я тебе хотел легенду рассказать, как мы птицами были.

Я кивнул ему. Пусть говорит. Действительно, пусть рассказывает что угодно. Стало вдруг легко на душе. В конце концов, зачем портить людям праздник?

— Так вот, когда-то были у нас крылья, и кормились мы, как все птицы. Осенью улетали на юг, в Африку. Надоест на одном месте, перелетаем на другое. Конечно, жизнь не очень сладкая, потому как не везде есть корм, зато вольная. И вот однажды летели мы долго-долго. Много дней под нами была огромная степь. Изголодались птицы, еле крыльями машут. И вдруг показалась внизу богатая, плодородная нива. Тут наш, птичий вайда, вожак, значит, подал знак опуститься. Спустились мы на поле и стали клевать зерна. Ели, ели, не могли остановиться. Заночевали в поле, а с утра снова принялись за зерно. И уж так отяжелели, что не могли подняться в воздух. Время шло. Мы толстели, жирели. Теперь при всем желании не могли взлететь. Да и желания уже не было. Привыкли к сытой жизни. А скоро мы и летать разучились. Ходили медленно, вперевалячку. Как ты сам понимаешь, всему приходит конец. Прошло лето. Наступила осень. Зерно, что кормило нас, кончалось.

Что делать? Надо было запастись пищей на зиму. Стали мы рыть норы, утеплять на зиму, таскать корм в них, прикрывать, чтобы не пропадали запасы. Затем из веток и соломы направили шатры, где можно было перезимовать. Трудились мы так, и ноги наши стали крепкими, крылья превратились в руки. Теперь хотя нас и тянет ввысь, да крыльев нет. Только душа осталась вольной...

Арефа кончил рассказывать.

— Красивая легенда, — сказал я.

Тут подъехали еще две грузовые машины. Из них валом посыпались на землю детишки, мужчины и женщины. С невообразимым шумом они устремились во двор, галдя, крича и обгоняя друг друга. У меня зарябило в глазах от мелькания рук, тел, голов, от развевающихся юбок, косынок и рубах;..

Арефа напряженно всматривался в бурлящий, суетящийся поток людей, надеясь увидеть кого-нибудь из братьев Чуриковых. Куда там! Это было невозможно. А может быть, их и не было среди прибывших.

— Приедут, — успокоил он меня. — Васька уверял, что обязательно.

Вдруг сзади нас раздался голос Чавы:

— Дадоро!

Они обнялись. Сергей меня сразу не заметил. Не мудрено: такой балаган и неразбериха, что и мать родную не различишь. Потом, я ведь без формы...

— Понимаешь, — говорил Чава, присаживаясь по другую сторону Арефы, — шофер болван какой-то попался. Повез в другую сторону. — Он осекся, увидев наконец меня. — Привет, Дмитрий Александрович!

– Здравствуй, Сергей.

Смотри-ка, веселый, радостный, как ни в чем не бывало...

– Нехорошо, нехорошо, – журил его Арефа, накладывая полную тарелку. – Ты бы хоть предупредил. Мы с матерью волнуемся. Вот, понимаешь, – он указал на меня, – милицию на ноги подняли...

– Как это не предупредил? – искренне удивился Чава. – Я ведь Славке сказал, что еду за Дратенко искать Маркиза. Он разве не передал?

Мы с Арефой переглянулись.

– Ты сказки не рассказывай, – предупредил отец уже строже.

– Честное слово! Славка как ошарашил меня, что Маркиз пропал. Я по глупости решил, что это Васькина работа... А потом уж думал, что Гришка с Петькой. Зря только время потерял... Маркиза-то хоть нашли? – Чава переводил взгляд с отца на меня.

Неужели он так ловко притворяется? Ну и артист! А вдруг парень действительно ничего не знает?

– Нет, не нашли. А где твоя кобыла? – спросил Арефа.

– В колхозе «ХХ партсъезд», – Сергей, уплетая за обе щеки, достал из кармана бумажку и протянул отцу – Вот... сохранная расписка. (Денисов-старший стал молча читать документ.) Не тащиться же мне верхом столько километров?.. Я сразу не подумал, а потом возвращаться не было времени. Спешил очень. – Он покачал головой. – Поспешил, только людей насмешил. Да вы скажите, Маркиза действительно не нашли?

– Нет, – сказал я.

Арефа зачем-то передал мне сохранную расписку. Я машинально прочел ее. Она подтверждала, что Сергей оставил свою лошадь в соседнем колхозе в тот же день, когда выехал из Крученого...

– Но мог пару слов черкнуть, где ты и что с тобой, черт возьми! – чертыхнулся Арефа.

Я видел, что он верит сыну безоговорочно.

– А что писать! – в свою очередь вспыхнул Сергей. – Я же сказал Славке, что, пока не найду Маркиза, не вернусь. – Чава стал загибать пальцы на руке. – У Васьки нет, у Петьки нет, у Гришки нет! И вообще про такого жеребца никто ничего не слышал. Значит, его украли другие, не цыгане!

– Сергей, зачем ты взял обротку? – спросил я.

– Какую обротку? – Он изобразил такое непонимание, что можно было усомниться, была ли на самом деле какая-то там обротка.

– Обротка Маркиза лежала в нашем доме, – пояснил Арефа. – Он был за нее привязан во дворе у Ларисы...

Сергей наморщил лоб.

– У нас дома? Глупость какая-то. Чепуха!

– Нет, не чепуха, – сказал я. Чава ударил себя кулаком в грудь;

– Так вы считаете, что украл я? Я! Вот почему вы здесь... – Он резко взмахнул рукой. – Я так и знал. Сразу понял, что подумают на меня. Поэтому и помчался как угорелый за Васькой. В Сальск ездил... Мотался как дурак...

– погоди, давай разберемся спокойно, – предложил я. – Ты в ту ночь был у Ларисы?

– Нет!

– Хорошо, допустим.

– Не допустим, а не был!

– Ладно, не был. А раньше заходил к ней в дом или во двор?

– Нет, не заходил.

– А кто же тогда бросил в ее дворе твой окурок? – спросил я.

Арефа недоуменно посмотрел на меня. Этого обстоятельства он не знал. Оно его крепко озадачило.

– Я был у Ларисы, – тихо сказал Сергей.

– Ты только что сказал, что не был. Как же так? – насмешливо спросил я.

Арефа помрачнел еще больше.

– Ты меня не сбивай, – хлопнул по столу Сергей. – Ты... Простите, вы спросили, был ли я раньше? Раньше я не был. Я был потом. Утром. Когда уже Маркиз тю-тю.

– Интересно, зачем?

– Как зачем? Когда я узнал, что жеребца украли, поехал к Лариске. Надо же было узнать подробности!

– Так ведь ты знал, что Лариса сама прибежала в Крученый?

– И ушла... Я думал, вернулась домой. А дома ее не оказалось. Искать ее у меня не было времени. Надо было догонять Ваську. Я же на него подумал.

Арефа следил за нашей дуэлью и не вмешивался. Мне показалось, что он опасается, как бы сын где-нибудь не оступился.

– Расскажи подробнее про то утро, – сказал я. – Не спеша. Не думай, что мне приятно копаться в этой истории.

Никто не хочет, возводить на тебя напраслину.

– Именно так, сынок, – поддержал меня Арефа.

– И начинай свой рассказ с ночи, – предупредил я.

Мое последнее замечание его здорово смутило. Но деваться было некуда. Я знал больше, чем он предполагал...

– К Филиппу в Куличовку я пошел из-за Васьки. Надоел он мне. Пойдем, говорит, выпьем, надо помириться с ним. – Сергей не смотрел на отца, прятал глаза. – Я ему говорю: хочешь, мол, иди сам. Но Василий боялся, что его отмете-
лят. Я все же свой. Да и знаю, как лучше смотреть в случае чего... Мы выпили, я сразу уснул. Проснулся около пяти. На коня и – к стаду.

– Когда ты уходил от Филиппа, Дратенко был там? – спросил я.

– Не знаю. В другую комнату не заглядывал... А что?

– Хорошо. Дальше.

– Дальше, приезжаю к стаду. Славка меня с ходу: Лариса была, Маркиз пропал! Ну, я сразу и подумал, что Васька... Крикнул Славке, что, мол, поехал искать Маркиза. Забежал домой, взял на всякий случай сто рублей. А то как же без денег? И в Бахмачеевскую, к Ларисе. А ее дома нет. Я постоял возле окна. Помню, курил. Может быть, действительно бросил окурочек. Потом махнул вдогонку Ваське. Решил, что он меня споил и увел жеребца. Дурак, не догадался вернуться к Филиппу. Васька еще у него был. Проехал я километров десять, думаю, на лошади теперь не догонишь. Сдал свою кобылу в колхоз «XX партсъезд». На автобусе добрался до области... Васька говорил, что в Сальск поедет. Билет показывал. Вот так я и мотался за ним... И при чем здесь обротка, не знаю! Может быть, Ганс притащил?

– Вот ты тоже! – не вытерпел Арефа. – По-твоему Ганс, старая, больная обезьяна, ночью сбегал в станицу, отвязал Маркиза, снял с него обротку и принес на хутор? Это уж совсем чушь!

– А помнишь, как он таскал домой патроны? Ты же сам мне тумачков надавал! – Сергей обернулся ко мне. – Вы спросите у отца.

– Это он из степи таскал! – воскликнул Арефа.

– И ты тоже думал, что это я. Было такое?

– Было, – кивнул Арефа. – Понимаешь, Дмитрий Александрович, стали дома патроны появляться... боевые. От немецкого пулемета. Думаю, кто-то из детей балует. Игрушка опасная. Перепорол внуков. Клянутся-божатся – не они. Я на Сергея... И что ты думаешь? Ганс! Он в степь любил ходить. Немецкий окоп обнаружил, и его желтые цацки заинтересовали. Откуда ему знать, что цацки эти могут на тот свет отправить? Верно, Сергей, было... Но так далеко, в станицу, Ганс никогда не бегал.

– Может быть, воры бросили обротку в степи? – сказал Чава.

Я выслушал обоих и высказался:

– Все это малоубедительно...

– Как хотите! – Сергей насупился. – Маркиза я не воровал. Хоть режьте меня!

– А за что тебе Василий двести рублей предлагал?

– Подбивал на одно дело. – Сергей пожал плечами. – Но я в его махинациях участвовать не собираюсь. И к Маркизу это никакого отношения не имеет.

– А что Чуриковы? – спросил я.

– Нет. Они тоже ни при чем. Ошиблись, младший лей-

тенант, – усмехаясь, проговорил Чава. – А настоящих воров проворонили, вот что я вам скажу.

– Петро и Гришка приехали? – спросил Арефа.

– Нет.

– Почему?

– Откуда мне знать? Если не верит, пусть сам во всем разбирается, – кивнул он на меня.

Отец зашипел на него:

– Попридержи язык! Понял?

– Как я еще докажу? – не унимался Сергей. – Пусть сажает в каталажку, пусть!

На нас стали обращать внимание.

– Не дури! Может быть, кто другой давно бы и посадил, а он...

Чава смотрел на меня мрачно и с обидой.

– Я не боюсь. Потому что плевать мне... Сам же будет оправдываться, когда... – Он махнул рукой, встал из-за стола и демонстративно сел подальше от нас.

Арефа тронул меня за руку:

– Ты не обижайся...

– Поеду я, Арефа Иванович. Без толку все это... Будем разбираться дома.

– Может, утречком двинемся вместе?

– Нет. Ждать не могу.

– Я провожу немного.

Мы вышли с Арефой со двора. Я все еще колебался, правильно ли поступаю. Но за каким чертом торчать здесь? По-цыгански я не понимаю. Все они как сговорились, каждый клянется, что невиновен.

Ничего не скажешь – выяснил. Как говорится, остался

при своем интересе. Только бы опять не сбежал Чава...

Арефа, словно читая мои мысли, успокоил:

– Ты не волнуйся, Дмитрий Александрович. Завтра мы приедем... Я еще послушаю тут, может, кто ненароком сболтнет лишнее.

Я кивнул, а про себя подумал, что из всей этой затеи ничего не выйдет. Ворон ворону глаз не выклюет; Арефа же и говорил, что предательство считается у них самым подлым делом.

– Ты теперь в область или в станицу? – спросил он на прощание.

– А что?

– Да так. В область – поездом. А в станицу, вернее в район, отсюда рейсовый автобус ходит...

– В район, – сказал я. – Поезд поздно ночью идет...

– Может быть, все-таки останешься?

Я отказался. Неужели он думает, что я мальчишка, которого можно водить за нос? Это же надо выдумать такую историю, будто бы обезьяна притащила в дом обротку! Сказки для дошкольников...

Простился я с ним холодно. Во мне боролись два чувства: обида, что они воспользовались моим доверием, и жалость. Арефа, как мне показалось, метался между мной и сыном...

Автобус доставил меня в Краснопартизанск часов в пять вечера. Первым делом я зашел в лабораторию узнать результаты анализа крови, что обнаружил Славка Крайнов возле хутора Крученого.

Вообще-то меня уже не интересовало, что там скажут: Чава и Дратенко были живы и невредимы. Но зайти в лабораторию надо было. Кровь под ракитником оказалась лошадиной. Вероятно, поранился чей-нибудь конь.

Я колебался, ехать в станицу или в область, где оставил форму и мотоцикл. Не придя к определенному решению, зашел в РОВД, хотя говорить там о своей поездке, которая провалилась, мне будет стыдно. Разбирало любопытство: что дала проверка Лохова?

Как только я появился в дежурке, меня ошарашили:

– Кичатов, молодец, что зашел! Тебя вызывает в область комиссар. Лично.

– Когда? – спросил я у дежурного лейтенанта, теряясь в догадках, зачем это я понадобился своему высшему областному начальству.

– Послезавтра.

– По какому делу?

– Не знаю. Спроси у майора.

Я незамедлительно поднялся на второй этаж и нос к носу столкнулся с Мягеньким, который куда-то спешил.

– Вот и ты, кстати. Поехали в Бахмачеевскую. У вас ЧП.

Мы спустились во двор, сели в «газик», и майор приказал водителю:

– Выжми из своей техники все, на что она способна.

По его суровому и замкнутому лицу я понял, что Мягенький крепко озабочен. С вопросами сейчас лучше не соваться. Я сидел на заднем сиденье и думал о вызове к комиссару.

Неужели опять по делу Герасимова? Но ведь следствие давно закончено и дело прекращено.

Опять неизвестность. Не для того же вызывает меня комиссар, чтобы возвести в чин генерала! Если уж просят явиться к начальству, то это, как правило, для снятия стружки.

А с другой стороны, я не такая шишка, чтобы насолить начальнику облуправления. Он имеет дело с городским и районным руководством. Да, но ведь счел нужным выехать зампрокурора республики лично для наведения порядка у Родионова!

Короче, хорошего ожидать не приходится. Мало того, что у меня полная запутанность с Маркизом, цыгане обвели вокруг пальца, еще и вызов к комиссару... А что это за ЧП в станице? Придется подождать, пока Мягкенький скажет сам.

Меня стало угнетать молчание, царившее в машине.

Хорошо, заговорил водитель:

– Сильно горят?

– Не знаю. И надо же случиться такой беде... И начальство как раз приехало...

Значит, в Бахмачеевской пожар. Что же такое может гореть, если на место происшествия выехал сам Мягкенький? И какое еще начальство нагрянуло к нам в колхоз?

Майор повернулся ко мне и покачал головой:

– Что же это ты, младший лейтенант, не знаешь, какие люди живут у тебя под носом?

– А что? – спросил я неуверенно. Мягкенький ответил, обращаясь к шоферу:

– Представляешь, почти полгода у них с Сычовым в станице ходил на свободе особо опасный преступник, а они и в ус не дули.

– Лохов? – воскликнул я.

– Он такой же Лохов, как я китайский император! У человека чужой паспорт, чужая, можно сказать, биография... Хорошо, хоть ты свою ошибку исправил, догадался еще раз проверить. Как говорится, победителей не судят...

– Значит, Лохов?..

– Вот именно. Твой приятель вчера приезжал из облупавления. Михайлов. Как ты, Кичатов, докопался?

– Случайно, – вырвалось у меня.

– Вот-вот! На авось надеемся.

– Я думал, что Сычов до меня его уже проверил, – стал оправдываться я.

– Иван кивает на Петра... Так как же тебя осенило?

– По медицинской справке у Лохова одно легкое и туберкулез. А фельдшер мне сказала, что у него два легких...

– Как в романе! Настоящая фамилия его – Севостьянов. Он знал мужа этой продавщицы, настоящего Лохова. Познакомились на Алдане, в бригаде старателей. Севостьянов недавно отбыл срок в колонии. Подался в наши края. Ему предложили дело. Какое – сам знаешь: ограбление и убийство инкассатора. Он вспомнил, что неподалеку живет Лохов. Вот он и поехал к нему. По старой дружбе. Лохов совсем недавно умер. Он к его жене и пристроился. Говорит, хочу начать новую жизнь...

– Клава знала об убийстве? – спросил я.

– Говорит, что не знала. Севостьянов сказал ей, что сидел за автомобильную аварию. Плел еще разные сказки, будто по несправедливости в колонии еще срок набавили. Запятнали, мол, человека на всю жизнь. У тебя, говорит, мужик помер. Попросил, как говорится, руку и сердце. А

также паспорт и документы покойного мужа. Отцом обещался быть примерным для ее детей. На чем сыграл, подлец!

– Поплакаться да разжалобить они умеют, – подтвердил шофер.

– Постойте, но ведь паспорт сдается в обмен на свидетельство о смерти? – сказал я.

– Повезло ему, – продолжал майор. – Такая штука подвернулась. Лохов еще до смерти потерял паспорт. Как и полагается, подал заявление в милицию, и ему выдали новый. Этот паспорт и сдала жена в загс. А когда разбирала его бумаги, старый и отыскался. Вот по этому паспорту и жил Севостьянов. В поселке, где до этого обитала Лохова, ее мужа знали. Поэтому с Севостьяновым они переехали в Бахмачеевскую. Ты мне все рассказывал, что уж больно честная она была. Даже водку продавала строго по постановлению – с одиннадцати до семи. – Майор усмехнулся. – Не слишком ли примерная? Ведь в торговле как? Честный ты человек или нечестный, все равно хоть маленькие, а неувязки случаются. Недочет небольшой или, наоборот, излишки. А у нее прямо тютелька в тютельку...

– Боялась на мелочи попасться, – заключил шофер. – Какой ей смысл химичить, когда в хате такая тьма карбованцев.

Меня резанули слова водителя. Я знал, что Клава была «отличником торговли» задолго до приезда в Бахмачеевскую. Имела грамоты, поощрения. Может быть, она оказалась жертвой? Вспомнилось ее лицо, рано состарившееся, с глубокими морщинами возле губ. И как она говорила, что девчонкой ни одной танцульки не пропускала. Потом

на ее плечи опустилась забота о детях – их было трое, о больном муже, который скитался вдалеке от дома, в сибирской тайге. Так и не довелось человеку пожить счастливо. Из девок – прямо в омут хлопот и неудач. Может быть, она действительно поверила Севостьянову, пошла на обман, чтобы помочь человеку обрести счастье? И самой хотя бы немного ощутить радость и спокойствие? Поэтому она и держала его дома, опасаясь, как бы он опять не сорвался на работе...

Все это я высказал майору.

– Может быть, ты и прав. Разберутся... – сказал Мягкенький.

– Это точно, – поддакнул шофер. – Куда везти, товарищ майор, колхоз большой?

– Кичатов, где у вас четвертая бригада?

– Еще километра три и направо.

– Ясно, – сказал водитель. – И вам обязательно надо было ехать, товарищ майор?

– Что ты, хлеб горит! Инструктор облисполкома звонила. Они как раз сегодня выехали в Бахмачеевскую вместе с инструктором райкома. Проверять, как Нассонов организовал обслуживание на полевых станах. Жалуются механизаторы. Они ведь в поле и днем и ночью пропадают.

– И сильно горит? – спросил я.

– Увидим. Эх, хлебушек, хлеб... – тяжело вздохнул начальник райотдела. И в этом вздохе почувствовалась боль и горе крестьянина, для которого хлеб – это все. Мягкенький вырос на хуторе и прекрасно знал цену труду земледельца.

У меня самого сжалось сердце. Ведь и моя жизнь в

Бахмачеевской теперь крепко-накрепко связана с трудом колхозников. Здесь я по-настоящему узнал, как говорится, что «булки не на дереве растут». Хорошо с хлебом – хорошо колхозникам. Урожаю грозит беда – все на ногах. День и ночь, будни и праздник, забота одна – хлеб...

– Сюда? – обернулся водитель, когда мы подъехали к перекрестку.

– Да, сворачивайте.

Далеко раскинулось поле пшеницы, тучной, золотой, тяжело колышущей созревшими колосьями. Ее тугие волны бежали до края земли, туда, где маленькими точками виднелись комбайны. Заходящее солнце косыми лучами играло в багряном золоте хлебов...

У самого горизонта разворачивались и тянулись зыбкие ленты – шлейфы плыли за автомашинами, движущимися по проселочной дороге.

Среди желтого моря резко выделялась черная плешина, над которой низко повис темный редкий туман дыма. Возле обгорелого места сустились люди, стояли красные пожарные машины, словно жуки на шелковой материи...

– Кажется, уже справились, – сказал майор.

– Кому-то не повезло, – указал на дорогу шофер. Только тогда я увидел, что навстречу нам быстро двигался белый фургон – карета «скорой помощи».

Наш «газик», задев краешек мягкой шелестящей стенки, дал ей дорогу. Мы проследили глазами «скорую помощь». В ее окошечках промелькнули головы в белых шапочках.

Пожар вырвал из колхозного поля огромный кусок. Здесь, на самом пепелище, было видно, что он мог натво-

рять, развернувшись во всю мощь, подгоняемый сухим, горячим ветром.

Я никогда не видел столько усталых, измученных, перепачканных землей и сажей людей. Они все еще ходили по дымящейся, пышущей жаром земле, колотили чем попало по обгорелой стерне, исходящей едким белым дымом.

Последние ослабевшие струи воды из брандспойтов змеями обвивали редкие очажки пламени, шипели, убивая остатки огня.

Я ходил между людьми, всматриваясь в их лица, потные от жары и трудной борьбы, перемазанные золой. Тут было много не наших, из соседнего колхоза. На краю поля стояло десятка два грузовиков...

Наконец мне удалось разыскать нашего, бахмачеевского. Это был Коля Катаев. В обгоревшей рубашке, с опаленными бровями и волосами, он остервенело бил по земле ватной фуфайкой...

— Коля, как же это?.. — спросил я.

— Несчастье, Дима, — ответил Коля, бросив на землю истерзанный ватник.

— Вижу, вижу, Коля...

— Несчастье, — повторил он. — Ксения Филипповна... У меня перед глазами возник белый фургон с красным крестом, белые шапочки медиков...

Я схватил комсорга за расползавшуюся в моих руках тенниску:

— Что, что ты говоришь!..

Катаев поднял фуфайку и с еще большей злостью принялся колотить по белой шапке дыма...

Я сорвал с себя Борькин пиджак и стал бить, бить им по

земле, на которой еще ползали горячие злые светляки.

Это потом уже, из рассказов Коли, инструктора райкома и Нассонова выстроилась цельная картина несчастья, постигшего нас. Потому что не было ни одного человека, которого не пронзило бы до самого сердца происшедшее с председателем сельсовета.

В середине дня она ехала на машине вместе с товарищами из области и района на полевой стан четвертой бригады. Она первая заметила струйку черного дыма и тут же разгадала, что это сигнал беды. И когда райкомовская легковушка подскочила к огню, Ксения Филипповна первая выскочила на поле и стала сбивать своей кофтой быстро разгорающееся на ветру пламя.

И еще она успела приказать шоферу ехать в Бахмачевскую, поднимать людей. Она заставила уехать и инструктора облисполкома, пожилую женщину, чтобы та побыстрее сообщила соседям...

Сначала они боролись с пламенем вместе с инструктором райкома. Скоро подоспела подмога: пламя заметили комбайнеры на соседнем поле. И даже потом, когда приехали пожарные машины, Ксения Филипповна не прекращала битвы с пожаром. С несколькими смельчаками она отвоевала у начавшей слабеть стены огня кусок в несколько метров. Их поддерживали с флангов пожарники с брандспойтами в руках. И вдруг в одном из рукавов не стало воды. Огонь с новой силой захлестнул землю, и люди потеряли Ксению Филипповну в клубах дыма...

Она была жива, когда приехала «скорая помощь». Она живая уехала в белом фургоне. И Нассонов, говорят, умолял, просил, требовал от хирурга, чтобы тот спас ей жизнь.

Что он мог сказать, хирург? Он сказал, что сделает все возможное. Прямо отсюда, по радию, он связался с районом, чтобы из области вызвали санитарный самолет с лучшими врачами...

Люди покидали пожарище при свете автомобильных фар. Ни одной искорки, ни одного тлеющего уголька не осталось на опаленной, раненой ниве.

Напоследок мне пришлось успокаивать расплакавшегося Славку Крайнова. Он тоже приехал на пожар, потому что огонь тушили все, со всех хуторов и деревень, которые были в округе километров на двадцать... Нервы парнишки не выдержали, и он, уткнувшись лицом в землю, плакал навзрыд, вспоминая все время тетю Ксюшу... Я попросил майора Мягкенького, уезжающего самым последним, подвезти мальчика домой.

Мы сели со Славкой на заднее сиденье. Я накинул ему на плечи Борькин пиджак, вернее, то, что от него осталось, и пацан кое-как успокоился. Около своего дома он вдруг сказал:

– Дмитрий Александрович, Ганс пропал...

Я даже сначала не сообразил, какой Ганс и к чему здесь эта старая обезьянка.

– Отыщется, – успокоил я его.

– Нет, не отыщется, – вздохнул мальчик, у которого, наверное, страшные воспоминания сегодняшнего дня все еще не могли улечься в душе. – Я его курточку нашел в камышах. Вся в крови...

Я подумал: что Ганс, когда случилось гораздо более страшное? Ксения Филипповна. Вот за кого болело сердце, и было пусто и жутко на душе.

Но мальчишка продолжал говорить:

– Никак, волки задрали. Баба Вера еще сказывала, что видела рано утром, когда исчез Маркиз, вблизи от хутора Крученого конь пробежал. А за ним, она думала, собаки...

Я долго не мог понять, к чему Славка все это рассказывает. Но когда он, простившись, вылез из машины, а мы поехали дальше, в черноте степной ночи, в моей голове связалось в единый клубок все, что я знал и слышал о том, что случилось с Маркизом.

Ганс, лошадиная кровь на раkitнике, волки... Волки! Тот, кто погубил бедную обезьянку, мог погубить и жеребца...

Это, скорее всего, произошло так. Под утро, перед самым рассветом, Маркиз, с оборванной оброткой бродил по двору бабы Насти. Что его испугало, не знаю, может быть, волки, подобравшиеся к станице. Хата Самсоновой стояла на самой околице. Маркиз в страхе перемахнул невысокую ограду, как это делал не раз на скачках, беря препятствие.

Они его гнали и гнали все дальше, по степи, к своему логову...

И когда жеребец почуял за своей спиной страх смерти, он понял, что его спасение в белых хатках, окруженных деревьями, от которых веяло людьми и всем, что их окружает. Он хотел спастись в Крученом, но преследователи преградили ему дорогу...

Видимо, кто-то из них успел вцепиться в его сильное, нервное тело. На берегу речушки, в зарослях раkitника, Маркиз дал первый бой.

Но они заставили его повернуть от человеческого жилья и травили, травили до тех пор, пока не повалили на землю...

Несчастный Ганс. Он, наверное, нашел обротку и при-
тащил домой, к Арефе, как таскал патроны из немецкого
окопчика...

Впоследствии мое предположение подтвердилось
полностью. А тогда, в машине начальника райотдела, мне
было стыдно за свое недоверие к Арефе, за свои сомнения и
подозрительность...

Мягкенький спросил:

– Тебе передали, что послезавтра к комиссару?

– Передали...

Голос майора потеплел:

– Не бойсь, не ругать вызвали. Приказ по облуправле-
нию. Благодарность и именные часы. За мужество и отвагу
при обезоруживании пьяного хулигана. Даю тебе три дня
отпуска: день на дорогу, день в области и на обратный
путь...

До меня не сразу дошло сообщение Мягкенького. По-
том я вспомнил. Бедный Герасимов! Лучше бы ты никогда
не брался за ружье. Лучше бы ты был жив. Пусть будут
живы все, кому надо жить...

– Куда тебя подвезти? – спросил начальник РОВДа,
видимо озадаченный тем, что я никак не реагировал на его
слова.

Ехать домой, в хату Ксении Филипповны... У меня
сжалось сердце.

– С вами, в район, – сказал я. – Если разрешите, това-
рищ майор.

Мягкенький промолчал. Потом произнес:

– Понимаю. – И, повернувшись ко мне, добавил: – Бог
даст, обойдется.

...Дежурная нянечка бежала за мной по ослепительно чистому, тихому коридору больницы, чуть не плача, уговаривала покинуть помещение.

Завернув за угол, мы столкнулись с высоким молодым мужчиной в белом халате и хирургической шапочке. Марлевая маска болталась у него на шее. Увидев меня, он остановился. Я тоже стал. По тому, как нянечка что-то лепетала в оправдание, я понял – мне нужен именно этот человек.

– Как Ракитина? – выпалил я, чувствуя, что меня сейчас выпроводят и надо успеть узнать главное.

Доктор покачал головой:

– Ну-ну. В таком виде даже в котельную заходить не рекомендуется, – строго сказал он. – Сейчас же покиньте больницу.

– Как Ракитина? – повторил я.

Доктор посмотрел на меня прищуренными глазами и коротко бросил:

– Пройдемте. Пройдемте, я говорю. – И быстро зашагал к выходу.

Я покорно двинулся за ним.

В приемном покое он остановился.

– Кто вы ей будете?

– Внук.

Почему у меня вырвалась эта ложь, не знаю. Может быть, потому, что образ бабушки часто сливался у меня с образом Ксении Филипповны?

– Что ж, – сказал он, – скрывать не буду. Положение тяжелое... – Он вдруг смягчился и попросил нянечку: – Дайте, пожалуйста, этому молодому человеку зеркало.

Нянечка принесла из соседней комнаты небольшое зеркало. Из него глянуло на меня перемазанное сажей, измученное лицо с неестественно белыми белками глаз.

– И еще раз прошу понять: вы мешаете работать.

Доктор открыл дверь и, прежде чем скрыться за ней, сказал:

– Мы постараемся...

...Ребята из ГАИ подкинули меня в Бахмачеевскую.

Я шагнул в знакомый двор. В моей комнате горел свет. С учащенно бьющимся сердцем я перемахнул крылечко.

– Димчик!

Алешка, невероятно повзрослевшая за год, который мы не виделись, вскочила со стула мне навстречу со щенком на руках. Песик удивленно смотрел на меня черными, с волокой, ягодками глаз, держа во рту палец моей сестренки.

– Димочка! Ты не писал целый месяц. А мы с Мухтаром ждали тебя весь вечер. Я чуть не уснула. Мухтар будет твоим помощником. Он уже умеет служить...

Она повисла у меня на шее, легкая, гибкая, родная.

– Ты скучала тут?

– Нет. К тебе девушка заходила. Лариса. Мы с ней часа два болтали... Сказала, зайдет завтра.

– Постой. – Я усадил сестренку и сел сам, чтобы прийти в себя от нахлынувших чувств. – Алешка, говори честно: мать с отцом знают, что ты у меня?

– Конечно! Я им дала телеграмму. С поезда. Димчик! Ты похож на черта из печки...

Я вышел во двор умыться.

Надо мной светились бесчисленные звезды, и я подумал – завтра снова будет утро. Теплое утро с запахом полыни и чебреца. И не может того быть, что не будут жить те, кому надо жить.